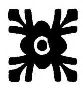
Вяч. Шишков

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в восьми томах



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том первый

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

ОЧЕРКИ

(1912—1917)

Государственное издательство

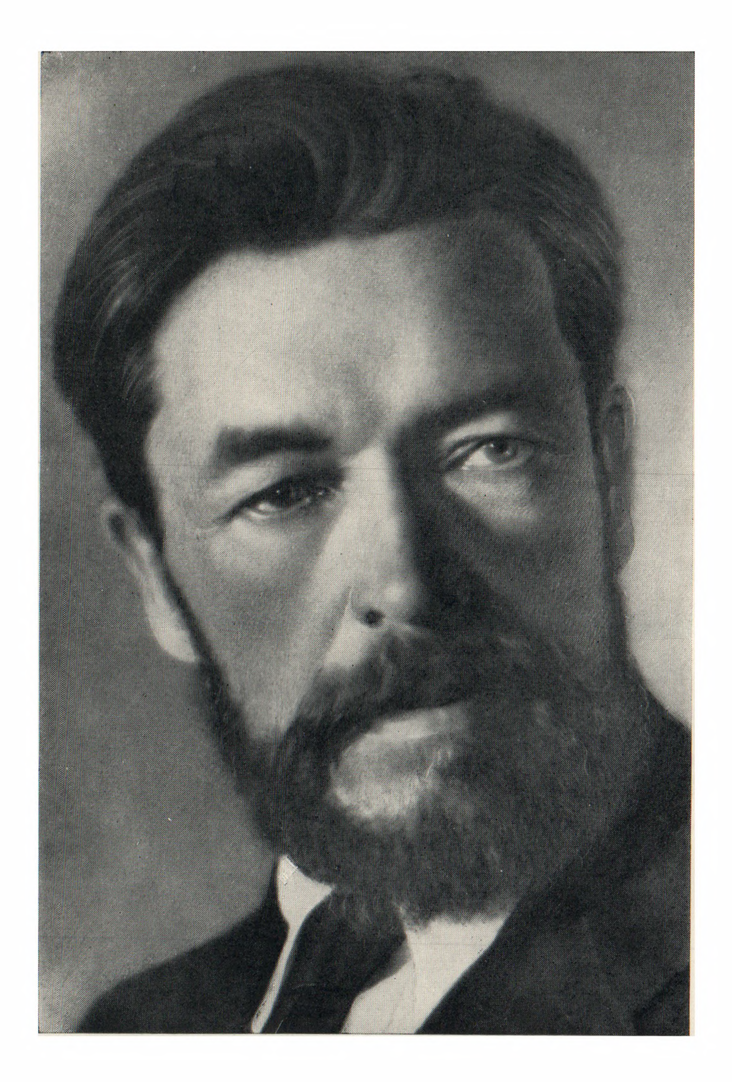
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1960

Составитель
В. М. БАХМЕТЬЕВ

Примечания
В. А. БОРИСОВОЙ

Оформление художника
М. В. СЕРЕГИНА



СЛОВО О ШИШКОВЕ

В нашей отечественной литературе было много таких писателей, о которых можно и должно писать повести и романы. К этому ряду бесспорно принадлежит и Вячеслав Яковлевич Шишков, проживший долгую, богатую событиями и впечатлениями жизнь. Но создание художественных произведений о самих писателях дело не простое. Можно не сомневаться в том, что такие книги появятся (да они уже и существуют, вспомним хотя бы романы Ивана Алексеевича Новикова о Пушкине или романы Юрия Николаевича Тынянова о Пушкине, Грибоедове и Кюхельбекере). Возможно, что среди нынешней литературной молодежи есть уже тот будущий писатель, который сумеет воссоздать образ Шишкова на страницах художественного произведения. Как говорится, дай бог ему удачи! Но пока такого произведения нет и наша общая задача (я имею в виду писателей, критиков, литературоведов) тщательно и любовно собрать все материалы о жизни писателя, размышления о нем его современников, свидетельства читательского интереса к его книгам, собрать все то, что характеризует место писателя в водовороте своей бурной эпохи.

Неисповедимы пути, которыми творчество писателя проникает к читателю, заинтересовывает его и невольно начинает оказывать влияние на его сознание.

О Шишкове, о его необыкновенной жизни и его сочинениях я вначале услышал от людей, а потом уж, много времени спустя, прочитал его книги. Образ Шишкова с самых ранних лет моей жизни был овеян романтикой. Он вошел в мое сознание — как легенда, родившаяся на необозримых таежных просторах Сибири.

Получилось это [illegible]. Отец мой был охотник. Он охотился не только в нашей [illegible]ге, но нередко уезжал в «дальние края». В детстве и юности [illegible] побывал вместе с ним на многих сибирских реках. Мы охотились и рыбачили на Чулыме, Оби, на Томи, на Васюгане, Парабели и на их бесчисленных малых притоках. Здесь, на берегах этих рек и речек, были у нас редкие, но незабываемые встречи. То мы выходили на стан какой-нибудь другой охотничьей артели, то набредали на лагерь изыскательской партии, то ночевали в избушке «речного сторожа» — бакенщика, расположившегося со своим немудрым хозяйством где-нибудь на высоком яру поблизости от опасного для пароходов переката. Все равно, где бы мы ни оказывались, нам по таежному гостеприимству выдавалось все, что было принято в таких случаях: сытный, обильный ужин из свежей дичи или рыбы, крепкий чай с душистой приправой из смородинового листа, а затем большая порция таежных былей и небылиц, пересказ которых затягивался до глубокого ночного часа, когда «стожары» становились в небе над головой.

Именно в один из таких часов, в подобной обстановке прозвучало впервые для моего слуха слово: «Шишков». В какое число, где, в каком точно месте оно было произнесено — на Оби ли, на Чулыме ли, или еще где-нибудь — сказать затрудняюсь. Несколько позже я снова услышал имя писателя на других привалах и ночевках. Как и в первый раз, имя это произносилось любовно, с необычайно глубоким уважением. Чувствовалось, что человек, о котором шла речь, дорог и близок таежникам.

Во всех этих былях и легендах была немалая доля фантазии. Возможно поэтому они сплелись в моем сознании в один целостный сказ.

В своей записной книжке за 1940 год я нашел любопытную запись, которую воспроизведу здесь полностью.

«Был на Чулыме на Растошах (дело происходило в июле 1940 года). Ночевал две ночи у рыбаков. Спали мало. Степан Вышегородцев, прозванный по-уличному за свой веселый, неунывающий нрав Степкой Плясом, от зари до зари рассказывал прелюбопытнейшие истории. Он знает бесконечно много всяческих былей и небылиц, которые десятилетиями складывались на охотничьих и рыбацких станах по всему обширному Причулымью. Могучая, неуемная, буйная, народная фантазия! Что ни слово, то образ, что ни имя, то характер!

Между прочим, Пляс рассказал новый сказ о Шишкове.

В нем немало общего с теми рассказами, которые уже встречались мне прежде. Но есть и кое-что свое, плясовское.

— Я с ним не хаживал, а отец мой хаживал. Тут по Чулыму ходили они, бывали на Оби. Он зазывал тятю на Алтай, на Бию. Туда его послали, стало быть, к царским, кабинетским землям поближе, промер реки делать. Прозывался он Вячеслав Яклич. Яковом крещен был его батюшка. Мой-то карымец ни в какую. Яклич его уговаривает: «Пойдем, дескать, Федор, на Бию, со мной не прогадаешь. Заработок ладный, обхождение — известное добром, да лаской». А у моего-то приспичило избу строить. Потом-то сколько себя клял, «Язви ее, распроклятую избу эту! Связала по рукам — по ногам. Упустил заработок какой!» А еще пуще заработка было ему жалко Яклича. Уж такой человек — богом меченный! Характер — шелк шелком.

Он сам был из расейских, из богатеньких. По отцовской струне не потянул. Тот по купеческому званию промышлял. Яклич когда родился, вырос, батюшка его в радости: «Будет мне подмога в моем торговом деле». Да не тут-то было! На роду сыну прописано было другое. Пошел он в ученье. Встал когда на ноги, говорит отцу: «Не прогневайся, батюшка, а только к торгашескому рукомеслу не лежит у меня сердце». И ушел из дому навсегда, как отрезал.

Другой бы на его месте — прямой дорогой в Петербург, чтоб кальеру пробить, звание побольше выхлопотать, а он, Яклич-то, наоборот, к нам в Сибирь, в глушь лесную! Ну, известное дело, сибиряки каждому доброму человеку радехоньки.

Зачал Яклич ходить по рекам, промеры делать, перекаты и глыби отыскивать. И все, что узнает, сей же момент — раз-раз, отметку ставит. Тут по берегам Оби и Чулыма столько его отметин, что со счету собьешься. Покеда Яклич не объявился — пароходы и барки ходили на наших реках вслепую. Случалось, запарывались лоцманы — на мель. Ни в какую назад пароход или баржу не стянешь, хоть лопни. Вымали груз в лодки, а потом на берег перевозили, облегчение судну делали, якорем его на стрежь стягивали. Страшенное дело! От Томска до Колпашева — триста верст, а плыли пять ден, и все ощупью. А как Яклич прошел с партией, пообшарил, вызнал всю подноготную, по берегам знаки повыставил — пошла тут иная жизнь для судов, без опаски.

От нас-то Яклич ушел на Бию. В те разы он и зазывал моего родителя. А только слух был, долго он там не прожил.

Потянуло его, Яклича-то, на другое рукомесло. Талан в нем открылся! Послушает, поглядит он на людей, да так их опишет, что они живей живого. Попервости займовался он этим в шутку, ради, значит, потехи себя и других. А потом один ссыльный возьми и присоветуй: «Пошли-ка, говорит, Яклич, творение свое Максиму Горькому в собственные руки». Тот оробел поначалу, а ссыльный свое: «Посылай! Не боги горшки обжигают». Послал Яклич.

Долго ли, коротко ли шло то творение к Максиму Горькому, а только дошло. Сказывают, будто Максим Горький прочитал, прослезился в радостях и говорит своим помощникам: «Ну, люди хорошие, могу я помирать в спокойствии души. Объявился на Сибири такой талан, что многих за пояс позатыкает». Вскорости после этого призывает Максим Горький снова своих помощников и говорит: «Отпишите в Сибирь, чтоб приезжал Яклич ко мне, желаю я сам наставлять его в трудах-замыслах». Пораспрощался Яклич с Сибирью и уехал.

Мой-то родитель под старость совсем чудить стал. Чуть, бывало, разобидится и перво-наперво Яклича поминает. «Вы разве люди? В вас понятия нет! Что вы для меня — тьфу, мелочь пузатая! Возьму вот отпишу Якличу и уеду к нему. Проживает он теперь в бывшем Питере, самом Ленинграде, в прежних царских покоях. Он так мою жизнь опишет, что вы еще ахнете, узнаете, кто есть я на самом-то деле». Читывал ли мой родитель творения Яклича — не знаю. Едва ли. Был он малограмотный и только расписаться умел. Но во хмелю любил похвастаться, что Яклич в семи книгах его изобразил. По всему видать, привирал старичок, царствие ему небесное. А все ж таки и то правда: из всех чулымских фамилий одна наша в знакомстве с таким знаменитым человеком была. Мой младший братишка Федька множество раз от Яклича гостинцы получал. А однова Яклич купил ему к пасхе сатину на рубашку. Долго та рубашка в сундуке у матери лежала. Надевал ее братишка только на причастие да в престольные праздники».

В сказе Степки Пляса много, конечно, вымысла, но вместе с тем он довольно точно передавал основную биографическую линию жизни писателя.

Расскажу теперь о том, как входил писатель Вячеслав Шишков в мое собственное сознание.

В 1928 году приехал я из тайги, из деревни в Томск. К этому времени я уже знал несколько произведений Вячеслава Яковлевича. Это были его первые рассказы о Сибири, о тайге.

Читал я их, правда, не сам, а слышал в чтении нашего избача комсомольца Ивана Свиридкина, который любил устраивать громкие читки и обладал для этого хорошими данными — четким, зычным голосом, перекрывавшим любой шум. Справедливости ради замечу, что Свиридкин проводил громкие читки не только по убеждению в силе своего голоса, но и по необходимости: в избе-читальне было двадцать — тридцать книжек и раздавать их читателям на руки не имело смысла. К тому же были случаи, когда выданные книги не возвращались — их искуривали лихие курцы, не считавшиеся с тем, что библиотека избы-читальни и без того бедна. Избач берег каждую книжечку, как зеницу ока.

Читались рассказы В. Я. Шишкова в зимние вечера, при свете семилинейной лампешки, возле раскалившейся железной печки, обогревавшей старый, уже истлевший по углам дом изгнанного революцией торговца-ростовщика.

Незабываемо впечатление от этих читок! Покоряла прежде всего достоверность описания деревенской и таежной жизни. Както даже страшновато становилось от того, что кто-то неведомый тебе так хорошо, с такой точностью знает все радости и беды нашей немудрящей таежной жизни, знает «наскрозь всю нашу житуху и жистянку», как говорили мужики.

Временами же казалось наоборот, что это не посторонний человек рассказывает, а собрались сюда, к гудящей печке наши лучшие деревенские рассказчики и вот подбрасывают зачарованным слушателям одну побывальщину за другой.

Сходство отдельных жизненных обстоятельств и людских образов, воспроизведенных в рассказах Вячеслава Яковлевича, с тем, что происходило у нас, было иногда так велико, что слушатели останавливали чтеца и просили то или иное место перечитать снова.

От этого чтения рождалось какое-то удивительное чувство внутреннего удовлетворения и тихой радости: «Смотри-ка ты, а уж не такая наша сирая, никчемная жизнь, коли можно о ней так интересно рассказывать. Вот и выходит, что в нашем таежном, глухом мире тоже живут люди и они умеют нисколько не хуже других понимать и чувствовать все человеческое».

Это сознание обогащало нашу жизнь, вносило в нее какой-то новый смысл, помогало сильнее ощущать себя человеком.

Когда я оказался в Томске, я мог читать и перечитывать произведения Вячеслава Яковлевича Шишкова собственными

глазами. Заново я перечитал те немногие его рассказы и очерки, которые уже знал, а потом принялся читать подряд все, опубликованное писателем к тому времени.

Творчество Шишкова захватило меня настолько сильно, что я, живя в городе, находясь в окружении студентов-комсомольцев, не чувствовал своего ухода из тайги, отрыва от деревенской жизни. Так зримо и впечатляюще рисовал этот знакомый мне мир любимый писатель: образы крестьян, таежников, наш деревенский быт, нашу суровую, но бесконечно красивую природу.

Долгое время я жил в каком-то неосознанном, можно сказать, слепом преклонении перед талантом Шишкова, захваченный его покоряющим художественным волшебством, воспроизводившим перед моим взором правдивые картины жизни, близкой и дорогой для меня. Лишь много месяцев спустя с необъяснимым беспокойством я почувствовал, что в моей душе родилась и живет какая-то критическая нотка. Читая Шишкова, я временами начал внутренне спорить с ним. Что же происходило? Не сразу я понял, что мой собственный жизненный опыт, мое собственное мировоззрение вступают в соприкосновение с окружающей средой и начинают действовать с возрастающей активностью.

Я не сразу разобрался в том, в чем же именно обнаруживается мое несогласие с художником, в чем смысл моего незримого спора с ним. Все пристальнее стал я прислушиваться к себе, больше размышлял над прочитанным.

Творчество Шишкова я не переставал любить, он попрежнему оставался одним из самых дорогих для меня писателей-современников, а вместе с тем ощущение, что я нахожусь с ним часто в состоянии спора — не проходило.

Только впоследствии, когда я сам стал писать, я смог понастоящему доказательно объяснить себе причины и истоки этого чувства.

Вячеслав Яковлевич Шишков много страниц своего самобытного и яркого творчества посвятил изображению ужасов невежества и нищеты, беспросветности и чудовищного идиотизма жизни старой таежной деревни. В его произведениях, особенно первого периода творчества, произвол тьмы настолько велик, что он кажется непоколебимым, как горный хребет. Оттого что в некоторых из них нет и намека на луч света, при чтении испытываешь чувство безысходности и тоски. Именно эти-то страницы

и вызывали в моей душе известное несогласие с автором. Я почти не помню старой дореволюционной деревни Сибири. Но люди, пришедшие из того периода жизни, долгие годы окружали меня. По опыту родной семьи и родного села я знал многое о том диком и страшном времени, которое кануло в Лету, сметенное вихрем социалистической революции. А кое-что из остатков той эпохи я видел еще и сам. На моих глазах два сибирских кулака ременными бичами до крови исхлестали восемнадцатилетнего пастуха только за то, что стая волков растерзала несколько овец. По раннему детству я помнил о чудовищно диком пережитке, долго державшемся в наших таежных деревнях: о кулачных боях «край на край», в которые вовлекались все лица мужского пола от «мала до велика».

Помнится, как в разгар таких схваток к нам в избу, стоявшую за деревней, прибегали заплаканные бабы и, голося, умоляли моего отца, охотника-медвежатника, человека редкостной физической силы: «Вступись-ка ты, Мокей Фролыч, угомони их, иродов, иначе будет смертоубийство». Помню, как отец медленно вставал с лавки, надевал полушубок, кожаные рукавицы и по праву «мирового» шел на деревню приводить «иродов в чувствие».

Знал я и о других дикостях таежного деревенского быта. Скажем, за воровство у нас наказывали страшным образом. Вора, его родителей, всех его близких и дальних родственников выводили на «обчество» — на сход. Здесь их публично, при всем честном народе корили, кто как мог, разумеется без стеснения в выражениях, а затем впрягали в телегу и под свист, улюлюканье, бранные возгласы проводили по улицам деревни. Затем их заставляли вставать на колени и просить у «обчества» прощения. Заканчивалось все попойкой. Так как в роли «вора» чаще всего выступал бедняк, то после такого «обчественного приговора» он попадал на год — на два в жуткую кабалу к торговцу-кулаку, который в тяжкий час его жизни выручал его, одолжив деньги на пропой.

Да, я знал все это. Но знал и многое другое, что как-то терялось, затушевывалось в отдельных произведениях Вячеслава Яковлевича. Я говорю о самостоятельности сибирского крестьянина, которую в свое время отмечал Владимир Ильич Ленин.

Перед коварством суровой сибирской природы зачастую можно было выстоять лишь сообща, держась один за всех и все

за одного. Например, корчевать лес для новых пахотных земель нередко выходили всей деревней. Всем народом выходили на волчью облаву. Этот род охоты можно отнести в какой-то мере к народным празднествам. Поднимались все — малые, старые, мужчины, женщины.

А сколько отважных, храбрых людей было в охотничьих артелях, раскиданных по всей обширной сибирской тайге!

Люди оставались людьми. Даже в самых глухих селениях встречались крестьяне и крестьянки, воплощавшие в себе народную мудрость, обладавшие светлым разумом, выступавшие против дикости, царившей в быту.

Огромную роль в жизни сибирского крестьянства играла тюрьма и политическая ссылка. Известно, что еще декабристы, изгнанные самодержавием в Сибирь, много сделали для насаждения здесь интереса к просвещению и культуре, внедрения в хозяйство более совершенных приемов его ведения. С тюрьмой и ссылкой торговали, узнавали через них политические новости, с их помощью учились грамоте, овладевали ремеслами.

Когда социальная борьба в России приобрела характер народной революции, сибирское крестьянство дружно пошло за рабочим классом и большевистской партией и в вооруженной борьбе с интервентами и буржуазией проявило чудеса героизма, стойкости и преданности идеям новой жизни.

Вполне возможно, что, ожидая от любимого писателя большего выявления светлых сторон, которые всегда были в нашей таежной жизни, я был излишне пристрастен, как бывают пристрастны вообще ревнители своих отчих мест. Но все-таки доля объективной истины, очевидно, была в моем критическом чувстве к писателю. Уже позже, когда я знакомился с литературой о Шишкове, я немало встретил подобных упреков в адрес писателя. Но что особенно важно — сам Вячеслав Яковлевич признавал за собой эту слабость и некоторые вещи после первых публикаций перерабатывал, стараясь ярче выявить в них значение разумного начала. Показательна в этом отношении повесть «Пурга». В отдельных произведениях (повесть «Ватага») представление, скажем, о партизанском движении, как о стихийном бунте, которому присущи все элементы анархии, осталось непреодоленным до конца.

Как художника мощного дарования, Вячеслава Яковлевича привлекали такие жизненные события, которые характерны

крупным масштабом своего размаха, яростным накалом страстей, сложными поворотами судеб героев. Эта линия развития творчества Шишкова, к счастью всей нашей советской литературы, с годами жизни писателя не оборвалась, а шла по восходящей и увенчалась созданием произведений неувядающей силы, вошедших в число выдающихся завоеваний художественной литературы нашего времени.

Отрадно сознавать, что те радости, которые принес мне — одному из миллионов своих читателей — писатель Шишков в годы моей ранней юности, не были единственными. Вся моя последующая жизнь протекала, как бы наполняясь время от времени новыми радостями, которые несли художественные открытия, совершенные шишковским талантом.

Немало уже лет прошло после первого прочтения «Угрюм-реки», но и сейчас живо помню то огромное, непередаваемое впечатление, которое произвел на меня роман. Это впечатление было подобно тому многоцветию, той игрé красок, которое возникает при сиянии солнца после затяжного ненастья в тайге и ослепляет тебя. Роман вызвал во мне чувства восторга могучей силой дарования, изумления работоспособностью писателя, посвятившего полтора десятилетия неустанного труда одной теме, удивления его обширными знаниями (историческими, экономическими, этнографическими и т. д.), без которых невозможно было написать этот сложный, многоплановый роман.

«Угрюм-река», как многоводный Байкал, вобрала в себя тысячи речек и ручейков, представлявших самые различные стороны жизни того времени, которому книга посвящалась. Совершенно несправедливы утверждения некоторых критиков о том, что «Угрюм-река» — это произведение только о Сибири. Думается, что география в подлинном художественном произведении — это одна лишь составная часть изображаемого, и одна она никогда не может заменить главного — изображения людей, выражающих типические черты своего общества.

«Угрюм-река» — это роман о России сложнейшего исторического периода — периода созревания у нас социальной революции и ее разворота. Верно лишь то, что роман этот создан в значительной своей мере на материале Сибири, в условиях которой классовая борьба, развертываясь по общим законам, имела свое некоторое специфическое своеобразие.

Бесконечно прав К. А. Федин, сказавший 28 марта 1950 года на вечере, посвященном памяти В. Я. Шишкова, что «Угрюм-

река» классическое произведение русской литературы. Такие книги составляют гордость нашей художественной литературы».

Влюбленный в творчество Вячеслава Яковлевича, я с напряженным интересом и — не скрою — тревогой ждал, что скажет этот замечательный художник дальше. Годы его были уже не молодые. Из истории литературы мне было известно, что некоторые писатели, приближаясь к старости, утрачивали свою творческую активность, меньше писали, а если писали, то зачастую значительно слабее, чем прежде.

И вот я узнал, что Вячеслав Яковлевич работает над историческим повествованием «Емельян Пугачев». Моя первая реакция на это сообщение была неблагоприятной по отношению к писателю. Думалось с чувством сожаления: «Ну, зачем он, право, взялся за эту тему?! Такой талантище! Ему бы поднимать глыбы современности, живописать нашу жизнь, наших людей, а он уходит в историю... Да ведь и написано об этом немало!»

Прошло после этого много времени. Новый роман не появлялся. Перечитывая или же просто листая шишковские томики, невольно задерживался я на одной и той же тревожной, удручавшей самочувствие мысли: «Где же он, этот новый роман об Емельяне Пугачеве? Неужели провал? Неужели оскудел талант писателя?»

Никогда не забуду о своей первой встрече с «Емельяном Пугачевым» Шишкова. Произошло это неожиданно и в несколько необычных условиях.

В 1938 году я много ездил по районам Причулымья, собирая материал для второй книги своего романа «Строговы». Я был захвачен работой над продолжением романа и возвращался с интересным материалом.

На станции Ижморке глубокой ночью я влез в проходящий скорый поезд Москва — Владивосток, стоявший на этой небольшой станции всего две минуты. Войдя в вагон, я отыскал свободную полку и, утомленный бессонной ночью, стал укладываться.

И вдруг, кинув взгляд на противоположную полку, я увидел полузаткнутой под подушку спящего немолодого человека свернутую книгу. В одно мгновение я выхватил взглядом несколько строк, освещенных лампой с потолка вагона, и понял каким-то необъяснимо сложным чутьем, что это и есть «Емельян Пугачев» Шишкова.

О сне не могло быть и речи. Но как выручить из-под головы спящего человека книгу? Ждать до утра? Нет, это невозможно. Мне захотелось читать новое произведение Шишкова сейчас же. Стараясь как-нибудь хоть на минутку прервать сон моего соседа, я начал кашлять, ворочаться, греметь чемоданом. Вот сосед приоткрыл глаза, видимо сердясь за беспокойство. Я так и ринулся к нему: «Позвольте взять вашу книгу?» Он ничего не ответил, только чмокнул губами. Но и этого для меня было достаточно. Я вытащил книгу. Это был ленинградский журнал «Литературный современник». В нем действительно были напечатаны главы «Емельяна Пугачева». Сказать только, что я принялся читать, — мало. Через минуту-другую я перенесся совсем в иную эпоху и жил уже в водовороте ее событий.

Главы нового большого произведения Вячеслава Яковлевича Шишкова, ставшего вершиной его творчества, принесли мне много радости. Хотя в журнале была напечатана лишь частичка из огромного повествования — чувствовалось, что талант писателя еще больше окреп и ему под силу самые трудные творческие задачи.

«Емельян Пугачев» стал крупным событием советской литературы. Фигурально выражаясь, среди обширного моря отечественной литературы поднялся новый гигантский вал, вобравший в себя народную жизнь, ее необозримую широту, ее бесконечную глубину, ее вечную молодость.

Читая «Емельяна Пугачева», я чувствовал, что писатель вошел в гущу народа. Мудрым взглядом человека новой социалистической эпохи он зорко рассмотрел через века и десятилетия сложнейшие сплетения социальной борьбы, увидел в облике простого русского крестьянина — «мужика» силу, способную двигать и перестраивать самую жизнь. И снова вспомнились первые рассказы и очерки Шишкова о сибирской деревне, его повести о гражданской войне, его поиски в изображении характера народной массы, неизбежные в таком деле срывы и неудачи, его завоевания и победы на этом пути. И стало совершенно ясно, что без этой долголетней, трудной работы ему не удалось бы поднять целые пласты народной жизни в «Емельяне Пугачеве», не удалось бы запечатлеть их с такой яркостью.

Я никогда не видел Вячеслава Яковлевича, но голос его, голос подлинно народного художника я слышал всегда: в детстве и юности, в годы социалистического преобразования родины, в годы смертельной битвы с немецким фашизмом. Этот

голос всегда проникал до самого сердца, согревал душу, поднимал энергию, звал вперед и вперед. Он и сейчас звучит неустанно, звучит, как живой.

Снова и снова я перелистываю тома сочинений Вячеслава Яковлевича. Неоценимое, изумительное сокровище! Земной поклон тебе и великое спасибо тебе, мой родной русский народ, за то, что ты дал людям, человечеству, будущему такого замечательного чародея художественного слова, как Вячеслав Шишков!

Георгий Марков

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ

ТАЙГА

И тогда небеса с шумом
прейдут, стихии же, сжигаемы,
разрушатся, земля и все дела
на ней сгорят... Но мы нового
небеси и новой земли чаем,
где правда живет.

Второе послание ап. Петра,
гл. III, ст. 10 и 13.

I

Кедровка — деревня таежная. Все в ней было по-своему, по-таежному. И своя правда была — особая, и свои грехи — особые, и люди в ней были другие. Не было в ней простору: кругом лес, тайга со всех сторон нахлынула, замкнула свет, лишь маленький клочок неба оставила.

Деревня — домов тридцать, а кладбище за поскотиной большое, хватило бы на добрый городок.

Когда она появилась на божий свет, — никто путем не знал. Только дедка Назар, вот уже второй век коротавший, сидя на печи, говаривал, еле ворочая непослушным языком:

— Еще когда Петр царем служил, наша деревня-то народилась. Дедушка мой Изот Кедров, покойна головушка, с каторги быдто бы бежал да сел тут. Так и пошло, благословясь, от нашего кореню,

Земли в Кедровке было немного: кой-где по увалам и падям, вдоль речки, да там, на той горе, что приподнялась желтой лысиной над тайгою. Впрочем, мужик и не дорожил землей: ему тайга давала все — и белку, и соболя, и медведя, и орех. Но за последнее время стал падать зверовой промысел, вздорожал хлеб — и тогда топор загулял по тайге, глубоко врезаясь в ее недра.

Затрещала тайга, заухала, в спор вступила с человеком: насылала медведей на его жилище, пугала лешими. Но устоял человек, все перенес, а тайгу все-таки покорил. И там, где к небу вздымались вековые деревья, теперь зелеными коврами легли веселые нивы.

Деревня жила день за днем, год за годом. Проходили десятки лет.

Старики просили тихой смерти, безропотно умирали, крепко надеясь, что вот там, за могилой, начнется что-то хорошее и светлое, то самое, о чем так болело сердце, скучала душа.

Старики любили друг другу жаловаться на сыновей и внуков, что отбились от рук, совсем из отцовской воли ушли, никого знать не хотят — ни бога, ни черта.

— Мы за богом-то эва как следим, — корили они молодежь, — а вы что?.. Эх вы, окаянные!..

Но и старики и старухи за богом следили плохо. Да как же: вот какая свара идет между народом, друг другу рады горло перегрызть. А из-за чего, спрашивается, — путем никто уяснить не может.

У солдатки Афимьи телка сдохла — рады. Петруха Тетерев с вина сгорел, Акулину оставил саму четвертую — рады. У Якова мальчонка кашей подавился, помер — рады. Жена Обабка, баба беднеющая, тройню родила — рады! И всегда так случалось, что сначала как будто жалость падет на сердце, словно кто свечку зажег и осветил душу, тепло так, приятно, а потом — подошел черт с черной харей, дунул на эту свечечку и притоптал копытом. Вдруг становилось темно в душе, вдруг начинало ползать в ней что-то холодное и подмывающее, и тогда про жену

Обабка говорили, зло пыхтя и ворочая глазами: «Так ей, суке, и надо». Но почему работящая жена пропойцы Обабка — сука, какое она кому зло сделала, — разве не больно, разве не обидно ей? Никто такого вопроса себе не задавал, каждому казалось, что эта тихая Обабкина жена действительно всем надоела и всех обидела, действительно виновата, что все, сколько есть в деревне народу, из-за нее, суки, так плохо живут, впроголодь живут, неумытые и темные, донельзя забитые нуждой, озверелые люди, всеми забытые и брошенные, как слепые под забор котята.

Так каждый ко всем относился, все к каждому.

А вот Ивану Безродному прошлой зимой шесть лисиц в кулемки попали, а нонче у Петрухи Зуева рожь хорошая вымахала: у иных градом прибило, у него стена стеной. Этих ненавидеть стали, «черт помогает», говорили. Вдовуха Лукерья лавчонку открыла и богатеть начала — гумно спалили: «не смей». Дядя Изот пьянствовать бросил: «Врешь, старик, на небо полез?..» — засмеяли мужика, проходу не давали, пить стал пуще, с вина сгорел.

Кедровцы не любили, чтоб кто-либо выделялся из них: «Лучше других захотел? Нет, стой, осади назад».

Так и жили в равненье и злобствовании, в зависти и злорадстве, жили тупой жизнью зверей, без размышления и протеста, без понятия о добре и зле, без дороги, без мудрствований, попросту, — жили, чтоб есть, пить, пьянствовать, рожать детей, гореть с вина, морозить себе, по пьяному делу, руки и ноги, вышибать друг другу зубы, мириться и плакать, голодать и ругаться, рассказывать про попов и духовных скверные побасенки и ходить к ним на исповедь, бояться встретиться с попом и тащить его на полосу, чтоб бог дал дождя.

Мужья били жен молча и стиснув зубы. Били, не находя никакой вины за бабой, а так просто, со злобы, вымещая на ней сердце за свою никчемную жизнь. А потом жалели их, целовались и плакали вместе, но проходил день, проходила неделя — и опять

повторялись драки, и опять слышался рев то в одной, то в другой избе. Когда мужики отправлялись в тайгу, на промысел, бабы иной раз заводили шашни с оставшейся молодежью, с кем попало — с прохожим молодым бродягой, с попом-кутилой, с политическим ссыльным. И не всегда ради разврата, и иной раз по озорству, из желания отомстить мужу, сделать ему больно.

Стешка, любясь с пастухом Сидоркой, отлично знает, что кумушки все, с прикрасой, разболтают мужу, наскажут то, чего и не было, — отлично все это знает и нарочно, может только потому и делает так, что вот взбесится муж, будет тиранить ее, упрекать, изгаляться, а она, вся избитая, выбежит на середину улицы и заорет на весь белый свет: «Уйду, жиган, уйду, пропойца, к Петровану-слесарю, царскому преступнику, уйду!»

Детей рожали без боли и приготовлений, где придется: в лесу и в поле — все равно. Детей у всех было помногу: «Вали, Мавруха, ни-и-чего, хуже не будет».

Жизнь деревни Кедровки — испокон веку так завелось — кололась всегда надвое: то черная полоса, то светлая.

Уродится хлеб, удастся пушной промысел — светло на душе, отрадно. Ходят веселые и довольные, заломив набекрень шапку, разрядившись в сарафан поярче и со скрипами полусапожки. О нужде забыли: ведь вот только что была, еле убралась со двора, еще след не простыл за воротами, но ее не помнят и начинают жить так, как будто заказали ей все пути к возврату. Сладко принимались есть, фамильным чаем обзаводились, одежду справляли, — какую надо и какую не надо, — так, для форсу, гармошки двухрядные покупали, а наипаче предавались пьянству. Пили все, не исключая малых ребятенок, едва отвыкших от соски.

Лица у всех становились веселыми, ясными и приветливыми, злоба на душе таяла, обиды предавались забвению, прежние враги мирились за бутылкой водки, лезли друг к другу целоваться и, плача

пьяными слезами, клялись быть «побратимами» до гроба, а в подтверждение слов выползали на улицу и брали в рот землю.

Проходит год, идет другой. Мужики еще с весны начинают примечать, что белки нынче не жди. Это плохо. «Черт с лешим в карты, знать, играли, и леший проиграл всю белку». Зато хлеба будут хороши, вон какие вымахали, любо!

Но вдруг среди лета внезапно падал страшный гость — ранний иней, за ним другой. И все гибло.

Наступала тогда черная полоса жизни.

Эта полоса была живучая, годом не кончалась: жди два, а то и три года: «С ним, с богом-то, драться не полезешь».

Тогда постепенно, исподволь, как день сменяется вечером, снова наплывало на деревню зло. Со всех сторон, из болот и падей, вместе с туманом, неслышно, по-змеиному заползало оно в избы, туманило всем головы, разъедало сердца и рычащим бешеным псом ложилось у порогов.

По деревне, от двора к двору, натягивались тогда какие-то невидимые дьявольские нити. Кто их плел? Конечно, враг человеческий. В воздухе припахивало недобрым, и все становилось унылым и мрачным. Не услышишь больше светлого смеха: засмеются — зло горохом рассыплется; не услышишь и разухабистой вольной песни: запоют — словно кого хоронят; не звенит ласковый голос девушки: «Ах, ты, Ваньша, карий глазок», — слышится вздох молодой, тронутой горем, груди.

Лица становятся хмурыми, глаза голодными и завидущими, рот жадным, руки неудержными, в сердце нарастает боль. Хочется кого-нибудь укусить, уколоть, урвать, выругать, сжить со свету. А иной раз хочется — и откуда прилетит вдруг хотенье! — встать посередь улицы и каждому сказать: «Ребятушки, а ну, пойдем, а ну, наляжем — не подастся ли?» Куда пойдем, на что наляжем — кто его знает. «Ребятушки, ворочай все сверху донизу!» Пожалуй, надрывай глотку. Тайга обратно вернет крик и захохочет.

Вот Спирька-солдат из Питера пришел, домой вернулся, — Спиридон Павлыч Иконников. Всем насказал разных небылиц: и какие города бывают, и какие там люди, и какой свет по ночам пускают... Мало ли он рассказывал!

Потом ушел, окаянный, не захотел остаться дома: «Нешто можно здесь жить... Что я — зверь, что ли?» Побахвалился-побахвалился — да ушел-таки... Слоняется где-нибудь, легкой жизни, сукин сын, ищет... Лодырь.

И так и этак ругали солдата Спирьку, что взманил, что указал перстом в небо, туда, где зори плавают, где все не так, все не по-здешнему, но в душе любили часто вспоминать его речи и втихомолку вздыхали.

II

Назимово — большое стародавнее таежное село.

Недалеко от Кедровки, и сотни верст нет, — это не расстояние, — но жизнь там поприглядней. В Назимове и «царские преступники» — политики — жили, и книжка по рукам ходила, и грамоте кой-кто из парней кумекал: школа была.

Там церковь каменная, колокол большущий, как бухнет-бухнет — долго гул идет, есть священник, купцы, да и от проезжей дороги недалеко. А проезжая дорога прямехонько упирается в уездный городишко, семьсот столбленых верст до города.

Однако греха и всяких поганых дел было много и в Назимове.

Торговый человек, Иван Степанович Бородулин, жил в двухэтажном доме с палисадником. Дом его по селу первый. Сам Бородулин мужик в соку, с большой черной бородищей, румяный, волосы в скобку, зубы белые, бабы его любят.

Со всеми ими помаленьку баловался Бородулин и, гордясь этим, говорил: «До женских я охоч». Пуще же всех нравилась ему солдатка Дарья, с которой он открыто жил.

Но гладкая солдатка Дарья жила в то же время с уголовным поселенцем Феденькой, а жена вора Феденьки, местная крестьянка, жила с кузнецом Афоней, а жена Афони жила с тремя назимовскими парнями и с «женатиком» Лапшой, жена же Лапши, ловкая баба Секлетинья, путалась с вдовым попом. Поп, не довольствуясь бабой Секлетиньей, своей стряпкой, увлекался семипудовой купчихой Бородулиной, уехавшей в город лечить зоб.

Так оно колесом и шло.

Иван Степаныч Бородулин — купец не промах: всю округу в кулаке зажал.

Кедровский староста Пров уж на что мужик самосильный, а тоже в долгу у Бородулина: колдуны шишиг таежных на Кедровку напустили, без малого весь скот у мужиков от поветрия чёзнул — довелось с поклоном к купцу идти.

Долго кряхтел Пров: жалко Анну, единую дочь, в люди отпускать, а надо. Убрались с полем, отправил Анну к Бородулину в работницы: хоть часть долга с плеч — и то дело. Матрена больно горевала, перед разлукой на дочку наглядывалась. Мудрено ли? Анна по деревне первая, да не по деревне: поди, нет ее краше да умнее по всей тайге, во всем русском царстве, — и в кого такая задалась?

Только вот Анну тоска грызет. Так как-то, скучно... нехватка в чем-то... Исподтиха-исподтиха, да как вцепится, словно лукавый пес... Точно не здешняя, не таежная, точно в хрустальном ключе родилась, что бежит из тайги да в речку, из речки в море, через весь белый свет, — скучно Анне. Сама не знает отчего, а скучно... От жизни, что ли? Жизнь ли это? Стало быть, жизнь...

— В досюльное время, сказывают, лучше было, а теперь погляди кругом: тошнехонько, — сама с собой печаловалась Анна. — Люди не люди, выползут, мохнатые, потычутся носом, что положено, помытарятся да трухлявыми колодами хлоп в землю. А из тайги опять прут новые... Так и катятся: из тайги да на погост, под крестик. Вот и жизнь.

Особенно грустила Анна осенью, когда собирались к отлету птицы. С болючим горем отрывала от сердца крик:

— Журыньки, возьмите мою душеньку... да унесите...

И не с кем словом золотым перемолвиться, розмыслом раскинуть. С Устином разве? Нет, Устин — старик, о божественном думает: ему тайга мила. С Кешкой? Темная душа, беззвездная. С родителем? У него сердце мозолистое: работай, ворочай за двоих, а дальше — тпру... Вот с Мошной, однако... Мошна старуха дошлая: много знает сказок, присказьев, побасок. При трескучей лучине занятно ее послушать: руками куделю прядешь, а душа над тайгой трепыхает...

В разлуке с Кедровкой Анна не живала, а пришла в Назимово — тоска пуще. И быть бы, пожалуй, худу, но встретила Андрея — и все перевернулось.

Как-то Бородулин потрепал ее по круглому плечу.

— Иди-ка, Анка, слетай к Андрею-политику, — знаешь? Чтоб диван пришел обить...

Вернулась Анна в радости.

— Ну? — хлопая на счетах, спросил Иван Степаныч.

— Придет, — и она чуть улыбнулась углами губ.

С того и началось. Впервые повстречала Анна такого человека. Шутка ли: учитель, ребят учил... Да и собой больно пригож... Что-то такое в лице, в глазах есть... этакое... едва оторвалась... Когда пришел Андрей, сама не своя: чуть самовар без воды не поставила, накрывала чай — стакан разбила, а помогала Андрею гвозди заколачивать — руки ходуном.

Андрей не меньше Анны, второй уж год, скучал в тайге. Он тосковал о широких донских степях, где родился и вырос, о деле, которому служил, о тех чумазых малышах, что с плачем бежали через всю станицу, когда увозили его в город усатые жандармы.

— Здорово, Андрей, — как-то заглянула к нему Анна.

Тот поднял голову, откинул свисавший на лоб чуб, прищурил живые, зоркие глаза.

— А-а-а... знакомая...— радостно протянул он.— Ну, здравствуй, соколица. С чем пришла?

— Уж ты не обессудь,— и Анна смущенно улыбнулась.— Скучаю я здесь, Андреюшка... Однако домой удеру... напиши писульку родителю,— кажись, десятский едет в Кедровку... Скушно...

Анна облокотилась на верстак, опустила голову.

— Скучно, говоришь? Да, Анна, невесело... Ну, давай напишем...

Он писал, она с любопытством разглядывала его грустное молодое лицо с высоким лбом, большими черными глазами. Брови у него густы, усы — чуть-чуть, в плечах широк, а руки девичьи.

— Ты, видать, из благородных... Ишь какой... пригожий.

С той поры часто урывалась она к Андрею: «Чевой-то потянуло к тебе».

— А грамоте хочешь знать? — как-то спросил он.

Даже руками всплеснула, а глаза сразу налились слезами, как цветы росой:

— Андрей, Андреюшка... голубчик...

День за днем катились. Крепкие морозы пришли. По-иному себя Анна чувствует: не видит Андрея день — скука завладает, а придет к нему — уходить не хочется, так до петухов и сидит.

Достанет Андрей книгу, сядут поближе к печке, да и коротают ночь: зимой в избе холодно, как закрутит буран, в углу снегу набьется, хоть лопатой греби. О людях Андрей читает, чужестранных царствах, о небе, о солнце.

— Ты почитай о правде.

О правде Андрей читает. Хорошо слушать: вливается в душу светлое, новое; тайга уплывает, и Анна уж над нею, словно на высокой горе. Хорош, должно быть, мир. Андрей по-особому читает, дойдет до места, остановится и много-много говорит, голос ласковый, речь складная, с простого начинает, а сведет на такое, что дух замрет.

— Да как же так, Андрей? Неужто верно? — поднимает Анна крутые брови.

— Верно. Только у вас, у мужиков, глаза завязаны.

Как-то вечером Анна сидела у Андрея. Она шила рубаху, негромко напевала проголосную:

Уж ты гой еси, да ты светел месяц,
Хоть светло ты светишь,
Да не по-прежнему...

Андрей крупными шагами ходил из угла в угол.

Ой, потакаешь ты,
Как ворам, плутам, разбойникам...

— Анна, — остановился Андрей и взял ее за руку. — Хорошо ты, Анна, поешь. У тебя столько слез в голосе... грусть...

Девушка перегрызла нитку, отложила шитье и сказала:

— Батюшка с матушкой лучше поют. Бывало, выпьют о празднике, сядут друг против дружки, подшибутся, да и... Ну, беспременно заплачешь.

— О чем же? — поглаживая ее голову, спросил Андрей.

— Да и сама не знаю... Тяжело сделается... Быдто кто покличет куда...

— Ну-ну... — сказал Андрей и опустился возле Анны.

Та глядела перед собой, что-то вспоминала, к чему-то прислушивалась.

— Али вот ночью... Не заспится иным разом, — ну, хоть зарежь. А батюшка с матушкой похрапывают. Выйду на речку, да и сяду у воды... Ночи летом светлые, а птицы в черемошнике, почитай, наскрозь поют... Сидишь и думаешь... Эх, думаешь, была бы богатырем, сгребла бы огромадный топорище, да ну тайгу пластать... Вывела бы дороженьку прямехонько на белый свет...

Андрей поднял с полу стамеску, переставил с окна на пол примерзший пузырек с политурой. Анна подбросила в железную печку дров.

— Андреюшка, слушай-ка... Чевой-то сказать хотела. Да, вот чего... Не славно как-то... жизнь-то... Живешь, а словно бы не живешь, а так как-то...

Андрей откинул чуб и зашагал.

— Жизнь... Какая же это жизнь?.. — размахивая руками, говорил он. — Жрут, спят, дерутся, убивают... Дикое нечто, звериное...

— Ох, голубчик... Хуже зверья... Ты побывай-ка у нас в Кедровке... Жуть...

Андрей одернул черную суконную рубаху, подошел к верстаку и стал стругать.

— Уж больно плохо: бедность, руготня, убойство...

Анна сидела, склонив над шитьем голову.

— Эн Федот у нас, лавочник, — тихо говорила Анна, — обобрал как-то двух тунгусов, а чтоб концов не видно, дал им спирту гольного бутылки три в дорогу-то. Ну, напились в тайге, а мороз был страшительный — замерзли. А наши мужики — чего им, нешто жалко!.. За два ведра Федот всю деревню купил: ни гу-гу.

Свежая стружка под сильной рукой Андрея с визгом отделялась от бруса и желтыми кудряшками ложилась у ног. Пахло смолой.

— А то парни девкам помощь устраивают. Слыхал, поди?

— Да, обычай страшный. Изуверство. Грязь.

Андрей положил фуганок. На его лице отразилась боль. Он полузакрыл глаза и, покачиваясь, слушал Анну.

— Молвить-то стыдобушка, скверность... Чуть не угодила девка — уманят обманом за деревню да всем табуном... Тьфу!.. Срамота одна... Господи Христе... Да ить с парнями-то ребятенки, мотри, лезут да женатики... А то старичишка какой ульнет... Орет девка, быдто жилы тянут... Одну замучили: умом помутилась да с сопки в речку. А вся и провинка-то, что за безносика замуж не пошла...

Анна оторвалась от работы и уставилась в стену, словно в столбняке. Андрей, заложив руки назад, крупно шагал из угла в угол и что-то говорил Анне, но та думала свое.

Потрескивало и ворчало в печке пламя, а с улицы доносились крики и руготня: должно быть, зачиналась поножовщина.

— А ты, Андреюшка, долго ли здесь проживешь-то?

— Не знаю... Может быть, всю жизнь, — упавшим голосом сказал Андрей.

Он подошел к низенькому оконцу и, согнувшись, уставился на мутную, в лунном свете, всю засыпанную снегом улицу.

— Проводи-ка...Пойду не то... — вздохнула Анна.

— Сиди...

Он опустился возле и задумался. Анна прижалась к нему, заглядывая в глаза. В них была печаль, ей показалось даже — слезы.

— Душно, Анна, скверно... Что-нибудь делать надо такое... ну, чтоб посветлей было. Жизнь налаживать надо, Анна...

Голос его срывался.

— Охо-хо... Легко молвить, а ну-ка, приступись...

— А если ничего не выйдет, убегу... — Андрей быстро сорвался и зашагал по комнате, крепко сомкнув кисти рук. — Убегу куда глаза глядят... В Америку!.. К черту!.. К дьяволу!..

— Андреюшка, и я с тобой...

— И ты?! — Он поймал ее протянутые руки и, весь загоревшись радостью, поднял ее с лавки.

— Я в согласье, — шептала Анна, вся дрожа. Потом, словно что вспомнив, удивленно вскинула брови. — Постой, Андрей... А здесь-то как же? Ведь сам же говоришь: темень, скверность... Зачем же убегать? А ты здесь свети. Хошь сколько посветишь, и то добро... Хошь лучиночкой немудрящей...

Андрей улыбнулся:

— Когда встанет солнце, по всей земле светло... без лучинки... сразу. А солнце там, Анна, за тайгой...

— Родной мой... желанный... Ты сам вот и есть солнышко-то.

Проводив Анну, Андрей до утра не спал. Он вынул карту и долго ее рассматривал. Да, конечно,

можно... К весне он с Анной доберется до Лены... Следы запутать просто: будто муж с женой на золотые прииски пробираются. А по Лене пароходом... Ну, убегут... А что же дальше? Нет, одному надо... одному...

— Мечта... — роняет Андрей, и его губы складываются в ядовитую усмешку. — Мечта! — швыряет он карту на пол и ходит взад-вперед до изнеможения.

В Андрее с каждым днем росло нечто новое: то его манила тайга своим загадочным шумом, простая жизнь вместе с Анной и упорная борьба с таежной тьмой; то воля вставала перед ним, и сердце рвалось ей навстречу. Воля... красивое это слово... Что ж? Вить гнездо в тайге или подняться вместе с лебедями и лететь за моря?

Но вот как-то в праздник утром пришла к нему Анна. Бледная, растерянная. Не поздоровавшись, опустилась на скамью. Андрей возился над чучелом летяги-белки.

— Что с тобой?

Та не ответила, только вздохнула.

— Не Бородулин ли обидел?

Анна сидела потупившись.

— Да ты что? — шагнул к ней Андрей и взял ее дрожавшие холодные руки.

— Андреюшка... соколик... затяжелела... — прошептала Анна, закрывая лицо.

— Ну вот... так-так... — тянул Андрей, сбираясь с мыслями и чувствуя, как перевернулось его сердце. — Вот и отлично... хорошо. Очень хорошо... Ну...

Анна ушла радостная. Не шла, а бежала. Ярко светило солнце. Снег слепил глаза. Была капель.

Андрей готовил товарищу длинное письмо:

«Дружище. Теперь все ясно: я остаюсь в тайге. Надолго ли — покажет жизнь, но кажется — надолго... Буду посильно разгонять таежную жуть... Ты улыбнешься? Мелко, скажешь? Ну, что ж... Такова пла-

нида, как говорит здесь один купец-хват... Но вот в чем дело. Помнишь, я как-то писал тебе о своей подруге. Я с первого же знакомства привязался к ней, и чем дальше, тем крепче... И она для меня здесь, в тайге, — все. А сегодня она мне сказала...»

У Андрея шумело в голове, строчки прыгали. Он обмакнул перо и перечел написанное.

— Нет, не так... не то... К чему? Надо по-другому, — и разорвал письмо.

Пришла весна. Тайга закурила, заколыхала свои кадильницы, загудела обрадованным шумом и, простирая руки, глянула ввысь, навстречу солнцу, зелеными глазами.

Андрей любит уйти весной в тайгу на неделю, на две, чтобы упиться вволю весенним хвойным запахом после долгого восьмимесячного сидения в четырех стенах.

По ночам, когда не было Анны, он выходил на улицу и, весь насторожившись, вслушивался в гусиный внятный говор:

— Га-га... Гагага... Га-га... Гагага...

Высоко, меж тайгой и тихим звездным небом, стая за стаей, вольной лавиной мчались на север гуси.

Андрей чуял, как все в нем закипает буйной радостью. Он жадно шарил глазами по небу, но, кроме мерцавших из голубого мрака звезд, ничего не видел.

— Надо идти...

И вскоре, в весенний вечер, Андрей горячо обнял Анну:

— Я в тайгу уйду, Анночка... теперь хорошо там.

— Чего тебе тайга?

— Тебе не понять, Анночка... Я люблю тайгу... Я скоро вернусь.

Утро настало. Взял Андрей с собой припасы, вскинул на плечо ружье, простился и бодро зашагал вдоль села.

— Не заблудись смотри... Прощай... Проща-а-ай!..

III

Лишь загудит весной тайга, бродяги надевают заплатанную торбу, берут жестяной котелок, суют за голенище отточенный нож и выползают на божий свет из черных бань, брошенных избушек, зимовьев, обросшие волосами, шершавые и почерневшие от копоти за долгую северную зиму. Выпрямляют согнутые спины, щурятся на солнце, ищут в синеве небес белый лебединый бисер, прислушиваются к хлопотливому крику плывущих с юга птиц и, покорные зову тайги, рассыпаются по ее звериным тропам.

Солнце еще не закатилось, но скоро спрячется за хребтом: вот дрожат последние лучи его на макушках дерев. Еще немного — скользнут мимо, в сереющий вечерний простор, и растают. Тихо внизу, а там, над тайгой, ветерок погуливает, шелестит хвоей, вздорит.

— Тюля, кроши чай-то, — октавой сказал плечистый лысый старик, по прозвищу Лехман.

— Есть, — отрубил Тюля, лет тридцати парень, с простоватым круглым, толстогубым лицом, и, крякнув, завозился у мешка.

Лехман — старичина дюжий, бородища изжелта-седая, огромная, прядями свалялась, нос с горбиной, взгляд угрюмый, брови густые, хмурые. А встанет, сутулый, да как гайкнет, — ох и рост же у деда, ох и голос — труба трубой... Лехман и есть, весь зарос мохом, по всем статьям лесовик.

Двое других, Антон да Иван, чинили амуницию.

Иван, или, как его за веселый нрав зовут, Ванька Свистопляс, садит на какую-то бабью кофту заплаты и приговаривает:

— Вот это мундер — так мундер... — и гогочет селезнем, встряхивая кудластой, как капустный кочан, головой.

Антон весь потный, худой, бородка с проседью черная, метелочкой, щеки впалые и большие, задумчивые, в темных кругах глаза.

— Так-то, миленький, — говорит Антон, — это господь нас натолкнул друг на дружку... — и черпает берестяной ложечкой из деревянной чашки сухари.

— Господь... Как не господь... — гудит Лехман. — У тебя все господь. Встретились, да и вся недолга.

Ванька Свистопляс, досыта наевшись, пошел рубить сухую листвень: темнеть начало, а костер погасал.

Тюля лег на спину, помурлыкал себе под нос, потом вскочил и скрылся в лесу, весело свистя и потрескивая сучьями.

Сумрак надвигался со всех сторон, а вместе с ним пришел холод. Набросали в костер смолевых пней. Языки огня полизали пни — вкусно ли — и, отведав, сразу охватили пламенем, затрещали, заискрились, распространяя жар и свет.

Антон лежал, подставив теплу спину, и говорил, глядя перед собою сонными глазами:

— Вот, миленький, бог его ведает, доплетусь ли до родины.

— Дальний?..

— Из Воронежа. Есть такой хороший город Воронеж, родина моя.

Вдали стучал топор, и слышно было, как с шумом грохнуло наземь подрубленное Ванькой дерево.

Антон сел поближе к огню. Печальное восковое лицо его блестело от испарины, будто начинало подтаивать и оплывать в лучах костра.

— Я ведь, старинушка, не простой... Я ведь духовного звания: сельского псаломщика сын, — начал он монотонным, глухим голосом. — Из семинарии меня, значит, выгнали: так, без прилежания учился, да и спиртным напиткам подвержен был. Отец же мой многосемейный, жизнь влачил бедную, даже на глаза меня не принял, и стал я с тех пор сам по себе. Ну что ж, думаю, надо как ни то... По писарской части у меня ничего не вышло, да и не по душе... Тянуло меня в поля, в леса, чтобы по дорогам, по большакам ходить, монастыри старинные осматривать... Любил я, грешным делом, все это. И уж подумывал в монахи пойти: есть такие монастыри удивительные — вон Сарова пустынь, ах ты богородица: леса, речки — прямо рай. Влекло меня к божеству, шибко влекло. Но все вышло на другой лад. Стал я,

дедушка, маляром, а потом присмотрелся у монахов, да и живописцем заделался, потянуло меня опять на Русь, по селам бродить начал. — Антон качнул головой, причмокнул, повел острыми плечами и вздохнул. — Подружился я как-то в селе пригородном с поповской дочкой... Ну, конечно, весна, соловьи, благоухания... А сам в то время франт был: часы, куртка бархатная, шляпа и тому подобное. Словом, чтобы грех прикрыть, окрутил нас отец Никифор... Зажил я тут, можно сказать, во всем благополучии: жена — красоты замечательной, пиши с нее картину; работы сколько хочешь — из других уездов присылали. Харрашо с Наташенькой жили. Так бы оно и катилось чередом, да грех вышел, люди меня за простоту растоптали...

— Человек на это горазд, — сказал Лехман.

Сквозь чащу продирался Ванька Свистопляс, волоча по земле сухие сучья.

— Пять лет жития моего сладкого было. А тут и... Подновлял я храм в одном селе. Благолепный храм, помещиками в старину приукрашен был изрядно. Ну вот. А в селе как раз ярмарка. Народищу навалило густо. Ну, сначала хорошо шло: подгрунтовал я, значит, праотцев в верхнем ярусе, а пока сохнут — евангелистов начал освежать. В церкви и жил, в закоулочке: приду, значит, вечером, побродивши по базару, меня на ночь и запрут, а чуть зорька — я уж за работу... И вот, милый, тут-то меня жизнь и ущемила...

— Запил, что ли? — спросил Лехман.

— Грешный человек, запил... Какой-то вроде актера, бритый, возле меня все юлил... С ним, значит, и того... Нашли меня на вторые сутки... «Как же тебе, Антон Иванович, не совестно? — крикнул на меня староста церковный. — И деньги все пропил?» — «Извините, говорю, пропил». А я действительно при начале двести целковых на позолоту да на краски взял. Староста размахнулся да раз меня в ухо! Горько мне сделалось, заплакал я... от стыда больше, потому — все меня уважали. А всему виной бритый: выманил у меня, у пьяненького, денежки-то, да и лататы... Он,

подлец, и в церковь ко мне захаживал, все иконами интересовался, знаток — это верно... Ну, ладно... Положили меня, значит, на вытрезвление к просвирне, а за женой подводу отправили, потому знали, что я жену, как бога, чтил.

Антон помигал глазами, снял картузишко без козырька и вытер рукавом потный, с запавшими висками лоб.

— И вдруг ночью ввалился ко мне народ, руки скрутили да в волость. Вот так раз. Ничего понять не могу, потом дорогой слышу: церковь ограбили, венчик в камнях с иконы сняли, крест напрестольный, чашу с дарами и кружку вытрясли. Ловко. Я аж обмер. Даю отпор — знать не знаю. Обыск. Как тряхнули мою жилетку, а оттуда два пятака старинных екатерининских да медаль серебряная. «Ну, так и есть! — староста кричит. — Она самая, моя медаль... Вот и зарубинки. Самолично в кружку опустил!» Тут мне и погибель...

— Ха! — хакнул Лехман. — Это бритый.

— Неужто я?.. Стал бы я на господний храм руку подымать... Не тот человек я... а так, попал в сеть, как перепелка... А вступиться некому: брат старший в духовную академию обучаться поехал, родитель помер, отец Никифор помер... Так меня и закатали...

— А как же бритый-то? — враз спросили Лехман с Ванькой. — Чего ж ты его-то не упекарчил?..

— Где уж... Вишь, я какой?.. — развел Антон руками и как-то вкось ухмыльнулся. — Смирный я, нерасторопный... Всего меня придавило. Накатилось какое-то такое... ну, вроде как... Словом сказать — махнул на все рукой: так, видно, на роду написано...

Антон, тускло посматривая в сторону и думая о чем-то другом, рассеянно сказал:

— Объяснял я про бритого, как же... Ищи ветра в поле... будто в воду... А у меня — медаль...

Лехман и Ванька Свистопляс внимательно слушали. Голос Антона дрожал, впалые щеки разгорелись. Он тонкими пальцами, волнуясь, потеребливал бороденку и почмыкивал утиным, с защипкой на конце, носом.

— Как попал я в Сибирь, стал пить. Прямо пьяницей горьким сделался. Через это все здоровье потерял. До белой горячки, милые, допивался, по воздуху в избе летал. Вот быдто взовьюсь вверх, с избой вместе, да и ну порхать.

Свистопляс рассыпался горошком и провел ладонью снизу вверх по курносому своему бабьему лицу.

— Это бывает! — весело крикнул он и подбоченился. — Я тоже так-то пивал, дык меня черти в ад спускали по трубе... Женить на жабе, так твою так, хотели да выгнали.

— И вот, милые, — вновь заговорил Антон, — так и жил я в нужде да лишении одиннадцать годиков. И так меня потянуло в родное место, что выразить вам не могу. Жена с дочкой сниться начали, голос подавали. Вот так сидишь в тайге, у речки, ночью, вдруг: «Анто-о-ша...» Вскочишь, перекрестишься, и только забудешься — опять: «Анто-о-ша...»

Антон вздрогнул и перекрестился.

— Не вытерпел, собрался в путь. Не много, не мало шел я, сказать по правде — ровно два года. Пришел это я в Воронеж вечером. А еще когда в тюрьме сидел, знал, что Наташенька с дочкой в город перебрались... Как же. Переночевал на постоялом, а утром в собор, стою в задку, трусь возле нищих, думаю: они в городе лучше всех знают каждого. И верно: узнал от них, что мой брат, Павел Иваныч, овдовел и состоит ныне профессором семинарии духовной и метит, мол, в архиереи.

— О-о-о... — протянул Ванька. — В анхиреи? Ловко.

— Да. А об моей Наташе ни слуху ни духу: ровно бы, говорят, такой и в городе нет. Потом про брата опять подумал: слава, мол, господу, ежели к такому чину готовится, это хорошо: чин ангельский, и человек должен быть души тихой. Вернулся я на постоялый вечером. Погрыз калачика, чайку испил, помолился про себя богу, лег. Вдруг среди ночи сон: будто я в часовне один-одинешенек, стою на коленях и земные поклоны бью. А перед иконой богородицы единая

свечечка маленькая. Горит, а свету нет. Потом разом как вспыхнет сияние. Я сразу ослеплен был, упал плашмя, головой в пол, и слышу твердый голос: «Иди, раб, будет указано!» Тут я, братцы, вскочил, гляжу — утро. Трясусь весь, зубами щелкаю, одеваться проворненько начал да в штаны-то никак не могу утрафить...

— Гы-ы, — протянул, осклабясь, Ванька, но Лехман молча пнул его в бок и мотнул головой Антону:

— Ну-ка...

— Вот хорошо. Поплескался водичкой, смелость такую в себе почувствовал, что, кажется, все нипочем. Пришел в семинарию. «Павел Иваныч дома?» — «Насчет доставки дров, что ли? Иди наверх, третья дверь справа». Иду, улыбаюсь, душа прыгает во мне, что-то будет? Хочу крикнуть ей: «Образумься, вернись!» Она ответствует: «Иди, будет указано». Чуть приоткрыл дверь, взглянул: однако — он, в мундире, чай пьет. Не пойду, думаю, а душа кричит: «Иди!» — да как толкнет меня в комнату. Ей-богу...

— Дела-а-а... — протянул дед и погладил кольчатые пряди бороды.

— «Братец», — сказал я. Он повернулся, точно его обожгло, поднялся: «Антон!» — глаза круглыми сделались, руками машет, шипит: «Да как ты мог, да как ты осмелился?» Я в ноги, ползу к нему да вою: «Братец мой, брат...» А он стоит как столб: «Ты подумал ли? Что тебе надо? Ты бежал?» — «Мне бы жену мою, Наташеньку, увидать да Любочку...» — «Наташа умерла». — «Как?!» Он помялся этак, подумал: «Она живет тут с одним... с помещиком... На содержании». Я уж на ногах стоял, встал с полу-то. Захватило у меня дух, в голове круженье сделалось. Оправился, однако, держусь за стену. «А Любочка, хоть бы на Любочку взглянуть...» Стою, жду ответа, всплеснул руками, а лицо, чую, дрожит, подбородок скачет, слезы по щекам текут, и все в глазах прыгает. А брат, как мышь в ловушке, бегает по комнате. Потом остановился, взглянул на меня исподлобья. «Ладно, говорит, жди». Схватил фуражку с кокардой, ключ достал. «Я, говорит, тебя запру, чтобы

прислуга...» Сел я на стул, сижу, думаю: «Эх, Наташа, Наташа...»

Антон умолк и закрыл лицо руками.

Лехман похлопал его по согнутой спине.

— А ты плюнь... Эка штука... Возьми сердце-то в зубы...

— Ах, милый, ведь больно... Веришь ли, тяжело ведь...

— Ну-ка, сказывай, как дочку-то встретил.

— Эхе-хе-е-е... Встретил!.. Я ее так встретил, что помирать буду — и то час тот вспомню... Лихой тот час был, ребятушки. Правильно в писании сказано: «Враги человеку домашние его...» Так оно и вышло.

— Не признала, что ль, за отца тебя?

— Не в этом дело-то, сударик... Слушай, уж доскажу... Вот жду я, жду, сам думаю: о чем говорить начнем с дочкой? А в мыслях я держал повидаться с Любочкой да жену разыскать, ну, там пожить тайно, без огласки чтоб, с недельку, да и назад. Но, миленькие, тут-то сидя на стуле, понял я и уразумел всей душой, что обратного пути мне нет, что назад уйти в Сибирь от дочери, от родины сил не хватит. Думай не думай — этому не быть. И вдруг злоба закипела. «Ах ты, окаянная душа, — сам себе шепчу. — Куда ты привела меня, зачем? Ведь на погибель ты, душа, привела меня...» Все тут всплыло сразу наверх, все, все, ребятушки. Вся жизнь, вся сладость прошлых дней моих счастливых, и друзья, и знакомые, и ласки жены... Всю душу во мне перевернуло. А что ж дальше? — думаю... — Назад? Будь ты проклята, душа моя!

— А души-то и не бывает, — не утерпел Ванька.

— Тьфу, леший! — плюнул дед.

Антон встряхнул локтями и приподнятым голосом быстро-быстро заговорил:

— И такие во мне закружились мысли, что страх. Ничего не разберу, прямо вот ухватиться за них не могу, мелькают как пчелы или снег валит. Как начали жалить: «Давись, пока нет!.. Убей брата, а деньги в карман... В монахи, в схимники... Жену убей... Нет, любовника убей, дочь возьми...» Потом

все умолкло, как метлой смело, и, чую, один только голос во мне выявляется: «Будет указано». Вдруг: дзинь-дзинь! Дверь отворилась: впереди братец, а сзади два жандарма и пристав. Я вскочил, а милый братец протянул руку и сказал: «Вот!»

— А-а-ах, сволочь! — прошипел вдруг дед, судорожно сжимая пальцы.

Ванька плюнул в кулак и потряс им в воздухе:

— Так твою так!.. Вот это брат... Я б его, на твоем месте, по зубам да об голову... Я б его!..

Лехман встал, крякнул, сдвинул на затылок сшитую из тряпок шапку, взял топор и начал сильными взмахами рубить возле угасавшего костра пень. Пень не поддавался, и дед, вдруг обозлившись, ругал топор, ругал Ваньку, ругал эту чертову коряжину-пень, — ни дна б ему, ни покрышки, окаянному, — швырнул топор в тьму и куда-то быстро скрылся.

Антон молча вздыхал. Ванька Свистопляс на все лады сквернословил...

Два голоса вдали послышались: сердитый — Лехмана и виноватый — Тюли. Лехман кричал грубо и надсадисто. Тюля робко возражал.

— Чтоб тебя, дикошарого... Мало тебе еще, че-орт...

— А как, не скоро придем в Кедровку-та?

— Не скоро-о?.. Твое дело пакостить...

Подошли.

— Ну, сухарей возьми, ну, крупы отсыпь... А порох-то зачем, сбрую-то зачем?.. Че-орт...

Тюля свалил у костра мешок награбленного в зимовье добра и стоял с улыбающимся, испуганно-виноватым лицом.

— Я в ответе буду.

— Ты, тварь? Ты! — рявкнул Лехман. — Наш путик только загаживаешь... Ведь поймают — всем нам башки оторвут.

Тюля поправил костер, взял мешок, приподнял, будто примеряясь, грузно ли, и, отбросив с сердцем в сторону, сел.

— А у нас в Расее... — начал было он, но Лехман, тяжело пыхтя, перебил его:

— Давайте, братья, спать: ишь ночь.

Темно было кругом и тихо. А холод наплывал все настойчивее. Спины у бродяг стали мерзнуть.

— А у нас в Расее... Дык... Эдак-то... — попробовал вновь завести разговор Тюля, щуря на Лехмана свои узкие поросячьи глаза.

— Брехун, — сказал дед и стал укладываться, подостлав на землю хвои.

Лехман приподнялся, вздохнул, потер старую спину, задумался. Свою Лехман думу думает, таежную.

Тихо в тайге, замерла тайга. Обвели ее шиликуны чертой волшебной, околдовали неумытики зеленым сном. Спи, тайга, спи... Медведь-батюшка, спи. Сумрак пахучий, хвойный, карауль тайгу: встань до небес, разлейся шире, укрой все пути-дороги, притуши огни.

Не шелохнет тайга. Ветер еще с вечера запутался в хвоях, дремлет. Вот хозяин поднимается, — белые туманы, выплывайте, — вот хозяин скоро встанет из мшистого болота. Филин, птица ночная, ухай, канюка, канючь, — хозяин фонарик отыскивает... Звери лесные, все твари летучие, жалючие, ползучие, залезайте в норы: хозяин идет, хозяин строгий... Расстилайтесь, белые туманы, расстилайтесь... Человек, не размыкай глаз: хозяин страшный, увидишь — умом тронешься, крепче спи... Тише, тише: хозяин потягивается, хозяин с золотого месяца когтем уголек отколупывает... Ох, тише: хозяин дубинку взял...

«Го-го-го-го-го-оо-о-о-о...»

— Кто это? Ты, дед?! — как гусь, вытянул шею Ванька.

Бродяги спали крепким сном.

IV

Только теперь почувствовала Анна, что Андрей и она — одно.

Когда наладилось у них с Андреем — веселая была, без песни не работала, а теперь словно подме-

нили: тихая, молчаливая. А то — задумается, стоит столбом у печки, не живая. Окликнут — вздрогнет. Бородулин сердиться стал.

— Я на тебя, Анка, штраф буду накладывать... Однако я тебя, девка, к себе в спальню утащу...

Но Анна строгим, укорчивым взглядом гасила купеческую кровь.

Давненько на нее Бородулин зарился: так, поиграть хотел. Надо бы Дашке отставку дать еще с осени. Анну приручить тогда — раз плюнуть, полагал купец, а теперича... Большого купец дал маху: у Андрея действительно рожа замечательная, благородный... без штанов, а в шляпе...

— Ты чего, быдто щелоком охлебалась? — как-то спросил Иван Степаныч Анну.

Промолчала Анна.

— Али все по Андрюхе тужишь?.. Смотри, девка, — погрозил шутливо пальцем и поглядел на Анну по-грешному.

Но когда глядел на Анну, вместе с грешной думой что-то новое шевельнулось в душе, словно зеленая травинка сквозь землю в чертополохе прорезалась.

«А что?.. — сам себя спрашивал купец. — Дело было бы...» — и улыбнулся.

И весь день улыбался.

Давно надо бы Андрею воротиться. И уж стало думаться Анне разное: не заблудился ли, медведю не попал ли? А вдруг в бега ударился! Не спится Анне по ночам, а ежели уснет — сон тягостный мучит, вскакивает Анна в страхе и долго сидит во тьме, трясется. Ведь вот стоял, наклонялся, гладил... Нету. Закричать бы, заплакать... горько-горько заплакать бы... Но не было слез.

Май за середку перевалил. Андрей не возвращался.

Товарищи-политики всполошились: все сроки прошли, пропал Андрей. Мужиков сбили, три дня всем селом в тайге шарили — нету.

— Убег, стерва, — сказал Бородулин мужикам. — Упорол... Наверняка упорол...

У Анны сердце кровью облилось. Все три дня не пила, не ела. Точно в дыму ходит, вся снутри горит, А как вернулись мужики ни с чем, обрядилась Анна во всю таежную мужичью «лопотину»: холщовые штаны надела, рубаху посконную, бродни, взяла винтовку у хозяина да двух собак и пошла с кривым солдатом в тайгу.

— Эк тебя подмывают лукавые-то... — ворчал Иван Степаныч. — Эк тя присуха-то корежит...

Долго они по тайге путались, верст на сто обогнули, весь порох расстреляли, — нет, не откликается. Так и вернулись домой, ободрались оба, солдат щетиной оброс, у Анны щеки провалились. Бородулин только головой покачал.

— Ну, как же... ты скажи... Ради бога, скажи... Куда схоронил? Где? — как-то пристала к Ивану Степанычу Анна.

— Кто? Я? Да ты ошалела, девка?

— Побойся бога... Отдай... Ну, отдай...

Иван Степаныч и на счетах брякать перестал. Долго, пристально смотрел на Анну. Стоит перед ним тихая, уже не кричит, не просит, глаза опустила, а губы дрожат, кривятся, не может совладать.

Бородулин поднялся и заботливо повел Анну вниз, в ее комнатку.

— Найдется.

Твердо сказал купец. Анна поверила и улыбнулась, а как стал гладить ее голову, поймала руку, заплакала — и вдруг ей сделалось легко.

И только засыпать начала, Бородулин так же твердо, как по сердцу молотом:

— Он давно дома у себя...

Анна поднялась — темно. Кто загасил? Где солнце? Где Андреюшкино солнце?

— Иван Степаныч! Даша! — кричит Анна.

Никто не отозвался. Только в углу, где рукомойник, капелька по капельке булькала в лохань вода.

— Иван Степаныч, Иван Степаныч!.. — идет босиком, простоволосая, половицы поскрипывают, двери сами собой отворяются.

Надо бегом, радостно стало, надо по задворкам, как тогда, как раньше...

— Ну, куда ж ты, стой! — Даша схватила ее сзади.

— К нему... к Андрею.

— Да ты что? Очухайся...

— Иван Степаныч сказал...

— Пойдем, пойдем... Когда это? Он вечор еще уплыл. Чего ты мелешь. Да и-и-ди-ка, телка!

Полная луна стояла в небе. Анна поглядела на луну, на голубую церковь, на Дашины черные глаза.

Стало быть, сон...

— А Анна-то тово... — сказала поутру Даша и постукала пальцем по лбу.

Старухи приплелись, застрекотали. То с уголька советуют спрыснуть — может, отведет, то в подворотню пролезть голой да на месяц по-собачьи взлаять. Хорошо бы за упокой подать, батюшка добрый, ему только бутылку посули, отслужит панихиду, это помогает: душа у Андрея скучать начнет, ангел божий на дорогу выведет — иди.

Анна старух разглядывает, виски сжала ладонями, голова болит. А старухи пуще; голоса крикливые, друг с дружкой сцепились, орут, слюнями брызжутся.

— Колдовка! — кричит горбатая. — Твое дело по ночам коровам вымя выгрызать...

— От колдовки слышу! Тьфу! — вскочила хромая, топнула кривой ногой и вся в дугу изогнулась. — Ты вот свиньищей оборачиваешься, оборотка чертова...

— Ну, ты... потрясучая!..

Анна стонет, голова гудит. Хоть бы Иван Степаныч пришел да выгнал. А старухи пуще.

Анна тихонько ноги спустила да рукой к ружью, — и страшным голосом на старух:

— Уходите...

Старухи, как овцы, стадом в дверь.

А по селу прокатилось: кедровская девка спятила.

Приехал из волости урядник, собрал сход.

— Искали, ребята?

— То-ись, скажи на милость, всю тайгу выползали.

— А покличьте-ка ее, эту фефелу-то вашу... как ее?..

Стали Анну звать — не идет, староста пришел — не идет, приказано силой взять.

— Ну, иди... Чего ты, право?

— Пошто я ему? Изгаляться, что ли? — сверкнула она взглядом, однако пошла.

Урядник на завалинке сидит: ногу отставил, руку в карман, глаза навыкате, усы строгие, сам «с мухой».

— Ого, кобылица какая... Ядре-е-ная... — облизнулся он на Анну. — А ну-ка, говори, сударыня... Ты трепалась с Андреем, с политическим? А?

Анна гневно сдвинула брови и тяжело задышала, косясь через плечо на урядника.

— Ты оглохла? — пьяно кричал он. — Я те уши-то прочищу... потаскуха мокрохвостая!..

Как под бичом вздрогнула Анна.

— Бесстыжий... Тьфу! — злобно плюнула ему в лицо.

— А-а-а... Так?! — блеснув на солнце перстнем, он со всей силы ударил ее в висок.

— Ой, ты... — обхватила Анна голову. — Зверь!..

Урядник, весь налившись кровью, вновь взмахнул кулаком, но мужики сгребли его и враз загрозили:

— Ваше благородие! Ты не смей!..

— Ты этого не моги!.. Девка чужая, девка одна...

— Что-о-о?.. — да как даст ногой Анне в живот. — В чижовку! Живо-о!

Анна перегнулась вся:

— Ребеночка убил... батюшки, убил! — И, дико крича, пустилась по деревне.

А от реки, развевая черной бородой, бежал на шум только что выкупавшийся Бородулин. Ему было видно, как в толпе, взлетая и падая, кого-то молотили кулаки: сверкнула шашка, взлягнули в чищеных сапогах ноги — и толпа вдруг бросилась врассыпную.

— Бу-у-унт... Бу-у-унт... — ползая по земле, хрипел урядник.

— Петр Петрович! Ваше благородие... Да ты что?

— Запорю... В каторгу, сволочи...

Ивану Степанычу больших трудов стоило увести урядника домой. Привел, подал сам умыться, — вода в лохани заалела кровью, — сам перевязал ему подбитый глаз.

— На-ка вот, — отрезал ему лучшего сукна на шинель, — порвали, подлецы! — да еще добавил двадцать пять рублей. — Ты лучше забудь... Мало ли чего... Ты с нашим народом не шути... Гольное зверье... Дрянь...

— Только бы начальство не дозналось... А с мужичками сочтемся... И девку тоже...

— Девка чего же... Девка ничего... Жаль все-таки... На-ка, дербулызни коньячку... На-ка рябиновочки...

Когда пьяного урядника положили поперек повозки, Иван Степаныч шепнул ямщику:

— Чебурахни его, анафему, куда ни то в лужу... где погуще... Понял?..

— У-устряпаю, — подмигнул веселый парень и, вскочив на облучок, вытянул вдоль спины и коренника, и лежавшего пластом урядника.

Иван Степаныч зычно захохотал вслед взвившейся тройке и кликнул новую свою стряпку, моложавую вдовуху Фенюшку:

— Ну, как Анка-то?

— Да чего... лежит...

— Истопи-ка пожарче баенку да распарь-ка ее хорошенько, разотри. Чуешь?.. Редьки накопай — да редькой. Ну, живо!

Он лег спать рано, — выпито порядочно, — ухмылялся в бороду и приговаривал:

— Засужу... Хе-хе... вот те засужу...

Лежа думал: засудил бы, что тогда?.. Полсела угнали бы в тюрьму, сколько долгов пропало бы.

Поглядел на образ, на мягкий огонек лампадки и громко сказал:

— Слава тебе, Микола милостивый, слава тебе...

От избытка сил Ивану Степанычу легко и весело, мысли приятные роились, и во всем теле гулял легкий полугар. Чей-то голос знакомый послышался, Анкин не Анкин, глаза голубые приникли, кажется Анкины... да... ее глаза, Анкины.

Поднял купец веки, крякнул:

— Сходить нешто... проведать... — Но вот улыбка ушла с лица. — Ужо исправнику собольков парочку подсортовать... Он его... Бродя-ага... Драться!

V

Завтра в Кедровке праздник. Каждый год в этот день из часовенки, или, как ее называли, полуцеркви, что стояла среди кедровой рощи, подымают кресты и всей деревней идут в поле, за поскотину, к трем заповедным, сухим теперь лиственницам — служить молебен.

После молебна начиналась попойка, а к вечеру угаром ходил по деревне разгул с пьяной песней, орлянкой, хороводами. К вечеру же заводились драки — кулаками и чем попало; доходило дело до ножовщины.

Пьянство продолжалось на другой и на третий день. За этот праздник вина выпивали много. В хороший год с радости: «Белка валом валит к нам в тайгу», в плохой год с горя: «Пропивай все к лешевой матери, все одно пропадать».

Вино всех равняло — и богатых и бедных. У всех носы разбиты и одурманены головы, все орут песни, всем весело. Будущее, как бы оно плохо ни было, уходит куда-то далеко, в тайгу; мысли становятся короткими: граница им — блестящий стаканчик с огненной жижицей, пьяные бороды, горластые бабьи рты. Все застилает серый радостный туман, и сквозь

него смеется тайга, смеется поле, смеются белки. «Бери живьем, эй, бери, богатей, мужик!» И мужик брал: тянулся к штофу, бросался вприсядку, махал свирепо кулаками, вопил в овечьем стойле, торкнувшись головой в навоз: «Й-эх, да как уж шла-прошла наша гуля-а-а-нка!..»

Проходили эти три хмельные дня — и все снова начиналось по-старому, вновь наступала серая, унылая жизнь.

Кривая баба Овдоха еще третьего дня уехала за попом в Назимово. Вместо колесной дороги туда проложена тайгой верховая тропа с крутыми подъемами и спусками, с большими топкими «калтусами», перегороженная зачастую в три обхвата валежником. Овдоха сама поехала на пегашке, а под попа взяла стоялого Федотова жеребца, — поп грузный, не всякая лошадь увезет.

Уж закатилось солнце, попа все нет. Народ в бани повалил. Бани — маленькие, с крохотным глазком избушечки, все, как одна, прокоптелые, словно нарочно вычерненные сажей — стояли над самым обрывом к речке. Две девахи, Настя с Варькой, выскочив окачиваться на улицу, первые увидали подъезжавшего попа и, стыдливо прикрываясь шайками, закричали проходившему с веником под мышкой человеку:

— Дяденька Митрий, батя едет, поп...

— Где?

— А вишь, — показала Настя шайкой и, вдруг спохватившись, она суетливо прикрылась. — Что ты на меня-то пялишься!..

— У-ух!.. Па-атретики! — осклабясь, ударил себя по ляжкам Митрий и уронил веник, а девушки с хохотом юркнули в баню.

Поп проехал к толстобрюхому Федоту, главному по деревне богатею. Криво что-то поп в седле сидит.

— Ты, батя, не пей до праздника-то, обожди мало-мало... — говорили ему, здороваясь и глотая слюни, красные после бани мужики.

Много их набралось к Федоту, накурили, наплевали, а батя сидел уж выпивши, ел со сметаной соленые грибы и, рюмка за рюмкой, пил водку.

— А позовите-ка сюда Прова Михайловича, чегой-то с дочкой его стряслось.

— Чего такое, батя?

Но староста Пров уж услыхал про Анну от Овдохи.

Праздник завтра, гулянка, а у Прова в глазах черно.

— Езжай скорее, Пров, за дочкой... — охает жена. — Батюшка ты мой, царь небесный...

Пров долго сопел носом, потом, выйдя расхлябанной чужой походкой в сенцы, захлопнул за собой дверь и громко там засморкался. А поздним вечером, надев овчинный пиджак, ехал по тайге на бурой кривой своей лошаденке.

У всех печи топятся, бабы снуют взад да вперед, взад да вперед, тесто заводят, кур колют. Где-то барашек заблеял-заплакал: прощай, жизнь!.. Поросенок сумасшедшим голосом ревет. Ревел-ревел, сразу замолк, словно обрадовался, что кончилось страшное. Два петуха безголовых пролетели поперек дороги, две старухи-ведьмы гнались за ними с окровавленными двумя топориками, бежали, тяжело сопя и задыхаясь, и сквозь стиснутые гнилые зубы зло посмеивались:

— А, не любишь? Это тебе, петька, не кур топтать...

Два кота сидели на воротах, уткнув друг в друга лбы, повиливали лениво хвостами и лукаво выводили, словно ребята в люльке гулькали.

Месяц, огромный, будто намасленный блинище, одним глазом выглядывал из-за тайги: а ну-ка поглядим, как бабы стряпают.

Дымок вился из труб, вкусно попахивало жареным, псы ловили на лету подачку или, болезненно взвизгнув, кубарем летели от пинка.

Девка песню завела, бежит с ведром к речке да поет.

— Ты сдурела? — стыдит встречный дед.

Хохочет:

— А чего? Думаешь, грех?

— Нет, спасенье...

Старики у часовни сидят, хоть не холодно, а в валенках: удобней. Трубки сосут, согнулись вдвое, врут друг другу штуки, разные случаи рассказывают: «А эвона, в тайге-то, иду я, этта, иду...» — «Чего в тайге, со мной, ребяты, у мельницы случилась оказия». Врут да врут. Завтра праздник, можно и поврать. Завтра вино будет, знай гуляй! Дымокуры возле них курятся. Митька, парнишка-сопляк, то гнилушек, то назьму охапочку, то травы подбросит: зелеными клубами дым пластает и гонит комаров.

— Попа-то караулят ли?

— Укараулишь его, черта!

А батюшка, человек ядреный, в годках, лицо крупное, с запойным отеком, желтое, на приплюснутом носу румянец. Он действительно слова не сдержал: «Обрей мне полбашки, как каторжнику, ежели до праздника упьюсь», — а сам еле сидит за столом, бахвалится:

— Мужичье!.. — но мужиков в избе не было, одна бабка Агафья, теща лавочника Федота. — Вы чего понимаете, а?.. Вы как обо мне, чалдоны [1], понимаете? Как ваша мление будет, а?!

— А так, что ты долгогривый, и больше ничего... Забулдыга... — брюзжит рассерженная бабка.

— Н-да-а... Нд-а-а... — теребит поп красную с проседью бороду, икает и примиряюще говорит: — А ты лучше, девка, дай-ка еще груздочков-то...

Поп щурит глаза, всматривается в согбенную фигуру бабки и, прищелкнув игриво пальцами, говорит:

— Слушай-ка, молодуха...

Стоит старуха у печи со сковородником, печет к празднику блины.

— Я, девка, жениться думаю. А?.. Что мне, ведь я холостой.

---

[1] Чалдон — коренной сибиряк-крестьянин. *(Все подстрочные примечания принадлежат автору.)*

— Пес ты, а не поп...

Священник озирается, — нет ли постороннего, — зевает широкой пастью, крестит левою рукою рот, рявкает и, подмигнув, шипит:

— Слышь-ка, эй, молодуха... Ты куда меня положишь?.. А?..

Хихикает и шепчет:

— Ты приведи-ка мне бабенку, а?

Федот пришел. Старуха ожила.

— Гляди, чего говорит! — закричала зятю. — Грива этакая.

— А чего говорю?! — ворчит поп. — Дай-ка водки!

— Нету, батя... Завтра... Слушай-ка, чего сейчас сказывал караульщик... Грит, чудится...

— Давай вина.

— Нету, батя, все.

Поп вскочил и, держась за стол, двинулся к Федоту.

— Я тебе покажу — нету! Давай!..

А у завалинки поселенец старичишка Беспамятный стоит пред мужиками, отказывается идти караулить ворота в назимовской поскотине.

— Вот тебе Христос, вот... Сижу это я, робяты, в шалаше, чую — ко сну клонит, борюсь-борюсь — нет, а время ка-быть раннее. Сбороло, братцы, меня: как сидел на дерюге, так и заснул. Вдруг слышу — бубенцы, бубенцы, лошади топочут, ямщик гикает. Вот тебе Христос, вот... Ну, думаю, по дороге кто-нибудь с приисков катит. Не иначе. «Отворяй, старый черт!» — ревут. Я вскочил без ума, подбежал к воротам. Никого. Тут у меня и волос торчком пошел... Вот тебе Христос, вот... Да так до трех разов... Я и побег без оглядки... Сроду теперича не пойду, подохнуть — не пойду.

Мужики посылать начали того, другого, третьего — не идут: праздник завтра. Однако согласился хромой непьющий парень Семка.

— Только с опаской, Семенушка, иди... Благословясь...

Месяц высоко поднялся. На бугорке сидела собачонка пестренькая, смотрела на тайгу и, откинув назад левое ухо, полаивала:

«Гаф!.. Хаф-хаф...»

Взлает так и поведет ухом, дожидаясь.

И в тайге тихонько откликается: «гаф-хаф-хаф...»

Переступит передними ногами да опять. А сама о другом думает: хорошо бы поросячий бок стянуть; принюхивается — пахнет отлично, но хозяин ей дома на хвост наступил, а баба поленом запустила. После. Вот уснут.

«Гаф!.. хаф-хаф...»

Митька-сопляк тихо крадется к ней с дубинкой.

«Гаф! хаф-хаф...»

Да как даст собаке по башке. Собака с перепугу не знала куда и кинуться, забилась под амбар, визжит — больно.

Митьку мать разыскивает:

— Ты где, паскуда, мотаешься?.. Иди Оленку качать!

Да как даст Митьке по башке. Заплакал. Больно.

Ночь спускалась, а огней еще не тушили. Свет из окон желтыми полосками пересекал дорогу. А подвыпившему бездомовнику Яшке казалось, что это колодины набросаны: шел, пошатываясь, нес в обеих руках за горлышко две бутылки вина и высоко задирал ноги перед каждой полоской света — как бы не запнуться да бутылки не разбить.

Тише да тише в деревне становилось, гасли огоньки. Петухи запели.

У Федота шум во дворе.

— Черт, а не поп: квашню опрокинул с тестом!.. Тьфу!

Батюшка с закрученными назад руками мычит, ругается:

— Развя-зывай!..

— Врешь! — хрипит Федот. — Дрыхни-ка на свежем воздухе!..

И запирает попа на замок в амбаре.

Все огни погасли. Только покосившаяся избушка, что на отлете за деревней, не хочет спать. Един-

ственное оконце, с коровьим пузырем вместо стекла, бельмасто смотрит на улицу. Тут старуха живет, по прозванию Мошна. Вином приторговывает и сказки складно говорит. Одинокая она, земли нет, коровы нет, надо как-нибудь век доживать. Запаслась хмельным порядочно, на праздник хватит. Старуха пересчитала деньги, велика ли выручка, — оказалось двадцать два рубля, — спустилась с лучиной в подполье, покопалась в углу, вынула берестяной туесок, спрятала в него деньги, зарыла. Опять выползла оттуда, косматая, жует беззубым ртом, гасит огонек в лохани. Мигнуло в последний раз бельмастое оконце и защурилось. Темно в избе, только лампадка теплится перед божницей.

Опустилась Мошна на колени, стукнулась в пол головой и громко, радостно сказала:

— Слава тебе, Микола милосливый, слава тебе.

Собачонка пестренькая опять на пригорок забралась, опасливо полаивает:

«Гаф!.. хаф-хаф...»

VI

В селе Назимове в этот предпраздничный кедровский вечер любовница купца Бородулина, гладкая солдатка Дарья, долго прощалась у овинов со своим сердечным другом — уголовным поселенцем Феденькой.

— Не обмани, слышь... Окно приоткрой малость, я и... того, — строго наказывает коренастый черномазый ворище Феденька, потирая ладонью щетинистый свой небритый подбородок.

Дарья, потупясь, молчит и наконец раздумчиво спрашивает:

— Да ладно ли, смотри?

— Эх ты, дуреха!.. — притворно-весело крикнул Феденька и обнял Дашу.

— Ну, была не была... — улыбнулась Даша, звонко поцеловала Феденьку и, шурша кумачным платьем, неторопливо пошла вдоль заплота. Оглянулась, мах-

нула белым фартуком и скрылась в калитку на задах бородулинского двора.

Купец Бородулин, как матерый медведь, расхаживал вперевалку по большой, с цветами и занавесками, комнате.

— Феня! — крикнул он. — Пожрать бы.

— Чичас-чичас, — откликнулась та из кухни.

«Женюсь, — вот подохнуть, женюсь», — думает купец, поскрипывая смазными сапогами. Брови напряженно сдвинуты над переносицей, — мозгами шевелит, — глаза упрямо всматриваются в будущее, а сердце, наполняясь кровью, бьет в грудь молотом: силы в купеческом теле много.

«Жену, может, в городе зарежут... Где ей перацию вынести!.. А не зарежут в больнице, так... тогда... Чего, всамделе, мне ребенка надо. Десять лет живу с бабой — ничего. А Анка — девка с пробой, ребят может таскать, да...»

— Фу-у-у ты... — шумно отдувается купец и, взглянув смущенно на икону, садится к столу.

— Здравствуй, — сказала грудным низким голосом вошедшая солдатка Дарья.

— А где Анютка? — строго спросил купец.

— Где... Я почем знаю... где... Внизу, где ей больше-то...

Фенюшка принесла ужин.

Дарья выпить любила, но сегодня пила с оглядкой, а Бородулину подливала не скупясь:

— Пей с устатку-то... Сказывают, долг привез тебе заимочник-то?

Она покосилась на письменный стол, куда Иван Степаныч прятал деньги, и сказала, блестя черными, чуть отуманенными вином глазами:

— Мне бы дал десяточку, а я тебе ночью сказку расскажу... Ладно? Ох, и ска-а-зка будет... как мед! — придвинулась к Бородулину, припала румяной полной щекой к его плечу и снизу вверх дразняще заглядывала в глаза, полуоткрыв красивые свои насмешливые губы. От нее пахло кумачом и свежим сеном.

— Ваня, обними-и-и...

— Ешь баранину-то, остынет... — отодвинулся от Даши.

Феня еще дополнила графин. Выпили. Феня спать ушла.

Купец прилег на диван, жалуется — жить чего-то трудно стало, — голову на теплые Дарьины колени положил. Дарья гладит черные лохматые его волосы, целует в белый высокий лоб и осторожно, выпытывая купеческое сердце, говорит:

— Вот, как овдовеешь, женись на мне, Иван Степаныч...

— Дура... А солдат-то твой? муж-то?..

Даша тихонько хихикнула:

— С твоей мошной все можно...

— Я и без тебя знаю, на ком жениться-то... — осердился Бородулин.

Даша, вдруг сдвинув брови, пригрозила:

— Ну, гляди, купец... — а пальцы, перебиравшие его волосы, дрогнули, остановились.

— Принеси-ка лучше пивца холодненького, — заметно ослабевшим языком сказал примиряюще Иван Степаныч.

Пиво скоро сбороло Бородулина. Разуваясь и разбрасывая с плеча по разным углам сапоги и портянки, он пьяно бормотал:

— Йя все ммогу, Дашка... Вот захочу — шаркну сапогом в раму — и к черту... Ха!

Кукушка в часах выскочила, прокуковала и захлопнулась опять маленькой дверкой.

— Скольки?

— Десять, надо быть...

— Спать пора... Ну-ка, Дашка, подсобляй...

Повела его к кровати. Лег.

— Никто мне не указ, да! Вот выскочу из окошка да как дам бабе по виску! Да... Поп? Попа за бороду... И ничего-о-о. Потому — я во всей волости первый... Верно?

— Ну, и спи со Христом.

— Йя все ммогу... Поняла? Потому — Бороду-у-улин!.. Знай!.. — и неожиданно трезвым голосом добавил: — А вот Анютку я люблю...

Кошка вскочила на кровать, под одеяло к ним залезла.

— Анютка — золото... Йэх ты, как пройдет, бывало, по горнице: кажинна жилка в ней свою песенку поет... Да...

Дарья схватила кошку за задние ноги и швырнула об печь. Кошка замяукала.

Купец зевал и крестил неверной рукой волосатый рот.

Дарья стала легонько всхрапывать, повернувшись лицом к стене и нарочно выставив из-под одеяла свою крутую спину с круглым наливным плечом.

— Дашка, спишь? — тихо спросил купец.

Та похрапывала и стонала.

— Эй, Дарья...

Полумрак был в комнате, а на улице бело. Тикали часы, да где-то далеко брякал колотушкой сторож.

Бородулин поднялся, спустил тихонько с кровати ноги на оленью шкуру, еще раз поглядел на Дарьино плечо, на черные раскинутые косы, задернул полог и, осторожно ступая, пошел в заднюю комнату, где была лестница на низ.

Лишь ушел купец — и холодом обдало Дарью, и жаром охватило, а сердце сжалось. Она вскочила и, крадучись, чтоб не скрипели половицы, побежала к письменному столу. Вдруг в соседней комнате Феня охнула и захрапела. Дарья схватилась в страхе за щеку и замерла, потом, быстро обшарив стол, распахнула окно и бросилась к кровати, держа в руке пачку денег.

Внизу, куда спустился Бородулин, были две большие комнаты, занятые лавкой с товаром, да третья маленькая: в ней жила Анна из Кедровки.

Подошел купец на цыпочках.

— Аннушка...

Дотронулся до ее колена. В рубахе девушка спала, не прикрывшись: жарко.

Та испуганно вздохнула, открыла глаза.

— Аннушка, милая ты моя Аннушка...— припал Бородулин лицом к кровати, а девушка прикрылась юбкой и встревожилась.

— Мне чего-то, Иван Степаныч, шибко неможется.

— Родная ты моя... вот я, пьяная рожа, пришел... Вот пришел... да...— шептал Бородулин в волнении.— Аннушка, тяжело... Родимая, тяжело...

Окна завешены, в комнате полумрак. Анна повела речь ровным, жалобным голосом, временами всхлипывая и вздыхая.

— А к батьке-то с матушкой неохота... Об Андрюше гадала,— ворожейка одна есть,— медведь заломал его... быдто. Полегчало мне...

— Никакого спокою у меня, Аннушка, на душе нету... С супружницей у нас нелады... А вот ты мне шибко поглянулась... Да... Полюбил я тебя, Аннушка... Ох, и полюбил же.

— Уж и не знаю чего... Она ерданским песочком меня поила да отчитывала. На сердце-то у меня полегче стало... Раз, два, четыре... а дальше-то позабыла... Вот как он мне, разбойник, по виску-то порснул... урядник-то...

— Черт, окаянная сила... Я его еще достану...— тряхнул бородой Иван Степаныч и, грузно шевельнувшись, ласково погладил девушку по голове.— Миленькая ты моя... Вот подумай, Анка, жить будем... Женюсь... Бабу свою выгоню... Тебя вылечу, женюсь... Обзолочу, сахаром обсыплю...

— Уж и не знаю чего... Ишь, разум-то у меня короток стал... Сама не своя другой раз... Чего уж... Вот вернется уж.

— Кто, Аннушка, вернется?— глянул ей в глаза.

— Как кто?— сказала жестко, будто топором два раза стукнула по дереву.— Как кто?— приподнялась быстро на кровати, с силой оттолкнув купца.— Где Андреюшка мой?!

— Что ты, богова,— отступил купец от высокой, грозной Анны.

— Ребеночка убили, Андрюшу выпили!..— она вскинула вверх руки, опрокинулась на кровать, затряслась вся, изогнулась.— Ой! ой! ой!..

— Господи помилуй... Девонька, что ты? — суетился отрезвевший купец. — Фенька! Дашка! воды!

А наверху на весь дом бабий крик:

— Караул! Караул!

— Подай Андреюшку!..

— Что такое? — купец с толку сбился. — Аннушка, родимая...

— Карау-у-ул!..

— Кого? Кто?! — несется вверх, а навстречу в рубахе Дарья, за ней Федосья.

— Живо, толстопятые черти... Живо к Анке!

Те трясутся, на спальню указывают, слова вымолвить не могут.

Купец туда. Морда чья-то лохматая, вымазанная сажей, в окне над открытым письменным столом торчит и — лишь вкатился купец — вмиг исчезла.

— Держи!.. — неистово взревел Бородулин, ружье со стены сорвал — не заряжено, топор поймал и, в чем был, загремел с лестницы.

— Держи, держи!.. — вопил он и, выделывая по улице кривули, бежал в гору, где дремала в роще церковь.

— Держи, держи!..

Старый караульщик на завалинке у своей избы лежал — проснулся, глаза кулаком протирает, кричит:

— Кто таков?! — и хватается за палку...

— Зарублю!.. Держи!..

— Бородулин... — шамкает старик и стучит испуганно в окошко. — Отопри калитку-то... Эй, бабка!..

Говорит ей во дворе:

— С топором бегает... Бородулин-то... Еще застрелит...

— Поди, приснилось? — улыбается старуха...

— Какò? В подштанниках... Туда!.. Должно, опять до чертиков...

А Дарья с Фенюшкой на хозяйскую кровать забились, сидят рядом, одна другой красивее, подбородками уперлись в коленки и трясутся. Феня говорит: «Боюсь», — и Даша говорит: — «Боюсь», — Фенюшка по-своему, Дарья по-другому: в глазах у ней дьяволята шмыгают.

Федя говорит: «Догонит»... Даша: «Нет, уйдет!» — и, закинув руки за голову, сладко потягивается: — Эх, кабы мне денег поболе... Ух ты, господи!..»

Кукушка опять из окошечка выпрыгнула, кукукнула двенадцать и ушла спать.

Бородулин все еще по селу летал: было слышно, как по всем улицам собаки лаяли и выли хором на разные лады.

— А все-таки жаль Анку, надо бы к фершалу свозить, — вздохнула Феня, — этакую девку, этакую кралю варначище какой-то, царев преступник, мог присушить...

— Ты дура, Фенька... Да Андрюша-то, картинка-то писаная...

— Страсть красив: отворотясь не насмотришься...

— Да я б за ним, за соколом, на край света: бери!

И Даша смеющимся своим, задорным голосом, нараспев, тоненько выводила:

— Вот так легла бы на крова-а-точку, — и она раскинулась дразняще на перине, — спустила бы с правого плеча руба-ашечку... разметала бы по изголовью белы рученьки... Бери!..

Феня сидя хихикала и баском тянула:

— Ну, и дуре-о-о-ха...

— Я б его... Андрюша... Ягодка моя! — тиская подушку, играла Даша голосом.

Послышался шорох и легкий скрип половиц: будто кто крался. Феня отдернула занавеску.

— Ай! — словно птицы от выстрела, враз сорвались и с диким криком: — Взбесилась! Взбесилась! — выскочили на улицу.

А за ними неистовая Анна:

— Убили, схоронили! Где он? Подайте мне его!..

VII

Вот и наступил в Кедровке праздник.

Утренняя заря как-то особо нарядно пала на тихие, еще не пробудившиеся небеса. Восток алел и загорался.

Солнца еще нет, но и слепой, насторожившй душу, не ошибется указать, откуда оно, сверкая, покажет свое лучистое чело.

Чудилось, что там, на востоке, шепчут стоустую молитву и поют радостную песнь, которую никто не может услыхать, но всяк чувствует.

Чувствует малиновка, разбуженная лучом зари: встрепенулась, открыла глазки и огласила утро трелью. Чувствует сторожевой журавль: стоял-стоял на одной ноге, очнулся, вытянул шею, взмахнул крыльями и закурлыкал. Медведица спала в обнимку с медвежатами, но холод разбудил ее — ага, утро! — встала, рявкнула, всплыла на дыбы, медвежата очухались, посоветовались глазами с матерью и пошли все вперевалочку к ключу умыться. Ярко-золотая полоса восток прорезала, грядущему не терпится — надо заглянуть, надо обрадовать — свет идет!

— Светает, — шепчет старая Мошна и, шамкая и прожевывая что-то беззубым ртом, спускается в подполье — целы ли двадцать два рубля.

Золотая полоса на востоке все шире, шире — кто-то приник к ней пламенным оком и заглядывает на зеленый мир.

Раскачивая ведрами и крестя на ходу сладкий позевок, идет к речке молодуха. Холодно. Вздрагивает плечами и прибавляет ходу.

Где-то ворота проскрипели. Другие. Третьи.

Мычит корова. Баран проблеял, десяток откликнулся веселыми, бодро звучащими поутру голосами.

Столетний дедушка, в белой до колен рубахе, шаркая ногами, вышел из калитки, сделал руку козырьком и, обратясь серебряным лицом своим к востоку, истово закрестился, приговаривая:

— Праздничек Христов, помилуй нас.

Молодуха назад идет:

— Здравствуй, дедушка...

— Здорово, батюшка... Кто таков?

— Я — Наталья... Не признал?

— А-а-а... Ну-ну... Наталья Матреновна. Как не признать... Здравствуй, Машенька, здравствуй... Спасет господь...

Та улыбается — лицо свежее, умылась на речке студеной водой — и, упруго покачиваясь, уходит.

Солнце встало. Весь мир светом наполнился. Вспыхнули огнем окна сцепившихся друг с другом, как в хороводе девушки, и приросших к горе избушек. Повеселел бархат пасмурной тайги. Засеребрился, заискрился крест часовни, а ворковавший на нем белый голубь стал розовым. Небо, чистое и бледное вверху и на востоке, все еще серело мглой на западе: туда умчались сраженные светом остатки ночных сил.

Деревня проснулась. Собачонки по дороге носятся, облаивая стадо. Баба помои из лохани вылила, сороки тут как тут, скачут, вырывая из-под носа у сонных ворон самые вкусные куски. Жучка на трех лапах — четвертую медведь отгрыз — лает на сорок: сама помои любит. Но те враз заливаются хохотом и, взмахнув крыльями, усаживаются на прясло.

Люди во дворах, в избах, на улице перекликаются ласковыми голосами: Иванушка, Дуня, братец.

Попахивает дегтем, навозом, гарью. Но вот повыше заберется солнце, тогда из-за реки повеет хвойным, таким бодрящим, острым запахом.

В логах и распадках речки еще стоят белые туманы. Раздумывают: растаять бесследно или спуститься к воде и припасть к зеленой щетке камыша?

Теплей и теплей становится. День будет жаркий. Солнце все выше забирает.

К часовне торопится старик Устин, усердный господу. Росту он маленького, лицом светел, в седенькой бородке, весь обликом в Николу-угодника, и взгляд голубых глаз такой же строгий, но милостивый. Сапоги его медвежьим салом смазаны — собаки принюхиваются, щетинят спины и отрывисто хамкают, показывая злые зубы. Рубаха на Устине длинная, новая, еще не мытая, топорщится нескладно на сутулой спине, подпоясана тунгусским, шитым бисером поясом. В гору подымается Устин, а сапоги грузные, а в ногах силы мало, натрудил, болят, трудно идти в гору. Он

еле отрывает сапоги от земли, сам весь вперед подался, с надсадой тащит за собою ноги, как ненужную ношу, и кряхтит.

— Батю-то будить? — кричит ему Федот, выставив из калитки тугой живот в жилетке с цепью.

— Буди: вот чичас ударю... Уж время. Эн где солнышко-то.

Вскоре прозвучал первый радостный удар небольшого колокола; удар за ударом лились от часовни звуки, катились в тайгу, а навстречу им в деревню торопливо плыли такие же, но далекие и робкие звоны неведомой часовенки, только что родившейся в тайге.

Петька, трех годов парнишка, прижимаясь к ногам матери, удивленно шептал, заложив в рот кулачок:

— Мамынька, это кто звоняет? — и кивал головой на тайгу, где была неведомая, как в сказке, часовенка.

— Дедушка Устин.

— Устин-то э-э-вот. А там медведь?

Старики и старухи поплелись, часто перебирая ногами и медленно подвигаясь вперед. Мужики тоже выходили на улицу и лениво шагали, заложив руки назад, или усаживались где-нибудь на завалинке, чтобы в виду была часовня: пусть Устин дергает за веревку, идти что-то не хочется, вот батя выйдет, да пока еще обрядится, да женщины иконы поднимут, с крестами из часовни мимо на пашню пойдут — тогда можно и пристать. Вина-то хватит ли? К Мошне сбегать можно, денег нет — ничего, поверит, вот белки бог пошлет... Бом-бом... Медведь... Вот бы штук пяток промыслить, две красных шкура. Нет, лучше на прииски идти, там какую копейку заработать можно... В город бы, чего там есть — поглядеть бы... Тут в тайге умрешь, ничего не увидишь... Как бы к девкам не полез... Он у нас проворный, подберет полы да вприсядку... ха-ха... Поп. Бузуям — бродяжне — надо окорот сделать, лабазы, паршивцы, грабят... Пакостники... Бам-бам... Господи помилуй, праздник... Баба на сносях, холера... Вот Палагу надо в сеновал затащить, девка добрая, леший ее задави... Бам...

Бам... Господи спаси... Праздник... Тьфу ты пропасть, грех! Никола милостивый...

И лезут грешные мысли, лезут. Принюхиваются мужики, пахнет хорошо: убоинкой пахнет — щи преют, оладьями пахнет. Вином по деревне понесло: рано бы, еще вино в подполье стоит, не откупорено, но у мужика в носу свербит, он заранее охмелел, веселые бесенята в глазах скачут, в ушах комариками кто-то попискивает. Глядят мужики на Устина, а тот все еще за веревку дергает, колокол поет, а в тайге откликается зеленая часовенка.

Федот прошел в суконном пиджаке и в шляпе. Народу на горе много собралось. Мужики встали с завалинки, пошли гурьбой к часовне. Федот что-то говорит в толпе, руками размахивает, волосы коровьим маслом смазаны — блестят, цепь на брюхе блестит.

— Вот это поп, — говорит Федот, — открыл это я, значит, завозню, батя лежит вверх бородой, мычит... Мухи на рыло-то ему насели, быдто пчелиное гнездо... Что, думаю, такое...

— Надо подымать! — кричит Устин.

— Подымал, ругается.

— Иконы подымать, — поправляет Устин. — Без него управимся!

— А батя-то не придет? — спрашивают бабы.

— Даже невозможно. Он ночью-то, робяты, встал, да бражки сладкой с четверть и ополовинил.

Бабы улыбаются. К часовне молодяжник с ружьями подходит. Бабы прихорашиваются, поджимают поприветливей губы и наполняют праздничным смехом глаза.

Устин вдруг из звонаря главным человеком сделался.

— Тимоха, наяривай вовся! — командует он. — Ну, бабы, да и вы, мужички, которые попоштеннее, айда, благословясь.

Тимоха, в розовой рубахе парень, весело идет к звоннице и, широко улыбаясь, хитро подмигивает девкам и начинает радостный трезвон.

Из часовенки, мерно выступая, выходит с образом божьей матери Федот. За ним, по две в ряд, зардевшиеся и сразу похорошевшие, молодые бабы. Каждая пара несла икону, убранную крестиками, ленточками и бумажными цветами.

Когда вынесли крест и фонарь, вышел, держа в руке курящееся кадило, Устин, усердный господу. Народ с иконами стоял по обе стороны крыльца, Федот с Казанской на ступеньки забрался, держа на животе образ.

Устин в новой своей рубахе, обливаясь каплями пота, струившегося с морщинистого лба и лысины, низко по три раза кланяясь, покадил сначала Федоту, потом каждой иконе по очереди и махнул свободной рукой в сторону свирепо названивавшего, все еще улыбавшегося придурковатого Тимохи.

Но тот, привстав на цыпочки и яростно перебирая колоколами, не догадывался, что надо кончать: служба начинается.

— Шабаш! — крикнул Устин, сердито покадив в сторону расходившегося звонаря.

Потом одернул рубаху, крякнул, переложил кадило в левую руку, поправил усы и бороду и бараньим голоском благоговейно начал:

— Благословен бог наш, робяты, навсегда и вныне и присно и во веки веков!

Сказав это, Устин усердно закрестился, а народ пропел: «Аминь».

Тимоха волчком подкатился к иконам, — ждать некогда, — бухнул каждой в землю, торопливо приложился, чуть образ у Федота не вышиб, — тот сказал ему: «Легше!» — и, протолкавшись сквозь толпу, опять встал под колокола.

Устин, воодушевившись, вновь замахал кадилом и запел:

— Радуйся, Никола и великий чудотво-о-рец!

Многоголосая толпа подхватила.

— Наддай! — весело крикнул Устин, подав знак Тимохе.

— Айда, благословясь, робяты... Трогай...

Толпа всколыхнулась и запела под заливчатый, плясовой Тимохин трезвон.

Но вдруг, заглушая все, загромыхали выстрелы. Ребятенки, взвизгивая и хохоча, били в ладоши, кувыркались перед поспешно заряжавшими шомпольные ружья парнями.

— Пли! — неистово кричал, задыхаясь от радости, парнишка Митька.

Парни палили залпами и в одиночку.

— А ну, громчей! — надсаживался Митька.

Все, предводимые Устином, двинулись вперед, медленно переступая и вздымая по дороге пыль.

Всполошенные на веревках псы одурело выли, пела толпа, трещали всю дорогу выстрелы, а вдогонку летел веселый медный хохот.

Устин чинно шел впереди, окруженный беспоясыми, чумазыми, поддергивавшими штаны босыми мальчишенками, время от времени взмахивая кадилом, и заливался высоким голосом.

Митька раза три забегал вперед Устина и, повернувшись к нему лицом, пятился задом и нараспев слезливо просил:

— Дедушка Устин, покади-и-и мне... А деда, покади-и-и...

Но тот, весь ушедший в небеса, отстранял парнишку рукой и выводил:

— «Ну, взбранный воевода победительный...»

Митька вновь неотступно вяньгал:

— Покади-и-и...

— Пшел! — шипит Устин. — Вот я те покадю!.. — И, догоняя бабьи голоса, подхватывает: — «Ти-раби, твои, богородицы...»

Вся деревня шла за крестным ходом в поле.

Столетний Назар далеко отстал. Он с горы-то шибко побежал, девки шутили: «Куда ты, дедушка, успеешь...» Да и теперь, кажется, переставляет ноги быстро, локтями сучит старательно, а — удивительное дело — отстает. И у деда слезы на глазах, лицо все в кулачок сморщилось.

— Отстал, спасибо... — шамкает столетний и плачет, утираясь подолом рубахи. Сел на луговину,

уставился мутными глазами на высоко поднявшееся солнышко.

— Праздничек Христов, помилуй нас.

Крестный ход остановился под тремя заповедными лиственницами, у большого, еще прадедами врытого на самых полосах, креста.

Толпа стояла под лучами солнца. Было жарко, и всем хотелось попить холодненького и поесть.

А Устин все новое и новое заводит. Бабы устало повизгивали, мужики подхватывали сипло и неумело.

Красноголовый, весь в веснушках, дядя Обабок, чтобы заглушить куму Маланью, рядом с ним ревевшую диким голосом, оттопыривал трубкою губы, выкатывал большие глаза и, подшибаясь каждый раз рукой, пускал местами такую оглушительную, не в тон, завойку, что ребятенки испуганно оглядывались на него и изумленно разевали рты, а мужики смеялись:

— Эк тебя проняло! А ты за Устином трафь... Чередом выводи, а не зря...

Устин без передыха пел, перебирая разные молитвы.

Слова молитв были чужие, непонятные для молящихся, они сухим песком ударяли в уши и отскакивали, как горох от стены, не трогая сердца. И только сознанье, что сами поют и сами служат, окрыляло души, и у некоторых глаза были наполнены слезами.

Иногда Устин долго мямлил, не зная, как произнести возглас, крякал, махал усиленно кадилом, громко приговаривая:

— Вот, ну... Паки... паки...

Но ничего не выходило.

Пользуясь такой заминкой, лавочник Федот повернулся к Устину и произнес многолетие, после которого красноголовый Обабок, нимало не жалея горла, так сильно хватил врозь, что все сбились и засмеялись, даже строгий Устин улыбнулся. Красноголовый сконфузился, отер мокрое лицо, протискался в самый зад и молча стал на краю, задумчиво обхватив живот.

Наконец Устину подсказали:

— Станови народ на колени... Давай свою хрестьянскую...

Тогда Устин передернул плечами, задрал вверх бороду и громко прокричал, подражая священнику:

— Вот... ну... Айда на коле-е-е-ни!..

Толпа, словно дождавшись великой радости, многогрудно вздохнула, опустилась на колени и дружно приготовилась слушать свою «хрестьянскую».

Устин, весь преображенный и напитанный воодушевлением, четким и трогающим голосом, то повышая, то понижая ноты, начал:

— Господи ты наш батюшка, воистинный Христос...

Все еще раз вздохнули, закрестились, забухали головами в землю, с надеждой поглядывая то на безоблачное, ласковое такое небо, то на седенького, в розовой новой рубахе, лысого Устина.

А тот, все больше и больше воодушевляясь, продолжал:

— Вот, всей деревней просим тебя, господи, помази рабам своим: дождичка нам пошли ко времени, хлебушка хошь какого уроди, пропитай нас всех, верных твоих хрестьян...

— Пропитай, господи, — вторила молитвенно толпа.

— Чтобы зверь лесной скотину не пакостил, чтоб белки поболе было в тайге, чтоб лиса в кулемки попадалась, чтоб всем нам, хрестьянам твоим верным, в животе и покаянии скончати... Вот... ну... этово...

— Конопля проси... Конопля... — глотая слезы, шепчут бабы.

— Бабам! — радостно восклицает Устин, потерявший было нить. — Бабам, верным *нашим* рабам, конопля уроди, боже наш. Чтоб всем нам в согласии жить, полюбовно, значит, без обиды, чтоб по-божецки... Да...

И Устин, уперев кулаками в землю, тяжело поднялся и, еле разгибая спину, закончил высоким выкриком:

— И во веки веко-о-в!

Многие из молящихся плакали от таких простых, милых сердцу слов молитвы.

Вскоре все кончилось, и толпа пестрой волной поплыла обратно в часовню, где неугомонный Тимоха так яростно набрякивал в колокола, словно желал во что бы то ни стало выбить из них голосистую душу.

С пригорка от часовни был виден кусочек сверкавшей на солнце речки и барахтавшееся в ней большое желтое бабье тело. Это поп выгонял из себя хмель, плавал, сильно ударяя по воде ногами, и гоготал на всю деревню.

Посмеялись крещеные и стали разбредаться со счастливыми лицами по домам.

Праздник начался хорошо.

VIII

Бахнул выстрел.

— Гоп-го-о-п... — чуть послышался голос.

— Это чалдон ревет, — сказал Лехман.

— Не черт ли, дедушка? — прошептал Тюля, уперев руками в землю и готовясь вскочить. — У нас, бывало, в Расее...

Светало. Туманом заволокло всю тайгу, и бродяги казались друг другу в неясной утренней полумгле какими-то серыми, словно пеплом покрытыми, огромными птицами.

Где-то тревожно кричит кукушка, над бродягами белка скачет: сухая хвоя полетела и густо падает в бороду Лехмана.

— Надо выстрел дать, — советует он Тюле.

Тот взял ружье, насыпал на палочку пороху, досуха вытер отсыревший кремень, свежий трут положил. Курок щелкнул, но трут не воспламенился, новый вставил — не берет. Бросил. Распятил рот до ушей, вложил четыре пальца и таким лешевым свистом резанул воздух, что, показалось Антону, дрогнул туман. Кукушка враз замолкла, белка оборвалась с лесины в потухший костер и, взмахнув хвостом, скрылась.

Бродяги захохотали и вдруг смолкли.

— Братцы... Постойте!..

— Иди-и-и!.. Сюда-а-а!.. — гаркнули бродяги, враз поднявшись.

Затрещали сучья, зашуршала хвоя, все ближе, ближе, опять послышался крик почти рядом, и вдруг, как из-под земли вырос, встал из туманной мглы человек.

— Братцы...

Донельзя ободранный, высокий и согнувшийся, он стоял перед бродягами, покачиваясь и зябко подергивая плечами.

— Братцы... — еще раз сказал, опустился на землю и положил возле себя ружье.

Плечи острыми костяками торчали вровень с макушкой головы. Лицо изможденное, весь колючий, всклокоченный, черный, глаза дикие.

Ванька испугался глаз, за Лехмана спрятался, а Тюля, засопев, пробормотал:

— А ну, перекрестись...

Лехман зыкнул на него:

— Разводи костер!

— Дедушка...

— Что, сударик? Это ты где себя? — и сел возле пришельца.

Тот схватил руку Лехмана, уперся в его плечо лбом и от сильного волнения едва выговорил:

— Чуть не сдох, братцы... Чуть не пропал...

Антон уж на коленях перед ним, гладит его по голове, душевно говорит:

— Ни-и-че-го-о... Ишь ты как... а?

Туман начал подбираться, сгущаясь в рваные, тянувшиеся понизу, плоские облака. Только в логах, где мочежины, он густо и надолго залег белым молоком.

Сквозь сонные вершины пробрызнули лучи восхода. Раздвинув ласково туман, они упали на корявый ствол распластавшегося над бродягами кедра. И полилось и заструилось небесное золото, закурились

хвои, замерцали алмазы ночных рос. Всеми очами уставилась тайга в небо, закинула высоко голову, солнце приветствует, тайным шелестит зеленым шелестом, вся в улыбчивых слезах.

Благодать золотая на мир опускается, млеет тайга. Пойте, птицы, выползайте из нор, гады ползучие и кусучие, — грейтесь на солнце: солнце пожрало тьму. И ты, медведь-батюшка, иди гулять, иди: вон там холодная речка гуторит, вон там в дупле пчела пахучий мед кладет. Пойте, птицы, радуйтесь, славьте яркое солнце! Хозяин лесной, а ты не кручинься, — сгинь, сгинь! — иди в болото спать, ты не печалуйся: над тайгой солнышко подолгу не загащивается.

Пред сосной, в тени, бьет Антон земные поклоны, умиленно взглядывая на медный, прислоненный к стволу, образок. Лехман с Тюлей все еще у ключика полощутся, Ванька чай кипятит.

Все зашевелились, к котелку примащиваются, расцвели все на солнце, зарозовели. Ожил и пришелец. Он улыбался, чашку за чашкой пил с сухарями чай: он неделю ничего не ел, вот белку третьего дня убил, пробовал — невкусно, душа не принимает, порох кончился, спички кончились, без огня — смерть.

Бродяги его не расспрашивают, неловко. Сам стал рассказывать, как еще раннею весной из дома вышел. Он в тайге сколько раз хаживал, тайга ему знакома: то по солнцу идет, то по приметам. На пятнадцатые сутки, когда уж хотел домой идти, стал через речку по буреломине переходить, да и оборвался. Вода сразу обожгла, ножом резанула, а ночью холод ударил, иней пал. Простыл, свалился, сколько дней без памяти лежал — не знает. А пришел в чувство — во всем теле слабость, и соображение изменило, и нюх пропал сразу как-то, вдруг. С этого и началось. Бродил-бродил — не может как следует утрафить, все возле речки кружится. Нашел переход через речку, ту самую лесину отыскал, — переполз кое-как на карачках, шел, шел, шел — тайга. Все места одно с другим схожи до крайности: листвень, ель, сосна, кедр, кедр, а вверху — небо с овчинку. Солнце в это время не показывалось: целую неделю морока́ стояли,

весенние дожди выпадать начали. Что тут делать? Он в одну сторону, он в другую — нет, чует, что закружился окончательно. Глядит: опять к той — проклятой — лесине вышел.

— Тьфу! Сел под елью, с досады слезы покатились. Три заряда у меня осталось. Эх, думаю, трахну в рот. Представил себе это: вот я, молодой, сильный, кругом сосны шумят, птицы, цветы... и вдруг... Нет, думаю... еще рано...

Антон, вскинув брови, набожно перекрестился и жалеющим взглядом уставился на пришельца.

Все выше и выше вздымалось солнце. Туман исчез, и тайга ярко-зеленым живым морем вновь охватила сидевших у костра людей.

Каша упрела хорошо, обед был сытный.

— Ну что ж, товарищи, как? — спросил Лехман, засовывая за голенище бродней тщательно облизанную ложку. — Дальше пойдем али как?

— Я не могу, я очень утомился...

— Ну, так чо! — весело воскликнул Лехман. — Тогда, робята, давай отдыхать седни... Куда спешить!

Ванька, насвистывая плясовую, на рыбалку отправился. Пришелец лежал, закинув за голову руки, глядел в небо. Дед корзину из молодых веток плел, Антон сидел возле него и чинил шапку.

Тюля так налупился каши из украденной крупы, что брюхо барабаном вздулось. Он, самодовольный, подполз к пришельцу и ядрено заулыбался:

— А ты, мил человек, женат?

— Женат.

— А ты из каковских?

Тот покосился на него, сказал:

— Я политический.

Тюля в ответ боднул головой, вскинул брови, крепко зажмурил глаза-щелочки, пошлепал, втягивая воздух, толстыми губами и принялся чихать:

— А я... ч-чих... а я... расейский... Ачих-чих! Тьфу!

— Эк тебя проняло!.. — крикнул дед.

— Ччих! Комар... комар в ноздре... Дык спалитический?

— Да.

— Ну, стало быть, земляк... — еле переводя дух, заключил Тюля и вновь, под общий смех, на все лады принялся чихать: он ползал враскорячку по земле, неистово тряс головой, таращил на смеющегося Лехмана глаза и, весь багровый, грозил ему веселым кулаком.

Потом вдруг вскочил.

— Ах, обить твою медь! — и опрометью бросился в кусты.

Лехман, повалившись на бок, закатился громким хохотом:

— Вот так это Тюля, вот так расейский человек!

— А где мы примерно находимся? В каком месте? — осведомился пришелец.

— Да, однако, днях в трех-четырех от Кедровки, — ответил Лехман.

— Что?! — быстро приподнялся тот и уперся о землю локтем. — От какой Кедровки?

— От какой... Кедровка одна в этих местностях... От Назимовской...

Пришелец встал, встряхнул волосами и во все глаза уставился на Лехмана.

— Ух ты дьявол!— вдруг взвился вдали резкий, отчаянный Ванькин крик. — Оле-ле-о-о!.. Ух ты! Дедка, дед, ташши ружье!.. Медведь, вот те Христос, медведь! Ух ты дьявол! Оле-ле-о-о!..

Лехман засуетился, с ружьем, согнувшись, к Ваньке кинулся, а навстречу Тюля из кустов чешет.

— Назад, дедка!.. Ведмедь там, ведмедь!..

Когда все успокоилось, Тюля развел от комаров курево и принялся врать Антону:

— Я, это, как отбился от своих от расейских самоходов, на Амур-реку ударился. И вели мы там, Антон, просек, чугунку ладили... дык этих самых ведмедев-то, однако, штук шестьдесят враз на деревню выгнали... Ну, мужики тут их, голубчиков, и умыли. Мужики передом на них прут, а мы, значит, сзади напирам... Как начали качать, да как начали... Аж пух летит... Кто топором, кто из стрелябии... Знашь, така машина анжинерска... как порснешь-порснешь...

Андрей-политик лежал на спине, смотрел не мигая в небо и прислушивался к пушистому шелесту хвой.

«Неужели — близко?»

Много за это время Андрей передумал, много перечувствовал.

— Анночка, — шепчет Андрей и видит голубые глаза, такие грустные и укорные, что сердце глухо замирает, а губы от волнения дрожат и прыгают.

И опять думает Андрей и не может оторваться от думы: колышется возле, шепчет, вдаль влечет, торопит — скорей, не медли...

И уж кружатся мысли радостные, радостно в ладоши бьют, звенят колокольчиками. Все страшное изжито, впереди радостный труд, впереди Аннины лучистые глаза и ее душа особенная, новая, не как у всех, новая Аннина душа.

— Вот ты, говоришь, спалитический... А скажи, сделай милость, что они, эти самые сполитики? — подает Лехман голос. — У меня один знакомый такой был, вроде как из ваших... Что же, у вас шайка, что ли, такая?

Андрей не сразу оторвался от дум. На Лехмана смотрит: Лехман корзину плетет, Ванька с Тюлей за грудки друг друга берут, борются.

— За кого они, к примеру, стоят, в кого веруют?

— За народ стоят, за правду.

Лехман, положив руки на колени, долго и внимательно разглядывал Андрея, потом сказал:

— Так-так-так... Стало быть — верно: не впервой слышу... Дело доброе...

Солнце спускалось за тайгу. Наплывали сумерки.

А как замигала в небе бледная звезда, повел Ванька, лежа на брюхе, сказку:

— И вот, значит, жила-была царица-змеица, прекрасная королица... И пошел к ней мужик, по прозвищу Бормá, правду искать... Вот ладно... Шел, значит, он, шел... И вдруг как выскочит из-за кустов страшный Оплетай, одна рука, одна нога... «А-а, правды захотел?!» — да как вопьется ему в лен, значит, в шиворот, и начал кровь сосать...

Андрей борется со сном, но глаза сами собой смыкаются, все куда-то плывет и затихает...

... — «Ты кто таков?» — «Я страшный Оплетай, одна рука, одна нога»...

Андрей перевернулся лицом к кедру и крепко заснул.

IX

Иван Степаныч Бородулин торопился из волости в родное село Назимово. Урядника в волости не застал: уехал на дальний прииск три тела подымать.

Бородулин знал, что вор кто-нибудь из назимовцев, а скорей всего «уголовная шпана».

«Жулик, черт. Поди, в Кедровку упорол... Там гулянка добрая... Вот коня сменю — и в путь».

И не от скупости это: триста пятьдесят рублей — раз плюнуть, из-за них Иван Степаныч не стал бы себя тревожить.

Но вот вчера, ночуя в тайге, он увидел сон: явилась Анна во всем красном и сказала: «Деньги найдешь — быть!» А что такое «быть» — не разъяснила.

И Бородулин всю дорогу думает о ней, никак не может отмахнуться, все мерещится ему Анна, сильная, ядреная.

Едет вперед и тайги не замечает, все сгинуло куда-то, провалилось. Но вдруг в сознании всплывает зобастая, нелюбимая жена.

— Но, дьявол! — бьет Бородулин лошадь, кругом вмиг вырастает стеной тайга: вот сосны, вот пень, муравейник прижался к корням темной елки, попискивают и жалят комары.

Начинает купец думать о делах: надо земли прикупить... Но зачем, куда ему: умрет — кому оставит? «Эх, сына бы!»

«Деньги найдешь — быть...» — опять тихонько просачивается в душу; замелькали голубые задумчивые Аннины глаза, а тайга вновь стала куда-то уходить, заволакиваться серым, исчезли лошадь, солнце, комары. И Бородулин, сладко ощущая, как у него зами-

рает сердце, как неотступно стоит перед взором Анна, соглашается радостно, что без Анны ему не жить.

«А жена? Убьешь?»

— Но, дьявол! — хлещет неповинного коня...

Солнце за полдни перевалило, когда он подъехал к Назимову.

Едет трусцой по улице, а навстречу народ бежит.

— Езжай скоряе!.. Анка... Анка...

Бородулин вмах понесся к дому.

А вдогонку:

— Анна удавилась... Анка... Анка...

Кубарем слетел с коня, сшиб с ног какую-то старуху:

— Прочь! — и, не помня себя, ввалился в дом.

Толпится возле кровати народ. Растолкал всех и метнул взглядом по бледному испуганному лицу Анны.

— Анютушка! Родимая!

— Шкура! — сквозь стиснутые зубы буркнула Дарья и сердито повернулась у кровати взад-вперед на каблуках.

— Ты меня прости, Иван Степаныч. Тяжко мне... Скука грызет... Прости, голубчик...

— Живучая... — вновь прошипела Дарья.

— Вон, жаба! — топнул Бородулин и, размахнувшись, влепил ей пощечину. — Вон!!! Вон!.. Все вон!.. Всех перекострячу!..

Толпа бросилась кто куда, Дарья первая. Фенька на глаза попалась, размахнулся — раз!

— Это вы, стервы, с Дашкой!.. Укараулить не могли... Душу вышибу!..

— Иван Степаныч... — молила Анна.

Бородулин, шумно отдуваясь, запер все двери на крючок и, подойдя к Анне, грузно сел на табуретку. Как в лихорадке, стучали зубы, гудело в голове, пресекся голос, и все было как сон. Он крепко сжал виски, закрыл глаза, стараясь овладеть собой, но вдруг стал задыхаться: глаза испугались, забегали, руки ловили воздух, виски и лоб дали испарину,

а табуретка выскользнула из-под дрожащих ног. Он ахнул, схватился за сердце, уткнулся в колени Анны и жутко, со свистом, застонал.

— Иван Степаныч... Бог с тобой...— вся в страхе вскочила Анна.

— Жива... Ну, Аннушка... Ну, родимая...— Встал, шатается, лицо налилось кровью, в глазах удивленье и радость, будто впервые увидал Анну.— Господи, жива... невредима,— твердил он прыгающим шепотом.

Долго умывался, мочил голову водой и, шумно отдуваясь, жаловался:

— Эка, сердце-то... чуть что — и зашлось... Фу-у ты... Неприятности все, ерунда...

Ноги все еще дрожали и подгибались в коленях.

— Ну, как же ты так?— успокоившись, подошел он к Анне.— Пошто та́к-то?.. Пакость одна, душевредство. Ну, не по нраву тебе здесь, к отцу не то поедем, в Кедровку...

— И здесь... и туда...— в раздумье говорила Анна, опустив голову и рассеянно посматривая исподлобья на Бородулина.

— А? Чего?

— А так. Что-нибудь... этакое, чтобы... Вот Андрей знает... Больше никому, никому!— Она подняла голову и пристукнула кулаком по колену.— Никому!

— Чего — никому?

— А так уж... никому.— Она вздохнула.— Не вв-е-ерю,— растянула Анна и вдруг улыбнулась.— Ну, пойдем...

— Пойдем, Аннушка,— обрадовался Иван Степаныч, и они поднялись наверх.

— Вот, живи здесь, распоряжайся,— любовно сказал Иван Степаныч, но опять ударила в его сердце злоба.

— Водки!— крикнул Фене.— Приказчика сюда!

Пришел приказчик.

— Дашку сюда!

— Чичас,— сказал тот и скрылся.

— Ты не бей их, Иван Степаныч. Неужто не жаль тебе?

Бородулин грузно ходил по комнате, поскрипывая сапогами, Анна сидела у стола. Она то улыбалась, словно видела кого-то близкого, то вдруг становилась задумчива, а взгляд делался незрячим, будто глаза смотрели внутрь, о чем-то вспоминая.

— Привези ты ко мне, ради бога, матушку... Стосковалась...

— Ладно, Аннушка, привезу, — поспешно соглашался Бородулин.

— Поезжай скорее. Как увидишь Андрея — напиши...

— Аннушка... — как вкопанный остановился Бородулин.

— Ох, чегой-то я опять неладно... Голова горит.

Она облокотилась о стол и подперла голову рукой. Сбоку в нее ударяли лучи солнца, и Бородулину казалось, что ее побледневшее лицо с льняными волосами будто в венце из золота.

Анна лениво перевела взгляд на Бородулина и застыла. Глаза их встретились. Бородулин попятился, изумленно открыл рот. Ему ясно представилось, что не его видит Анна, а что-то другое, чего нет ни в нем, ни за избою, ни в тайге, во всем мире нет... Вот глаза ее ширятся, напряженно сдвинулись брови, лоб в складках; вся она как-то подалась вперед и порывисто задышала.

— Аннушка! — шагнул к ней Иван Степаныч. — Анна...

Та вздрогнула, ударившись локтем о стол, и робко улыбнулась.

— Не вспомнить... — протянула нежным, тоскующим голосом. — Не вспомнить...

— Ты чего это, Аннушка? — тихо сказал, стараясь скрыть тревогу, и наклонился к ней.

— Вот сидела бы я, да и плакала бы все...

— О чем же?..

— А о чем — не вспомнить...

Он взял Анну за плечи, прижал ее голову к своей груди и поцеловал в гладкий прямой пробор.

— Мне хорошо у тебя, Иван Степаныч, — зашептала Анна. — Только скука берет, тоска.

И Бородулин увидел, как из ее глаз покатились слезы. Он завздыхал, мысли бестолково заметались; не знал, что делать.

— Плюнь на это, плюнь!..— вдруг радостно сказала Анна.— Сначала потеряла, потом нашла... Сожги все. По-новому будет... Сожги!

Ивану Степанычу вдруг жутко стало и приятно. Он дрожащей рукой, покрывшейся холодным пòтом, вытащил платок и начал бережно вытирать слезы Анны. Ему хотелось сказать что-нибудь ласковое, бодрое, чтоб сразу просветлел у Анны разум. Он гладил ей голову, плечо, спину и чувствовал, что по всему его телу горячей волной полилась жалостливая отеческая к ней любовь.

— Сожги, сожги!— повторяет шепотом Анна, но он не слышит, своим полон, тайным и радостным.

Он теперь знает, он решил, и это будет! Он прилепит к себе Анну, убережет ее от лихого глаза, от наговора, он ее вылечит...

«Ребенок мой, дитя мое милое... Аннушка...»

— А как же, Иван Степаныч, ребеночек-то мой?— будто перехватив его мысль, спросила Анна.— Ведь ты, поди...

— Ну, что же, Аннушка... Об этом не думай... Я ребеночку рад, вырастим... Что ж такое... Ничего... роди...

Та подумала и сказала:

— Ты — хороший.

Голос у нее был тихий. Веселость и сила давно исчезли в нем.

— Вот что я тебе скажу, голубонька моя: ты ни о чем не думай, на все плюнь. Андрюшка? Тьфу! Плюнь да ногой разотри. Кабы он любил тебя, жиган такой, нешто сделал бы так, нешто ушел бы? Паршивец, и больше ничего... Подох?— Туда ему и дорога. Будь он, собака, проклят...— раздраженно говорил Бородулин, опять хватаясь за сердце.

Анна слушает, опустив низко голову. Купец рядом на диване.

Мимо окон то и дело народ снует: возле дома задерживают шаг и, приоткрывая рты, насторажи-

ваются. Но купец говорит тихо, чтобы только Анна слышала:

— А вот я управлюсь с делами, в Иркутск поедем, к святителю Иннокентию. Город увидишь, людей. Во-о-от... Живи и ни об чем, значит, не думай... Да... Угодничек божий исцелит тебя, как ни то обрадует... знаешь, как поется в церкви: «радосте нечаянная...» Да-а-а...

Увидя кухарку, купец ласково сказал:

— Фенюшка... А ты побереги Анку-то... С рук на руки сдаю. Чуешь? Я тебе на платье шерстяного отрежу.

Сели обедать втроем. После двух тарелок щей Иван Степаныч ленивой походкой вышел на улицу. Ему нездоровилось. Не отложить ли поездку до завтра? Он поглядел на небо, — вот если б дождь, — но небо было голубое и светило солнце.

— Ну, так я за матерью, — решительным голосом сказал он Анне и вскочил на буланого статного коня. — Ну, смотри, Илюха... Понял? — погрозил он приказчику большим, обросшим волосами, кулаком...

— С богом, — сказал Илюха, боязливо покосившись на кулак.

— До свиданья! — крикнул Бородулин и стегнул лошадь.

Приказчик с Феней пересмехнулись, удивленно посматривая, как Анна машет фартуком и что-то бессвязно говорит.

X

Бородулин до самой тайги скакал во весь дух.

После выпитого за обедом вина он стал чувствовать себя бодрей. Все мерещилась ему новая жизнь с Анной.

Самое лучшее ему от жены откупиться. Он не раз бивал ее, по пьяному делу, смертным боем. В прошлую масленицу все село покатывалось над тем, как он, пьяный, порол ременными вожжами охмелевшего попа и законную свою супругу, застав их в весьма веселом виде у просвирни. Поп без шапки удрал

домой, а зобастая Марья Павловна, грузно бегая кругом большого стола, выкрикивала: «Нет тебе до меня дела... Давай мою тыщу, я уйду... Живи со своей Дашкой. Тыщу отдай, варнак!»

Лошадь шла рысью, похрапывала и тревожно поводила ушами. Все глуше и безмолвней становилась тайга. Небо только над тропой светлело бледной щелью, и нельзя было угадать, где солнце.

В душу Бородулина как-то исподволь, незаметно стала просачиваться грусть. Жена опять вспомнилась, а рядом с ней Анна. Впереди, в мечтах, свобода и новая жизнь без Дашки, без греха, а — странное дело! — нет в сердце радости. Иван Степаныч вяло осмотрелся кругом и зевнул. Его баюкали и зыбкая ступь лошади, и молчаливый сумрак дня. Стало ко сну клонить. Он весь устал: хорошо бы броситься на мшистый пригорок и заснуть. В голове шумело, хотелось потянуться, хотелось крикнуть. Хорошо бы кисленького выпить, холодного. Нешто повернуть коня? Нет, начато — кончено. А чтоб покорить грусть, и сонливость, и молчанье тайги, он запоет веселую.

Бородулин потрепал по крутой шее лошадь, откашлялся, расправил усы и затянул:

Как-ы во темынай нашей да стороныке
Возрастилась мать-тайга-а-а...
Ты таежная глухая,
Сама темына сторона-а-а-аа...

Одинокими и чужими летят звуки во все стороны.

Бородулин смолк и прислушался. Песня замирала, путаясь в макушках леса. Он зычно крикнул и вновь насторожил слух. То ли эхо откликнулось, то ли голос позвал и захихикал. Иван Степаныч остановил лошадь. Тихо. Только в ушах гудит, а тоска все еще не бросает сердца.

«Надо бы Илюху взять... Черт... Дурак...»

Он стегнул коня и с версту ехал вскачь. Но лишь пошла лошадь шагом, беспокойство опять приступило, вновь что-то померещилось.

— Спотыкайся! — крикнул он лошади и, чтобы не чувствовать одиночества, то посвистывал, то вяло тянул-мурлыкал без слов песню.

Он поет, и тайга поет, уныло скулит-подвывает. Он оборвет, и тайга враз смолкнет, притаится, ждет.

— Ну, теперича... тово... — шепчет Бородулин.

Он знает, что тайга озорная, пакостливая: только поддайся, только запусти в душу страх, — крышка.

«Едет, едет...» — «Ну, еду». — «Ну и поезжай...» В овраге стон послышался. По спине Бородулина ползут мурашки.

— Господи! — передохнул он, — благозвонный колокол надо пожертвовать...

— Господи, — сказал кто-то сзади.

Иван Степаныч, надвинув на глаза шляпу, круто рванул узду и поскакал на голос, весь дрожа. Нет никого. В овраге пусто, по дну ключик бежит, по берегам в белом цвету калина.

— Больно боязлив. Баба худая... Дурак, черт... — обругал себя Бородулин.

Кто-то опять застонал, закликал. Бородулин отмахнулся. Раскачиваясь от дремы в седле, он клевал носом.

«Неможется... свалюсь...»

Надвигался вечер. Небо посерело, сумрак сгущался в глубине тайги, а из низин тянуло сырым холодом. Утомленный конь, спотыкаясь, бежал усталой рысью.

— Бойся! — вяло крикнул Бородулин и очнулся. — Надо поворотить...

Ну, зачем ему в Кедровку? Он приказчика пошлет, он стряпку пошлет.

«Деньги найдешь — быть». Чайку с малиной... в баню бы, веником похлестаться... «Батюшка, пожалей, родимый, пожалей...»

«Анка... Аннушка...»

«Подлец ты, кровопивец...» — «Прочь, харя, прочь!» — «Я тебя знаю, подлеца», — «Кого такое?» — пытается спросить Иван Степаныч. Огненные круги в глазах рассыпаются искрами, голова совсем отяжелела и гудит.

— Уходи, я тебя не звал, — шепчет Иван Степаныч, — я за упокой молюсь, за твою душу каждую службу молюсь...

«Молишься? — шипит бродяга, тот самый, что сдал Бородулину большой самородок золота. — Сожег в бане да молиться начал?.. Ах ты плут...»

Ивана Степаныча вдруг качнуло, едва в седле усидел. Он передернул плечами и часто закрестился, пугливо косясь на потемневшую стену тайги.

— Обещаюсь тебе, господи, благозвонный колокол купить, — озирается назад, не гонится ли кто. — Уж правильно... правильно жить буду... Спаси-помилуй!

А голова все тяжелеет, озноб вплотную охватил. Тянется к фляге и жадно пьет коньяк.

«Убил...» — «Кого убил?» — «Себя убил». — «Когда?» — «А помнишь... Завтра-то...»

«Завтра?..» — вздрагивает купец и слышит: пересмехаются тихим смехом обугленные, черные, как монахи в рясах, деревья таежной гари.

Мрачней и угрюмей становится тайга. Конь храпит, трясет головой, взмахивает хвостом, отбиваясь от комаров.

«Вот вытащи из болота, тогда дам рубль...» — «Ну и наплевать. И не вытащу...» — бредит во сне Бородулин, но чей-то голос все громче и уверенней:

— Эй, помоги, добрый человек, лошадь завязил!

«Ха-ха-ха... Лошадь? — усмехается купец. — На мне крест... Не больно-то возьмешь...»

— Помоги, батюшка...

И собачка залаяла.

— Пшел! — кричит, пробуждаясь, Бородулин и стегает коня.

— Стой, стой!.. Ради бога, помоги...

А собачка пуще.

Оглянулся: серое от болота катится.

— Кто таков, что нужно? — схватился Бородулин за ружье и видит: мужик подошел с собачкой.

— Дядя Пров?!

— Я... По дочку мы с Лысанькой к тебе ехали, — сказал мужик, оглаживая собачонку, — да, вишь, лошадь в болото завязил... Еду я, еду да задумался

чегой-то, глядь, а лошадь-то и свернула... Увидала воду... Вот и бьюсь сколь времени... Ради бога, помоги...

Слез купец с коня. Ноги — как чужие. Сам дрожит. Озноб всю силу съел.

— Чего-то неможется, — сказал он Прову. — Вчерась возле речки ночевал в тайге, — простыл, видно.

Густые сумерки серели на прогалине, а в тайге из трущоб и падей выросла тьма. Болото, куда направились Пров и Бородулин, курилось белым холодным туманом, сквозь который прорывались испуганный храп и ржанье лошади, а в стороне старательно крякал коростель. Набросав вокруг лошади жердей, Бородулин за гриву, Пров за хвост вытащили ее и вывели на сухое место.

Пров боялся сам завести разговор о дочери, опасливо и испытующе посматривал на купца, стараясь в его глазах выведать нужное.

Бородулин, почувствовав это, сказал:

— А девка твоя, слава богу, ничего...

— Ничего?! — воскликнул ликующим голосом Пров. — Ну-ка присядем на минутку, Иван Степаныч... А как же Овдоха путала...

— Какая Овдоха? — спросил купец, прикладывая к вискам холодный мох.

— Да тут... У нас в деревне... Баба одна кривая... За попом к вам ездила. Вот она и болтала, бы́дто бы...

— Врет, — раздумчиво ответил Бородулин и умолк, а сердце Прова сжалось и сильно застукало.

Бородулин хотел все рассказать отцу Анны, но не знал, как бы лучше подойти, с чего бы начать. Язык совсем потерял себя, непослушным сделался, и остановилась мысль.

Наконец собрался с духом.

— Видишь ли, Пров Михалыч... какие, значит, дела-то... Этово... как это... ну... Словом, я должен упредить тебя... И все такое...

— Что? — упавшим голосом, затаив дыхание, спросил Пров.

— Одним словом, прямо тебе скажу, — раздался громкий и решительный голос Бородулина, — хошь ругай, хошь нет, а только что я твою Анку, значит, Анну Прововну, полюбил и рассчитываю заместо хозяйки ее пределить, а с своей женой развязаться... Да...

— Так-так-так... — скрывая радость, ответил равнодушно Пров, но левая нога его нетерпеливо задрыгала, а рука затеребила бороду.

— За тобой без малого сто рублей долгу... Это с костей долой... За кобылку тоже скощу... Вроде подарка пусть, вроде уважения... Да-а-а...

— Это ничего... На этом благодарим...

Иван Степаныч тяжело сопел. Силы опять оставляли его, но он, напрягая волю, брал себя в руки.

Он, волнуясь, сказал:

— Ну, только что, видишь ли, какая вещь... Я тебе прямо без обиняков... Так что Анна твоя...

— Что?

— В тягостях... От Андрюхи, одного паршивца-политика...

— Ну-у-у?! — протянул Пров, повертывая голову к Бородулину, и глаза его сразу вспыхнули злом и широко открылись.

— Да, брат, да...

— Ее воля, — тихо ответил Пров и мучительно вздохнул.

Потом, будто передумав, он быстро поднялся, поправил кушак и зарычал, сжимая кулаки:

— Я его надвое разорву!.. У-у-ух ты мне!.. Ну, держись, дьявол!..

И, огромный, пошел, ругаясь, к лошади прижимистой медвежьей походкой.

— Стой-ка ты, стой! — кричит Бородулин и подымается. — Нет ведь его... Я бы его сам устукал... В тайге пропал... С весны еще... Ушел, да и крышка. Подох...

Наступило молчание.

— А правда ли... — крикнул было Пров издали и, не докончив, остановился. — А правда ли, Овдоха языком трепала, что Анка не в себе?

— Правда, Пров Михалыч, — ответил Бородулин, — мало-мало есть...

Пров тихо подошел к купцу и, порывисто дыша, остановился. В скобку стриженные, с густой проседью, волосы его разлохматились, суровое лицо как-то осело сразу, задергалось. Он закрыл его пригоршнями, шагнул к сосне и приник к ней головой.

— Дядя Пров, — Бородулин двинулся к нему.

— Ведь на всю волость, на всю волость девка-то... Ведь она за троих мужиков работница... О-о-х ты, боже мой... — задыхаясь, говорил он глухим голосом.

— Слушай-ка... Пров! — обхватив Прова за плечи, старался Бородулин повернуть его к себе лицом, но тот тряс головой и с болью бросал:

— Оставь, оставь... Не трог, пожалуйста...

У Бородулина дрожали ноги и от болезни и от волнения, стучали зубы и горячим песком стегало по глазам...

А тот опавшим и прерывистым голосом, сморкаясь, твердил:

— Ну, чего я теперича старухе-то своей скажу, ну, чего? Научи ты меня, ради господа...

Бородулин молчал. Голова кружилась, и, чтобы не упасть, он схватился за соседнюю рябину.

— И не стыдно тебе, Иван Степаныч: не мог уберегчи девку-та... Эх ты-ы... леший.

— Дело поправимое, — буркнул купец.

— Поправи-и-имое?! А кабы твое дитя так?..

— Она редко сбивается-то...

— Ре-е-дко?! Эх ты, че-о-рт...

Бородулину невмоготу стоять. Он сначала сел на землю, потом повалился на бок.

— Пожалуйста, Пров Михалыч... Мне бы водички зачерпнул... Нутро горит.

Пров принес ему воды, принес его овчинную, привязанную в тороках, шубу, разложил костер, чай вскипятил.

Что-то говорил купцу, расспрашивая и выпытывая, но тот плохо соображал, невпопад давал ответы и, закутавшись с головой в шубу, готов был заснуть.

— ...Застрелю, — ловил он обрывки речей Прова, — только бы натакаться где... И робятам кедровским скажу: встретишь — бей!..

«Бей — не робей, бей — не робей, вей, вей, бей...» — мелькает в сознании засыпающего Бородулина.

— ...Так по затесу и жарь... Вешку поставлю... Ты к нам на праздник? Долги, говоришь, с мужиков собрать?

— К нам собрать... — бормочет Бородулин.

«Не робей, вей, вей... Хи-ха-хо... Хи-ха-хо...»

— А? — выставляет он голову и открывает глаза. Какая-то желтая рожа шипит и плюется и пышет в самое лицо огнем. Кто-то был, кто-то говорил с ним. Никого нет... Кто же это был? Анна? Нет... Лошадь? Нет... Деньги? А-а-а... Так-так...

— Деньги!.. Украли... У стола...

— У тебя, что ли? Кто? — чей-то голос раздается.

— Отец дьякон...

— Ну, что ты...

— Отец поп...

— Отец поп? Ха!.. Ну спи со Христом... Закутайся да спи.

XI

Мать Анны, Матрена, ночь плакала, утром с крестным ходом не ходила, а теперь, затаившись, глядит из окна за речку, туда, где выбегает из тайги тропинка, и никак не может отгородить себя от праздничных звуков улицы.

Когда гармошка начинает особенно бесшабашно голосить, нахрапом врываясь в душу, а девки петь веселую, перед глазами матери вдруг встает Анна, бледная и больная, и так же вдруг куда-то исчезает. Тогда мать, надвинув на глаза платок, идет к кровати, зарывается с головою в подушку и, всхлипывая, причитает:

— Былиночка ты моя... Травонька нетоптаная...

А праздник идет своим чередом. В избах душно, жарко, хозяйки вытаскивают столы на улицу, в тень,

куда-нибудь под навес, либо под забежавший из тайги кудрявый кряжистый кедр.

Улица ожила, заговорила, заругалась и запела.

Праздничней всех у Федота: трех сортов наливка, пиво, пряники, пирог.

Освежившийся в студеной речке батя с удовольствием пьет стакан за стаканом чай с моченой брусникой: положит деревянной ложкой на блюдце, раздавит донышком стакана и нальет чаю. Когда давит, ягоды хрустят и брызжут кровью, а батя смачно покрякивает:

— Вот это я люблю. Кисленькое.

Федот — в одной жилетке, красный, потный, живот до самых колен. Через плечо большое полотенце. После каждого стакана он старательно утирает взмокшее лицо и шею.

Хозяйка, молодая и поджарая, сидела рядом с бабушкой Офимьей. А у стола, облокотившись на край, — маленький солдаткин сын, Васенька Сбитень. На деревне не знали, кто его отец: солдатка, как только мужа взяли на войну, стала со всяким путаться. Солдата убили на войне, когда Васенька родился. И стали его звать «Сбитнем».

Васенька стоял и детскими просящими глазами следил, как пьют большие чай. Но его не замечали, а так хотелось чайку с молочком и оладейку. Он купал сегодня в озере чью-то белую лошадь. Поглядывая, как Федот забелил молоком пятый стакан чаю, Васенька, вспомнив лошадь, сказал:

— Ишь... Чай-то бе-е-е-лый... как конь...

Все засмеялись, а батя сказал:

— Ну, отроча млада, залазь за стол... Как конь, говоришь? Хо-хо... Пра-а-вильно.

Вблизи громыхнула по деревне песня. Успевшие хватить хмельного две соседки — Марья Долгая да Палага — шли в обнимку, весело спускаясь с горы, и визгливо выводили:

Эх, баба пьяна напилась,
Во солдаты нанялась...
Не берут ее в солдаты, —
У ней волосы косматы...

Девки в ярких платьях и кофточках-распашонках прошли с песнями в край деревни.

Там, на берегу, высокий взлобок с муравчатой травой. Кругом стоят сосны, густые и пахучие, прохладно там, хорошо и далеко видать во все стороны. Речка — как на ладони: шумит вода, торопясь через гряды камней, желтым песком убраны приплески, на песке опрокинутые долбленки и берестяные крошечные лодочки, сеть общественная на козлах, вдали остров зеленеет, и на нем белыми цветами — гуси.

Кругом тайга. Заберись на крышу часовенки, посмотри во все стороны — тайга. Взойди на самую высокую сопку, что кроваво-красным обрывом подступила к речке, — тайга, взвейся птицей в небо — тайга. И кажется, нет ей конца и начала.

Девушки принесли с собой на полянку съестного: сотни три яиц, сдобных калачиков, кедровых орехов лукошко, водки захватили, пельменей, — будут угощать парней.

Три парня Зуевы уж тут. Вот Тереха-гармонист идет, с ним Мишка Ухорез и Сенька Козырь, самые главные плясуны и прибасенники.

Карманы у парней оттопырились, горлышки бутылок выглядывают: сладкая для девок наливка.

— Сеня, — кричит грудастая Варька своему «дружнику», — иди-ка, ягодка, чо тебе дам-то, — и достает из-под фартука мятную «заедку». — Эй, Сеня!..

Но Татьяна-змея не пускает Сеньку, крепко обняла, прижалась к парню, как к кедру ель.

— Не отдам... Мой... — И сладко, взасос, закрыв глаза, поцеловала.

А Варька, вспыхнув вся, в отместку к кудрявому Парфену льнет:

— На-ка, Сенька, выкуси!..

— Эх ты, чернявая!.. — гогочет, посмеиваясь, Парфен. — Видал, Сенюха, свою кралю-то? Вот она!..

— Ой, затискал... Ой, дух вон, — нарочно громко верезжала Варька.

— Вали-вали! — зло смеясь, раскатывался Сенька. — Сыпь... таковская. Она, тварь, с каждым.

Сенька встал, отпихнул Татьяну, пошептался с Васькой, с Фролкой, мигнул пьянице-мужичонке Парамону, кивнул пальцем снохачу Гавриле, и все пятеро, один за другим, как волки на волчьей свадьбе, потянулись в лесок и там встали кучкой, прячась от народа.

— Кому? Варьке, што ли? — гогочут, топчутся, похотливо ловят Сенькин взгляд.

— Ей, Варьке... — Сухое длинное лицо Сеньки злобно, ноздри раздуваются, черные глаза косятся на мелькающие сквозь сучья кумачи баб и девок.

— Куда? В какое место? — гундят крещеные.

— В овины... Вот стемнеет — уманю.

— У-гу...

— Парней поболе надо... Чтоб помнила... сучка...

— У-гу... — гундят крещеные.

Тереху девки окружили:

— Терешенька, заводи плясовую.

У Терехи большущая «тальянка» на ремне через плечо. Взял, заиграл, пустив трель на всех переборах сразу. Усики у него маленькие, черные, как у жучка, глаза тоже жучьи, навыкате, и весь он маленький, черный, юркий, словно полевой жучок.

Ах, мамка по миру ходила,
Мне тальяночку купила!.. —

вдруг закричал он тончайшим, почти женским голосом.

Гармошка подкурныкивала за песней, девки подергивали плечами и начинали пробовать — веселы ли ноги.

Две прибежавшие с народом собачонки возле толклись, им на лапы и хвосты наступали — ничего, а вот как задудил Тереха на гармони, отбежали прочь, уселись мордами к Терехе и, посмотрев на него не то озорными, не то презрительными глазами, хамкнули, подняли носы вверх и враз завыли — одна толстым, другая тонким голосом. А Тереха все сильней и сильней растягивал тальянку, плясовую начал. Веселые звуки залили всю поляну, летели вниз и вверх по речке, забирались в тайгу, плыли в деревню, заставляя подвыпивших мужиков и баб вскакивать из-за самоваров и пускаться в пляс. Девки с парнями

принялись плясать. Сенька с Мишкой вошли в круг и начали друг перед другом откалывать.

Сеньке Козырю жарко сделалось: размотав с шеи длиннейший, новый, надетый для форсу, шарф и удало поглядев на выплясывавшего Мишку Ухореза, вдруг как прыгнет в середину круга, как взовьется вверх, как закрутится на лету волчком — и такого жару задал Мишке, таких замысловатых штук навыкидывал, что Мишку сразу прошибло от неудовольствия пóтом.

— Ай да Сенюшка, Сеня-соколок, — одобрительно покрикивали девки.

— Молодца, Сенька! — поощряли парни.

— Тебе, брат Мишуха, насупротив его не устоять.

— Куды-ы-ы... — подзадоривали. — Кишка тонка...

Мишка Ухорез усиленно пыхтел, и в глазах его накопилось столько страсти, что все это почуяли и ждали «штуки». Пристукивая каблуками и сбросив картуз, он выплыл на середину, сложил на груди руки и, все так же дробно переступая, обошел круг, ни на кого не глядя и чему-то про себя улыбаясь.

Потом неожиданно перекинулся навзничь, упруго встал на руки и, пристукивая в такт согнутыми в воздухе ногами, протанцевал на руках русскую. Когда он, с налившимся кровью лицом, поднялся и, пошатываясь, пошел вон из круга, все заорали:

— Ура-а-а-а... Ха-ха!.. Победил... Мишка победил.

— Эх, Анки нету, — вздохнули девушки.

— Была бы Анка, она б еще потягалась с Мишкой-то, — сказали парни.

Варька очень жалела Анну. Стоит в стороне от хоровода, ждет: не покажется ли она каким чудом по дороге.

Но вместо Анны —видит: спускается в лог пьяный Обабок.

Обабок был в валенках, он бежал под гору, наклонившись вперед, и чем ниже наклонялся, тем проворней семенил заплетающимися ногами, наконец с размаху пал, бороздя по дороге носом и вздымая пыль.

Варька засмеялась и крикнула:

— Обабок идет!

А молодежь плясала и плясала. Спины у девок были мокрые, у парней рубахи прилипли к телу, хоть выжми.

— Батя с Иваном да Федот идут! — опять крикнула Варька.

Эти трое шли, обнявшись за шеи, батя в середине, те по бокам. Остановятся, помашут руками, поцелуются и дальше.

Обабок подошел к хороводу, встал, весь серый, в пыли, с соломой в бороде, руки назад держит, смотрит вперед и ничего не видит, ничего не понимает, суется носом и не знает, что бы такое сделать, а сделать хочется. Рявкнул, — ничего не вышло, сам же испугался, взад пятками побежал.

Тпру-ка, ну-ка,
Что за штука!.. —

пробасил он и опять попятился.

Лицо у него очень серьезно и озабоченно. Рядом пять парней стояли, шестой женатик. Курили и разговаривали. Обабок сзади подкрался к женатику, подставил ногу, развернулся и треснул его по шее.

— С маху под рубаху!.. — и оба враз упали.

На Обабка все пятеро навалились и принялись тузить.

— Мир ти, Агафья, — сказал подошедший пастырь, снимая шляпу.

— Здорово, батя! — откликнулись все. — Чего к плясам опоздал? Будешь?

— Нет, ребята, разве мне возможно?

— Ну, чего там... На вечерках ведь пляшешь?

— Ну так и быть. Винишка подадите, так и быть, тряхну.

Обабок, красноголовый и встрепанный, сдернул картузишко, решительно намереваясь подойти под благословенье. Но ноги несли влево, он норовил круто повернуть к священнику все туловище, а повернул лишь свое серьезное, в веснушках, лицо и, выделывая ногами крендели, прытко побежал боком-боком к берегу, все держа под пазухой картузишко и не

спуская с бати удивленно выпученных глаз; добежал до обрыва и кувыркнулся под откос. Все захохотали, а батюшка подошел к обрыву и, улыбаясь на барахтавшегося в песке пьяного мужика, преподал ему с высоты благословенье:

— Низринулся еси? Ну, вылазь... хо-хо...

XII

Этим праздничным вечером бродяги подошли к кедровской поскотине. Невдалеке от нее, в самом лесу, на полянке стоял сруб. Он был доведен до половины и брошен, но и ему бродяги обрадовались: подымался холодный ветер.

Андрей-политик подумывал, не пойти ли ему в Кедровку, но, окинув еще раз брезгливым взглядом свои лохмотья и пощупав клочковатую отпущенную в тайге бороду, передумал. Завтра на заре он распрощается с бродягами и, минуя Кедровку, пойдет таежной тропой в Назимово. А вдруг Анна в Кедровке? Нет, время еще раннее, Анна должна прожить у Бородулина до сенокосной поры. Андрей очень утомился большим переходом: лишь прикорнул в углу на груде щеп — сразу же крепко заснул.

— До завтра... — шептал он, засыпая.

Костер ярко горит, варево поспело быстро, бродяги поели с удовольствием.

После ужина Антон забрался в самый дальний угол, положил на сруб согнутую руку, на руку голову и замер. Очень грустно ему стало, так сразу навалилась беспричинная тоска, обвила сердце и гнетет.

Ванька Свистопляс смешное рассказывает.

Тюля смеется по-особому: зажмурится сладко, сморщит нос, схватится за бока и, скривив толстогубый рот, безголосо захыкает.

— А черт ли на них смотреть, — говорит Ванька. — Жил я как-то на речке, на самом малиновом месте, бабы туда по малину ходили, а баб я пуще малины люблю. Баба по малину, я по бабу...

— Хх-хх-хх...

— Да. Лодчонка у меня была. У чалдона угнал. И вот, братец мой, какая история вышла. Сплю это я под елью, пообедал да прилег, и чую — то ли наяву, то ли во снях — женски перекликаются. Вот хорошо, думаю. Гляжу: на той стороне малинник шевелится. Ага! Тут! Скок в лодку, гребу тихонько к берегу, думаю: выскочу сразу на берег да как зареву, напугаю всех, а одну бабенку прихвачу-таки.

— Хх-хх-хх... — хрипел Тюля.

— Да. Вот ладно. — Ванька воодушевился, привстал на колени и, представляя все в лицах, зашептал, словно боясь вспугнуть воображаемых ягодниц: — Вот ладно. А берег-то круто-о-ой да высоченный, еле вылез. И только, батюшка ты мой, я к мали-и-ннику, ну-ка, думаю, возгаркну, как следовает быть... кэ-эк медведица всплыла на дыбы да ко мне!.. Из меня и дух вон. Кэк я заблажу дурноматом да впереверт по откосу-то бух!!

— Хххх-хх, — покатывался Тюля.

— Да не угадал в лодку-то, ляп в воду, а глыбко, с ручками закрыват, да как начал по саженке отхватывать...

— Хх-хх... А медведица за тобой?

— За мн-о-о-ой, — врал Ванька.

— Хх-хх... Настигат?!

— Настига-а-ат! — кричал, размахивая руками, поднявшийся во весь рост Ванька и тоже заливался смехом.

— Ну что ж, слопала? — норовил подвести Тюля.

— Нет! — отрубил Ванька, и глаза его забегали. — Ты что, язва, не веришь?

— Как не верю?! — крикнул Тюля. — Я сам поврать горазд!

— Самоход, так твою так! — вскипел Ванька. — Лапотон! Удивительнай губерни...

— Ну, будя... Брось... — мирно сказал Тюля.

Он лизнул мясистым красным языком «цигарку», покрутил ее грязными пальцами и почтительно подал Ваньке:

— На, не серчай!

Ванька ублаготворенно улыбнулся.

Тюля достал измызганную колоду краденых карт и, растирая уставшие от хохота скулы, начал сдавать.

— Эй, святы черти! А ну-ка, игранем.

Костер прогорал. Щепы мало тепла давали, сруб был без крыши, становилось холодно.

Натаскав топлива, Антон ушел в лес, выбрался к берегу реки и сел на пень.

Тихо кругом было. В небе стояли лучистые звезды, а на речке закурился туман.

Антон становится на колени и начинает молиться, произнося громко жалобные слова. Молитва не утешает, радостных слез нет. Вспоминает грехи свои, вспоминает Любочку, товарищей, брата, всех врагов, хочет всех обнять, простить, — но все не так выходит, не по-настоящему, не сердцем молится — устами, а сам о другом думает, говорит слова и не может понять какие: душа другим занята, другое видит, неясное и расплывчатое. Вот оно надвигается, как из-за гор туча, гнетет.

— Богородица, — шепчет Антон и стукает лбом в землю.

И долго лежит, прислушиваясь, не готова ль к слезам душа.

Политик спит, а те трое играют в карты. Ванька всех удалей орудует. Ему карта валом валит. Дед сердится, Тюля тоже. А Ванька всякий раз, как только дед опасливо клал на кон карту, широко замахнувшись и крякнув, бил своей.

Тюля играл вяло, путал масти, валета называл «клап», даму — «краля».

Ванька острил над ним:

— Эй ты, шестерки козыри!.. Сдавай.

Ванька целую кучу медяков выиграл, Тюля из своих лохмотьев все вытаскивал зашитые пятаки, гривенники и двугривенные и смотрел с тоской, как Ванька складывает медяки стопочкой, а серебро за щеку, в рот.

— Портки заложил, рубаху в гору! — крикнул весело Ванька, ставя карту.

— Бита! — с размаху хлестнул дед тузом.

— А у меня фаля! — подпрыгнул Ванька, показав даму пик, и загреб все деньги.

В это время выросла над срубом чья-то голова в шапке и торчащий ствол ружья.

— Здорово, — сказала голова.

— Здорово, — ответил за всех дед. — Ты что, пастушок, что ли?

— Да...

— Сколько получаешь?

— Сколько получаю, столько и пропиваю...

— Х-хе... удалой ты парень, — пошутил дед. — Залазь к нам: гостем будешь...

Голова дрожащим голосом спросила:

— А вы, дяденьки, откедова?

— А тебе пошто? — осведомился Тюля.

— Да так, за всяко просто...

Дед набил ноздри табаком, чихнул и насмешливо сказал:

— А мы с Тихоновой горки, где пень на колоду брешет...

— Та-а-к, — протянула, что-то соображая, голова.

Антон подошел. Разговор начался за срубом.

— Мы, милый, ничего. Вот переночуем, да завтра к вам придем. В бане бы помыться надо. Вша одолела.

— Та-а-ак... — еще раз протянула голова.

— Мы, миленький, люди тихие, мы...

Голоса удалялись. Наконец замолкли.

Антон проводил хромого Семку до поскотины и дорогой всячески старался расположить парня к товарищам.

Приперев покрепче ворота изгороди, Семка заковылял домой. Не доходя с версту до деревни, он уже слышал, что праздник в разгаре. Колыхались отзвуки песен, пилила гармошка, кто-то «караул» орал, взлаивали собаки.

Под кустом у дороги Семка услыхал шепот:

— Миленочек ты мой, родименький ты мой...

Чмок да чмок.

«Это ничего», — думает Семка и хромает дальше, вздыхая и поторапливаясь.

А в деревне содом.

Обабок, связанный, давно взаперти сидит. Он Тимохе-звонарю глаз подшиб да в чьей-то избе рамы оглоблей высадил:

«Вот как у нас. С праздничком!»

В дальнем конце свалка начинается.

— Вас надо, окаянных, глушить! — грозно враз кричат Мишка Ухорез и Сенька Козырь, надвигаясь на Федота.

— Кого?

— Тебе, мироеду, только под ноготь попади, — раздавишь!

— Ну, и проваливай!

— Даешь или не даешь?!

— Нету, вся...

— Говори — дашь, нет?! — взмахнул колом Козырь.

Федот ахнул, отскочил и со всех ног бросился в проулок.

Придурковатый Тимоха сидел пьяный на завалинке и прикладывал к подбитому глазу старинный сибирский пятак с соболями. Пришло ему желание часы отбить, встал, девять прозвонил, опять сел и затянул песню.

— Врешь! — говорит кто-то через дорогу. — Разве девять? Скоро петухи запоют!

Тимоха поднялся и еще добавил два удара.

— Два... шестой, — шамкает столетний, лежа на печи. — Я бы еще пососал... Эй, да-кось... Винцато... — бормочет он.

Кот подходит к деду и, задрав хвост трубой, мурлычет и трется об его щеку.

— Шесть! — кричит столетний; хотел крикнуть «брысь», да не вышло, сбрасывает кота на пол и добавляет:

— С богом, аминь...

Сенька Козырь с Мишкой задами, через огороды, к лодке крадутся. Огляделись — нет никого. Оттолкнулись от берега, сидят друг против друга, глаза горят, зубы стиснуты.

— Нож-то у тебя острый?

— Острый.

Как два волка, прошмыгнули они в поскотину, идут, пошатываясь, по росистой траве, высматривают пьяными глазами добычу.

— А ну как у других у кого — тоже белые?

— Но вот, толкуй...

Сенька в два прыжка оседлал белую корову и со всего маху всадил ей в горло нож.

— Дай-ка мне... Дай-ка...

— Вали стягом.

И долго они, гогоча от крови, носились возле опушки тайги, перехватывая мирно дремавших белых Федотовых коров.

— Попомнит, клещ окаянный, — вытирая о траву нож, прохрипел Сенька Козырь.

— Давай заодно и бычка пришьем.

— Ну его к ляду... Будет...

XIII

Под окном кто-то постучал:

— Эй, Пров Михалыч!

Матрена открыла окно:

— В Назимово уехал...

— Ах ты, батюшки, — сказал растерянно Семка хромой, а стоявшие возле него подвыпившие мужики враз заговорили:

— Ну, стало быть, десятского надо отыскивать, Обабка.

— Десятский пьяный...

— Ково? — вдруг не то спросил, не то крикнул появившийся откуда-то Обабок: одна нога в валенке, другая разута, рубаха без пояса, висит на мускулистом теле рваными лоскутами, правая рука вся в крови, лицо осатанелое.

— Ково? — вновь крикнул Обабок и, посовавшись носом, устойчиво укрепился на земле.

— Вот наряжай-ка мужиков: бузуев брать, за поскотиной сидят... Семка, сколько их? — заговорили мужики.

— Брать так брать... Все едино... Айда! — пробасил Обабок и, заложив руки за спину, направился прочь от мужиков.

— Чего: айда!.. Ты чередом наряжай, че-о-рт!.. Оболокись сам-то... замерзнешь... — шумели ему вслед.

— Айда!! — орал раскатисто Обабок.

— Стой-ка ужо... Кому идти-то?..

— Айда!!

— Ну его к ляду!.. — недовольно загалдели мужики.

А Обабок, выломав в изгороди кол, прытко зашагал вдоль по улице и на всю деревню загремел:

— Мне только бы жану найтить... Стеррва!! Меня запирать?! Меня?! Ха-ха! Убью!! Вот те Христос, убью!..

Мужики отрядили пятерых потрезвее, и те, предводимые Семкой, все с заряженными ружьями, двинулись к поскотине.

Стояла глухая, северная ночь.

Вторые петухи горланят, Матрена все не спит, дожидается Прова. Ей неможется: лежит на лавке, стонет. Видит Матрена: открывается сама собой заслонка, кто-то лезет из печки мохнатый, толстый, человек не человек, чудо какое-то, и, сверкая ножом, говорит: «Мне бы только сердце у бабы вырезать...»

Матрена вскрикнуть хочет, но нет сил, мохнатый уж на ней, душит за горло: «Где-ка сердце-то, где-ка?..»

— Бузуев привели!

Матрена ахнула, вскочила, крестом осенила себя и, отдышавшись, приникла к окну. На лошади мужик едет и на всю деревню кричит:

— Бузуев привели!..

На востоке утренняя заря занималась, песни на горе умолкли, а в кустах на речке просыпались робкие птичьи голоса.

У сборни тем временем стал собираться народ, обхватывая живым, все нарастающим кольцом пятерых только что приведенных из тайги людей.

Хмельные, бессонные лица праздничных гуляк были сосредоточенны, угрюмы.

Старики и молодухи, ядреные мужики и в плясах отбившая пятки молодежь, то переминаясь в задних рядах с ноги на ногу, то протискиваясь вперед, шумели и перешептывались, бросали бродягам колючие, обидные слова и хихикали, сочувственно жалели и сжимали, рыча, кулаки, готовы были сказать: «Ах вы несчастненькие!» — и готовы были кинуться на них и втоптать в землю.

И бродяги это чувствуют. Недаром такими принужденно-кроткими стали их лица.

Лишь старик Лехман не может побороть обуявшую его злобу: насупясь, сидит на бревне и угрюмо на всех посматривает суровыми глазами.

Да еще Андрей-политик сам не свой. Воспаленные глаза его жадно кого-то в толпе ищут. Он устало дышит полуоткрытым ртом и, облизывая пересохшие губы, невнятно говорит:

— Я вам никто... Слышите?.. Я сам по себе...

Но его слов не понимают.

— Слышите? Где староста? Где сотский?..

— Брось, милый, — советует ему тихим голосом Антон, — ишь они пьяные какие... Брось...

Старый Устин, усердный господу, ближе всех к бродягам. Он ласково им говорит:

— Вы вот что, робенки... тово... Ведь мы не с сердцов...

— Как же не с сердцов, — злобно сказал Лехман. — Ты спроси-ка вот нашего товарища, — указал он на Антона. — За что мужик ему в ухо дал? Это не резон.

— А потому, что вы пакостники, — раздраженно сказала баба в красном.

— Пакостники? — повысил голос Лехман. — Чего мы у тебя, тетка, спакостили?.. Ну-ка, скажи!

— Дак вы тово, — сказал, размахивая руками, Устин, — вот залазьте в копчег да и спите с богом,

покамест у хресьян гулянка, а там выпустим. Кешка, отпирай чижовку-то...

И, обернувшись, посоветовал:

— А вы, бабы, тово... Принесли бы чо-нибудь пожрать мужикам-то... Молочка там али что...

— Ну, так чо, — ответила баба в красном и пошла.

— Кешка, отпирай копчег! — опять скомандовал Устин. — Робятушки, залазь со Христом.

— Врешь, старик... Не имеешь права!.. — выкрикнул Андрей, погрозив Устину пальцем. — Я не бродяга... Понял?

Народ стал разбредаться.

Придурковатый звонарь Тимоха поглядел на алеющий восток, подумал, почесал бока и пошел к часовенке «ударить время».

Антон продолжал успокаивать Андрея:

— Ничего, Андреюшка... Завтра утречком... Пусть они продрыхнутся...

Устин с каморщиком Кешкой орудовали у чижовки.

— Вы, робенки, идите... Чего вам.

Кешка огарок из сборни принес. Тетка в красном молока две кринки и яиц с хлебом притащила.

— Де-е-ло, — одобрил Устин, заложив руки назад.

Тимоха из усердия три раза в колокол ударил.

Устин взглянул на гору, где часовенка, и опять сказал:

— Де-е-ло...

Бродяги, посоветовавшись, наконец зашли в чижовку.

Ванька Свистопляс уже кринку молока ополовинил, Андрей-политик нейдет:

— Вы меня отпустите... Я политический...

— Политический?! Ха-ха... Ладно... Все такие политики бывают... Ты нам дорогой все уши просмонил, шкелет... Ты пошто наутек было хотел? А?! — враз сердито заговорила стоявшая с ружьями стража.

— Я, господа, вам серьезно говорю... Пустите...

— Тут господов нет, — сказали строго мужики, — а вот коли велят, так и тово...

— Мне Анну... — взволнованно упрашивал Андрей, — девушку Анну...

— У нас Аннов хошь отбавляй, — острили мужики.

Старому Устину спать хотелось, да и всем наскучило.

— Кешка, бери его!.. Робята, подсобляй!..

Андрея потащили.

— Стой!..

— Кешка, налегай!..

— Иди, Андрей, черт с ними, — октависто звал Лехман.

— Нет! — рвался из дюжих рук Андрей. — Черти этакие, олухи!.. Аннину мать позовите... отца... старосту...

— Кешка, запирай!!

— Отвечать, дубье, будете!.. — ломился Андрей в захлопнувшуюся за ним дверь.

— Крепко запер? — спросил Устин.

— Так что комар носу не подточит, — весело ответил сторож Кешка.

— Ну, робенки, расходись! — скомандовал Устин, любивший приказывать толпе, и помахал рукой во все стороны.

XIV

Матрена лежала на кровати и думала об Анне, о Прове, не «натакался ли» в тайге на зверя. Надо бы заснуть, но сон прошел, в комнате бело. Встала, занавесила окна, опять легла. Слышит Матрена: по воде кто-то хлюпает. Коровы, что ль, через брод идут? Не время бы.

Думает о том о сем, но голова устала, нет ясных мыслей, путаются и текут куда-то, как по камням река...

Чует: храп лошадиный раздается и человеческий голос. Думает — сон, опять тот сон: лохматое чудище из печи вылезет.

Стучат.

— Эй, Матрена Ларионовна!

Вскочила, оправила рубаху, густые волосы подобрала, сунулась к окну.

— Ах! — вздрогнула, похолодела: «Знать, Анка кончилась...»

— Отопри-ка скорей, впусти!

Насилу дверь нашла. Без памяти бежит к воротам.

Вошел, коня за собой ведет.

— Занемог я дорогой... Теперь полегчало малость...

— Иван Степаныч!.. А Пров, Анка?

Бородулин провел коня в стойку.

— Сенца-то можно взять?

— Да дочерь-то какова?! — кричит, задыхаясь, Матрена.

— У меня деньги украли, вот я и прикатил... — не слушая ее, говорит вяло Бородулин.

— А?!

— Деньги, мол, деньги украли...

У Матрены ноги подкосились, села на приступки.

«Вот он, лохматый-то... Вот когда сердце-то вырезать начнет».

Петух схлопал крыльями, запел. Тыща петухов запело. Из глаз свет выкатился.

— Ну, пойдем-ка в избу. Ты чего это? — наклоняется к ней Бородулин. — Анка тебе кланяется низко... Прова Михалыча встретил... Все слава богу, ничего...

В глазах Матрены сразу вырос день. Петух снова пропел, тыща — промолчало.

— Кто украл-то, деньги-то? — с усилием, едва принудила язык.

— Не знаю.

— Ох, и напугал же ты меня...

Идет впереди, высокая и статная, скрипят приступки под сильными ногами.

«Вся в мать», — думает Бородулин про Анну и подымается по сенцам.

— Дочка-то какова?

— Все слава тебе господи.

И купец, волнуясь и краснея, долго говорил об Анне, о себе, о новой жизни, сулил всего, мудрил и перемудривал, клялся, просил прощенья.

«Не сон ли?» — думает Матрена.

— А ты, бог с тобой, не выпивши?

В глазах ее застыл радостный испуг и настороженность, дыхание стало коротким и прерывистым, а кожа на руках и шее вдруг покрылась, как от холода, пупырышками.

— Эх, Матрена Ларионовна... Кабы мог я, — вот схватил бы булатный нож, вырезал бы свое ретивое и показал бы: смотри!.. Жить не могу без Анки... Чуешь?

Купец ходил, пошатываясь и сбиваясь в разговоре, лицо то заливалось краской, то бледнело.

— Матренушка, я прилягу... Продрог в тайге, свалился без памяти и не помню, когда Пров уехал. Вскочил от холода, заколел весь, смотрю: вешки на дороге и веточка привязана, вдоль пути смотрит. Сел, поехал, куда веточка указала... Да... Неможется... Прилягу на кровать... Мне поспать бы...

— А ты иди в амбар, я тебе две шубы вытащу. А то... — и она замялась... — Вишь, одна я... Кабы Пров был... У нас живо разговоры поведут... Иди, батюшка.

И когда ложился Бородулин, и когда лежал под шубой, все расспрашивал: нет ли кого из Назимова здесь? Нету, а вот бродяг поймали каких-то, кто их знает. Сон ей рассказал: «Найдешь деньги, — быть», а что «быть» — неизвестно, — не указание ли это на Анку от ангела-хранителя, спросить некого, вот разве священника? Хе, он и молебен не служил, Устин орудовал, а поп с девками в горелки на лугу играл, чуть с парнями не подрался из-за Таньки, архерею жаловаться надо, что ж это за пастырь. Тьфу!

— Ну, спи, Иван Степаныч... Дак ничего девка-то, говоришь, Анка-то? Экая жаба Овдоха-то. Как наврала, холера...

— Стерва твоя Овдоха-то, и больше никаких. Паскуда.

Матрена захлопнула амбар, вошла в избу, села под окном и пригорюнилась. Хоть красно купец размусоливал, а сердце ноет, да и на!

XV

С того часу как случился грех, Даша не рада жизни: точно кто приволок ее к пропасти и толкает, и нет сил сопротивляться. Вином, что ли, утолить боль?

Вечером на кривых ногах вошел в кухню полюбовник Феденька. Приказчик Илюха рад, — Бородулин долго в Кедровке прогуляет, — слямзил три бутылки хозяйского коньяку, на всех хватит.

Вчетвером в кухне бражничать стали, но Федосья — баба умная, вскоре ушла к Анне: хозяин велел глаз держать.

Илюхе вино сразу же бросилось в голову: он то хохотал, то слюняво плакал, лез целоваться к Феденьке и костил с плеча Бородулина, попа, пристава, наконец, охмелев окончательно, кубарем слетел под стол.

Черномазый Феденька чавкает железными челюстями говядину, глаза кошачьи прищурил и косится сладострастно на розовые Дашины губы.

Когда Илюха захрапел и забредил, Феденька поднялся, высунув свою стриженую скуластую голову в соседнюю половину, как вор, пошарил там глазами, прислушался и плотно затворил дверь.

— Ну? — подошел он к Даше. Голос ласковый, лицо ласковое, только недоброе в глазах. — Ну?

Даша вся сжалась, точно перед ней разъяренный медведь на дыбы поднялся.

— Ничего я не знаю... Головушка моя... — прошептали ее губы, и она не смела взглянуть на поселенца.

— Да не кобенься, Дашенька, — сверкнув на дверь белками, прошипел он, словно к сердцу змея прильнула: гадко так сделалось, страшно.

— Ежели велишь, что ж... куда денешься... — тихо сказала Дарья и, как на горячие уголья, выплеснула

в рот вино, что-то заклубилось внутри, Даша охнула и хотела встать.

— Куда? — И, все так же давя Дашу взглядом каторжника, Феденька грузно придавил ее плечо рукой.

— Ну, ладно, — как во сне сказала Даша, осторожно освобождаясь от его грязной, с желтыми ногтями, руки. — Ну, положим, овдовеет он, Бородулин-то... Ну, подкачусь к нему, как ящерка... хозяйкой буду, женой...

— Дура, Дашенька, — буркнул поселенец и опасливо заглянул под стол на храпевшего Илюху. — Хе, овдовеет... жди... Вы с купцом отравить ее должны, зобастую-то... только вдвоем с Бородулиным... вдвоем, Дашенька. Поняла? Чтоб удавкой его ущемить. Поняла? Тогда командуй, вей из него веревки.

Глаза его блеснули.

— А ежели... держись, Дашенька... финтить будешь — выдам с головой. Разлюбишь — убью!

Говорил он страшные слова с улыбкой, ласково, словно занятную рассказывал сказку.

У Дарьи шире ноздри раздуваются.

— А Анка?

— Анка полоумная, с ней венца не дадут, — шепчет Феденька.

— А солдат?

— Солдата твоего к черту. Я их с Бородулиным сразу... из-за куста, в тайге... — стальным, вдруг изменившимся голосом сказал Феденька и впился взглядом в испугавшиеся Дашины глаза. — На охоту уманю и кончу.

Даша, словно в страшном сне, вскрикнула и отшатнулась.

— Ты что?

— Дьявол ты... мучитель.

— Дашка!! — топнул Феденька.

Та вздрогнула и долгим насмешливым взглядом посмотрела на Феденьку. Потом вдруг с какой-то болью захохотала.

— Эхма! — оборвала она и потянулась к вину.

Зубы стучали о стакан, вино лилось по руке, по голубой, с красными пуговками, кофте, и уж хныкать начала, вот-вот заплачет, а хохот все еще волной в груди.

— А хочешь, Феденька... — погрозила игриво пальцем. — Хочешь, злодей, к уряднику? А? — И, жарко задышав, опьяневшая Даша придвинулась грудью к поселенцу.

Феденька улыбнулся и достал из-за голенища отточенный самодельный кинжал.

— Куда?! — сдвинув брови, железной рукой рванул он отпрянувшую Дашу.

Вся побелев, скрестила на груди руки.

— Ты думаешь, боюсь тебя, Феденька? Боюсь, а? — Она, гордо подняв голову, стояла, а поселенец чуть отклонился от нее, чтоб ловчее было взмахнуть кинжалом.

«А ведь убьет», — мелькнуло в голове у Даши. Но ненависть к любовнику и хмельной угар прогнали страх.

Улыбающиеся глаза Феденьки налились кровью, он вдруг взмахнул кинжалом. Даша ахнула, схватилась за стол. Поселенец сильным броском пустил кинжал через всю кухню в дверь. Цокнув, на вершок врезался кинжал в дерево.

— Вот как я его... в тайге... — спокойным голосом сказал поселенец и шагнул к двери. — А по тебе изнываю... Жару в тебе, черт, много, перцу... Шалишь, Дашенька, не вырвешься... — Он подсел к ней и, как бы играя, тряс ее за плечи. — А ежели тут у тебя много... — постучал он пальцем по ее высокому лбу, — бо-огато заживем.

— Погубитель ты... Ну, уж бери, пользуйся...

Она прижалась к нему и закрыла хмельные глаза. Феденька загоготал. Она вся дрожала; на белом лбу выступил пот.

Заскрипели ворота, копыта застучали по настилу.

— Кого-то черт несет, — буркнул поселенец. — Пойдем на речку.

На крыльце послышались грузные шаги. Кто-то шарил скобку.

— Здорово те живете, — густо сказал, входя, большой, чуть согнувшийся Пров и стал креститься на передний угол.

Анна распахнула дверь и, радостная, остановилась на пороге.

— Пришел?

— Здорово, Анна!

— Батюшка, батюшка! — кинулась к нему на шею. — Что, пришел Андрюша-то? А мамынька-то где?

Пров взглянул на дочь и сразу все понял. Он боднул головой, в глазах запрыгал огонек лампы, все кругом помутнело, и заколыхался пол.

— Вот поедем: матушка горькие слезы по тебе проливает. Что ж ты, доченька... хвораешь?

— Нет, хорошо. Слава богу, хорошо... — а сама стиснула виски и зажмурилась, как от яркого света.

Пров стоял, положив руки на плечи Анны, и уж не мог разглядеть ее лицо.

— Испить ба... — Он мешком опустился на лавку и жадно, не отрываясь, выпил ковш воды.

Дарья и поселенец ушли. Феня увела Прова с Анной на чистую половину, накормила их, и все стали укладываться спать.

Анна, засыпая, говорила, словно жалуясь:

— Тятенька... Ну, как же, тятенька?.. Плохо...

— Чего плохо-то?

— А по книжке хорошо. Все хорошо будет...

— Ну, а как Иван-то Степаныч, как он с тобой в обхожденье-то?

— А не знаю, сбилась. Не понять.

— Ну, а сколько ты зажила-то? Расчет-то покончил он с тобой али как? После?

— Тятенька, после. Вот высплюсь — завтра другая...

Тихо стало. Только из кухни долетал пьяный Илюхин храп.

Прову не спалось. Он поглядел на образ. Огонек лампадки колыхался и озарял лик Христа. Пров

вздохнул. Его душа требовала молитвы. Нужно сейчас встать и все открыть господу, совет благой принять, вымолить спокой сердцу. Он подошел к образу, опустился на колени. Огонек поклонился ему и затрепыхал. Лицо Прова скривилось, сморщилось. И когда он сделал земной поклон, уже не мог выдержать, всхлипывать стал и тихо, чтобы не подслушали, по-женски голосить.

— Рабу твою Анн... звоссияй... боже наш.

И не знает Пров, какими словами можно разжалобить бога, от этого еще больше ноет его душа, и печалится, и тоскует.

— Звоссияй... совсем... гля ради старости... гля утешенья.

После вторых петухов пожаловала Даша. Она легла рядом с Фенюшкой и крепко ее обняла.

— Стерва ты, Дашка, — сказала Фенюшка, — попадетесь вы с хахалем-то.

— Мо-лчи-и, — тянула, засыпая, Даша, — ехать хочу... в Кедровку. Как его, хозяин-то... одного... без досмотру...

— Кати! Все одно шею-то свернешь. Таковская.

— Эх, Феня, Феня, — тяжко вздохнула Дарья. — Ничего ты не знаешь. Ничего ты, Феня, не понимаешь.

— Брось, брось ты его, мазурика, посельгу несчастную.

— Погоди, Феня... Скажу слово... Все тебе скажу...

— Сучка ты, я вижу.

— Ну, не обида ли?! — Даша, чтобы не закричать на весь дом, вцепилась зубами в подушку, застонала.

XVI

Солнце стояло высоко. Матрена пошла к завозне — храпит купец. На речку сбегала — не едет ли хозяин? Нет. Пошла вдоль улицы.

У сборни мужики. Лица мятые, глаза красные, заплывшие. Обабок в кумачной рубахе, в новых про-

дегтяренных чирках, с фонарем под глазом, но при бляхе.

— Надо обыскать... — говорит он, поправляя начищенную кирпичом бляху.

— А по-моему, выпустить, да и все... Народ, кажись, смиреный, — несмело заводит пьяница Яшка с козлиной бородой.

— Сми-и-реный?! — наскакивают на него. — А помнишь?!

У Яшки в груди хрипит, он кашляет, словно собака костью подавилась, и, уперев руки в колени отекших ног, жалеет:

— Мне што ж, мне все равно... Хошь век держи их... Хошь на цепь посади, а только что... Полегче надо бы...

Мимо них по улице священник верхом на Федотовом коне едет. За ним кривая Овдоха на кобыленке тащится.

— Здорово, батя! К домам?..

— Восвояси, отцы, восвояси... — хрипит батя, щуря на них узкие свои глаза.

— А молебен-то?..

— Да чего, отцы... Простыл в речке... Еле жив... Не знаю, как и доплетусь.

— Грива! — злорадно взвизгивает бабьим голосом угреватый парень и, быстро присев, прячется за мужиков.

Батя, понукнув коня, надбавляет ходу.

— Вот это поп... — хохочут мужики, — этот поповать может подходяшше-е-е... Ха!

Подошла Матрена.

— Ну, как?! — спрашивают мужики, поздоровавшись. — Хозяин-то вернулся ли? Анка-то какова, краса-то наша?

— Да, вишь, нет еще Прова-то... Гость у меня, Бородулин.

— Бороду-улин? Ребята, айда с проздравкой! — радостно вскрикнул черный, в плисовых штанах, дядя, по прозвищу Цыган.

— Ну, дак чо, мо-о-жно, — откликнулись, а подыматься лень — сидят.

— Куда... Он спит, разнемогся: лихоманка, чо ли... — сказала Матрена и пошла.

— А-ах! — крякнул Цыган и, состроив плутоватую рожу, поскреб под картузом висок.

— Надо бы выпить-то, — сказал он, сплевывая.

— Ну дак чо? И выпей. Купи у Федота.

— Ха-ха! — хохочет над собою черный, вывернув карманы плисовых штанов. — Купи! Купило-то притупило. Вишь?

И у всех так, год плохой был, денег нет, а выпить хочется. В долг придется взять, без этого не обойтись: можно теленка заколоть да — Федоту, свинью заколоть да — Федоту, самовар стащить, машину швейную стащить — берет. Только баба ругаться станет, — пусть, бабу по уху. Дочка? Дочку за косу. Двустволку можно в заклад пустить. А к Бородулину с проздравкой надо обязательно, подаст хоть по стакану.

Обабок вдруг басом рявкает:

— Робяты!..

— Чтоб те разорвало! — вздрагивают мечтающие мужики, смешливо отодвигаясь от Обабка.

— А може, как ежели пошарить, да у них окажется рублев пяток, а? Как вы понимаете?..

— А и вправду, — согласились мужики.

— Айда! — скомандовал Обабок, и все, не торопясь, пошли к чижовке.

Каморщик Кешка замочком щелк:

— Робяты, вылазь, начальство требует, десятский с сотским.

— В чем дело? — октависто рассыпался Лехман и появился в двери.

— А так что желаем обыск произвести, — подошел к нему Обабок, — револьвертов нет ли али бы чего... и все такое...

— Я те произведу! — сказал грозно Лехман.

Мужики опешили.

А тот, высовываясь из двери и держась рукой за косяк, говорил:

— Отпустите нас в тайгу. Мы шли стороной, вас не трогали, никакого худа вам не сделали. За что нас взяли?

— А очень просто!.. — кричал, не зная, что сказать, Обабок.

Лехман вышел, огромный и сутулый, перекрестился на часовню и направился к тайге.

— Стой, куда?! — враз вскричали мужики.

— За нуждой, — ответил тот, не оборачиваясь.

— Кешка, Сенька, бери топор, айда за ним! — командовал Обабок.

— У меня нож что бритва, — на бегу отвечает Сенька Козырь, за ним Мишка с колом, нагоняют деда.

К сборне, как и вчера, опять народ стал подходить.

Солнце к полудню не подобралось еще, а некоторые уже успели клюнуть, другие хмельны вчерашним. На душе тоскливо, нехватка в празднике, надо драку всей деревней завести.

Больше всех хотелось этого Обабку: забурлило в душе, как в бочонке брага, вот идет, идет — подступает к сердцу, нашептывает в уши, мутит башку.

— Эй, вы, шпана! — рычит он. — Выходи на обыск... Ты! Козья смерть!

Антон знает, что ему кричат, и ужасается: не было догадки перепрятать деньги.

— Ванюшка, голубчик... — шепчет посиневшими губами, — иди-ка ты передом-то... Ох ты, господи...

А Обабок уж в чижовке, за ним народ, заслонили дверь, стало там темно, внутрь взошли, чижовка большая.

— Робята, шарь, — распоряжается Обабок.

Принялись обыскивать Свистопляса: шапку вывернули, штаны прощупали, из рваных чирков всю солому вытрясли, выпал «клап виней», мешок перерыли, нашли рубль двадцать, отобрали.

Ванька ухмыляется, — слава богу, сошло благополучно, — и сыплет мужикам прибасенки. Те посмеиваются, с любопытством наблюдая, как два парня и Обабок выбрасывают из его мешка всякую рвань.

— Эх ты, искало-мученик, — весело подмигнул он Обабку. — Что, все? Боле не нашли?

— Все! —взмахнул Обабок кулаком.

— Стой, чертило этакий, — увернулся Ванька. — А это что? Все? — и в руке его блеснул полтинник. — Видишь? Ну-ка, понюхай, чем пахнет! — вскочив на ноги, сует в самый нос попятившегося Обабка. — Гляди, ребя: фють! — подбросил полтинник вверх, и тот бесследно исчез.

— Ха! — хакнула толпа.

— А теперича смотри! — вскричал Ванька, незаметно покосившись на копошившегося в темном углу Антона. — Раз — первой, два — другой, а серебруха-то у рыжего начальника под бородой! — он дернул за бороду Обабка и достал полтину.

Все захохотали, а Обабок, широко осклабясь и почесывая за ухом, милостиво приказал:

— Ослобонить!..

— Вот спасибо, ваше благородие, — хихикнул в кулак обрадованный Ванька.

Обабок гордо оглядел подбитым глазом толпу и поправил на груди бляху.

— Шарь другого!

Стали обыскивать Тюлю.

Народ стоял в чижовке, очень довольный тем, что видит; ни у кого не было в сердце злобы, все смотрели на Ванькин фокус с любопытством и чувствовали себя празднично, как у ярмарочного веселого балагана. Задние, скаля зубы, напирали на передних, а те, пыхтя, кричали: «Сдай назад, чего прешь!» — и ретиво осаживали. Девки и бабы, затесавшиеся в середку, вызывающе повизгивали.

Тимохе-звонарю больше всех фокус понравился. Чтоб покороче познакомиться с Ванькой Свистоплясом, сел возле него на корточки, хлопнул дружески по плечу и осклабился:

— Дай-ка, паря, покурить.

— Курила бы у тебя вошь в голове! — шутливо ответил Ванька, незаметно подталкивая к Антону свой, уже подвергшийся обыску, мешок.

— Говорок, язви его! — смеялись мужики.

— Говорок — съел у твоей бабы творог!

— Ха-ха-ха!.. вот и возьми его за полтора с полтиной...

Антон понял Ванькину подсобу: трясущимися руками всунул что-то в мешок и, крадучись, толкнул обратно.

— Ах, сво-о-о-олочь! — вдруг покрыл все голоса Обабок.

Толпа замолкла и метнулась в тот угол.

— Это у тебя откуда лисица, а?

— Я сам убил, вишь — ружье у меня, — робко ответил сидевший на полу Тюля.

— Сам?! И это сам?! — Обабок выкинул новые вожжи и со всей силы двинул сапогом Тюлю в бок.

Тот взвыл и, обомлев, пополз к стене.

Толпа замерла. Похолодел Антон.

— Выть?! Ты еще выть, жаба?! — орал Обабок, подскакивая к Тюле.

— Ой, дяденька... Не бей! — в ужасе закрылся тот рукой.

Обабок, прикрякнув, двинул Тюлю кулаком.

— Негодяй!.. — вдруг вскочил в своем углу Андрей и шагнул к Обабку. — Как ты смеешь, негодяй?! Как ты смеешь?! — Он был страшен и диким выражением лица и вмиг взвившимся резким голосом.

— А-а-а, — протянул, подбоченившись и чуть попятившись, Обабок. — Ишь ты! А ежели я тебе в ухо порсну?! — пальцы правой его руки заиграли. — А ежели я тебя... — и он, стиснув зубы, сжал кулак.

— Ты кто? Ты десятский?! — еще смелее наступая на Обабка, кричал Андрей. — Десятский?!

— Пшел, погань!.. Не замай!!!

Ванька Свистопляс, врезавшись между ними, испуганно молил:

— Андрей... Андрей... Уймись, пожалуста... — и, растопырив руки, легонько отодвигал политика к стене. — Плюнь, не вяжись!

Обабок кашлянул, поутюжил бороду и повернулся к Андрею задом.

— Шарь этого... холеру-то... — кивнул он головой на притихшего Антона.

Андрей-политик мешком сидел на полу, растерянно хватался за голову, споря и ругаясь с Ванькой.

— А я чо-то зна-а-ю... — протянула, склонив набок голову, белобрысенькая девочка Акулька.

— Старик пришел, пустите старика, — послышалось с улицы.

— А я чо-то зна-а-аю, дяденька Обабок, — опять пропищала Акулька, — он эвот куда схоронил... Вот подохнуть. Грамотку какую-то...

— Ково? — переспросил Обабок и вместе с Акулькой нагнулся к мешку Ваньки Свистопляса.

Антон открыл рот и впился глазами в руки Обабка, торопливо развязывавшие мешок.

— Ведь искал... брось!.. — несмело сказал Ванька.

— Удди!

В чижовке было жарко и душно, пахло пóтом, винным перегаром, луком и махоркой.

— А! Вот оно что! Робята, деньги!.. — Обабок тряс над толпой пачкой бумажек.

— Деньги!! Ура... Деньги!

— А они твои? — раздался с улицы голос Лехмана. — Пусти-ка меня... Ну, сторонись, что ль!!

Передние сразу посунулись.

— Милый... — на коленях просил Обабка Антон. — Ради Христа...

— Расступись!! — гремел Лехман... — Это что, грабить?!

— Ради Христа... Ради господа...

Лехман схватил Обабка за горло и грохнул его на пол. Все растерялись. Задние повыскакали на улицу. Ванька в суматохе быстро вырвал деньги из рук Обабка, но Цыган ударил Ваньку по затылку, выхватил у него пачку и, подняв руку вверх, сильным плечом проложил себе дорогу на улицу.

— Эво они!.. Вяжи, ребята, бузуев... Выходи на улку... Эво они!..

Андрея-политика охватила дрожь.

Лехман, прислонившись спиной к стене, тяжело пыхтел. В его руке сверкал клинок ножа.

— Изувечу! Убью!.. — хриплым, уставшим в схватке голосом рокотал он. — Мне каторга не страшна...

Только тронь хошь одного, всем вечную память загну!!

— Мы вас, варнаков, нешто шевелили?! — кричал Обабок. — Ты мне, старый черт, полбороды выдрал!..

— Полезешь — башку оторву да в бельма брошу!

— Милые мои, — хныкал Антон, — я вам в ножки поклонюсь.

— Отдай, чалдон, деньги! — сказал грозно Лехман. — Добром отдай...

— Обабок, выходи! — кричали с улицы.

— Кешка, запирай! — скомандовал Обабок, и все, пятясь к двери и со страхом следя за сверкающим ножом деда, высыпали на улицу.

— Еще мы тебя спросим, ворина, где деньги взял? — пригрозил, отдуваясь, Обабок.

— Господом прошу: отдай... В Россию, к своим иду, помирать иду... В земельку свою лечь... — стонал Антон и, поднявшись с полу, со скрещенными на груди руками, несмело подходил к стоявшему за порогом на улице Обабку. — Прошу... умоляю... — Глаза Антона были полны слез, и тряслась хохолком бороденка. — Десять лет копил. Ребят обучал по деревням.

— Кешка, залаживай!

Когда захлопнулась дверь, Антон стал что есть силы бить кулаками и коленками в запертую дверь.

— Отдай!! Отдай!! — вопил он исступленно. — Деньги отдай!.. Мои кровные отдай!..

Голоса, шумя и пересмеиваясь, удалялись.

— Так твою так... вот это — встретили! — вздыхал Ванька, щупая затылок.

— Ах, обить твою медь, — подхватил и Тюля.

Лицо Антона вдруг помертвело.

— Ребятушки... Смерть... — Антон с размаху сел, словно ему перешибли ноги, свесил на грудь голову и распластался на полу.

— Воды давай! Тащи к окошку! — суетился Лехман.

Андрей-политик, уставив в решетчатое окно голову, пронзительно кричал:

— Эй, эй... Отопри!.. У нас человек помирает!..

Но кругом было тихо. Лишь вдали наигрывала гармошка и выводили песню два мужских голоса: на лугу у речки собиралась молодежь.

XVII

Дедушка Устин, сгорбившись, петухом наскакивал на мужиков, сидевших на завалинке:

— Ограбили — и квиты?! Ах вы, непутевые!

— Иди-ка, дедка, иди! Вот тебе на церкву две красных... и проваливай... — сказал Обабок.

Он вытащил из кармана горсть денег и отсчитал трешками, выбирая самые старенькие, двадцать один рубль.

— А достальные возворотите, грех... По правде надо.

— Ну, ладно, возворотим... Проходи!

Устин строго посмотрел на мужиков и пошел к часовне, устало переставляя согнувшиеся в коленях, одеревеневшие свои старые ноги.

А мужики разделили по пятерке на дом, остальные решили в пропой пустить: гуляй вовсю, на неделю хватит.

Девчонка Акулька тем временем прибежала к избе старосты Прова и, запыхавшись, крикнула:

— Тетынька Матрена, а у бродяг-то деньги...

— Врё... Много?

— У-у-у, папуша... Вот подохнуть... Мужики за вином побегли.

— Врё?..

— Вот подохнуть...

И припустилась рысью сказать мамке, чтоб пятерку у тятьки отняла: пропьет.

Бородулин чайничал у Матрены. Не дослушав Акулькиной речи, вскочил, табуретку опрокинул, сорвал с гвоздя картуз, — да на улицу:

— Это мои, обязательно мои...

А в ушах его шум гулял, болезнь из головы выходила, и в этом шуме грезилось: «Деньги найдешь, — быть»...

И, не спрашивая встречных, — сами ноги несли, — спешил к той заветной, пьяной завалине, где ходила уже чарка зелена вина.

— Братцы, у меня деньги пропали!

Точно бичом хватил: чарка остановилась, Обабок сразу присел на луговину, все затихли и, разинув рты, смотрели на Бородулина.

— Какие, Иван Степаныч, деньги, когда? — притворчиво спросил Цыган.

Бородулин все подробно рассказал: как с топором бежал по улице за жуликом, как в волость ездил, и про видение сонное в тайге: денег не жаль ему, лишь бы вора изобличить, только бы найти разгадку сну.

Мужики смотрят на него, дивятся: заикается Бородулин, руками машет, не в себе.

— Вы у бродяг, братцы, деньги-то отобрали?.. Обязательно мои...

И опять:

— Кешка, отворяй!

— Робенки, выходи!

Лехман высунул из двери голову и кивнул своим:

— Кажется, старшина, товарищи, пришел. Ну-ка...

Один за другим вышли четверо. Ограбленный Антон оправился и весь вдруг наполнился надеждой: глаза сразу Бородулина разыскали, улыбнулись ему и запросили пощады и милости.

— Который? — всех четверых взял взглядом Бородулин.

— Вот, — сказал Обабок, указав ногой на Антона.

Тот поклонился низко Бородулину и заговорил:

— Мои, господин старшина, у меня отобрали... кровные мои.

— Не он, — перебил Бородулин, — этого наздогнал бы.

— Отпустите нас, сделайте милость, мы своей дорогой шли... — загудел и Лехман.

Андрей из чижовки вышел.

Что-то ударило купца по сердцу, кто-то в уши крикнул: он!

— Это кто?!

Лехман, оглянувшись, куда показывал Бородулин, сказал:

— Это Андрей, политик тут один, недавно в тайге к нам пристал.

Зашатался Бородулин, защурился: так ярко вспыхнул в глазах огонь, все сказавший, на мгновенье туманом все покрылось, — и вдруг:

— Он!!

— Бородулин, Иван Степаныч! — радостный голос раздался, и Андрей шагнул к Бородулину. — Иван Степаныч!

— Он! Ребята, бей!!

Бородулин крякнул, привскочив: трах! — мимо, увернулся; трах! — кто-то на руке повис.

— Бей!.. Кто это? Нож, нож, нож, лови, держи, режь!

А в гору во весь дух летит он, враг, он, окаянный, живой оборотень, он!

— Держи-и-и!!

А сзади мужики с кольями, с ножами, с кулаками:

— Держи! Держи!!

Тропинка в тайгу стегнула. Андрея не видать, прытко бежит, смерть по пятам несется.

— Напересек, напересек ему!!

— Держи-и-и!!

Сучья трещат, гам, ругань: ломится тайгой деревня, осатанели мужики. Бородулин впереди, легче пуху, себя не чувствует.

— Обутки сбросил, стервец... За мной!..

— Айда!!

Тропинка на луговой пригорок взметнулась, хорошо видать: нет врага, скрылся...

— Ребята! Сюда!.. Эн шапка!..

И слышит притаившийся в чаще Андрей, как, тяжело пыхтя, бегут мимо него, незримого, незримые люди: обманул их, бросил шапку вперед по тропинке, а сам в чащу, замер.

Кончилась лихая вереница, три мальчонка в хвосте бежали.

Андрей, пригибаясь к земле, бросился наискосок к речке и, еле переправившись вброд, пал в кусты, потеряв сознание.

А у чижовки оставшиеся мужики вихрем налетели на бродяг:

— Бей! Рр-работай! — сшибли их с ног, и началась расправа.

Все в клубок смешалось. Ревом и стонами задрожал воздух: лаяли собаки, визжали и плакали женщины, надрывались, яро хрипя, хмельные мужики. Бродяг били кулаками, били палками, топтали огромными подкованными сапожищами, где-то кирпич нашли — били кирпичом.

Вдруг:

— Стой! Что вы, окаянные!.. Стой!

Лысый, с грозным огнем в глазах, Устин совался возле кучи извивавшихся тел и взмахивал руками:

— Стой! Остановись!..

Не сразу очнулись: руки ходу просят, осатанелые глаза кровью налились, на кулаках вбросили бродяг в чижовку, с руганью захлопнули дверь и, надсадисто дыша, буйно повалили в тайгу, на подмогу погоне за Андреем.

А старый Устин, в большущих своих сапогах, все так же подгибая ноги, торопливо вслед мужикам кинулся и не переставая звал:

— Воротись, лиходеи!.. Прокляну!.. Стой!!

В свалке Лехман кудрявого парня ножом пырнул. Парень лежал у чижовки вниз лицом и стонал, а на него лили ключевую воду. Плакала над ним в голос мать, ахали и ругались оставшиеся возле мужики, а пьяный отец, по прозвищу Крысан, лез драться к ключарю Кешке и диким голосом ревел на всю деревню, взмахивая огромным топором:

— Отопри, тебе говорят!.. Всех один кончу... Всех!!

Был полдень.

XVIII

В это время тайгой ехали трое: Анна, Пров, Даша... Эта насильно увязалась, упросила Прова Михалыча: праздник, погулять охота.

Отец с дочерью впереди, Даша далеко отстала: конь уросит, а Даша отвыкла от седла, боится.

У Прова душа играет, он глядит в спину дочери, на статную, крепкую, с обнаженными белыми икрами, фигуру, радуется: дочь говорит правильно, про все выведывает, все знать хочет, болезни не видать.

Дарья, как въехала в тайгу, вздохнула отрадно полной грудью.

Она давно не бывала в тайге, забыла ее ласковый говор, смолистый запах ее. А когда-то, лет пять тому, в девичью чистую, золотую пору... Эх, матушка-тайга!..

Чувствует Даша: творится что-то в душе, какие-то мысли, какие-то слова на языке вертятся... сердцу тяжело.

Тихо едет Даша, вся в себя ушла, осматривает пугливо свою солдаткину жизнь.

Как познакомилась с купцом да связалась с Феденькой, жизнь пьяной сделалась, соромной: то с Бородулиным гуляет, то с уголовным, надвое себя рубит. И пока пьяная, пока бушует кровь — все нипочем, а вот ляжет Дарья спать, — весело ляжет, весело уснет, — но сны видит страшные: по ночам стонет, кричит, сама себя пробуждает. Перевернет мокрую от сонных слез подушку, закинет руки за голову и задумается. Хочет мысль направить на новый путь — не может, душа не принимает, очернилась, других дум требует: пьяных и разгульных, как ее, Дарьина, гулящая жизнь.

«Эх, все равно», — махнет, бывало, рукой и даст дорогу пагубным своевольным своим мыслям. А досыта надумавшись, вновь заснет веселым, улыбчивым сном. Наутро глядь: сердце тоской зашлось.

И вот уж Дарье невтерпеж: Феденька ножом грозит, перед народом стыдно, на божий свет глаза не подымаются, а впереди страх: придет домой муж-солдат — расплата коротка.

Дарья ищет забвения, до бесчувствия пьет, часто посматривает в сеновале на перекладину, веревку в мыслях примеряет, но вовремя рубиг мысль, сама себе приказывает: нет! И, прижавшись щекой к стене, ревет в голос.

— Эй, Дарья! — крикнул Пров.

Даша очнулась, оглядела тайгу и стегнула лошадь. Лицо ее разрумянилось, печальные глаза в слезах.

— Богородица!.. Ангели!.. — шепчет Даша, прижимая ладонь к груди.

— Не отставай! — вновь крикнул Пров.

Сливаясь своим серым зипуном со стволами деревьев, он ехал впереди; за ним, в белом, — Анна. Даша взглянула ей в спину и открывшимся сердцем вдруг неожиданно потянулась к ней, как дым к небу. Словно кровное, самое родное учуяла в Анне.

«За что же я ее? Ангели!..» — скорбно укорила себя Даша.

И стало ей жаль Анну, в первый раз пожалела, с собой сравнила, вспомнила, как отравой собиралась опоить, — и еще жальче стало Анну, тихую и неповинную.

Вся в порыве, — хлестнув лошадь, нагоняет Анну.

Хочет упасть перед нею на колени, многое хочет ей сказать, но кто-то отстраняет ее от Анны.

— Анна! — позвала Даша. — Аннушка... Дяденька Пров!

Молчат, не откликаются. Тайга молчит. Жутко стало.

Пров остановил лошадь:

— Ну-ка, передохнем не то...

Стали чай варить. Анна живо насбирала сушняку, веселая ходит, светлая, костер разложила, на отца смотрит ласково. А Даша пригорюнилась, губы кусает, опять жизнь свою издалека осматривает, от начала дней, как стала себя помнить.

Пров за дочкой ухаживает: то хлеб ей пододвинет, то комаров черемуховым веником смахнет с ее лица.

— Ты у меня разумница... Помощница моя, утеха...

Обо всем его расспрашивает Анна: о матушке, о дедушке Устине, о буренке. Отец отвечает, шутит с ней, прибаутками говорит.

Анна улыбается, а отец пуще рад. И вдруг, неожиданно, кидается Анна отцу на шею:

— Ох, родимый ты мой... Во всем тебе откроюсь... все скажу... Одного только мне...

— Н-и-ичего, доченька, — утешает Пров и косится на ее живот.

— Батю-ю-шка...

Только лишь на лошадей сели: поп едет по тропинке, за ним, попыхивая трубкой, грудастая Овдоха.

— Здорово, Пров Михалыч...

— Ах! Батя... — крикнул Пров, — а мы только что почайпили...

— Эка штука... Не знал... Мы тоже недалече вот с кумой-то, с Авдотьей Терентьевной, тово... Чайком, значит, побаловались... Хе-хе...

Овдоха вспыхнула и, одернув красный сарафан, испуганно уставилась кривым глазом на попа.

— Ну, как там у нас, в Кедровке? Молебен-то служил?

— Слу-у-жил... — улыбнулся батя.

Овдоха выхватила изо рта трубку, хихикнула в горсть и, покрутив носом, насмешливо кашлянула.

— Ну, прощай, батя, — сказал Пров, тронув коня, и, обернувшись, крикнул: — А Бородулин у нас?

— Не видал! — прокричал батя. — Слушай-ка, дядя Пров! А у тебя водчонки нету?

Но Пров уже скакал, нагоняя дочь и Дашу.

И вновь едут трое таежной тропой, сумрачной и тихой.

Вечерело. Замыкалась тайга, заволакивалась со всех сторон зеленым колдовством.

У Анны дрожит душа, от ветерка неверного колышется, невидимое чувствует, видимое обращает в сказку.

И уже замелькали меж стволов лесовые шиликуны, тени кой-где ходили и прятались, огоньки вспыхивали и гасли. Шорох плыл, и посвистывал в болоте леший.

Пров ничего не видит, ничего не слышит, шапку надвинул на брови, молчит.

Дарья вся в себе: ставни наружу закрыты, псы сторожевые спущены. Нет Дарьи, солдатки оголтелой, веселой Даши, говорухи и песенницы, здесь только голубиная женская душа.

Сумрак наплывает, прохладный и сырой. Ночь близится.

— Ну, теперича, девахи, недалече! — кричит Пров и проверяет взглядом знакомые места.

Собака Лыска уж не забегает в гости к каждому кусту и пенышку, прямо бежит перед лошадью, язык на плечо — устала.

Что-то белеет впереди, расступилась тайга, тропинка на долину вышла: белый туман по речке лениво стелется, в деревне огни.

Анна увидела родные места, — перекрестилась, глаз оторвать не может от мелькающих знакомых огоньков.

— Матушка!.. — кричит она. — Эй, матушка! Встречай!!

К броду спускаются — нет матушки, в деревню въехали — нет матушки, и не видать на улице народу.

Только в том конце, где дом Прова Михайловича, что-то неспокойно.

— Ой, худо у нас! — не то подумалось Прову, не то Анна проговорила.

Упало у мужика сердце.

Подъезжают. У открытых ворот толпа.

Увидали, гвалт подняли:

— Ну, с гостьей тебя, Пров Михалыч... Да еще с гостем. Иди-ка, брат, в избу, гляни!.. От-то шту-у-ка!..

Забыл себя Пров, страх вломился в душу, боится и во двор вступить...

Матрена вышла, подбежала к Анне, целует, плачет и сквозь слезы и ласковые слова кричит Прову:

— Бородулин-то... Ох, светы мои...

Но уж Пров в избе, изба народом полна, душно, но тихо и торжественно.

На лавке — с закрытыми глазами Бородулин.

И в двадцатый раз говорит Матрена:

— И как прибежал это он, батюшка, с бою-то... глаза выкатились, трясется. «Ой, что-то, говорит, Матренушка, дух заняло...» Прислонился к забору да как рухнет!.. Только и жил...

XIX

У полумертвых, изувеченных бродяг трещали в ушах бубенцы и барабаны, перед глазами кувыркались, мяукали какие-то черные хари, все горело внутри, и не хватало воздуху: словно их закружили в дикой пляске черти и, не дав отдышаться, бросили в вонючий провал.

Антон, опираясь на колени и локти, припал к грязному полу, словно воду из ручья собрался пить. Он тяжело охал и стонал.

Ванька Свистопляс, размазывая по скуластому лицу кровь, все норовил приставить и удержать оторванное свое, висящее «на липочке» ухо. Он, весь съежившись, сидел горшком под единственным оконцем и скорготал зубами, пытаясь облегчить боль.

Тюля лежал рядом с Ванькой, закинув руки за голову, и молча смотрел в потолок подбитыми глазами.

Бродяги нутром чуют: быть грозе, — дело одним политиком не кончится, дойдет черед и до них.

Надо бы бежать, но где схоронишься? Догонят, разорвут, в землю втопчут, осиновый кол вобьют. Куда бежать? В тайгу? Но у них все отобрали, ружьишко — и то отняли. Выскочить да караульного зарезать? Красного петуха пустить? Но крепок запор, а маленькое оконце железной решеткой оковано. Нет, не уйдешь: суставы повывернуты, ребра сломаны... Думай не думай — крышка...

По своим углам товарищи забились, молчат.

Только Лехман, растянувшись на полу огромным телом, тяжело сопит, хватаясь за отбитую кирпичом грудь, и злобно ругает всех сплеча: и Свистопляса, и широколицего, с затекшим глазом Тюлю, и Антона.

Тем и так тошно, душа изныла, а он без передыху поливает и их, и свою мать, что на свет породила, и тайгу, и жизнь проклятую, и смерть, что не идет за ним.

— Мы тут ни при чем, — стонет Тюля...

— Ни при че-о-ом?!! — гремит Лехман и сердито плюет в воздух.

Сам знает, что ни при чем: судьба сюда свильнула, под обух поставила, но разве судьбу проймешь, разве ей влепишь затрещину? А кулаки зудят... ух, зудят!

Лехман, хрипя и ругаясь, вскочил по-молодому, лицо дикое, схватил за ножку железную печь и, размахнувшись, грохнул ею в стену.

— Товарищ!.. Что ты? — взмолил Антон.

Лехман зубами скрипит.

— Замолчь, свято-о-оша!! — к Антону медведем бросился, сутулый, страшный, лохматый.

Антон смирнехонько на полу лежит, большими глазами, жалеючи, смотрит на Лехмана.

Враз остановился Лехман, словно с разбегу в стену, голова его затряслась, заходила борода.

— Робя-а-тушки...

Он схватился за лысый череп и отрывисто застонал, словно залаял, потом сразу присел и пополз на четвереньках в угол, а борода по полу волочится, заплеванный пол метет, древняя, седая.

— Товарищи, милые... — глухо стонет Лехман и валится вниз лицом.

Антон уж возле Лехмана, спину его сухую гладит:

— Ах, дедушка ты мой, родной ты мой...

Ванька с Тюлей, стуча зубами, косятся то на Лехмана, то на дверь, за которой гудит народ. И уж не могут понять ни отдельных резких выкриков, ни ругани, что влетают с улицы в решетчатое окно вместе с красной полосой солнечного заката.

— Тюля, — шепчет Ванька. — Чу... кричат...

А народ пуще загудел и вдруг осекся: враз смолкли звуки, отхлынули прочь, тихо стало.

— Ково? — гнусаво и удивленно кричит у двери на улице каморщик. — Бородулин? Вот это та-а-к...

И слышно, как выколачивает о каблук трубку и сам с собой громко рассуждает.

Солнце садится, последним лучом с бродягами прощаясь: ему все равно, все дети кровные. Антону в глаза ударило ласково, Антон щурится, в окошко заглядывает, вздыхая, провожает солнце: может, завтра не увидит его.

Лехман уснул, стонет во сне и охает.

— Антон, — говорит Ванька, — а ты хочешь есть?

— Нет, милый... до еды ли тут?.. Вот испить бы...

Тихо в каталажке, сумерки сгущаются. Где-то корова мычит, ребенок заплакал, собака тявкает.

— Я бы попросил воды, да боюсь, — говорит Ванька.

— Чего ж бояться-то?..

Ванька усиленно сопит и, помолчав, отвечает:

— А как убьют?..

Скоро в каморке совсем темно сделалось и тихо. Уснули, что ли, все или так примолкли.

Кто-то на коне едет.

— Матушка, встречай, — женский доносится голос. И опять все замерло. Лишь каморщик мурлычет песню и кашляет да бредит Лехман.

А у оконца Ванька с Тюлей. Шепчутся, то один, то другой, громко скажут слова два и опять шепотком.

— Антон, — тихо позвал Ванька.

Ответа нет.

— Дедушка!..

Молчит и Лехман.

— Спят, — сказал Тюля.

Ванька Свистопляс почесался во тьме, поворочался и дрожащим голосом тихо заговорил:

— Ох, товарищ... Не приведи бог, ежели мужики в ярь войдут.

— Да-а-а, — тянет Тюля.

— Аминь тогда наше дело... Эна как мы, рестанты, в остроге четверых надзирателей кончили, всей оравой-то... Вот так же вечером, темь. Уж больно они мытарили нас, прямо зверье... Ну, мы, значит, и сговорились... Пришли это они с проверкой, мы на них... Те как зайцы запищали... Знаешь, зайца когда собака

сбреет, он должен как дите заплакать... В ногах валяются, пощады молят... Куда тут... Троих-то сразу кончили, головы о стену разбили. А четвертому, а четвертому-то, Тюля... Мы его... Мы ему...

Тюля долго сопел, потом раздраженно сказал, ткнув в бок Ваньку:

— Не хнычь... Че-орт... Слюнтя-а-ай...

Ванька оправился и приподнялся:

— Мы его, Тюля, свалили да арканом ноги у ляпустей связали, а другой-то конец через спину перекинули да за горло, да и начали в дугу гнуть, пятки к затылку подтягивать. Сначала дурью ревел, как чушка под ножом, потом визжать стал. А мы, черти, ржем, любо... Человек хрипит, а мы пуще налегаем, грудью-то на пол его поставили, быдто колесо какое... Тот хрипел-хрипел — навовсе уснул. Ноги-то крепче оказались, а горло-то, Тюля, не вынесло, хрящ лопнул... Как захрусти-ит... Мы прочь... Ух ты!..

— Ну тя к лешему, — сказал Тюля и сплюнул.

И долго лежат оба молча, хлопая во тьме глазами.

Робость овладела Ванькиной душой, внутри все горит и холодеет. А думы на прожитую дорогу увлекают Ваньку, по тайным тропам тащат, на провалы, на звериные указывают дела. Он ли это делал?.. Да, он, молодой парень, — Ванька Свистопляс.

«Я человек темный, я ни при чем, — оправдывается в мыслях Ванька. — Я — сирота... Мне батька чугунным пестиком башку прошиб... Мой батька мамыньку зарезал, а сам задавился...»

Но совесть молчать не хочет, глушит Ваньку его же делами, его же мыслями; видит Ванька убитую, в красном платье, бабу, видит молодую растерзанную девушку и чует: хрустят под арканом хрящи надзирателевой глотки.

«Я... Я... Мой грех...»

— Ты, чертова голова, о чем это думаешь? — строго спрашивает Тюля. — Опять?!

— Я ни о чем... Мне бы вот... Этово... Как его... табачку...

Слышат оба: стоит кто-то у оконца, дышит.

— Эй, есть кто живой?

Поднялся Ванька. Две бутылки с молоком просунулись сквозь решетку, калач пшеничный, картошка, лук.

— Примите-ка, несчастненькие... — сказала женщина и пошла прочь, заохав и запричитав.

А Ванька, прильнув к решетке и придерживая оторванное ухо, ей вдогонку посылает:

— Прости нас, бабушка, грешных... То ли бабушка, то ли тетушка...

Жадно вдыхал Ванька ядреный воздух наплывающей ночи и ловил каждый звук, каждый шорох. Но было тихо вблизи, лишь где-то далеко мерещились еле внятные людские голоса.

Тюля чавкал хлеб и запивал свежим молоком.

— Огонька бы, — сказал, опускаясь на пол, Ванька.

— А у тебя серянки есть? — вдруг спросил все время молчавший Антон. — У меня свечечка есть, огарочек... последний...

Ванька обрадовался его тихому голосу.

Зажгли огарок и укрепили у стены, на воткнутой щепке.

Заколыхался тусклый огонек, задрожала тьма.

— Вот так и жисть наша... вроде как огарок, — раздумчиво сказал Ванька, — догорит, и аминь тому...

— Ну, ты, пое-е-хал... — огрызнулся Тюля.

Ванька, весь всклоченный и измазанный кровью, сидел, обхватив колени, на полу против Антона и смотрел на него тусклым, немигающим взглядом.

— Шел бы в уголок: ты страшный, — сказал ему Антон, — а я помолюсь, у меня дух чего-то запирает, истоптали меня всего...

Ванька отполз послушно в угол и оттуда сказал:

— Вот ты бы поучил меня, как молиться-то... Надо бы... А то я все матерком да матерком...

Антон вынул из мешка завернутый в тряпку медный образок и поставил возле себя на пол.

Вдруг Лехман так пронзительно и тонко взвизгнул во сне, что всех перепугал, все враз крикнули:

— Дедка, дедка!

Тот быстро приподнялся, протер глаза, поводил хмурыми бровями и изумленно огляделся кругом.

— Ты чего это?

— Так... Ничего... — октависто сказал и лег.

— Помоги... Настави... Укрепи, — громко и выразительно шепчет Антон и, распластавшись на полу у иконы, лежит, трясясь всем телом.

Огонек колышется, играет. Антон за всех молится. На душе у бродяг потеплело.

XX

Вся деревня обрадовалась Анне.

Только и слышалось:

— Аннушка... Краля наша... Умница...

И мужики, и бабы, и старые старики, и ребята. Про молодежь и говорить нечего.

Варька черноглазая первая прибежала. Танька пришла. Сенька Козырь с Мишкой Ухорезом пришли. Тереха-гармонист пришел.

Варька Анну к себе ночевать увела: в избе у Анны — покойник, страшно.

Молодежь всей гурьбой провожала Анну. Лишь вышли на улицу, Тереха по всем переборам саданул, девки подхватили проголосную, заунывную:

Уж и где ты, ворон, побывал,
Где, черной, сполетывал?..

Анну под руки вели подруги. Варька за талию обняла ласково.

Все веселы хорошим весельем, тихим.

Сумрачно было. Звезды мерцали с серого неба. Лица Анны не видать. Анна в белом. Анна низко наклонила голову, и как-то незаметно, сами собой, покатились из глаз слезы. А сердце такой светлой радостью вдруг переполнилось, что Анна не выдержала, к подругам на шею бросилась, парней обнимать начала:

— Девушки... Молодчики...

Парни смутились, встревожились, самые ласковые слова в ответ подбирали и пофыркивали носами.

И ни один из них, и никто в деревне даже взглядом не оскорбил приближавшегося Анниного материнства.

— Мы за тебя, Аннушка, горой!.. Только бровью поведи...

Дальше пошли. Черный жучок Тереха не сразу в гармонь ударил: руки тряслись от волнения, сердце шумно билось, — эх, зачем он таким сморчком, замухрыгой уродился!

До Варькиной избы Анну довели, а сами на горку повалили разводить ночные плясы.

Поздний вечер. Сторож с колотушкою начал дозор.

У Прова полна изба народа, мужиков меньше стало, все бабы, старухи, ребятенки. Бородулин на лавке лежит, Пров «шевелить» его не велел, завтра с понятыми подымут, в Назимово потащат, на родную землю. Бородулин весь белыми холстами да темным рядном прикрыт, — старухи натащили, за упокой души жертва.

— Прими... — шептали сокрушенно и клали земной поклон.

Лучина в светце теплилась, пламя дрожало, и дрожали по белым, известкой мазанным стенам большие тени.

Как пчелы, жужжали женщины, про покойника вспоминая: вот какой здоровый, а бог прибрал, жить бы да жить, всего вволю — богачество, почетливость, — а вот поди ж ты, смерть-то не спрашивает...

— Раздайсь, дай пройти! — сказал, протискиваясь с книгой в руке, Устин, усердный господу.

Все зашевелились; пуще завздыхали и нетерпеливо закашляли: Устин очень хорошо читает по покойникам, уж таково ли заунывно, таково ли жалостливо.

— Салты-ы-рь, — деловито протянул мальчонка Митька, указывая кулачком на книгу.

Дедушка Устин, лицо тревожное, поклонился в ноги покойнику, народу поклонился, поставил на

стол опрокинутую кадушку, на кадушку псалтырь положил, нос очками оседлал, откашлялся и, часто закрестившись, начал. Он ни аза в глаза не знал, в книгу глядел зря, но это ему очень льстило: пусть будет он во всей деревне единый грамотный, и хоть частенько подумывал Устин о своей гордыне, но искушение всегда брало верх. Вот и теперь: зорко смотрит в книгу, тягучим голосом читает, — где запнется, пониже к книге склонит голову, свечкой тычет: две свечки горят — одна на кадушке, другая у Устина в левой руке.

Старухи крестятся, охают и вздыхают.

С улицы к открытому окну сторож прилип, снял шапку. Постоял-постоял, прочь пошел и вдруг ударил в колотушку так громко, что задремавший было Митька вздрогнул.

— Салтырь, — опять сказал Митька и сел на пол.

А Устин, как шмель, бубнит без передыху разное:

— Утулима богомать... Святы отцы Абросимы... Сорок мучельников... Помилуй нас... — потом передернет плечами, стряхивая дрему, и умиленно возгласит: — Со святыми упокой, господи, новопреставленного раба Ивана... Жил еси, жил, в землю отыдеши... Утулима божжа мать...

Разбредаются бабы помаленьку. Митьку домой повели. У него одна штанина засучена, другая по полу волочится. Митька трет кулачком сонные глаза и, семеня ногами, бормочет:

— А он будет кадить?.. Устин-то?..

Свечки тают, роняя восковые слезы.

Устин утомился: лысая голова, как росой, кроется потом, голос просит отдыха, гнется чрезмерно спина. Час поздний.

Даша неожиданной смертью Бородулина была потрясена. Что-то закачалось в душе ее, охнуло и порвалось.

Она, приехав, лишь скользом взглянула на покойника, потом забилась к печке за занавеску и, вся дрожа, приникла к Матрене.

Та принялась про все выпытывать, выведывать. Обняли друг дружку, зашептались.

Старушонки поближе к занавеске подвигаться стали, насторожили жадно слух, опасливо поглядывая на покойника.

Дарья все пересказала Матрене: и про Андрея-политика, и про Бородулина, и про Анкино горе: «девка брюхатая, девка не в себе». И на жизнь свою жаловалась, и на мужа-солдата: с какой-то «фрей» в городе снюхался, ее, Дарью, на грех толкнул....

— Нет болезни, печаль, воздухания, — тянет дедушка Устин.

Дарья встала.

— Прощай-ко-ся, тетынька... — надвинула на глаза черную шаль и по стенке вышла на улицу.

Она пришла в запертую Варькину избу. Анна спит крепким сном. Варька на гулянке, отец ее где-то с утра куролесит, пьяная мать под столом храпит.

Испила Дарья воды, взглянула в зеркало, изумилась: чужое лицо на нее смотрит, бледное, глаза чужие, унылые. И не хочется Дарье верить, что это она в зеркале, она — Даша-ягода, Даша-солдатка разудалая, говорунья и песенница.

Садится Дарья у стола, подпирает рукой голову.

Тихо в избе. Лампа чуть светит, выгорает.

Дарья вся во власти дум, собой распорядиться не может: надо спать идти, — к месту приросла.

И вьются мысли возле Бородулина, не мертвеца, над которым гудит Устин, а возле живого, сильного, бородатого. И уж от живого Бородулина, от поселенца-вора Феденьки направляются мысли к мертвецу, ее вихлястой дорогой идут, крученой и неверной. И зачем сюда клонят мысли? Бородулин жив... Кто сказал, что помер? Жив! Когда придет в себя, Дарья во всем ему покается: и как Анну хотела извести, и как с Феденькой деньги воровала. Она проклянет ворищу Феденьку, в город уедет, служить будет у барыни, мужа разыщет — примет, священнику хорошему на духу откроется, к главному архиерею говеть пойдет. Жив Бородулин, жив!..

Вспыхнула вдруг Даша, взвилась: кто-то по щеке хватил. Метнула взглядом: никто не прикасался. Это сама себя спросила: «Неужто умер?» — вся кровь в виски ударила. Даша похолодела.

«К добру али к худу?» — опять тайно спросила себя и почувствовала, как черное берет в ней верх.

Но чтоб не видеть, не слышать, прихлопнуть черное, Даша, вся дрожа, шепчет:

«Умер... Пощто ж ты умер-то, Иван Степаныч?..»

И стало ей жаль Бородулина. По-настоящему жаль, до нестерпимой боли.

«Иван Степаныч, Иван Степаныч...» — стонет она. Но черное выше подымается, не дает покоя, душит Дарью.

Это Феденькин охальный взор буравит сердце, это Феденька, подбоченившись лихо, стоит и хохочет, это он, чужой, пришелец, оголтелый, сатана! Его рожа в окно смотрит, он деньги купеческие украл, он подучил Дашу, не словами подучил, глазами воровскими приказал. И уж шипит подлец: «Ты — убийца, ты!» — «Врешь», — хочет крикнуть Дарья, но не может: целая ватага стоит перед ней оборванцев, бродяг, бузуев, незнаемых: стоят нетвердо, топчутся, безликие, безголовые, серые, и в голос орут: «Ты — убийца, ты... И Бородулина убила, и нас убьешь... Тварь, подлая...» Крепко зажмурилась Дарья, — но и так темно, лампа догорела, — крепко виски ладонями стиснула, встала, топнула: «Прочь!» — и сама себе сделала приговор: «Да, я — убийца... я подлая... я тварь».

И как призналась себе, утвердила в сердце признание, точно нагишом перед народом встала: «Потаскуха... тварь...» Ох, если б нож! Лезвием его нанесла бы Дарья радость сердцу.

Мечется Дарья, ломая в потемках руки: «Матушка... заступница...» — и слышит: «Кайся, полегчает». Тут запрыгал вдруг подбородок, зашептали сами собой уста обрадованные речи. И уж некогда ей одуматься, некогда умом прикинуть, ноги несут Дарью к той избе, где еще светит огонек, где страшным сном спит Бородулин. Там Даша скажет миру, там покается, прощенье вымолит у живых и мертвого,

с незнаемых бродяг, бузуев, лихой навет снимет, себя на растерзание отдаст, — не себя, а тело свое, — не тело, а грех свой: пусть плюют, пусть топчут, пусть!!

Бежит не чуя ног: радостный ветер ее подгоняет, росистые ночные травы ковром легли... Хорошо, свободно.

Тюрьма... Нет, мир все простит, все покроет... А вору Феденьке, мучителю ее, — крест... А Дарьиным делам, что через Феденьку объявились, и всей ее паскудной жизни — крест!.. Да, хорошо хорошо... Вот и избушка, да, избушка. Благослови, Христос...

XXI

Постояла Даша у двери, крепко схватившись за скобку, минуточку подумала: так ли, нужно ли? Но уж ответа не было.

Она быстро шагнула в избу: два огонька дрожат, две свечки восковые. Устин скрипит, на лавке три старухи головами встряхивают, борются с дремой.

Не подымая глаз, подошла Даша к мертвому, опустилась на колени:

— Прости меня, Иван Степаныч, грешную... Это я все, я...

Устин читать остановился, на Дашу смотрит. Старухи проснулись, рты разинули.

Встала Даша с полу, — ноги не свои, дрожат, все тело дрожит. Чтоб взять над собою верх, быстро повернулась.

— Вот что, дедушка Устин, да баушки... да мир хрещеный...

Злые шаги застучали по крыльцу: рванув дверь, грозно вошел в избу Пров.

— Лешие! — зарычал он. — Вот лешие-то, вот окаянные-то... Матрен!..

Все насторожились.

— Это что же такое, Матрен... — тяжело дыша, говорит Пров Михалыч проснувшейся жене. — Ведь всех наших коров варнаки зарезали...

— Как? Кто?! — всплеснула руками Матрена.

— Вот, Устин, будь свидетель... трех коров моих, последних, кончили, белых... у Федота двух телков зарезали...

Матрена завыла в голос, старухи, ударяя себя по бедрам, стали ахать и причитать. Устин со свечкой в руке стоял, сгорбившись, и не знал, что делать.

— Это все бродяжня, бузуи-висельники!.. — гремел Пров. — Н-ну, погод-ди!..

Пров суетливо схватил фонарь и вышел на улицу. Воздух в избе вдруг наполнился злобой. И пламя покаяния в Дашиной душе погасло.

Даша стоит как стояла, словно в пол вросла. Лицо красными пятнами пошло, раздуваются ноздри, все тело огнем палит. Иной стала Даша, прежней, назимовской.

— Вот что я хотела... Помер ли Иван-то Степаныч? Может, так зашелся... — как кипятком окатила она Устина и, упруго вздрагивая ядреным телом, будто издеваясь над ветхими старушонками, проворно вышла.

Устин, разинув рот, проводил ее до двери взглядом:

— Сатано... сгинь, лукавая сатано... Тьфу!

Серая ночь была. Звезда покатилась по небу, вспыхнула и осияла сумрак. Идет улицей солдатка — мыслей нет, и уж не ветер радостный подгоняет ее, а черти хвостами подстегивают, не росистая трава стелется у ног, а сам дед-лесовой разметал по дороге свою зеленую бороду и, надрываясь, шипит: «Дура... эх ты, дура!..»

Враз все запело внутри и захохотало, все приникло, все покорилось в Дарье, груды золота рассыпались и зазвенели, а неверное сердце требует: «Бери!.. Все твое...»

Крик стоит в Федотовом дворе. Тесовые ворота настежь. Федот пуще всех горланит:

— Ну, так вот, молодцы... так тому и быть... И чтоб ни гугу, а то всем — край!..

— Это как есть... Чтобы с согласия... Как мир...

— Но, айда по домам!..

— Айда, айда!..

— Погоди: «айда»... Дай — Пров придет.

Сторож с колотушкою прошагал. Петухи перекликаются. На горе три костра горят тремя звездочками. На горе песни звенят, гармошка голосит, визг, крики, хохот секут ночной свежий воздух.

Тереха «Барыню» на гармошке жарит, парни подхватывают:

Барынька, не сердись,
Туды-сюды повернись...

Опять крик, опять хохот, и девичьи смеющиеся свирельные голоса.

Два человека к чижовке подошли, уперлись лбом в верзилу Кешку-караульщика, шепчутся. Кешка руками размахивает, что-то говорит, спорит, плюет сердито. Пошептались, ушли.

— Ну и дьяволы!.. — крикнул Кешка, поправил кушак, потоптался на месте и постучал кулаком в двери чижовки:

— Эй, робяты!..

Еще звезда сорвалась, слезинка небесная. Журчала бессонная речка. Из-за тайги желтым шаром вздымается месяц. А парни на горе катали трепака, били в ладоши и звонко голосили:

Дулась-дулась — улыбнулась...
Дулась-дулась — перевернулась...

— Эй, робяты... упреждаю... Слышите?..

Прислушался, склонив ухо к щели... Ответа не было. Огромный, похожий на медведя Кешка, кашляя и сопя, обошел чижовку и, поравнявшись с окошком, еще раз громко крикнул:

— Эй, робяты!

Зашевелились там, заговорили.

Кешка забрал в грудь побольше воздуха и просто сказал:

— Приготовьтесь, робятушки... Завтра вам... тово... утречком...

XXII

Тюля с Ванькой спали, и этот приговор слышали только Антон да Лехман.

Они сразу онемели и долго лежали во тьме без движения, без дум, без вздохов.

Первым очнулся Лехман:

— Ты, Антон, слышал?

Ответа не было.

— Ты спишь, Антон?

— Я слышал,— ответил наконец Антон и не узнал своего голоса.

Долго опять лежат молча, долго думают. В оконце лунный свет вползает.

— Все из-за тебя, Антон... Все из-за твоих денег...

Антон молчит, вздыхает и что-то шепчет.

— Ты бы взял на себя грех, Антон... Наврал бы: мои, мол, деньги — я украл... Може, тогды тебя бы... одного бы... — и Лехман не докончил.

В груди Антона что-то булькает и посвистывает.

— Ты что же это молчишь, Антон?.. Все молчком... Ты говори...

Тот закашлялся долгим кашлем и наконец сказал:

— Я согласен.

Лехман радостно заговорил:

— Вот это дело, это хорошо, Антон... Тебе все одно не жить... И мне не жить... Вот Ваньку с Тюлей жаль: может, отведем... А?

— Я согласен...

И дальше ведут разговор с большими перерывами, будто подолгу обдумывая каждое слово.

— Вот ты и покайся... Деньги, мол, я украл, сбрую, мол, я украл... Там еще что-то нашли у Тюли, шкуры, што ли... И шкуры, мол, я... Сапоги у тебя новые есть, и сапоги, мол, краденые... А?

За дверью Кешка возится, лошадь отгоняет: лошадь стреножена, слышно, как култыхает и фыркает.

— А то давай, Антон, я приму на себя... Я встану, открою грудь и скажу: ну, молодцы, убивайте... А?

Молчание.

Лехман перевалился на бок и придвинулся к Антону.

— Право... Ведь у меня, Антон, привязки к земле нету... Я один, все равно как горелый пень в чистом поле... Ведь я старик... Будет, помаялся...

И, помолчав, добавил:

— А у тебя все-таки какая-никакая, а жена... опять же дочерь...

Антон слезливо крикнул:

— Я сказал, что я... Все приму... Понимаешь? Я!.. Ну, чего тебе... Отстань!..

И, как бы спохватившись, мягко заговорил:

— У меня нутро горит... Болезнь меня гложет, дедушка... Прости... Приготовиться нужно. Смерть...

И Антон, отмахнувшись от Лехмана, весь ушел в думы. Он напряженно всматривался в грядущее, в этот последний завтрашний день, такой непонятный, непостижимо значительный и жуткий.

«Смертынька».

Но как ни напрягал Антон свою душу, как ни нудился додумать до конца, мысль его упрямо останавливалась и меркла. Тогда Антон терял нить предсмертных своих дум и весь погружался в прошлое. Любочка вдруг встала перед ним, жена склонилась, друзья, знакомые. И все улыбаются ему, что-то шепчут, куда-то его зовут. Но Антон чувствует, знает, что это не настоящее, земное, обманное, — не надо! Ему не до того, ничего не надо, пусть все сгинет и даст покой душе.

Антон вздрагивает, мотает головой и тяжко стонет:

— Не на-адо...

Ярким мгновенным полымем вспыхивает тогда вся прошлая жизнь Антона и сгорает. Ничего нет, ничего не было, легко... Густой, глубокий мрак охватил Антона. И нет больше земли, ничего нет, все остановилось, все умолкло. Антон захолонул, раскрыл рот и перестал дышать.

«Умираю...»

И уж он не чувствует, не помнит: человек ли он или пес, черт ли он или ангел, камень он или ничто, и не знает, где он: на земле или в воздухе, на вер-

шине горы или на дне моря. Вот она кончается, рвется последняя ниточка, смерть идет... Смерть ли? Смерть, легкая... А как же Любочка, родина, белый свет?..

«Смерточка... повремени...»

Душа Антона обнажилась, утончился слух ее. Осеняет себя Антон в мыслях широким крестом...

«Господи, господи»... — и, молитвенно замерев, ждет.

Голос человеческий мерещится ему, кто-то говорит, кто-то имя его громко произносит:

— Не скули, Антон... Крепись...

Это Лехман сказал. Взял его иссохшую горячую руку и поглаживает своей огромной корявой ладонью.

— Минутка пришла ко мне, — запинаясь, говорит Антон детским радостным голосом. — Ах, какая минутка, дедушка... Самая золотая...

И, улыбнувшись, замолкает. Уж не может теперь понять слов Лехмана, только чует, как Лехман трясет его плечо и что-то предлагает.

— Да... Да... — шепчет Антон и опять тонет в наплывающем тумане.

И лишь сквозь туман, когда блистают в душе зарницы, произносит:

— Ты здесь?.. Ты, того... Ты, дедушка, не бойся... Она добрая... Она мать...

— Кого? Ты про кого?..

И Лехман, не дождавшись ответа, грозит высоко вскинутым кулаком и свирепо бросает в сторону деревни:

— Чер-рти... Ах, чер-рти!..

А по деревне опять пьяные голоса то приближались сплошной стеной, то вновь тонули.

— Умираю... Пить... — простонал Антон после долгого молчания.

Лехман, кряхтя и охая, зашевелился, на четвереньки встал, с трудом поднялся и, волоча ноги, пошел на голубоватый свет луны. И чтоб не потревожить спящих у самого окна Ваньку с Тюлей, ущупал их ногами, согнулся вдвое, приник к голубому оконцу и позвал:

— Караульщик, а караульщик?! Слышь! Подь-ка сюда!..

Кешка подошел.

— Дай-ка, братан, водицы...

— А где бы я тебе взял: ишь — ночь! — ответил недовольным голосом Кешка.

— Что ж нам, поколевать, што ли!!

— А уж это ваше дело...

— Черти!.. За что нас, черти, мучаете?! За что убить хотите?! — кричал Лехман и зло плевал на улицу сгустками крови.

— А уж это мужичье дело... Как мир... — невозмутимо отвечал Кешка и, дрогнув голосом, добавил: — Вы полстада быдто скотин зарезали...

— Каких скотин?! — грянул Лехман и, охнув, закашлялся, схватился за грудь, грузно опускаясь на лежащих у ног бродяг.

Те крепко спали, только промычали что-то и задвигались.

Не вдруг утихло сердце Лехмана. А как утихло сердце, опять подошел к Антону и окликнул. Не ответил Антон.

Лехман в эту ночь боялся молчаливой темноты и, чтоб не чувствовать себя одиноким, стал изливать свою душу пред безмолвным товарищем.

— Смерть что? Смерть — тьфу! Все одно что сон... Глаза зажмурил, ноги вытянул — и полеживай... Да!.. Так ли я говорю, Антон?.. И никто тебя не пошевелит — ни комар, ни вша, ни мужик, ни справник... Червь, ты говоришь? Ну-к што... Наплевать... Пусть его точит... Я тагды все равно как стерва буду лежать, как пропастина, тагды хошь в порошок меня разотри — не услышу... Верно? Ну, вот... А душа... Ха-ха!.. В нас души, Антон, нет... В нас душина, это так... Слыхал, как Тюля говорит: «Выди, душенька, из брюшенька!» Слыхал? Ну, вот, Антон, вот... Я как-то встретил в тайге, два шкелета валяются: медвежачий да человечий... Да... А возле них две змеи вьются... Может, это и есть души? А? Ну, я их придавил... Ха-ха... Нет, ты не спорь, Антон... Ты не спорь!..

Но Антон и не думал спорить... Он лежал в забытьи и бредил.

Снаружи завозился кто-то, замок щелкнул, чуть приоткрылась дверь, и Кешкина волосатая рука просунула ведро.

— Нате-ка-те, пейте-ка-те...— грустно сказал Кешка и захлопнул дверь.

Лехман жадно прильнул к ведру. Напившись, нащупал в темноте мешок, намочил его холодною водою и обмотал голову Антона.

Очнулся Антон, воды попросил и, утолив жажду, долго крестился и шептал молитву.

Полегчало у Лехмана на душе, лег он в свой угол и весь насторожился, стараясь вникнуть в слова молитвы.

Но слов было мало, и слова были самые обычные, простые. Однако они резко впивались в душу Лехмана и куда-то ее звали.

Лехман лежал с широко открытыми глазами; ему становилось страшно.

Антон уже громко вновь кует горячие слова, вкладывая в голос всю силу своей тоски и веры, словно с живым, словно с сущим говорит, стоящим возле:

— Неужели посмеешься надо мной?.. Неужели обманешь, господи?

Слышит Лехман: все дрожит внутри. Чувствует: слезы просятся.

Тихо сделалось в каморке. Только кузнечик тикал-потрескивал в мшистом пазу серебряными молоточками.

— Антон,— наконец сказал Лехман, и голос его сорвался.— Антон!.. Хоша я никаких богов не признаю... Какой бог? Ну, какой бог? Я не верю... Одначе положи на упокой моей души, за Петра, земной поклон...— тяжело вздохнул Лехман и забарабанил пальцами по полу.— Меня не Лехманом, а Петром звать...

И твердо добавил:

— Я есть убивец...

Вновь настала тишина. В каморке сразу как-то по-особому сделалось жутко.

И вдруг затряслись стены от неистового рева пробудившегося Ваньки:

— Тю-ю-ля!.. Тю-ю-ля!! Нас убивают... Нас убьют!..

Вскочил и Тюля. Взглянули друг на друга, на оторопевших Антона с Лехманом, завыли в голос.

Лехман шевельнулся и, напрягая зрение, уставился на них. Сердце его закипело нежданной жалостью: ему неотразимо захотелось сказать что-нибудь теплое, захотелось обнять этих молодых парней и ободрить в темный час, но кто-то жадно держал оттаявшее чувство: все осталось внутри, как заклятый клад. Мучительно сделалось. Лехман еще раз порывисто шевельнулся, с силой ударил ногой в стену и, быстро отвернувшись, стал тонким, чужим голосом покашливать и крякать.

А те двое, охваченные страхом, друг друга перебивая, словно боясь упустить время, громко каялись в грехах.

У Ваньки много тяжких грехов, но он выдумывал, не замечая сам и не напрягаясь, более тяжкие. У Тюли совесть чиста была, но и он, стараясь перекричать страх души, каялся:

— Я никого не убивал, а только что я — злодей, я — ворина, я — гнус... Ох, дедушка, ох, все мои товарищи...

— Дурачье! — овладев собою, властно бросил Лехман... — Надо быть, сладка вам была жисть? А?.. Мила?!

Антон тихо утешал:

— Я все приму... Не печалуйтесь...

Ванька с Тюлей смолкли.

— Огонька хоть бы вздуть, — захныкав, попросил Ванька.

— Нету, милые, догорел огарок-то... — пожалел Антон и, когда стало тихо, как бы самому себе, с остановками, тяжело переводя дух, сказал:

— Я смерти, милые мои, не боюсь... Я людей боюсь, зверья. Вот я не знаю, как они... То ли верев-

кой задавят, то ли топором... Али из ружья... Из ружья оно бы лучше... А то вот я боюсь — топором... Лица-то его, зверя, боюсь, глаз-то... Как надбежит-то да замахнется-то... Вот этого-то, звериного-то, пуще всего боюсь.

Ванька с Тюлей, едва дослушав до конца, вновь завыли страшным воем, и, как ни корил их Лехман, как ни ругал каморщик Кешка, стуча с улицы ногой в дверь, они, крепко обнявшись, ревели и ревели, пока их не свалил тяжкий, болезненный сон.

XXIII

Ночь была прохладная.

Караульный Кешка, тридцатилетний верзила парень, весь изрытый оспой, безбровый, безусый, зябко вздрагивал, сидя на завалинке. Надо бы на горку сбегать, с девками подурачиться, винишка с парнями дернуть, — но нельзя бузуев оставить, дядя Пров крутой наказ дал.

И Кешка лишь издали живет в гульбе: веселая горка маячит вправо у реки, и хоть не видно там народу, зато костры дразнят Кешкин недреманный взор манящими огнями, а песни с гармошкой и посвистом вздымают его душу к самым звездам: он широко улыбается, ухарски вскидывает на левое ухо картуз и, дробно притоптывая ногами, гикает:

— Й-эх-ты... но-о-о...

Но Кешка чует: в лихом выкрике нет огня, нет задора, а злоба какая-то, ярь... Он враз смолкает, веселая горка проваливается, глубокая наступает тишина. Озирается Кешка: кто-то сзади стоит за ним, нашептывает о завтрашнем страшном дне. Вздрагивает Кешка, ежится, руки в рукава глубоко заталкивает.

Знает Кешка, что завтрашний день наступит, что не сон это, а настоящее, всамделишное, но тут он ни при чем, мир его «приделил» сюда, против миру как... Да, может, еще мужики утресь прочухаются, в ум

войдут. А он, Кешка, бродяг жалеет, он всех бы их выпустил... Эвона как скулят... Ух ты, господи!

Кешка проворно шарит дрожащей рукой вокруг себя, достает из крапивы холодную бутылку, жадными глотками допивает остаток вина и виновато покрякивает:

— Ох, грехи...

И чтоб согнать с плеч думы, набирает Кешка целые карманы камней, ставит на пень пустую бутылку и, отсчитав десять огромных, с прискоком, шагов, старательно швыряет камнями по голубому под луной стеклу.

Кешка загадал, что, если с пяти камней разобьет бутылку — сбудется: знать, о веселом загадал, старательно метит, не торопясь замахивается, кончик языка выставил и прикусил, а лицо уж радостным кроется задором. Но охмелевшая Кешкина рука проносит, все камни расшвырял, новые, кряхтя, набирает, а сам думает:

«Эх, хорошо бы к Мошне слетать, еще скляночку винишка добыть. Да к вдовухе закатиться бы... к толстомясой... к Тыкве...»

— Ловко ба... — вслух подтверждает Кешка.

Гвалт раздался на веселой горе, ругань. Видно, парни из-за девок схлестнулись... Хо-хо!

Кешка рассыпал камни, опустил руки и, разинув рот, слушал.

В это время, крестясь и шаркая ногами, к нему дедушка Устин подошел. Он еле на ногах держался, согнувшись чуть не до земли: в одной руке книга, в другой восковая свечка.

— Ты к каморке приставлен, Окентий? — спросил Устин и, охая, разогнул спину.

— Я самый...

— Вот что, сударик... — вплотную подошел он к Кешке. — Как придут завтра к каморке мужики — живо за мной беги... Чуешь? А то я замаялся, от покойника иду, просплю, пожалуй... Такое дело...

Он положил руку на плечо растерявшегося Кешки, часто задышал и заговорил торопливо и трогательно:

— Ты, Кешка, батюшка, того... В случае чего, так... Они, бродяги, люди божьи... Вот-вот... Такое дело...

Кешка хотел было во всем признаться Устину: «Эвон, мол, дедушка, как мир-то порешил»,— но, вспомнив грозный наказ, прикусил язык.

А Устин, прижав ладонь к груди и потряхивая головой, тихо жаловался:

— Вот здесь у меня худо, в сердечушке... Душа у меня, Кеша, батюшка, истомилась, глядя на мужиков... Прямо зверье... Грех один с ними... Да...

И загрозился Устин, и закричал:

— А не допущу... Нет!.. Отверчу змию голову!.. Да!

Кешке представилось, что не Устин, а он сам на мужиков кричит. Сжал кулачищи, крякнул и дико покосился на спящую деревню.

— А не послушают моего гласа — уйду...— ударил Устин об ладонь книгой.— Души же своей не омрачу и не опачкаю... Слово мое твердое... Знай!..

Опять Устин согнулся и пошел к своей хибарке, так же шаркая большими сапогами и подгибая ноги.

Кешка, не двигаясь, смотрел ему вслед. Потом подошел к бутылке, отшвырнул ее носком сапога, вздохнул, попробовал затянуть песню,— язык не поворачивался,— плюнул, рукой махнул,— а ну их к ляду!..— и, усевшись на землю, закурил трубку.

И не знал Кешка, за кем идти, кого слушать, не мог в толк взять, что именно требовал от него Устин. Жалеть бродяг... Ну, как? Выпустить их, что ли? Вскочить на коня да в волость, что ли? Так, мол, и так... Где тут, разве успеешь? Путаясь в мыслях и недоумевая, он курил трубку за трубкой.

Стало ко сну клонить. Он, засыпая, видел то косоглазую вдовуху Тыкву, то огромного медведя, идущего с поднятой дубиной прямо на него, вскидывал тогда упавшую на грудь голову, таращил сонливые глаза, беспокойно взглядывал на запор чижовки и опять поддавался дреме.

Все спало крепким предутренним сном. Вся деревня, пьяная, праздничная, встревоженная смертью Бородулина, давно залезла в свои избы, зажмурилась, угарно забредила и с присвистом захрапела.

Даже там, на горке, умолкали и ругань и песни.

Слышит Кешка сквозь сон: верезжит где-то бегучий бабий голос. Открыл глаза, голову повернул в ту сторону, слушает. Катится по дороге голос отчаянный, визгливый:

— Я тебе покажу, жиган!.. Ах ты охальник... Ой, ма-а-а-мынька!

— Варька, ты?! — окликнул Кешка.

Но та не слышит, пьяно плачет и ругается с хрипом, плевками, самые непотребные слова сыплет, — не девичьи, не женские, не человечьи, смрадом от слов несет, даже Кешке невтерпеж, сплюнул, — бежит, все бежит, кривули выписывая по дороге, и на всю деревню воет:

— Донесу, окаянный, донесу... Все-о-о расскажу Прову, все!.. Я те покажу, как коров резать... Змей!! Змей!! А-а-а... С Танькой связался?! По роже меня хлестать?! Помощь устраивать?! Ну, погоди ж, Сенька... Я те выучу... Ой, ма-а-мынька...

Ей вторили псы, заливаясь со дворов осипшими за день голосами.

Кешка лениво поскреб бока, протяжно зевнул, потянулся.

Короткая летняя ночь уходила. Скрылись звезды, померкла луна, а восток мало-помалу стал наливаться розовым рассветом. Белые, припавшие к земле туманы кутали всю долину речки, тянулись к тайге и чуть не до маковок застилали ее белым тихим озером.

А вверху над туманами было ясно и радостно.

Огненная дорожка легла над туманами. Но солнце еще не скоро раздвинет застывшие небеса.

Кешка равнодушен к расцвету зари. Его сон мутит.

Он сам себе сказал:

«Ага, светает... Значит, Кешка, спим...»

Лег на рваный кусок войлока, скрючился, укрылся с головой тулупом и закрыл глаза.

В прибрежных кустах птицы пробудились, чирикнули раз-другой, с зарей поздоровались и рассыпались песнями. На речке закрякали утки, в тайге кукушка куковать принялась, где-то затянула иволга,

Кешка, засыпая, думал:

«Как бы не проспать... Как бы Устина упредить... Нет, Пров, врешь, брат... Тпррру... Не туда воротишь... Да, баба хорошая, баба ядреная... Тыква-то... Кого?.. Нет, я так... Не это... Убивать? Ага... Я Устина упрежу... Мы с ним, мы с ним... Да-а-а...»

— Ах, язви те... клоп!

XXIV

Солнца край показался над тайгой. А пьяная деревня спит.

Пров хоть поздно лег, а уж на ногах. Бляху надел медную, к Федоту-лавочнику направляется, лицо угрюмое. Федот спит еще, поднял Федота, всех в дому поднял:

— Время... солнце встало...

Солнце кверху плывет, туман изъедает — пропал туман.

Мужики, один за другим, — скрип да скрип воротами, — все к Федоту идут, таков уговор.

Порядком народу набралось, все хозяева явились. Плохо как-то у них, уныло. Все в пол глядят, глазами не встречаются. Головы трещат, лица припухли, носы ссажены, под глазами волдыри. Молча курят трубки, за встрепанные головы хватаются, покашливают:

— Ну, дак как, ребята? — тряхнул бородою Пров.

Молчат. Цыган сказал:

— Мутит, кум... Чижало...

А уж Федот бочоночек на стол поставил, хозяйка студень подала.

— Ну-ка... Тресните... По махонькой...

Закрякали все, зашевелились, сплюнули. Водка у Федота добрая, не то что у Мошны, вон как обожгла, хо-х!..

— Я, значит, не в согласье... — сказал рябой мужик Лукьян, прожевывая студень...

— И я... — буркнул Обабок.

— Как так не в согласье?! — Пров с Федотом враз крикнули.

— А так что мы не жалаим... Мы, значит, спьяну тогды... А вот пускай их в волость тащут... — сказал рябой.

— В волость?! — прикрикнул на него лавочник. — Тебе, голозадому, хорошо говорить-то... Да ить волость-то их выпустит... Черт... А ежели они сюда придут опять, да с отместкой? Нет, ребята... Это не дело... Я тоже своему добру хозяин. Они, варначье, за худым-то не постоят, у них рука не дрогнет... Эн, каких скотинушек у нас с Провом вывалили... Али опять же этого, как его... Кузьму ножом чкнули... А?! На-ка, выкушайте...

По другому стакашку прошлись, — водка хорошая, холодная.

Пров резоны свои повел:

— Вот ты, Лукьян, ляпнул, а не подумал... А еще кум тоже называешься... А ты вот меня не пожалел... Дочерь мою, Анну, не пожалел... Ведь кто ее улестил-то? Ведь из их же шайки, разве он — политик? Какой он, к чертовой матери, политик?! Вор...

— Ну-ка чебурахни, робятки...

По третьему выпили.

— Ну, дык чего, мужики... — прогнусил безносый мужичонок, откидывая левую ногу и подбочениваясь. — Эна как их измолотили, куды их, разве до волости мыслимо? Ха!.. Где тут...

Загалдели мужики, распоясались, румяные сидят, вино в головы бросилось, замутило разум.

Пров твердо говорит, рубит каждое слово топором:

— Этих варнаков-то, бузуев-то... чего их жалеть... Они кто? Тьфу — вот кто... Они, собаки, в Расее людей режут, а их сюда? Пошто так-то... Разве дело? А?.. Чтоб нашу сторону гадить?! А?! Нет, врешь! Это не закон... Это глупость! Нам не надо, чтобы пакостить... Вот поймали, ну куда их? Как по-вашему, а?.. Опять в Расею?.. Видали там их, сволочей таких... Ну, куда ж их, гадов?..

— Айда! — взревел Обабок. — Кашу слопал, чашку об пол! Айда!..

— Всем миром, робята, штобы ни гу-гу... Собча штобы...

— Вперед острастка... — поддавал Федот жару.

— За сто верст штоб бузуи к нам не подходили, штоб помнили.

— Мы им покажем!.. Язви их!..

— Ого-го-о-о!..

— Нате-ка, выкушайте для храбрости...

— Ну, ребята, а ежели Устин...

— Устин?!

И все примолкли.

— Пускай он в наше дело не вяжется! — первый закричал Цыган и сквозь зубы сплюнул.

— А-а... Святоша?.. В отцы-праотцы лезть? Врешь! — как из бочки ухнул Обабок и, покачиваясь, долго грозил кому-то обвязанным тряпкой пальцем.

— Что ж Устин... Устин сам по себе, — сказал лавочник Федот, — он богомол...

— Богомол?! — привскочил Обабок и опять сел. — Знаем мы! Нет, ты заодно с миром греши... Ежели ты есть настоящий... Ежели ты, скажем, богомол... Дура! Вот он кто, ваш Устин... Поп! Вот он кто... Ха-ха... Нет, врешь, ты не при супротив миру... не при... Куда мир, туда ты... Дело... А он что?.. Тьфу!

И Обабок неожиданно ткнул в толстый живот Федота:

— Ты! Кровопивец! Дайко-сь скорей стакан вина... Душа горит...

Пров Обабку приказал созвать парней да подводы нарядить, а то народу мало: надо бродяг подальше от Кедровки увезти, надо Андрюшку-шпану разыскать, надо Бородулина тащить в село.

Пров сердитый: проспали мужики. Следовало б до свету справить, без шуму, потихонечку, а теперь вся деревня на ногах: мальчишки оравой по улице ходят, чего-то ждут.

— Шишь вы, дьяволята! — гаркнул Обабок и, схватив палку, погнался за ними.

Только пыль взвилась.

XXV

Мужики ватагой подошли к чижовке и молча расселись на земле.

— Кешка! — крикнул Пров, обходя чижовку.

Кешка у бревен спал. Вскочил, измятым лицом на солнце уставился и, вспомнив все, обернулся к мужикам.

— Ты так-то караулишь?! Отворяй!..

— А вам пошто? — переспросил он, робко подходя к мужикам.

Кто-то захохотал... Кто-то выругался. С земли подыматься начали.

— Это не дело, мир честной... — задыхаясь, сказал Кешка. — Они люди незащитные... Нешто можно?..

— Да ты что, падло... Где ключ?!

— Я не дам! — закричал Кешка сдавленным голосом. — Я Устину скажу... — И то сжимая, то разжимая кулаки, весь ощетинился, грозно загородив широкой спиною дверь. — Лучше не греши...

Мужики опешили. Кешка тяжело дышал, раздувая ноздри.

— Они всю ночь выли... Поди жаль ведь... Черти...

Кешка вдруг скривил рот, замигал, отвернулся и, быстро нахлобучив картуз, стал тереть огромным кулаком глаза.

Словно по команде налетели на него Мишка Ухорез с Сенькой Козырем, сшибли с ног, притиснули, Цыган живо ключ отнял.

— Устин!.. Усти-и-ин!.. Дедушка! — барахтаясь, кричал Кешка.

Звякнул замок, заскрипела дверь.

— Тащи его... — сердито зыкнул Пров и добродушно сказал, обращаясь к стоявшим в оцепенении бродягам: — Выходи, ребята, на улку...

Те сразу очутились в жадном, молчаливом людском кольце.

С остервеневшим Кешкой едва пять мужиков справились, бросили его в каталажку, заперли дверь. Он все кулаки отбил, скобку оторвал, того гляди дверь вышибет, грозит, ругается:

— Удавлюсь!!

Толпа хохочет, острит и про бродяг забыла.

— Вот, Кешка, и ты в копчег попал...

— Не ори!.. Эн Тыква идет... Постой давиться-то...

Много народу собралось. Бабы поодаль стоят, шепчутся, девок мало — спят еще, парни, почти прямо с гулянки, среди мужиков жмутся, позевывают, клюют носом, детишки возле матерей на цыпочки подымаются, вытягивая шеи, на руки к матерям просятся.

Вся крыша чижовки, как поле цветами, усеяна ребятами.

Федота нет, ему некогда, на пашню укатил. Бродяги на колени опустились: только Лехман, выше всех среди толпы, столбом стоит, угрюмо смотрит в землю.

— Люди добрые... — тихо начинает Антон.

— Чуть жив... Осподи... — причмокивают бабы и качают головами.

— Смилуйтесь, люди добрые... Пожалейте...

И все время, пока он говорит, Ванька Свистопляс, стоя на коленях и широко опершись ладонями в землю, то и дело бухается в ноги мужикам и тихо, без слов, скулит...

— Пойдем, ребята!.. — громко сказал бродягам Пров. — Нечего тут...

Толпа утихла.

— Вставай! — приказал Пров.

— Люди добрые!.. — взмолил Антон. — Меня казните, их не трогайте... Мой грех... Я все напакостил...

— Ты?! — крикнул Крысан и вылез из толпы. — И моего мальца ножом пырнул ты?!

— Ну, я... ну... — уронил Антон.

Крысан так крепко стиснул зубы, что черная бороденка хохолком вперед подалась, а скулы заходили желваками.

— Вон лесовик-то стоит!.. Орясина-то!.. Вон кто... Бей его, ребята!!

— Стой! — схватил Пров за ворот Крысана. — Не лезь!.. Мы сами разберем.

— Дурачье... Чалдоны... — презрительно прогудел Лехман и ударил по толпе взглядом.

Сенька с Мишкой — два друга — с кулаками подлетают, громче всех орут:

— Они, варнаки, и коров перерезали... Не иначе!

На Прова напирает возбужденная толпа.

— Стой! Сдай назад!.. Черти!

— А-а-а... Заступник?..

Бабы от перепуга к месту приросли. Толпа напирает и гудит. Кто-то пальцы в рот вложил и оглушительно свистнул.

— Бей их!

Тюля отчаянно взвыл, Лехмана к земле за штанину тянет:

— Дедка, проси... Дедка, на колени...

Пров охрип:

— Сдай, тебе говорят!!!

Но голоса пьяно ревели:

— Расшибем!

Улюлюкали, кулаки сжимались, глаза метали молнии, все ходило ходуном.

И вдруг толпа враз грянула ядреным, зычным хохотом и утонувшими в смехе глазами унизала неожиданно кувырнувшегося рыжего Обабка.

Обабок, ко всему равнодушный, стоял пред этим смирнехонько рядом с Провом и, мечтая о бутылочке, только что потянулся и сладко позевнул, а какой-то парнишка, наметив с крыши в Лехмана, как трахнет невзначай в широко разинутый Обабков рот липкой грязью. Обабок на аршин припрыгнул и, дико выпучив глаза, шлепнулся задом наземь:

— Тьфу!!

Заливалась толпа, буйно звенела на крыше детвора, хохотали бабы, девки, Пров, хохотал бежавший по дороге веселый звонарь Тимоха, даже у Тюли смешливо заходили под глазами фонари.

А сидевший на земле Обабок усиленно плевал, отдирал грязь из рыжей бороды и по-медвежьи рявкал:

— От так вдарил!.. Язви те...

Не дал Пров остыть смеху, замахал руками, закричал снисходительно строгим голосом, чуть улыбаясь:

— Ну, молодцы, расходись, расходись!.. С богом по домам... Бабы, девки, проваливай!..

Бродяги поднялись и глядели с надеждой на Прова.

Когда угасла последняя смешинка, опять окаменело сердце Прова, строгое, темное, мозолистое. Угрюмо вскидываясь взглядом на разбредавшихся баб, Пров чуял, как набухает злобой его сердце:

«Три белые, последние... Ну, погоди-и-и!»

И когда поредела толпа, Пров отвел в сторону Цыгана да Сеньку Козыря и долго им что-то наговаривал, указывая вдаль: крутой наказ дал. Еще двоих отвел.

— Ну, так счастливо, ребята... Айда!..

— Айда! — крикнул басом оправившийся Обабок и под злым взглядом Прова зашагал к своей избе.

Повели бродяг пять мужиков.

А за ними следом другая компания пошла — Андрея разыскивать, что у Бородулина деньги утянул; его, варнака, надо изымать обязательно: он из Бородулина душу вышиб... Какой он, к лешевой матери, политик... Вор!

Про Кешку и забыли. Он орет в чижовке, но глухо, плохо слышно, Тимоху кличет:

— Где ты, дьявол, кружишься?! Живой ногой к Устину... Живо, сек твою век!..

— А подь ты к ... — огрызается тот, скаля зубы. — Я лучше с парнишками в городки побьюсь...

Бабы только до веселой горки дошли.

Ребятенок едва прогнали.

А карапузик Митька хитростью взял, к речке спрыгнул, бежит у воды, его не видать. Бежит-бежит да наверх выскочит, а как в лес вошли, по-за деревьями прячется, — одна штанишка со вчерашнего дня засучена, другая землю метет.

Староста Пров, отправив бродяг, решил остаться дома и медленно пошел по улице. Но чем ближе к дому, ноги быстрей несут, — мысли подгоняют их.

мысли быстро заработали. И, уж не замечая встречных, вбежал Пров в свою кладовку, дробовик сорвал с крючка, — вот хорошо, Матрена не заметила, — да по задворкам, крадучись, назад.

Когда бежал мимо Федотовых задов, слышит — мужики галдят, вином угощаются.

«Разве тяпнуть для храбрости? Нет, дуй, не стой... Лупи без передыху...»

XXVI

Бродяги со крученными руками шли тихо.

— Куда же вы нас ведете? — спросил Лехман.

— В волость.

Ваньке Свистоплясу в свалке, вместе с ухом, ногу повредили.

Идет Ванька, прихрамывает, ступать очень больно. Стонет.

Тюля бодро шагал бы, если б не беда: гирями беда нависла, гнет к земле, горбит. Левый глаз совсем запух, закрылся, а правый — щелочкой выглядывает из багрового подтека; как слепой идет Тюля, голову боком поставил.

Антону рук не связали, уважили:

— У меня, милые, бок поврежден...

Он нес узелок с новыми своими сапогами. Под глазами черные тени пали, щеки провалились, без шапки идет, волосы прилипли ко лбу, ворот расстегнут, на голой груди — гайтан с крестом.

Солнце подымается, ласкает утренний тихий воздух — теплом по земле стелется.

Полем идут — цветами поле убрано, — прощайте, цветы!

Медленно движутся: путь труден.

Не разговаривают, не советуются, а близко чуют друг друга, души их в одну слились. Так легче: не один — вчетвером беду несут.

Черемуховой зарослью идут — черемуха белымбела. Воздухом не надышишься, до того сладостен и приятен запах.

Тайгою идут — хорошо в тайге. Стоит молчаливая, призадумавшись, точно храм, божий дом, ароматный дым от ладана плавает.

Вот и зеленая лужайка, вся в солнце: хорошо бы чайку попить.

— Хорошо бы, Тюля... — силится пошутить Лехман.

— Славно ба, — на полуслове понял Тюля.

Лехман шагает крупно, в груди у него хрипит, согнулся, лицо темное. Версты полторы от деревни прошли, немогота опять настигла. Нет сил идти.

В конвоиры к бродягам Крысан прилип.

Все мужики как мужики: идут, посмеиваются. Цыган бутылку вина из плисовых штанов вытащил, отпил, другому передал, третьему; только Крысан молча идет, нахлобучив на брови зимнюю свою, с наушниками, шапку, за щеками сердитые желваки бегают, зубы стиснуты, глаза рысьи, оловянные, жрут бродяг неистово. Молчком идет, чуть поодаль, ружье у него за плечами хорошее, называется «турка», медвежиное.

— Развяжите нас, пожалуйста... Комар поедом ест...

Мужики не ответили. Бродяги мотали головами, но комары жадно пили кровь.

Только до «росстани» дошли, до «крестов», где дороги таежные пересеклись, глядят — телега тарахтит. Заимочник Науменко, бывший каторжник, домой едет, корье везет.

— Куда, робяты?

— Да вот... бузуев... А вино у тебя есть?

— Есть... Вот дойдете до заимки — угощу.

Когда подошли к заимке, Крысан спросил:

— А нет ли у тебя, Науменко, лопаты хорошей али двух?

— Зачем?

— Бузуев закапывать... — пробурчал Крысан.

У Науменко бородатое лицо сразу вытянулось:

— Да что-о-о вы это, робята...

А бродяг бросило в дрожь.

Конвоиры вошли в избу. Каторжник Науменко подошел к бродягам:

— Бегите, братцы, скореича... Я развяжу...

— Нет, — сказал Лехман. — Нам все одно подыхать... У нас все кости перебиты... — Губы его дрожали, брови то лезли вверх, то падали.

Мужики, выпив по стакану, вышли и собрались в путь.

Как ни отказывался Науменко идти с ними, силком принудили.

— Будешь перечить — все твое жительство спалим! — пригрозил Крысан. — Всей деревней придем...

Науменко скрепя сердце на своей лошаденке опять вслед плелся и выпытывал у братанов Власовых, в чем вина бродяг.

Антон шел, бессмысленно озираясь, и ему хотелось громко, на всю тайгу, заголосить или вскинуть вверх голову и завыть диким звериным воем.

А Ванька Свистопляс с Тюлей готовы были броситься пред мужиками, целовать им ноги и молить о пощаде и милости.

Только у Лехмана своя была дума, упрямая. Ей некуда разгуляться: в стену уперлась и бесповоротно встала.

— Бей наповал!!! — неожиданно крикнул он и враз остановился.

Сзади грянул выстрел: «турка», ружье медвежиное, грохнуло на всю тайгу и раскатилось.

— Ой, ты!! — дико взвыли братаны Власовы.

Бродяги помертвели.

А Лехман назад посунулся, потом пал на четвереньки и страшно закатил глаза. Орошая пыль кровью из простреленной ноги, он ползал по дороге и сквозь стоны сек подошедшего Крысана:

— Подлец ты, а не стрелок... Гадюка...

— Замолчь, шволочь! — взмахнул Крысан прикладом. — Убью...

— Что ты, собака!.. — сгреб его Науменко.

— Удди, дьява-а-л! — рванулся Крысан.

Он весь был в злобе: захлебываясь, дышал и свирепо таращил глаза и на Науменко, и на оторопевших братанов Власовых.

Цыган далеко впереди лесом шел, песни орал. Как услыхал выстрел, выскочил на опушку и, проверив бродяг взглядом, крикнул:

— Кого?!

Братаны Власовы, высокие, белобрысые, в черных запоясанных армяках, Лехмана на телегу положили. Они мужики смирные: им бы без оглядки домой бежать, да против миру нельзя!

А мальчонка Митька что есть духу полетел домой, в Кедровку, и, вытаращив глаза, хрипло, чужим голосом ревел:

— Уй... уй... уй!..

— Ах ты гнида! Хватай его! — пугал Цыган, притопывая на месте.

Но тот бежал, не оглядываясь, поддергивал на ходу штанишки и не переставая выл.

Андрей очнулся и открыл глаза. Над ним голубело небо. Он осторожно приподнялся на локтях и, крадучись, огляделся. Тихо было, кругом кусты, внизу переливалась вода.

— Ловко... вот это ловко... — криво ухмыльнулся Андрей и закусил вдруг запрыгавшие губы. — Фу, че-орт...

Он опять лег и закрыл глаза. Долго лежал так, ни о чем не думая, в каком-то полусне.

— Нет, погоди... — сорвалось у него. Он быстро сел. — Еще не все кончено... Да... — Его голос дрожал, срывался, был болезненным и рыхлым.

Андрей крепко сомкнул кисти рук и уставился в одну точку. Он старался сосредоточиться на пережитом. Но все только что происшедшее, такое дикое и непонятное, куда-то отхлынуло и померкло.

«Что это значит? Где Анна? Где Бородулин? — пытался Андрей повернуть думы и подчинить их себе, но тут же всплывало ненужное: — Надо сапоги но-

вые... хорошо я срезал белку...» — и затуманивало главное: как быть, что делать?

«Надо разыскать Прова», — твердо сказал Андрей, пытаясь представить себе отца Анны: он никогда не видал его. Но мысль, не дав ростков, лениво затихала.

Андрей поднялся и, откинув чуб, вышел на поляну.

А в это время жадно уставились на него два человечьи глаза.

Андрей, учуяв, круто повернулся: у опушки, невдалеке от него, стоял мужик.

— Эй, дядя! — крикнул Андрей. — Проведи меня к старосте... Я политический... Из Назимова...

— А-а-а, — остолбенев на миг, протянул Пров. — Так это ты, змей?.. — Он вскинул ружье, подбежал поближе и прицелился.

Андрей стоял неподвижно: ноги не повиновались, и пропал голос.

Но какая-то сила ударила в душу Прова, зарябило в глазах, ружье закачалось, опустились руки.

— Отвела, заступница, — выдохнул Пров, перекрестился и подошел к Андрею.

Тот поднял на него глаза и достал горящим взглядом до самого его сердца.

— Ну, вот... я один... Бей! Стреляй...

Пров разинул рот и не знал, что делать.

— Дочерь моя... Анна... Эх, брат-брат...

Андрей покачнулся.

— Пров?.. Пров Михалыч?! — и сразу почувствовал, что ему не хватает воздуха.

— На-ко, оболокись... — сказал, засопев, Пров, снял армяк и бросил к ногам Андрея.

XXVII

Варька вдруг вскочила и только начала Анну будить, как отворилась дверь.

— Варюха, Сенька по тебя прислал, требовает тебя, — пропищал белоголовый Оньша, братишка Сеньки Козыря.

Варька с кулаками бросилась к парнишке:

— Убирайся, дьяволенок, покуда цел!.. Я ему нихто!.. Тре-е-бо-вал... Вот я чичас мужикам все обскажу... Живорез он... Живорез!

Парнишка выскочил, захлопнул дверь, опять чуть приоткрыл, крикнул:

— Потаску-у-ха!.. — и метнулся вниз по лестнице...

— Ты что? — встревожилась проснувшаяся Анна.

Варька стоит, оперщись о печку локтем, и тяжело дышит.

— И батька-то твой, Пров-то Михалыч, хорош... — сквозь слезы выкрикивает она. — Эн бузуев кончить порешил... На что похоже? Псы этакие... Варнаки...

Анна сразу все поняла, быстро оделась и, слова не сказав Варьке, побежала домой.

А Варька опамятовалась. Девичьи глаза Таньку видят, разлучницу. Щеки вспыхивают, белеют и вновь загораются, словно тяжелая Сенькина рука раз за разом бьет по ее лицу.

На голоса путь свой правит Варька, торопится, как бы Сенька не настиг, бегом припустилась и, не помня себя, вбежала в Федотов двор.

А в Федотовом дворе — веселье. Мужики кричат, хохочут, в ладоши бьют:

— Оп!.. Оп!.. Оп!.. Ай да молодка... Наяривай. Обабок... Не подгадь...

Пьяный Обабок в валяных сапогах возле назимовской Даши пляшет, а та, вся в алых кумачах, дробно пристукивая полусапожками, топчется, шутливо ударяя платком по плечу Обабка, и покрикивает:

— Ой, да и чего же мне не гулять!..

Вспотевший Обабок задохнулся, — валенки ходу не дают — мужики хохочут пуще...

— Нá, Обабок, клюнь... Выкушай!..

Обабок водку тянет, а возле Дарьи уже двое других плясунов роют каблуками землю.

— Варька, иди, становись в круг...

Та, высмотрев Федота, к нему направилась, а хмельная Даша — к ней.

— Ой, девонька... Весело-то мне как... Гуляй знай, солдатка... Мужняя жена... Гуляй!.. Поминай Бородулина!..

Она вдруг заплакала и, плача, стала целовать Варьку, а та, вырываясь, кричала мужикам:

— Вот что, хрещеные... Вы пошто бузуев убивать повели?

— Жисть свою пропиваю! — взвизгивала Даша.

— Они тут ни при чем... Это Сенька-жиган!..

— Плюй мне, девонька, в глаза!

— Он коров всех перерезал... Сенька...

Но мужики ничего не понимают, — Федот пьяней вина, — меж собою ссору завели.

Даша плачет:

— Ой, нехорошо... Головушка скружилась.

Варька Федоту в самые уши кричит:

— Дяденька Федот, спосылай мужиков-то! Пусть вернут... Долго ль на лошади... Это што ж тако, господи...

— Варька?.. Эй, Варька!.. — Обабок к ней подходит. — На-ка, тяпни... Плюнь Сеньке в рыло... Во-от...

— Да, дяденька Обабок...

— Пей!..

— Варька... Варва-а-рушка... Пляши!.. — окружили мужики.

— Даша... Дарья Митревна... Пригубь...

— Эх, молодайки... Ай-ха!..

— Бузуев-то... Ради Христа...

— Бузуям — смерть!

Тогда Варька, обругав по-мужицки пьяных, вырвалась из угарного кольца и побежала к Прову.

А навстречу ей Анна, простоволосая, на бородулинском коне скачет:

— Варька, беги скорей к Устину... Я за тятькой... Я их наздогоню!.. — и скрылась в прогоне.

Дедушка Устин давно уже на ногах, по хозяйству управляется: бабы нет, один. Все Кешку ждал. Нет Кешки — сам пошел.

На улице ни души. Только мальчишки кричали ему:

— Бузуев-то увели, дедка...

Устин — бегом, на ходу разулся, сапоги далеко от себя швырнул. Варька встретилась:

— Дедушка, родимый...

Устин дико уставился на трясущуюся Варьку.

Потом вдруг круто повернул и проворно, по-молодому, будто живой воды хлебнул, побежал вдоль улицы.

— Айда! — крикнул он Тимохе и махнул рукой. — Бей сполох... Да шибче... Со всей силы чтоб!..

Тимоха вскочил, огляделся кругом, глуповато улыбнулся и, гогоча во все горло, припустился к часовне.

А дедушка Устин в край деревни к своей избушке бросился.

— Нет, стой, хрещеные... Я вас возворочу...

XXVIII

— А не уволите ли вы нас, ребята? — на ходу робко спросили Власовы.

— Хе! — по-собачьи оскалил белые зубы Цыган. — Вы очень даже хитропузые... Я вас так уволю, что...

Власовы прикусили языки.

Науменко остановил лошадь:

— Привстань-ка, старичок... — и подложил под простреленную, в крови, ногу Лехмана свой армяк.

Лехман застонал, пристально поглядел в глаза Науменко и сказал:

— Пить.

Тот достал из передка туесок с квасом.

— Эй, ты! Цыть!

— Да ну-у, Крысан... Чего ты, всамделе... — уговаривал Науменко.

— Им все одно крышка!..

— Ну, я им заместо попа буду... Дозволь, пожалуста... вроде как причащу... — И Науменко горько улыбнулся.

Цыган захохотал. Бродяги жадно пили квас.

Науменко опять стал просить мужиков:

— Ребята, вы идите с богом домой, а мы вот с товарищем — тут недалече живем — запряжем коней да доставим людей-то в волость...

— В воло-о-ость?! — ехидно протянул Крысан и весь задергался. — А оттуда куда? Не в Расею же... Уж их тут, в Сибири-то, сколь побито?.. Си-и-ла... — и желваки за щеками быстро заходили.

— Грешите, дьяволы, одни! — с сердцем бросил вожжи Науменко.

— А это видел?! — загремел Цыган, выхватив из-за пояса топор.

Заскрипела телега. Опять пошли.

Тюля был крепче всех: его не топтали сапогами, как Ваньку и Антона... И потому, что много еще было непочатой силы в Тюле, ему неотразимо хотелось жить.

Страх исчез в Тюле, и подбитые глаза его дерзко щупали лохматую стену тайги.

Но Крысан зорко смотрит, чует, должно быть, его намерение, по пятам идет, сверлит глазами спину.

Зло берет Тюлю.

— Ты не шибко на тайгу-то пялься... — поравнявшись с ним, скрипит Крысан и хихикает.

У Тюли сжался кулак, он хотел с размаху ударить Крысана в висок, но сдержался, а левая нога его сладко ощутила лежащий за голенищем нож.

— Не сумлевайся, — бросает он Крысану, стараясь пропустить его вперед, но тот, дав Тюле тумака, сквозь зубы цедит:

— Наддай шагу...

Тюле это нипочем, широко про себя улыбается улыбкой тайной: в мыслях он уже давно по тайге лешевым скоком носится, давно на своей воле живет... Ух ты...

У Ваньки Свистопляса все тело ноет, ресницы дрема смыкает. Идет или нейдет Ванька, жив или помер — не знает, не хочет, не может знать. Голоса спорят о чем-то, ругаются. Чуть приоткрыл глаза: скрипит телега, на ней Лехман, возле Лехмана, скрючившись, Антон. Телега скрипит, на телеге Лехман... Стонет... Слипаются у Ваньки ресницы... Вздрогнул,

осмотрелся, ноги сами собой идут, в кустах корова рыжая... нет, черная...

«Корова... корова...» — и вдруг, точно толкнул кто в спину, посунулся быстро носом и упал.

— Тпрру! — гаркнул Цыган. — Окривел, черт?

— Вали, Цыган... Время... — снимая с плеча ружье, сказал Крысан, и все засуетились.

Ванька вмиг пóтом облился, и лицо его потемнело.

— От так штука, язви те... — сказал Крысан, шаря карманы. — У тебя пули есть?

— Нету, — ответил Цыган.

— Тьфу!.. — Крысан позеленел: у него всего две пули — мало.

— У тебя «турка» добрая, — сказал Цыган, — она двоих прошьет...

У Крысана дрожали руки. Запавшие рысьи глаза его о чем-то думали, решали. Крысан вздохнул.

— Ребята, хотите покурить? — предложил Цыган.

— Дай-ка, дяденька, скорей... дай!.. — Ванька Свистопляс, глотая слюни, подкатился подхалимом к Цыгану и сладко взглянул в глаза.

И мелькнула у Ваньки мысль: разжалобить хмельных мужиков, умолить, укланяться, умаслить.

— Дяденька... Цыганушко...

Ванька жадно затянулся трубкой. Он три дня не курил: голова у него сразу закружилась, запрыгала тайга, все поплыло мимо и закачалось.

Антон вытащил из-за пазухи бумажку.

— Вот тут, значит, адрес... Отпишите, ради Христа, уведомьте. Доченька моя там... Так, мол, и так... Кончился... От болезни, мол, от тифу...

— Ладно, отпишем... — буркнул Крысан. Он поднес к раскосым своим глазам бумажку и, разорвав ее на клочья, втоптал в землю. У Антона лицо сморщилось и задрожало.

— Ай! — вдруг крикнул Крысан и вскочил. — Ребята!!

С треском и шумом Тюля в тайгу ринулся.

— Лови, лови!!

Засовались взад-вперед.

— Живо — догоняй!..

Крысан прицелился на удаляющийся хруст и оглушил всех выстрелом.

— Догоня-а-а-й!..

Братаны Власовы с Науменко схватили лопаты и радостно бросились в тайгу, домой.

А Тюля, как заяц, перекувырнулся через голову и с хриплым ревом пополз в кусты.

— Зацепило! Зацепило! — яростно выл Крысан, настигая Тюлю.

Провалившись в какую-то берлогу, Тюля перевернулся на спину, подтянул к животу скрюченные ноги и взмахивал отчаянно руками.

— Не тро-о-г! Я расейский!.. Я в ножки поклонюсь...

Сорвавшись вниз, Крысан медведем насел на раненого Тюлю. Тот, обливаясь кровью, крепко облапил Крысана и, норовя вывернуться, занес над ним нож. Крысан схватился за лезвие ножа, грыз зубами кисть Тюлиной руки. И оба, словно бешеные волки, схлестнувшись и яро рыча, клубком катались по земле.

Еще немного, и Тюля, почуяв смерть, жутко завизжал.

— Ты — расейский?! — прошипел Крысан, отбросив нож, и, поднявшись, как змея на хвосте, мертвой хваткой впился в горло захрипевшего Тюли.

Ошеломленные Антон и Ванька приросли к земле.

— Ну, как?! — нетерпеливо крикнул Цыган вышедшему из леса Крысану. Тот нетвердо шел, прихрамывая и суча локтями, а челюсти его жадно чавкали, словно наскоро перегрызали кость.

— Устукал, нет?

— Готовый... — буркнул Крысан и перевел дух.

Антон перекрестился, Ванька, скривив рот, заморгал глазами, а Лехман кашлянул и шевельнулся.

— Станови их всех в ряд... — пропавшим, лающим голосом прохрипел Крысан, отер о траву замазанные кровью, изрезанные руки и стал, весь дергаясь, суетливо заряжать ружье.

— Надо двоих, — сказал Цыган и решительными шагами подошел к Антону. — Иди-ка вот сюда...

Ноги у Антона со страху подгибались.

Цыган подхватил его под мышки и поволок к сосне.

— Стой правильно...

Крысан вязал Ваньку, приговаривая:

— А то и ты, сволочь такая... того гляди что...

Потом взяли Лехмана и поднесли к Антону. Антон не мог стоять. Он сидел под сосной, крестился и шевелил белыми губами.

Подняли Антона на ноги, вновь прислонили спиной к сосне и вплотную к нему приставили Лехмана. Огромный Лехман совсем заслонил собою щуплого Антона.

Крысан стал прикручивать вожжами к дереву это двойное человеческое тело. Лехман с ненавистью плюнул в ненавистные раскосые глаза Крысана. Тот размахнулся и, крякнув, ударил старика в нос.

— Хор-рош молодчик... — боднул головой Лехман; из разбитого носа побежала кровь.

Солнце светило вовсю. Вблизи куковала кукушка. Набежавший ветерок прошумел вершинами и осыпал голову Лехмана золотыми иглами хвой.

Вдруг лошадь посмотрела назад, поводила ушами и заржала.

Цыган крикнул:

— Защурься, старик!

А Крысан взвел курок. Ванька в страхе опрокинулся вниз лицом и по-бабьи заголосил.

— Прощай, белый свет... простите, братцы... Спасибо... — громко, отчетливо сказал мужикам Лехман. Он повернул назад голову, тронул локтем стоявшего сзади полумертвого Антона и простился с ним дрожащим, в слезах, голосом: — Антонушка, голубь, прощай... Прощай, товарищ милый.

Грохнул выстрел. Лехман клюнул носом, точно его по затылку ударили. Еще раз боднул головой, еще раз... пожевал губами, и голова его низко упала на грудь.

Цыган с Крысаном подбежали к Лехману.

— В сердце... — хладнокровно сказал Крысан.

Когда развязали вожжи и отбросили тело Лехмана, Антон тоже упал.

— Этого не потрогало... — сказал Цыган, осматривая грудь лежавшего в обмороке Антона. — В том, окаянная, засела, в старике.

— Да-кось скорей топор... Али сам долбани...

— Вали ты... А я эту пропастину-то ахну, — покосился Цыган на Ваньку и выворотил из земли огромный камнище.

— Ну, шпана чертова, подставляй башку!

Вдруг, едва не стоптав их, примчалась на коне Анна.

Сразу, молча, соскочив с лошади, к Лехману с Антоном подбежала:

— Мать, владычица...

В руках у нее жилетка, в тайге нашла, Андрея жилетка рваная.

Размахнулась Анна и со всех сил хлестнула Цыгана жилеткой по лицу. От внезапного удара жутких глаз Анны Цыган упал.

— Ой, ты! Оставь... оставь... — бормотал он и полз по земле, заслоняясь рукой.

Губы Анны прыгали. В гневе, вмиг к Крысану обернулась.

— Убегай!! — взвыл Цыган...— Бешеная... Изъест!! Ой, ты!

Крысан, выбросив навстречу Анне руки, быстро пятился к тайге и, ошеломленный, хрипел:

— Анна Провна... Что ты, что ты... Аннушка! — и, метнувшись вбок, стремглав кинулся под гору.

Анна пошатнулась, запрокинула с растрепанными косами простоволосую голову, схватилась за виски и так мучительно и страшно застонала, что Ванька Свистопляс, испугавшись, крикнул:

— Умница! Умница...

— Ой, кровушка моя... — Анна перегнулась вся, повалилась на землю и дико захохотала-заплакала.

Ванька с открытым ртом, весь в поту, скакал к ней связанными ногами:

— Умница... Умница!.. Очкнись!

XXIX

Глуповато улыбаясь, Тимоха бьет сполох. Колокол гудит, колокол один за одним упруго отбрасывает звенящие удары, торопливо гонит их во все стороны и медным горохом дробно рассыпает по тайге. На краю деревни горела изба Устина.

— Тащи, ребята, топоры! — пьяно шумел народ.

— Топоры-ы-ы...

— Сади бревном...

— Бревно! Бревно-о-о...

Обабок охрипшим голосом кричал:

— Где дедка Устин?.. Где он?.. — и лез в огонь.

Его схватывали и отбрасывали прочь.

— Ай-ха!.. — гремел Обабок и снова лез.

Но избенка уж догорала.

А Устин в это время был в часовне. Он стоял перед иконой и молился.

— Матушка, помоги... Заступница, помоги...

Много лет старому Устину, а никогда так не плакал.

Хоть и раньше не вовсе ладно жили мужики, однако такой черной беды сроду не было. Господи, до чего дожил Устин, мужичий дед, мужичий поп и советчик! Кто за деревню будет богу ответ держать? Он, Устин...

— Заступница, отведи грозу... Иверская наша помощница...

Настали, знать, последние времена. Колесом пошла деревня. Пойло окаянное, винище, всему голова. Хоть густа тайга, бездорожна, а прикатилось-таки это лешево пойло и сюда, одурманило мужичьи башки, душу очернило, сердце опоило зельем. А солнышка-то нет, темно.

И Устин падает ниц и, плача, долго лежит так, громко печалуясь богородице:

— Утихомирь, возвороти мужиков. Постарайся гля миру, гля руськова... Не подымусь, покуль не тово, не этово... Ежели ты, пресвятая, о нас не похлопочешь, кто ж тогда? Ну, кто?.. Ты только подумай, владычица... Утулима божжа мать...

Много Устин чувствует своим мужичьим сердцем, но словами душа его бедна.

А Тимоха яро бьет тут же, за стеною, в колокол. Колокол гудит, шумит пьяная толпа у потухшего пожара, и, слыша все это, старый Устин, весь просветленный, снова начинает со всей страстью и упованием молиться.

Слышит Устин: придвинулся к часовне рев, а Тимохин колокол умолк.

— Эй, выходи-ко ты... Эй, Устин?!

— Вылазь!..

— А-а-а... Деревню поджигать?!

Вышел к ним Устин твердо. Остановился на крылечке, одернув рубаху, ворот оправил, боднул головой и строго кашлянул.

— Ты... ты... тьфу!.. Кабы деревня-то пластать-тать-тать... Старый ты черт!.. — все враз орут пьяными глотками. Много мужиков.

Устин силится перекричать толпу, но голос его тонет в общем реве.

— Тащи его за бороду... Дуй его!..

— А-а-а? Жечь?!

Устин вскидывает вверх руки, и над толпой взвивается его резкий голос.

Мужики, постепенно смолкая, плотней стали облегать крыльцо, тяжело сопя и грозя глазами.

— Ах вы непутевые... — начал Устин, и не понять было: улыбка ль по его лицу скользит, или он собирается заплакать. — Вы чего ж это, робяты, надумали, а? Куда бузуев дели, где они, а?! — весь дергаясь, выкрикивал Устин, притопывая враз обеими ногами и встряхивая головой, будто собираясь клюнуть стоявшего перед ним Обабка. — За винище руки кровью замарали... Тьфу!.. А бог-то где у вас? А? Правда-то?

— Мы их в волость...

— В волость?.. Эй, Окентий! — окликнул Устин Кешку. — Ты чего молчишь? Где бузуи?..

— Я ни при чем... — бормотал Кешка, то нахлобучивая, то приподымая картуз, — как мир... его дело...

— Они нам поперек горла стали... — оживились мужики. — Они пакостники, они парня ножом, они коров перерезали... Они...

— Врете!.. — вдруг вынырнула из толпы Варька.— А вот кто коров-то кончил... вот!.. — ткнула пальцем на Сеньку. — Чего бельмы-то пялишь?! Признавайся!

Тот, растопырив руки и весь пригнувшись к земле, коршуном к Варьке кинулся. Та в часовню.

— Бей! На̀, бей, живорез!..

— Куда прешь? Не видишь?! — сбросив с крыльца Сеньку Козыря, взмахнул грузным кулаком каморщик Кешка.

— Ведут, ведут... Эвона!.. — удивленно и громко заорали сзади.

И всей деревней побежали за околицу, навстречу показавшейся толпе.

Только дед Устин кой с кем остался и с высокого крыльца часовни, прищурив глаза, всматривался вдаль.

Наступил вечер.

XXX

Тихо плетется в гору рыжая кобылка, надсадисто: в телеге трое. Невеселы идут по бокам телеги люди.

— Образумься, Аннушка... Дитятко... — говорит осунувшийся Пров.

— Подай мне Андрюшу, — тихо вскрикивает прикрученная к телеге Анна.

— Я здесь, Анна... С тобой...

— Уйди!..

Андрей-политик, путаясь в армяке Прова, идет возле Анны и гладит ей волосы. Но та мотает головой и самое обидное слово силится крикнуть, но слово это забыто.

Возле Анны, поджав руками живот, сидит Антон. Выражение лица детское, удивленное: глаза целуют каждого и каждого благодарят.

Ванька Свистопляс, причмокивая, правит лошадью. Запухшая нога его вытянута вдоль телеги, а левая рука нет-нет да и пощупает больное ухо. Он, как волк,

исподлобья озирается на Крысана, глаза бегают и боязливо ширятся на показавшуюся из деревни толпу.

— Анна... — уж который раз подавленным голосом начинает Андрей. Иссиня-бледное лицо его подергивается, на правом виске прыгает живчик, упорный взгляд прикован к Анне. В его глазах появилось что-то новое, пугающее. Когда он переводит их на Прова, тот отворачивается, шумно вздыхает и никнет головой.

Братаны Власовы тоже здесь. Только бывшего каторжника Науменко нет — убежал, и нет Тюли с Лехманом.

Но Крысан, как наяву, видит старого бродягу. На Анну взгляд направит — не Анна: Лехман лежит и хрипло кричит несуразное; взглянет на Антона — Лехман сидит раскачиваясь; зажмурится — вновь Лехмана видит, его мертвые глаза, его раскрытый беззубый рот, его простреленную залитую кровью грудь.

И уж нет в Крысане злобы, не ходят за щеками желваки, глаза погасли, пересохший рот открыт. Он весь обвис, осел, покривился, еле ноги тащит, вздымая пыль.

— Плохо вам будет, — говорит Андрей.

— А ты как-нибудь, Андрей Митрич... тово... заступись... — просят мужики, — знамо, спьяну...

— Спьяну? Не в этом дело...

И мужики опять идут молча и тяжело сопят.

До деревни с версту осталось. Как спустились с горки, скрылась приближающаяся толпа, в зеленых потонула кустах.

— Тятенька, где ты? — тихо зовет Анна. — Развяжи меня, тятенька...

Но Пров едва понимает, что говорит дочь. Он вопросительно смотрит на мужиков, с ними взором советуется:

— Да, до-о-ченька, да потерпи...

А сам о надвигающейся и уже нависшей туче думает. Не о Лехмане, брошенном в тайге, не о пьяной сходке мужиков, не о зарезанных своих коровах, не о тюрьме, не о каторге — о жизни своей думает Пров:

рехнулась дочь ума, кончилась и его, Прова, жизнь. Пропадай пропадом все: и Матрена, и хозяйство, и хромой сивый мерин, и деревня, и тайга, и белый свет, в могилу бы скорей, в домовину бы скорей, под крест лечь...

— Тятенька...

Пров не слышит: высокой стеной скорбь его окружила, как ночь среди бела дня окутала. Но где-то огонек дрожит: может, оклемается, может, придет в себя Анна. А эти двое — пусть живут, мир бродяг приютит, пусть только помалкивают, а старика того убиенного, погребению всей деревней предадут, — что ж, дело божье, суд божий. Мир смолчит, сору не вынесет: друг за дружку ответ держать будут, порука круговая. Андрея можно упросить, поклониться ему: голова у него не мужиковская, научит...

— Ну, ну... — вслух роняет Пров и уже веселей поглядывает на кудрявую возле часовни рощу.

По дороге от деревни мужик скачет. По дороге от деревни впереди всех Матрена бежит, за ней ребята, за ними толпа с горы спускается.

XXXI

Подвыпившая Даша в ногах валялась у Устина:

— Дедушка ты мой светлый... Ослобони мою душеньку... С панталыку я сшиблась, дедушка...

— Никто, как бог...

А уж толпа вливалась в деревню. Все, кто оставался с Устином, поспешили навстречу.

Даша ничего не видела, кроме добрых глаз Устина.

— Судите меня, люди добрые... я, потаскуха, с Бородулиным жила... Солдатка я... воровка я... — она громко сморкалась, утирала слезы и, ползая, хваталась за Устиновы босые ноги. Устин приседал, удерживая равновесие, и, весь нахохлившись, скрипел своим стариковским, с огоньком, голосом:

— Совесть, мать, забыла... Бесстыжая ты...

— У Бородулина деньги я украла... А не бузуи... Ох, светы мои...

Устин гневно всплеснул руками:

— Ведь ты... Черт ты... Ведь бузуев-то... Ах ты ведьма!..

— Хорошень меня... Задави... Убей...

Вдруг, испугав Устина, Даша взвизгнула и бросилась к подъехавшей телеге:

— Аннушка! Девонька!..

— Тпру! — пробасил Обабок. — Приехали...

— Молись, ребята, богу, — выдвигаясь из вновь выросшей толпы, проговорил какой-то старик.

— Чего — богу... Айда домой, — сказал Пров. — Понужай, Матрен, кобылу-то.

— Стойте! — крикнул Устин с крыльца часовни и сердито одернул рубаху.

А тем временем Анну сняли с телеги, напоили холодной водой. Она всем улыбалась и что-то говорила торопливым, не своим голосом, проглатывая слова.

К дому повели ее.

— Стой, Пров! Вернись!..

— Я чичас приду, Устин... Ишь, дочерь-то...

— Стой ты... До-о-о-черь... А где еще двое, где они?.. — и Устин мотнул рукой на Антона с Ванькой.

Даша к Устину, к Прову, к Андрею лезла, что-то выкрикивала и голосила, но ее оттирала толпа.

— Куда старика дели? Где еще молодой, толсторожий?..

Толпа молчала.

Цыган сказал:

— Одного только кончили... Старика...

— Та-а-ак... — протянул Устин.

— А другой, однако, убег... Толсторожий-то... — закончил Цыган и нырнул в народ.

Толпа перешептывается и угрюмо гудит.

— Так, молодцы, так... — затихая, говорит Устин, вкладывает руки в рукава и опускает низко голову.

— Значит, убили?! — вскидывая вдруг голову, резко сечет толпу.

Толпа мнется, ежится. Мужики переглядываются, переступают с ноги на ногу, растерянно покашливая и поправляя шапки.

— Хороши молодчики... Ловко... Ай да Пров Михалыч... Ай да староста...

Пров трясущимися руками прицепляет на грудь медную бляху и, кланяясь Устину, и Андрею-политику, и бродягам, и всей толпе, тихо говорит:

— Бог попустил... Терпенья нашего не стало... — Голос дрожит, брови высоко взлетели.

В толпе закричали:

— Он не своей волей... Мир так порешил...

— Согласья... Мир... Мир...

— Значит, собча...

— Эфто верно, что...

Пров перевел глаза на толпу и враз почувствовал в ней родное и кровное. Он часто замигал, передернул могучими плечами, загреб в горсть бороду и вдруг повалился перед Андреем на колени:

— Мы — люди темные... Мы — люди забытые... Обернитесь, батюшки, на нас... Отцы родные.

Толпа недовольно зашумела. Ей непонятно было, что долгобородый могутной Пров, староста, упрашивает какого-то бродяжку, человека никудышного.

Там, в тайге, Андрей все поведал Прову, всю душу открыл. Коротко сказал Андрей, но слова его в самое сердце Прова пали.

И потому Пров, плача, шепчет:

— Обернитесь на нас, батюшки... Защитите.

У Андрея зарябило в глазах. Он пытался приподнять с земли Прова, но тот тряс головой и, крепко сжав на груди руки, не переставая твердил:

— Кланяйся, мир хрещеный... Все кланяйтесь... И бродягам кланяйтесь...

— Стой! — кричит властно Устин. — Слушай...

Ванька с Антоном приподнялись дубом на телеге, впились в Устина и разинули рты.

Все затаились, замолкли. Все почуяли теперь большую за собой вину и грех. Всем не по себе сделалось. Замерла толпа.

Огромный Кешка утирал рукавом глаза, стараясь остановить прыгающий подбородок. Сморкались бабы, кряхтели, виновато почесываясь, мужики. Только

Тимоха-звонарь весело улыбался и смотрел на все, как на петрушку об ярмарке.

Устин прошел проворно в часовню, опять вышел, держа псалтырь.

— Вот что, православные... — высоко подняв книгу и потрясая ею, начал Устин. — Я все попалил... Пожарищем вас с разбою возворотить пытал... огнем... Я все сжег... Мне, православные, ничего не надо. Я уйду от вас.

Он переступил с ноги на ногу и горько вздохнул.

— Вы, хрещеные, как волки... Это не жисть, робяты... Это один грех...

И вместе с древним Устином многие вздохнули горько и стыдились поднять от земли взгляд.

— А тут еще эвона что затеяли: человека убили!..— возвысил до конца свой голос Устин. — Эх вы-ы-ы...

Антон, стоя на телеге, низко Устину поклонился. Поклонился и Ванька Свистопляс.

— Вы эвон какую напраслину на них взвалили...

— Как напраслину?! Чего мутишь?! — раздались возмущенные крики.

Толпа зашумела, зарокотала, как по камням река.

— Слушай!! — махнул Устин. — Разве они деньги-то у купца украли?.. — Нет, врешь!.. Эн тут баба в ногах валялась из Назимова, каялась... А коров? Спросите-ка Варьку Силину... Кто?..

— Как кто? Они же...

— Сенька Козырь... А не они... Эх вы, твари!..

Толпу в жар бросило, ахнула толпа и качнулась.

Пров, теребя волосы и широко открыв глаза, с одеревеневшим лицом стоял возле Андрея. Антон на телеге крестился и кланялся Устину, а Обабок в задних рядах, запрокинув голову, булькал из бутылки.

В Андрее закипела кровь. Он окинул взглядом хмурую, понуро стоявшую толпу, и ему вспомнилась вдруг Россия. Не Акулька с Дунькой, не Пров, не Устин — *Русь поднялась перед ним,* такая же корявая и нескладная, с звериным обличием, с тоскующими добрыми глазами, изъедающая и растлевающая себя, дремучая седая Русь, *дикая в своей тьме, но такая близкая и родная его сердцу.*

Стоял перед Устином народ, как перед судьей — без вины преступник. Встала перед Андреем Русь и ждала от него золотых слов! Ну что ж слова!

Глянул Андрей на тайгу. Темная-темная, густым дремучим морем охватила она Кедровку. Кто-то кричит: «Уйду»...

Андрей померк. Потные, с разинутыми ртами и ощетинившиеся, тяжело пыхтели мужики, обдавая Андрея сивушным перегаром.

— Жаль мне вас... Вот как жаль... А уйду... Прощай... робята... — Устин земно поклонился миру и, прижав к груди псалтырь, стал спускаться с крыльца. — С вами мне не жить... Горько мне с вами... Я в тайгу уйду... Я к зверям уйду... Легче...

Всколыхнулись, заголосили кедровцы, напирая со всех сторон на сгорбленного старого Устина:

— Дедушка ты наш, милый ты наш! — кричали бабы.

— Куда? Стой! — гудели мужики, загораживая дорогу.

— Избу тебе сгрохаем, живи...

— Нет, робяты, нет...

— Пьянству зарок дадим...

— Душа требовает... Не держите меня... Раздайся!.. Душа в лес зовет... Со зверьем легче...

По шагу, потихонечку, подвигается Устин вперед, а с ним толпа, как возле пчелиной матки рой.

Улыбающийся Тимоха во все колокола хватил. Но Кешка сгреб его за шиворот и отбросил.

А Устин все дальше подается и, обернувшись, громко кричит отставшему от него народу:

— Ну, робяты!.. В последний вам говорю!.. Заруби это, робяты, на носу. По правде живите: смерть не ждет. Пуще молитесь богу... Пуще!

— Бо-о-гу?.. Святоша чертов!.. — вдруг грянул Обабок. — Мне жрать нечего... У меня шестеро ребят... У меня баба пузатая. Подыхать, што ли?!

— Верно, Обабок, правильно...

— На сборню, ребяты...

— Староста, собирай сход!.. — загалдели голоса.

Устина качнуло словно ветром. Взглянул на заходящее солнце, взглянул на Обабка, на разбредавшихся недовольных мужиков и расслабленно опустился на лежащий при дороге камень.

Обабок круто повернул и направился неверными шагами к накрепко запертому Федотову двору.

— Ай-ха! — рявкнул он медвежьей своей глоткой и, загребая пыль, на всю деревню бессмысленно заорал:

Стари-инное ка-аменно зданья-а-а
Раздало-ося у девы в груди-и-и-и!..

В ушах у Устина гудело, и невыносимо ныло сердце.

— Эй ты, черт плешатый! — донеслось до него пьяное слово. — Ну и проваливай к дьяволу...

Сразу в двух местах кто-то охально и зло засвистал, кто-то заулюлюкал и крепко, сплеча, выругался.

— Леший с ним!..

— По его бороде, давно ему быть в воде...

— Ту-у-да ему и дорога... — И снова резкий свист и ругань.

— Богомо-ол!!.

Все вмиг всколыхнулось в Устине: померкло вдруг небо, померк свет в глазах, застыла в жилах кровь. Он обхватил руками свою лысую голову и, как пристукнутый деревом, замер.

XXXII

К седому вечеру, когда зажглись в Кедровке огни, обложило все небо тучами. Со всех сторон выплывали из-за тайги тучи, тяжело, грозно надвигаясь на деревню. Сразу затихла деревня. Сжались все, примолкли, жутко сделалось. Говорили в избах вполголоса, заглядывали сквозь окна на улицу, прислушиваясь к все нараставшему говору тайги, и многим казалось, что кто-то хочет отомстить им за смерть Лехмана. Ежели он праведен есть человек — бог за

него не помилует; ежели грешен — быть худу: накличет беду, напустит темень, зальет дождем, попалит грозой. Недаром старухи слышат в говоре тайги то стоны проклятого колдуна-бродяги, то его ругань, угрозу. Колдун, колдун — это верно. Чу, как трещит тайга. Господи, спаси... Гляди, как темно вдруг стало...

К седому вечеру, лишь зажглись в Кедровке огни, старый Устин вместе с заимочником Науменко подошли впотьмах, с малым фонариком самодельным, к валявшемуся под сосной Лехману.

— Вот-он он, — сказал Науменко и поднес фонарь к лицу мертвеца.

Лехман, полузакрыв глаза, безмолвно лежал, а по его щекам и лохматой бородище суетливо бегали муравьи.

Устин и Науменко долго крестились, опустившись на колени.

— Я к тебе завтра утречком приду, Устин... И товарища с собой захвачу, — сказал Науменко. — Мы тут, значит, его, батюшку, тово... значит, домовину выдолбим, и все такое... И в землю спустим... Да... — Голос его дрожал.

Тайга шумела вершинами, вверху вольный ветер разгуливал, трепал шелковые хвои, на что-то злясь.

— Вы мне тут, робятки, какой-нибудь омшаник срубили бы...

— Чего? — оправившись, громко спросил Науменко.

— Омшаник, мол, омшаник... Так, на манер земляночки, — напрягая голос, просил Устин.

— Ну-к чо... Ладно.

— У меня усердие есть пожить возле могилки-то...

— А?.. Кричи громчей!.. Ишь тайга-то гудет...

— Я, мол, вроде обещанья положил...

— Так-так...

— Пожить да помолиться за упокой...

— Ну, ну... Дело доброе...

Науменко костер стал налаживать, шалаш из пихтовых веток сделал.

— Ну, прощай, Устин... Побегу я... Ух ты, как гудет!.. Страсть...

И издали, из темноты, крикнул:

— Ты не боишься?.. Один-то?!

— Пошто? — прокричал в ответ Устин. — Нас двое... — и скользнул жалеющим взглядом по скрюченным пальцам Лехмана.

Жутко в деревне, темно, к ночи близится. Небо в черных тучах. Уже не видать, где тайга, где небо. Вдали громыхнуло и глухо раскатилось. Где-то тявкнула, диким воем залилась собака.

Погасли огни в деревне. Но никто не смыкает глаз. Лишь у Прова огонек мигает, да в Федотовом дому. Вот еще старая Мошна, как услыхала гром, зажгла восковую свечку у иконы, четверговую, и молится. Грозы она боится, умирать не хочется, скопит денег — в монастырь уйдет...

У Прова в избе тоскливо. Пров под образами сидит, на той самой лавке, где лежал Бородулин, еще поутру увезенный в село.

Андрей по избе взад-вперед ходит, то и дело хватаясь за голову.

— Скверно все это, скверно... Ну, как же ты, Пров Михалыч?.. Ты оглядись, подумай.

В кути у печки Матрена сидит, подшибившись. Слезы все высохли, устало ныть сердце:

— Твори, бог, волю...

— Матушка, — тихо говорит лежащая на двух шубах Анна. — Матушка, скажи тяте, чтобы... Ну, вот это-то... самое-то...

Ветер крышу срывает, того гляди опрокинет избу.

— Экая напасть, господи, — печалуется Пров. Он трясет в отчаянии головой и, ударив тяжелым кулаком по столешнице, ненавистно пронзает глазами мечущегося по избе Андрея.

Тот удивленно покосился на Прова и вышел на улицу. Он чувствовал, что душа его опустошена. Ему хотелось обо всем забыть, уснуть долгим сном, уйти от жизни. Но мужичий грех черной тенью ходил по

пятам, ядовито над ним похохатывал, стращал, как палач жертву, и, приперев к стене, требовал ответа. Андрея бросало то в жар, то в холод. Как же поступить с мужиками? Молчать, как мертвому, покрыть их изуверство? Ответа не было, и от этого еще мучительней становилось на душе. А память услужливо подсказывала забытый случай: он где-то читал или слышал про дикий самосуд над таким же, как он, невольным свидетелем мужицкого греха.

— А ведь убьют, — вздохнул Андрей. Он вспомнил грозные глаза Прова. Его вдруг забила лихорадка, заныл висок, и тупая боль потекла к затылку.

Шум тайги все разрастался. Было темно. Ветер озоровал на улице, мел дорогу, швыряя в Андрея пылью. Андрей зажмурился и сел на сутунок.

— Ну, научи ты меня... Измучился я, Митрич... тошнехонько... — сказал внезапно подошедший Пров.

Андрей уловил в его голосе тоску, растерянность и злобу. Пров запричитал и подсел к нему.

Оба долго молчали. Андрей вздохнул. Ему надо успокоить Прова, но он понимал, что случившееся больше, сильнее его слов.

«Убьют или не убьют?» — мелькнуло в мыслях.

— Ну, так как? — спросил Пров. Он сидел, низко нагнувшись и пропустив меж колен сомкнутые руки.— Ведь засудят?

— Не в этом дело, — сказал Андрей. — А дети, а внуки ваши — все так же? Вот в чем главное. — Он встал и схватился за угол избы, чтобы не свалил с ног бушевавший ветер.

— А ты сам-то как? — хмуро спросил Пров. — За нас?

Но, должно быть, ветер смазал слова Прова. Андрей не слыхал или не понял их.

— Вот, скажем, тайга, — вновь почувствовал Андрей прилив бодрости. — Дикая тайга, нелюдимая, с зверьем, гнусом. А сколько в ней всякого богатства... Вот и жизнь наша, что тайга... — Он тяжело дышал и глядел сквозь мрак на широкую согнутую спину Прова. — Что ж надо сделать, чтоб в тайге не страшно

было жить, чтоб все добро поднять наверх, людям на пользу? А? Подумай-ка, Пров Михалыч...

— Не так, Митрич... Не про это... Тайга ни при чем...

— Ты погоди, выслушай! — крикнул Андрей. — До всего дойдет очередь... — и с жаром, взмахивая свободной рукой, сыпал словами.

Но Пров раздраженно крякнул и потряс головой. Андрей смешался. Он перестал следить за своей речью, потому что его мысль, опережая слова, неожиданно опять скакнула к тому темному, еще не решенному, на что он должен дать ответ Прову. Как помочь мужикам в беде? Бежать ли, остаться ли? А вдруг убьют? — вновь клином вошло Андрею в душу. Теперь он только краем уха прислушивался к своему голосу и, досадуя на себя, чувствовал, что говорит нудно, вяло, обрываясь и путаясь.

— Мудро... шибко мудро, Митрич... Кого тут... где уж... — прервал Пров и сердито засопел. — Засудят, всех закатают, ежели дознаются... Вот ты что говори. Ну, а как ты-то, сам-то? — глухим голосом еще раз спросил он и, нахлобучив шляпу, встал. — Пойдем не то в избу, посовещаемся. Ну и ветрище!

— Пров Михалыч!.. — громко окликнул Андрей, точно вспомнив главное. — А как же Анна? Ведь ее в город надо, завтра же.

— Погоди ты — в город... — рубнул Пров. — Тут не до этого.

Блеснула, затрепыхала далекая молния. Все избы, словно из-под земли выскочив, подпрыгнули, замигали и снова исчезли.

— Гроза идет, — тревожно сказал Пров, захлопывая за собой дверь избы.

Какая-то сила заставила Андрея обернуться.

— Стой-ка... — услышал он сиплый, таящийся голос. — Эй, прохожий!

Андрей спустил с приступки ногу, шагнул навстречу голосу и лоб в лоб столкнулся с крупным, тяжело пыхтевшим человеком.

— Признал? Я каморщик, — зашептал Кешка, обдав Андрея едким запахом черемши. — Вот что, про-

ходящий... беги, батюшка... Чуешь? Как уснет деревня покрепче — шагай в тайгу... А тех двоих, в случае, схороню... Где им... Скажу: убегли... Чуешь? А то мужики как бы не того... слых идет.

— Андрей! — открыл окно Пров. — Залазь, что ль. Время огонь тушить.

Ветер тайгою ходит, раскачал тайгу от самых корней до вершины. Трещит тайга, ухает, ожила, завыла, застонала на тысячу голосов: все страхи лесные выползли, зашмыгали, засуетились, все бесы из болот повылезли, свищут пронзительно, носятся, в чехарду играют. Сам лесовой за вершину кедр поймал, вырвал с корнем и, гукая страшным голосом, пошел крушить: как махнет кедром, как ударит по лесине, хрустнет дерево стоячее и рухнет на землю. А лесовому любо: «Го-го-го-го!»

Дедушке Устину все это нипочем. У него в руках святая книга, а на пне, в головах у тела убиенного бродяги, восковая свеча горит: здесь место свято.

Но ветер по низам пошел, метет во все стороны пламя костра, гасит восковую свечечку. Устин отходную Лехману читает, «Святый боже» поет надтреснутым своим голосом и, ежась от колеблющейся тьмы, блуждает взглядом. Кто-то притаился там, ждет. Вдруг тьма озарилась молнией. Устин сложил книгу, перекрестился и побрел в зеленый свой шалаш.

«Го-го-го...»

Крестится Устин.

Лег на зеленую хвою, шубенку накинул сверх себя — подарок Науменко. Лежит, смотрит на Лехмана, думает. Костер горит ярко, два пня смолистых зажег Науменко, будут до утра тлеть. Ветер раздувает пламя, не дает заснуть огню.

Лехман вздрагивает в лучах костра, как живой от холода, шевелит руками, сучит ногами, кивает головой...

— Нет, это ничего... — шепчет Устин и крестится, а сон уж начинает его убаюкивать и качать на волнах.

Ветер бурей ревел в тайге. Деревья стонали и точно зубами скорготали от нестерпимой боли.

Лишь закрыл Устин глаза и, благословясь, укрылся с головой шубой, слышит: стихла тайга, и раздалось два голоса. О чем-то беседу ведут, мирно так говорят, любовно, то вдруг заспорят и сердито закричат.

Один голос очень знакомый. Чей же это голос? Ах, да ведь это Бородулин говорит. Попа. Да, попа... про попа надо сказать, про отца Лексея... Это хорошо... «А что же ты такой старик, а седой?.. такой лохматый?» — говорит Бородулин. «А что же ты лежишь? Пойдем», — вновь сказал Бородулин. «Потому что надо, — ответил голос, — тут ясно».

Холодно Устину. Он скрючился. Не хочется выползать из-под шубы. А не бородулинский, незнакомый голос опять: «А где Устин? Вот тут сидел, надо мной». — «Он ушел. И от тебя ушел и от мира ушел, он — черт». — «Врешь!»

И вдруг как ударит его кто-то по плечу ладонью: «Вставай, старик... Спасибо...»

Без ума вскочил Устин.

— Господи Христе!..

Стегнула молния, грянул гром. И видит Устин в синем полыме: не в шалаше он, а возле Лехмана.

Белый, скрюченный, сидит рядом с ним Лехман.

— Свят, свят!.. — не своим голосом вскричал Устин.

Вновь гроза оглушительно трахнула. Устина подбросило, опрокинуло, и он, очнувшись, пустился бежать. Он бежал молча, весь объятый звериным ужасом, и ему почудилось, что сзади гонятся за ним и Бородулин, и разбойники, и оживший Лехман, и все деревья, — вся тайга несется вслед: вот-вот дух из Устина вышибут.

— Свят, свят, свят...

А удар за ударом кроет все таежные ночные голоса, гудит на всю тайгу и, спустившись в низины, раскатисто и злобно рычит.

Молния сияет синим светом беспрестанно. Звериное чутье по дороге Устина гонит в родную Кедровку.

— Согрешил... мужиков в беде бросил... Возворочусь, — стонет Устин, обессиленно переплетая во тьме старыми, страхом связанными ногами.

«Согрешил, согрешил!» — ликует темный рев тайги и, настегивая Устина свистом, гамом, хохотом, гонит вон из своего царства.

Вдруг все засияло.

— Не попусти!! — Устин взмахнул руками и во весь рост грохнул мертвый средь дороги.

Вместе с его криком раскололись, зазвенели, рушились небеса. Золотым мечом молния вонзилась в землю, опалила, съела тьму, всю тайгу всколыхнула, во все застучала концы и предостерегающе замолкла.

Испугалась тайга грозы небесной. Тихо стало в тайге и торжественно.

И среди густой нависшей тьмы запылали-зажглись ярким светом, как гробовые свечи, три высокие лиственницы.

Опять взметнулся ветер.

XXXIII

Дрогнула над Кедровкой ночь. Кто-то по улице скакал на коне и неистово кричал:

— Хозяева! Тайга пластат!.. Эй, люди! Тайга!! Тайга!!

Густо и грозно из-за деревни вставало пламя, ветер крепчал и гнал огонь прямо на Кедровку.

Открывались дрожащими руками окна, высовывались взлохмаченные сном головы и, ахнув, исчезали.

Ветер стучит ставнями, заглядывает под крыши и грозит Кедровке бедой.

— Осподи, светы... — шамкает выскочившая на улицу Мошна, наскоро крестится и, со страхом взглянув на широко разметавшееся за деревней пламя, спешит скорей в избу. Ветер пузырем вздувает юбчонку, крушит и валит старуху наземь и резко захлопывает за ней тяжелую дверь.

— Тайга занялась!.. Тайга!..

Забегали, засновали кедровцы; ожила, загалдела деревня. Встали и разлились вдруг родившиеся во дворах, под крышами, при дороге, полные испуга голоса и звуки.

Засветились коньки и скаты мокрых крыш, вспыхнули и заиграли огнем стекла стоявших на пригорке избушек, а небеса кругом стали еще темнее и строже.

— Миколка!.. Эй, Миколка-а-а...

На горе, у часовни, бестолковая, потерявшая себя толпа. Все, разинув рты, смотрят широкими глазами на пожарище и, холодея, роняют, как в воду камни, жалкие слова.

— Ишь как садит... Ишь, ишь!..

— Придет, робяты... Ох, придет...

— Начинай молебну!.. Вздымай образа!

— Устина надо... Устина!

— Ушел Устин...

И уж стон стоит в толпе, голоса осеклись.

— Ищите Устина!.. Где Устин?!

— Ушел Устин...

Бабы слезно заголосили:

— Окаянные вы... Мучители вы...

— Замолчь!.. Ну вас...

А над тайгой разливалось море огня. То здесь, то там, словно из-под земли взрываясь, враз вставали огненные столбы и, качнувшись во все стороны, наплывали на деревню.

— Ой, край пришел... Ой, светы...

С пригорка видно, как росло и бушевало пламя, и в его пляшущем свете колыхалась и кудрявилась тайга, вся в зелено-темных тонах и переливах, а нависшая над пожарищем туча до краев набухла отблеском пламени.

На взмыленной лошаденке прискакал босой, простоволосый, страшный Пров:

— Мир хрещеный!.. Беда-а-а-а! Погибель!..

И опять помчался к своему дому.

— К речке, к речке выбирайся!.. На пашни!..

Скрипят возы, храпят, поводя ушами, лошади.

— Куды прешь? Легше!..

Собаки воют и бестолково, испуганно взлаивают; снуют со скарбом в руках бабы и ребята.

— К речке, к речке!..

А ветер упругим валом, волна за волной катит над деревней, весь в золотых искрометных огоньках. Он коршуном бросается попутно вниз, метет все голоса и звуки, крутит и выкручивает по ошалелым закоулкам, улицам.

Головни, как сказочные жар-птицы, взвиваясь ввысь, несутся, гонимые ветром, куда попало, и, сложив огненные крылья, садятся среди деревни.

— Осподи, мать владычица... Шабаш...

— Окульку возьми!..

— С зыбкой... с зыбкой!..

Засинела, занялась тайга и с боков. Кедровка золотым сжималась морем.

Обабок, согнувшись под громадным узлом, зажав под пазухами двух воющих ребятишек, торопливо бежал в гору, а возле него, не давая ходу, сновали четверо парнишек, голося:

— Тятенька, тятенька... Ой, мамыньки нету...

— Ай-ха!..— орал Обабок, напрягая свои еще не проспавшиеся ноги.

Тимоха яростно бил в колокола и, прикусив язык, прислушивался к звону. Колокола зло пересмехались и дразнили Тимоху. Он размахнулся жердью и сразу сшиб два колокола.

— Что ты, окаянный...— зашипела ползущая на карачках Мошна.— Что ты?!

— А ты чего?

— Вишь, ползу... Сто разов окружу часовню — откатится огонь.

Столетний дедушка Назар давно за деревней. Он, шаркая ногами, тащит за хвост кота. Кот в кровь исцарапал ему руки, разодрал порты.

— Огонь, огонь... Дым...— бормочет старик и, как на лыжах, не отрывая от земли ног, катит дальше.

— Проваливай, ребята... Это от вас!..— гнал вон из своей избенки Ваньку Свистопляса и Антона каморщик Кешка.

— Это от вас!.. — взвизгнула пробегавшая беременная баба, повалилась оттопыренным животом на изгородь и страшно, нечеловечески завыла.

— Горим!.. Горим!.. — перекатывалось по деревне.

— Убегайте!.. Живо, скорей... — метался лавочник Федот, волоча по земле огромный узел.

Серой клубящейся горой валил к небу дым, сливался вверху с тучей и, колеблемый ветром, разбрасывался по поднебесью сизыми, подрумяненными облаками.

— Сюда... Сюда-а-а!..

— Эн, как взмыло...

Сразу в трех местах вспыхнули наваленные на крышах копны сена, занялись дворы, загорелась старая сухая часовенка.

И уж все живое катилось вон из деревни: с проклятием, стоном и диким ревом бежали люди; задрав хвосты и бешено мыча, скакали коровы; пронесся вдоль улицы, храпя и сотрясая землю, табун лошадей и вдруг шарахнулся врассыпную от ползущего по дороге забытого мальчонки; с кудахтаньем летали над дорогой незрячие куры. А целое стадо овец, предводимое бараном, ошалело неслось прямо на огонь.

Андрей быстро наклонился над спящей Анной, взял ее за плечо и твердо приказал:

— Анна, встань.

Та вскинула веки, мутно посмотрела на Андрея, приподнялась — и вдруг вся зацвела испуганно-нежданной радостью. Вспомнить хотела — не могла:

— Ты?

— Анночка, Анна... — Андрей влек ее к двери. — Мы горим, Анна... Скорей!..

На улице, жмурясь от яркого света, Анна крикнула:

— Солнышко... Солнышко спустилось!..

— Это тайга горит...

— Пусти... не держи!

— Анна, Кедровка горит.

— Пошто мутишь? — Она рванулась и, всплеснув руками, словно подхваченная вихрем, понеслась на гору.

— Анна! Анна! — следом бросился Андрей. — Пров Михалыч!!

А Пров, хрипя в борьбе, еле сдерживал рвавшуюся за дочерью Матрену.

— Ой, пусти, злодей! — она кусалась, царапалась, плевала Прову в лицо. — Врешь, не сладишь! Ой, доченька...

Схватив жену в охапку, Пров повалил ее на землю и поволок к речке.

— Матренушка, родимая, очнись... — И его старое сердце разрывалось надвое меж женой и Анной.

Две пылавшие друг против друга избы пресекли бег Андрея. Почувствовав нестерпимый жар, Андрей закрыл голову зипуном и стремглав пронесся мимо. Справа, из-за дымящегося крыльца, ползла на четвереньках страшная, седая Мошна. Она уж тридцать раз оползла часовню и, задыхаясь в дыму, упорно шамкала:

— Сгорю, а не отступлюсь... Фу-фу... подуйте, ветры встречные, супротивные... Ох, господи... Тридцать перьвой, тридцать перьвой, тридцать друго-о-ой... А-а?.. Жарко, чертовка?.. Жарко? Вот он каков, ад-от... Во-от!..

— Эй, бабка, — уловив ее взглядом, позвал Андрей. — Не видала ли...

— Ну, где ж она? — прогудел возле него голос Прова. — Погибель... Шабаш...

И оба враз увидали Анну. Вся дрожа, Анна стояла, прислонившись к голенастой, в золотой шапке, сосне.

Как сноп пшеницы, поднял ее Пров.

— На речку! Единым духом! Дай-ка сюда зипун... Накрой!.. — сквозь дым потащил он Анну.

— Тятенька... Андреюшка... Не опасайтесь... Где мамынька?

Андрей еле поспевал вслед Прову. Он дико озирался на бушевавший кругом огонь. Ему трудно было дышать.

— Ну, в час добрый... Андрей, доченька, лупите к островам. Я за Матрёной...— крикнул Пров, когда они выбежали на берег.

Здесь все вздохнули свободно.

Закрываясь зипуном, Пров торопливо направился проулком.

— На речку, братцы, на речку!.. Бросай все! Сгоришь!! — раскатывался по пожару его голос.

В бурьяне, возле изгороди, копошились двое.

— Вы чего тут, ребята? Айда на острова! Живо! — крикнул он, узнав бродяг, и побежал дальше.

Антон повернул вслед ему голову и вновь нагнулся.

— Иванушка, голубчик... Спасай душеньку... Вздымай, благословясь.

За руки, за ноги бродяги приподняли женщину и грузно понесли.

Даша, по пояс нагая, вся розовая в лучах зарева, висла головой к земле, мела землю черной с блеском гривой волос и пьяно бормотала:

— Не бей... Не бей меня, Феденька... погубитель...

— Тащи! Чево встал! — крикнул Ванька Свистопляс.

— Дай дух перевести... Ой, смерть...

Андрей и Анна быстро шли вдоль берега. Ноги их увязали в мокром песке, шуршали галькой. Анна тихо улыбалась, прислушиваясь, как сзади нее звучат шаги Андрея. Она задерживает шаг, берет Андрея за руку и нежно заглядывает в его глаза.

— Андрей, — тихо-тихо шепчет Анна. — Андреюшка...

Она вся в прошлом, *вся в будущем*, светлом и бурлящем, как пылающая кругом сизо-огненная тайга. И не жаль ей Кедровки, не жаль утлых, обгорелых лачуг, *ничего не жаль, и ничто не страшит ее*, потому что Андрей с нею и все идет, как надо.

— Опирайся... Держись! — И они плечо в плечо пошли неглубоким бродом к острову через шумный речной поток. Вода стремительно неслась, вся в белой пене, словно кипела холодным кипятком.

— Ничего, тут мелко! Ну-ка!.. — заглушая говор струй, подбадривала она, почувствовав робость Андрея.

Остров большой и плоский, весь в окатных камнях, медленно приближался к ним.

— А мы уж тута-ка!.. На коне перебрели, — крикнул им Пров. — Ну, слава те Христу.

Они все тесно встали на бугор. У их ног, согнув спину, всхлипывала Матрена. Ветер разогнал здесь дым, но осиянная тьма вся дрожала от говора пламени, и воздух был насыщен жаром. По ту сторону острова речка глубже, спокойней. Над позлащенной водой, то здесь, то там, черными кочками торчали человечьи головы.

— Отсиживаются... — твердо сказал Пров, махнув рукой.

Андрей скользнул по воде оторопелым взглядом и вздохнул.

— Которые на пашню убрались... а которые... дак... привечный спокой... чезнули, поди... — пуще завсхлипывала Матрена.

— Пьянство... пакость всякая... — сказал Пров, голос его был жесток, суров.

Анна стояла молча, серьезная. Она правой рукой держала концы разорвавшейся на груди рубахи, а левой поглаживала мать. Андрей не видел в Анне безумия, взор ее был вдумчив, спокоен.

— Сила, — задрав на огонь голову, густым, хриплым басом бухал Пров. — Силища кака пластат... Фу!

Андрей взглянул на него и удивился. Никогда он не чувствовал таким Прова. Он даже отступил от него в сторону, чтоб пристальней разглядеть его. Здесь был другой Пров, — не тот, что направил при таежной дороге в его грудь ружье, не тот, что пал к его ногам, там, у часовни, и молил его, и ронял слезы. Огромным посивевшим медведем стоял Пров, грузно придавив землю, — скала какая-то, не человек.

Крутые плечи Прова, широкая спина, плавно и глубоко вздымавшаяся грудь накопили столько

неуемной мощи, что, казалось, трещал кафтан. Большие угрюмые глаза упрямо грозили огню.

Андрей вдруг показался себе маленьким, ничтожным, незначащим, будто песчинка на затерявшейся заклятой тропе. Какой ветер метнул его сюда? Неужели всему конец? Конец его думам, его гордым когда-то мечтам?

И опять вспомнилась, стала мерещиться ему Русь, — Русь могутная, необъятная, мрачная и дикая, как сама тайга. Русь шевелилась, шептала, ворочала каменные жернова в его отяжелевшем мозгу. И чудилось Андрею, что уж сизый дым ползет по ней и клубится. Потоки подземного огня клокочут и предостерегающе стучат в просоленные слезами недра. С запада к глубокому востоку, от юга к северу гудит и хлещет по простору шквал. Все в страхе, напряженно ждет, все приникло, приготовилось: вот грядет хозяин жатвы. *Русь! Веруй! Огнем очищаешься и обелишься. В слезах потонешь, но будешь вознесена.*

— Сила!!

Андрей очнулся от голоса Прова. Пожар не утихал, и схлынули с Андрея все чары, все то, что провидел его новый взор. Андрей робко поднял глаза на Прова. Широкий большой мужик каменным истуканом недвижимо стоял, скрестив на груди руки. Его волосы и бороду чесал ветер, глаза по-прежнему властно грозили пожару: вот-вот нагнется Пров, всадит в землю чугунные свои пальцы и, взодрав толстый пласт, как шкуру с матерого зверя, перевернет вверх корнями всю тайгу.

У Андрея неожиданно дрогнуло сердце, все замелькало в глазах, и как-то сами собой покатились слезы.

«Пров, ты можешь... Спасай...» — умиленно шептала душа, но уста не повиновались.

— Гибнет... Боже мой, все гибнет...

— Андрей! Анна! — глухо бухнул Пров. — Ничего... Пущай чистит.

Он часто задышал, высоко вскинул огромные кулаки и так сильно ими потряс, что подрубленные

в скобку волосы стали враз подпрыгивать и шлепать по ушам.

— Гори... Гори, постылая!..— с тупой злобой крикнул он, и словно лопнула от натуги мощь — Пров зашатался. Он запрокинул руки, схватился за затылок, грузно сел, привалившись спиной к пню.

— Народишко... достаток... Несусветимо... Прахом все...— Он мотнул головой и уставился в землю.

— Тятенька, родимый,— опустилась перед ним Анна, заглядывая ему в лицо.— Не тужи, новое будет, хорошее. Тятенька, Андреюшка... мамынька...

— Живите, ворочайте,— шептал Пров, не подымая головы.— Авось как не то... Э-эх-ма-а-а...

•

А пожарище неудержимо гулял по тайге разливным морем. Вихри огня с гуденьем и рокотом взлетали к раскаленному докрасна небу, игриво и весело рассекая черные клубящиеся облака смоляного дыма. До широкой поляны докатился огонь. По ту сторону поляны вдруг шевельнулась, заплясала в лучах света стена тайги; как живые, задвигались, задрожали деревья. Пламя желтым бушующим сводом жадно загибалось над поляной.

Целым стадом, задрав пушистые хвосты, скакали через поляну белки; тявкая и щурясь на свет, осторожными прыжками, принюхиваясь, удирали лисицы. У самого пожарища, поджав уши, всплыла вдруг на дыбы медведица, запустила острые когти в кору сосны и жалобно кликала затерявшихся где-то медвежат.

«Го-го-го-го...» — пронзительно и дико, то здесь, то там, раздавалось лешево гоготанье, и резкий удар бича вместе с хозяйским деловитым посвистом хлестал и сек гудевший, осатанелый воздух.

«Го-го-го-го-го...»

Звери прислушивались, топорщили спины и покорно ускоряли бег.

А стая волков налаживала за рекой свою жуткую волчью песнь.

И за поляной занялась тайга: затрещали хвои, закурчавились. Золотыми дорожками бежал огонь понизу, как павшие из огненного моря ручейки. Невзначай застигнутые птицы взлетали над пожарищем и, охваченные горячим вихрем, камнем падали в пламя. Из прогоревших нор, куда вместе с дымом стали просачиваться огоньки, выползали последние гады-змеи.

Они шипели, выставляя жало, свивались клубящимися комками и, судорожно цепляясь за деревья, стремились подняться от восставшей на них земли. Но свет слепил им глаза, а огонь кропил губительными искрами.

Змеи пухли, раздувались и, падая, лопались, оставляя внутренности на золотых сучках.

Огонь шел торопливой, рокочущей лавиной, бешено неся всему смерть. Деревья, будто собираясь бежать, пытались сорваться с места, раскачиваясь и тревожа корни. Но тщетно гудели они вершинами, тщетно роняли смолистые слезы.

Еще мгновенье — и враз вспыхивает, подобно оглушительному взрыву, целая стена ужаснувшихся дерев, с треском одеваются хвои в золото, и все тонет в огне. Дальше и дальше, настойчиво и властно плывет пылающая лава, и нет сил остановить ее.

ПОМОЛИЛИСЬ

I

Сумерки сгущались; тускнел закат, кой-где мерцали звезды. Две семьи тунгусов пробирались тайгой к торговому селу Хватову, затерявшемуся в бескрайном лесу, на берегу большой северной реки. Не время теперь бродить тунгусам: вон какой морозище стоит, дышать нечем. Но и старик Гирманча и молодой Чумго обет положили — снести в церковь «приклад»: по две сохатиных и по одной оленьей коже.

Послезавтра должен народиться большой русский бог, то ли Никола-угодник, то ли Иннокентий-батюшка. Им это сказали купцы Харлашка да Петрунька, привозившие в тайгу летом вино и товары. Плуты купцы, не дай бог какие оба плуты. Начисто их обобрали, всю пушнину себе взяли, оленей сколько-то. А что дали взамен?.. Мошенники.

Но когда они стали звать тунгусов к себе в гости и говорить о том, что у них зимой в церкви бог родится, что поп Ванька приедет, что огни зажгут в церкви и будет там ночью светло, как днем, при солнышке, что поп будет петь молитвы, а народ подпевать разными голосами, — они поверили и обещали прийти. Да как же не поверить? Говорят купцы, а на глазах слезы. Просили белки тащить больше: цены хорошие установятся. Вот как просили, борони бог, как просили, много, много рассказывали, как прекрасно будет в церкви. Во все колокола станут звонить.

Ведь вот мошенники, плуты, а говорят — слезы на глазах. Все-таки народ добрый, значит.

Как не добрый, известное дело — добрый. Ну-ка, кто бы потащил им в тайгу вино, это за пятьсот-то верст?

А теперь у них маленько муки, слава богу, есть, и кой-какое сукнишко, и порох, и дробь. А не будь всего этого — что бы тогда?

Правда, что денег купцы им не дали, пушнины у них не стало и на целый десяток оленей уменьшилось. Зато неделю пили, напившись — дрались и таскали друг друга за косы. А олени или пушнина — что ж? Бог даст опять. У него, у батюшки, этого добра сколько хочешь. Только попросить его хорошенько, «приклад» пообещать да шайтана, «звериного хозяина», умилостивить: салом губы смазать да у огня поводить его — и все это будет...

— Ха!.. Не первый раз.

Оно так и вышло. Пушнины осенью добыли много. И не «подпаль» какая-нибудь, а первый сорт, как на подбор белочки, одна другой лучше.

Зимой, когда столбы заходили по небу, а снег лежал в тайге толстым слоем, долго советовались в чумах, идти ли.

— Однако пойдем, — наконец сказал Гирманча.

— Как не пойдем... Пойдем, — подтвердил Чумго.

Купцы оставили им «рубешку» — такую палочку, на струганой грани которой зарубками и крестиками были обозначены дни.

— Сколько нюльгов, али, по-русски, переходов, считаешь до села? — спросили купцы.

— Дюр-дяр. Двасать.

— Срезай каждый день по зарубке. До этой дойдешь — в путь собирайся. В аккурат к празднику попадешь. Понял?

— Как не поняла... Помаленьку поняла... Помаленьку... — оба, старик и молодой, ответили тонкими голосами.

И вот теперь они с большим караваном оленей кончают девятнадцатую нюльгу.

Когда запылал «гуливун» — огромный, из наваленных сухих лиственниц, костер, — мужики уселись прямо на снегу возле огня и, покуривая трубки, стали толковать о том, что делать дальше.

Бабы расседлывали оленей, тараторили о чем-то без умолку, смеясь и шутливо перебраниваясь друг с другом.

Мужики решили: завтра пораньше надо налегке идти в село; Анна останется с оленями здесь, всех оленей дальше гнать нельзя — нет корму.

Анне было всего двенадцать лет, и когда она узнала, что ее не возьмут с собой, стала кричать и плакать. Она не боялась остаться в тайге, — что ей тайга? Хотелось ей погулять в селе, побывать в церкви, хотелось поглядеть, как поп машет кадилом и как горят перед образами свечи. И когда мать начинает ее уговаривать, она еще шибче кричит, капризно плачет и издали плюет во тьму, по направлению к матери. Та ближе подходит к ней и скороговоркой что-то угожающе бормочет, а девочка, взвизгнув и отбегая прочь, снова плюет, срывает по пути хвою и с сердцем кидает в мать.

Мать останавливается, шипит в ответ и, растягивая слова, бросает:

— Га-а-а-дина...

Девочка видит глаза матери и чувствует, что нет в них злобы, что мать только притворяется злой, а сердцем жалеет ее, Анну, маленькую любимую свою дочь. И, чуя это, Анна еще сильней воет и визжит, и подступает к матери, и старается визжать как можно жалобней, чтоб тронуть мать. Но та непреклонна.

Опять среди тунгусской речи слышится русское:

— Га-а-а-дина...

Анна еще раз, теперь сердито, плюет и во всю силу звонко кричит серебряным голосом, но тут от костра раздается грозное:

— Цыц!

И сразу все смолкло. Тихим эхом робко плавают

в воздухе ребячьи всхлипывания, но и они скоро стихают.

Ночь пришла. Небо чернело над чумом.

Золотые звезды дрожали в вышине.

Костер потухал. Собаки лезли к самым углям, свертывались клубком и засыпали. Кругом бродили олени, отыскивая мох, или, утонув в пушистом снегу, лежали смирно и пережевывали жвачку.

Анна долго не могла заснуть, а потом, среди ночи, вдруг ее будят... Проснулась... шепчет кто-то:

— Анна... Слышишь, Анна... Я — бог... Я — русский бог...

Анна дрожит, а слушать хочется.

Страшно, а так и слушала бы.

— Говори, — шепчет Анна.

— Ты не бойся... Ты не бойся, Анна... Гляди, сколько цветов. Я пригоню к тебе всех бабочек, какие только есть на свете. К тебе слетятся всякие птицы, красные и желтые, и будут петь. Я люблю тебя, Анна, моя девочка...

Видит: свет льется откуда-то сверху, и весь чум в цветах. Тянет тоненькую руку, срывает один, другой, третий...

— А ты меня любишь, Анна?

— Я боюсь тебя, дядюшка...

А свет все ближе, ближе, а на сердце такая робость слетела вдруг, что девочке захотелось плакать. И опять кто-то тормошит ее:

— Анна, эй, Анна!..

Просыпается. Отец сидит над ней, что-то приказывает. В чуме холод, мрак, лишь угольки блестят золотом. Она смотрит на отца и, сердито отвернувшись, плотней укутывается в парку. Когда проснулась, солнце высоко стояло, а чум был пуст.

Вздохнула Анна и стала разводить огонь.

II

В село пришли еще засветло на десяти оленях. Далеко ли тут? Одна нюльга, да и та корыстна ли? Верст пятнадцать, больше не будет.

Их было шестеро: два мужика, две бабы да двое детей — парень с девкой. Опять под самым селом чум раскинули. В нем остались бабы с ребятами, а мужики пошли к своему «дружку», купцу Харлашке, который их звал.

Шли они прямиком, перелезали огороды и заходили в чужие дворы, держась прямо на белую узорчатую трубу, — так лучше: под трубой, на горе, Харлашкин дом, а по улице идти — долго ль заблудиться, тут не тайга, борони бог...

В одном дворе они наткнулись на мужика: лошадей поил.

— А-а-а... — изумленно протянул он и заулыбался всем лохматым лицом. — Здорово, дружки. Откуда бог принес?

— Здорово, друг. Там... Тайгам бегал.

— К праздничку пришли?

— Праздник... Микола-батюшке...

— Какой Микола... Микола прошел. Христово рождество завтра.

— То ли Микола, то ли рождество. Почем знать. Мы тайгам гулял... Да-а-ле-еко...

В избу потащил:

— Мы к Харлашке.

— Нет его, в волость убежал.

— Ей-бог?

— Ей-бог.

Дверь захлопнулась, затем, через минуту, мужик без шапки, в одной рубахе вылетел на мороз, побежал в пригон, и оттуда раздался его призывный крик:

— Матре-о-на! Э-е-й!.. Беги скоряй: орда-а-а пришла. Беги-беги!..

Через полчаса все село знало, что пришли тунгусы, и сам Харлашка, торопливо застегивая на ходу лисий бешмет, спешил в дом лохматого мужика. Там раздались вдруг крики, ругань, потом вышли без шапок, пошатываясь, тунгусы, за ними купец. Он ругал крестьянина и тунгусов, что не к нему первому пришли с пушниной.

А те, с испуганным видом, враз заговорили:

— Мой не надо виноват. Русак ругай... пошто врал, пошто путал. Как нету? Харлашка, вот он. Есть.

А купец, на ходу выхватив у растерявшихся тунгусов связку баранок, замахивался ими на стоявшего в дверях мужика и, шлепая губами, зычно ревел:

— Нет, тебе кренделями-то этими по башке. Мои дружки!.. Стерррва! А не твои. Поэтому не смей... — и быстро удалялся, увлекая попавшихся ему тунгусов.

Мужик всех лаял вдогонку тенористым криком, и долго еще в воздухе звенел его голос:

— Нет, врешь... Я тебе покажу!..

«Покажу, покажу, покажу!» — носилось по деревне, пока лохматая голова не исчезла в избе: мужик пошел считать барыши.

III

Тунгусы раза три бегали в чум за пушниной, били там баб и тащили все к купцам — и лисиц, и белок, и сохатину. Они были выпивши, но много пить воздерживались, поджидая праздника, чтоб поблагодарить бога за промысел, а потом начать гулянку.

Уже перевалило за полночь, когда их, измученных, утащил к себе от Харлашки чуть ли не силой другой торговый человек, «Большой голова». Он злой был: сам купец, а ругался с купцами пуще всех. Злой, а все-таки тунгусов защищал: обзывал торговых мошенниками и еще так ругал, что никогда и не выговоришь. Ох, какой злой!..

Привел и дома заорал на свою бабу, на чужую бабу, на приказчика, на всех заорал:

— Живо!.. Чтобы живо... Лови-бери-подхватывай!.. Вина, чаю, щей...

Купец, дай бог, ласковый сделался. Усадил, по голове гладит, чуть не целует тунгусов. А тех торговых, и Харлашку с Петрунькой, и лохматого мужика заглазно ругает разными словами.

Тунгусы сидят, улыбаются, бабы самовар притащили, мяса притащили, вина притащили. Вот это хо-

рошо. Тепло в избе, и хозяин стал добрый, смеется, по голове гладит, целоваться лезет. Вот это ладно.

Тунгусы распоясались — жарко, чай пьют, улыбаются, потом говорят:

— Когда праздник-батюшка? Когда колокол станут бухать?..

— Да скоро: вот часок-другой — и ударят.

Расспрашивает их купец про белок — хорош ли промысел был, про оленей, про семью — все ли здоровы? Голос у купца ласковый, глаза ласковые, но в глубине их блестит что-то злое, никак не может скрыть того, что таится в сердце.

Тунгусы слушают, отвечают, жалуются на тяжелую жизнь.

И опять:

— Когда праздник-батюшка? Чего колокол молчит? Умер, что ли?..

Близко рассвет; купцу медлить нельзя. И он приступает к делу.

— Белки-то много у вас осталось?

— Как осталось. Все торговым тащил. Все кончал... Нету...

Лицо у купца налилось вдруг кровью, и выкатилась ласковость из речей и из глаз.

— Сколько денег? Сколько грабители чистых денег вам отсчитали за пушнину?

— А вот смотри. Почем знать. Много.

Видит купец — семьдесят рублей.

— Только-то?

Смекнул.

— Вот два креста у меня есть, золотые: ну-ка покупайте.

— Пошто крест. Нам не надо крест. Есть крест; видишь поди.

На груди у тунгусов были огромные, на толстых цепях, серебряные кресты.

— Тоись как не надо? — спросил угрожающе купец. — Тоись как так?.. А?.. — и поднялся.

— У нас, друг, есть крест...

— Тоись как есть? Это-то?.. Да вас кто крестил?

— Мишка, приказчик Валькин... Маленько.

— Поп чей?

— Нет поп... Мишка, приказчик...

— Дураки! Еще какие дураки-то!..

Торговый секунду подумал и заорал:

— Степан! Живо прорубь долби в реке: орду крестить по-своему, по-настоящему будем...

Одно зло в глазах купца осталось; багровый стоит, кулаки сжал.

Приказчик смотрит, недоумевает, но, поймав в лице хозяина нужное, бежит проворно на улицу.

Тунгусы присмирели, губы затряслись; бледные сидят и не знают, как быть.

А тот орет:

— Берешь или не берешь?! Берешь или не берешь?!

И тонкими, чужими голосами отвечают — сначала старик, за ним молодой:

— Ну, ладно... можно брать. Давай, друг, давай...

И сквозь слезы:

— Крестить не делай. Река тунгус боится. Вера такой... Борони бог, как. Пожалуйста, не делай...

Купец молчит, деньги прячет в карман, кресты медные надел им.

— А еще деньги есть?

— Помаленьку, бойе, помаленьку есть...

— Сколько?!

— Как знать. Помаленьку есть... Один бог знат...

Старик робко приподнялся и, незаметно тронув молодого, тихо, почти шепотом, сказал купцу:

— Я только на час, бойе... На ворота. Недолго приду, бойе. Приду... Верно...

А за ним молодой:

— Только на час, бойе. Шибко брюхо схватил с вина... Помаленьку...

И, выйдя на улицу, оба припустились к тайге, по-прежнему перелезая огороды и заходя в чужие дворы.

IV

Стали вьючить оленей, рассыпая в потакуи покупки, что навязали им купцы: ящик изъеденных мышами пряников. Зачем им пряники? Старые окаменелые баранки, зачем они? Муку, бисер, ленты, ситец, *всякий хлам,* ненужный, бросовый, *без чего всегда* обходился тунгус. А вот чаю мало дали, сахару мало дали, пороху мало дали. Это плохо... Свинцу совсем не дали. Это больно худо... Чем белку бить, чем сохатого бить?

Бабы вьючат, брюзжат, бранят мужиков, оленей пинают со злости, а мужики возле огнища сидят, трубки курят и боятся глядеть друг другу в глаза. Сидят и вздыхают крадучись.

— Отыркан, тащи вина! — вдруг крикнул старик жене.

— Сам тащи. Много дали тебе вина. Где твои белки, где твои лисицы? Ах, старик, старик... Дурак ты, худой дурак!..

Старик принимает упрек молча, потом говорит:

— Плуты! Мошенники!.. Все тащил, ничего не давал, — и никнет головой.

Затем, повернувшись к селу, кричит резким, со слезами, голосом:

— Я не к тебе пришел, я праздник пришел, я Микола-батюшке пришел! А ты, плут, обижал... Ну, ладно...

В это время ударил колокол.

Воздух вздрогнул, и тягучие металлические звуки поплыли от села к тайге, летели дальше, в глубь леса, туда, где живут белки, горностаи, лисицы, где спят чутким сном медведи, где Анна, маленькая девочка, ждет своих с подарками и радостными вестями. Спит поди? Да, спит: время глухое.

Все вмиг затихли, мужики и бабы положили в мешочки трубки, стояли молча, не шевелясь, и, разинув рты, слушали благовест.

Тихо снег падал, и брезжил рассвет.

— Пойдем помолиться-то, — робко сказала старая Отыркан.

— Нет, — ответил старик спокойным голосом.

— Ведь поди праздник...

— Нет, все равно нет. Мошенники!.. Убьют...

V

Немного помедля тронулись в обратный путь.

Звенели медные боталы у оленей, галопом скакали оленята, отыскивая своих матерей, и по тайге носилось тунгусское понукание:

— Мо-о-до!.. Мод-мод-мод!..

Старик ехал молча. Он хотел отвести с Чумго душу, поговорить с ним, высказать свое горе. Рассчитывал сказать ему: «Бойе, вот обобрали нас, это плохо, бойе... Ой, как плохо!..»

Но когда увидал, подъехав вплотную, широкую, согнутую спину товарища и понуро опущенную голову, сказал совсем не то, что думал:

— Ты бы, Чумго, пожалел оленя, ишь хромает, — слезь.

Хотел пересилить себя и сказать нужное, но не было у него теперь слов; уста сомкнула обида, ныла грудь, и в голове ходил зеленый угар.

А Чумго, не слыша его, ехал дальше, вздрагивая плечами и закрыв лицо лохматой рукавицей.

Но вдруг вместе с гулким благовестом кто-то стукнулся старику в сердце, взыграла душа, и ему неотразимо захотелось вернуться в село, пойти в церковь, упасть перед Николой-батюшкой на колени и рассказать громким голосом все, как было, нажаловаться ему при народе — пусть слушают — на всех плутов и мошенников. На Петруньку с Харлашкой, и на «Большого голову», и на всех, кто всю жизнь делал ему зло.

«По какому праву?.. Эй, по какому праву?!»

И сердцу сделалось сразу так больно, что старик чуть не крикнул на весь божий свет.

Но в это время начался радостный трезвон во все колокола. Тайга шумела вершинами, и звуки перезвона то были близко, рядом, ласково просились

в душу, то замирали в шепоте леса и казались далекими и чужими.

Опять все, будто по уговору, остановились, опять стали прислушиваться к переливчатым, весело порхавшим по тайге звукам и стали креститься трясущимися руками.

Постояли, вздохнули молча и молча двинулись в путь.

Старик ехал сзади; он опустил низко голову и думал. Поп-батька как-то толковал ему, что есть великий русский бог, светлый и милостивый. Но зачем он так далеко живет? На солнце, что ли? Зачем он дает обижать тунгусов? Разве не видно ему сверху? Али жертвой не доволен остался? Можно еще больше дать «приклад». Возьми, только в обиду не давай.

— Пожалуйста, возьми, русский бог, пожалуйста, возьми!.. Двадцать дней шел, бабу тащил, ребят тащил, товарища тащил, оленя мучил. Пожалуйста, давай защиту. Пускай подохнут все купцы, и чтобы все начальство околело!

Обида вдруг всплыла наверх, и старик заплакал, лицо сморщилось, скривился рот, закапали слезы.

Взглянул на небо... Но там звезд не было.

Посвящаю Сенкиче, Гирманче — проводникам моим и многим, многим тунгусам, встречавшимся на пути моих скитаний. Светлую память о них я всегда ношу в своем сердце.

ХОЛОДНЫЙ КРАЙ

(Из дневника скитаний 1911 года)

I. ЛЕБЕДИ

Раннее утро. До восхода солнца еще добрый час. В дощатой каюте шитика[1] — сажень в длину, сажень в ширину — нас четверо, спим, как в берлоге, тесно.

Закуриваю трубку. Темно, но сквозь щели в потолке и стенах прокрадывается рассвет. Холодно. Неохота подыматься из согретого телом гнезда. Тихо. Лишь похрапывают товарищи, да на палубе кто-то из рабочих ворочается и стонет.

Лежу с открытыми глазами, думаю. Думы мои мрачны. Слышу:

— Степан, вставать пора.

— Рано.

— Я заколел. Надо костер разжечь.

— Спи.

Молчание.

Мы одни среди этого безлюдья и надвигающегося приполярного холода.

От последнего жилого места мы отплыли почти на тысячу верст. Нервы наши напряжены, душа истомлена. А плыть вперед, до Енисея, где есть люди и откуда мы можем выбраться на божий свет, по край-

[1] Шитик — крытая большая лодка.

ней мере месяц. Но мы б добрались. Мы привыкли к опасностям, закалены в борьбе. И вдруг этот ранний, в первых числах сентября, мороз и снег... Если обмерзнем здесь, никто не узнает о том — кругом ни души, — никто не придет к нам на помощь. Ну что ж! Судьба...

Опять говорят вверху, на крыше лодки:

— Степан.

— Ну?

— А ведь подохнем мы. Не доплыть.

— Доплы-ы-ве-оом...

— Где доплыть... Замерзнем посередке. До Туруханска полторы тыщи верст осталось, сказывают. А сухарей мало. Пропадем с голоду...

Тяжелый позевок и вздох:

— Доплы-ы-ве-ом...

И уже нет в голосе уверенности: дрогнуло что-то, сорвалось.

Молчу. В душе растет тревога, вопрос за вопросом мелькает в голове, один черней другого. Бессильно вздыхаю, жду ответа. Ответа нет.

Прислушиваюсь: чей-то говор, нежный и радостный, едва звучит надо мною. Все четче, четче: теперь ясно слышу — это в выси проносятся на юг, нам навстречу, гуси.

Выхожу на воздух, бодро вздрагиваю, умываюсь ледяной водой.

Тайга спит. Река дремотно катит свои воды, шурша стеклом новорожденных льдин. Наш шитик стоит возле огромных песков. Все пески покрыты ранним снегом. Нетоптаная пороша голубеет в утренней полумгле.

Стеклянная застывшая тишина, неподвижность. Иду вдоль косы. На пороше замечаю следы. Всматриваюсь: сохатый шел, лось, с сохатенком, а рядком — оленьи следы. Значит, близко стойбище тунгусов. Это хорошо, это очень хорошо. Живые люди! Я бесконечно рад.

Иду дальше. Восток все светлеет. Вижу четкие отпечатки лебединых следов: птицы шли табуном

от реки к зеленеющему берегу, где спелый горошек.

Останавливаюсь. А, вот и они. Вскидываю вверх голову, ищу в выси белый, розовеющий под зарею бисер: раз, два, три, четыре — много. И смотрю им вслед тоскующими глазами, смотрю на юг, в ту сторону, где ждут меня друзья, такие далекие по расстоянию, но родные сердцу. Придется ли свидеться?

И я кричу, сняв шляпу:

— Эй, лебеди! Несите мой низкий поклон! Я не погиб еще. Я приду.

Но кто-то зло смеется во мне:

«Придешь? Ха-ха». И сердце вдруг обливается черной кровью.

Скрылись.

— Лебеди! Вольная стая. Счастливый вам путь!

Слышу — чьи-то шаги. Оглядываюсь — тунгус. Стоит возле меня, глядит жалеющими глазами, удивленно говорит:

— Как попал? Пошто? Откуда?

Стараюсь приветливо улыбнуться, спрашиваю:

— Ну, как, бойе, до Туруханска доберемся мы, не замерзнем?

— Какой Турухан. Сдурел ты. Поздна... Борони бог! Зима... худой твое дело. Сдохнешь!

Сердце вдруг покрывается льдом, обмирает. Вот встало солнце, а я его не вижу: темно кругом и тоскливо.

Я через силу улыбаюсь, еле сдерживая боль, хлопаю тунгуса по плечу и дрожащим голосом говорю:

— Пойдем, бойе, чай пить.

— Пойдем. Чай так чай... Можна...

Он весь в мехах: чикульманы, пáрка, рукавицы. По лбу красная повязка, из-под нее торчат, словно у индейца, черные космы жестких волос. За плечами тугой лук, в руках острая рогатина — пальмá, за поясом болтается десяток убитых белок.

Добродушными, доверчивыми глазами он смотрит на меня и говорит:

— Оставайся, бойе. Зверя промышлять будем, тайга гулять будем. Э!

Я молчу. Мне не до гулянья.

На шитике проснулись. От костра струится голубой дымок и розовеет снег на вершинах гор.

II. БЕЛКА

Вот третью неделю живем в глухой тайге, в избушке зверолова, поджидаем тунгусов: они поведут нас на юг, к Ангаре. Путь будет труден, мы это знаем: по тайге, без дорог, без теплого угла, через снега, буран, морозы. Мы также знаем, что еще долго будут нас ждать в родном краю, и когда пройдут все сроки, нас станут оплакивать горько. Но что же делать? Надо мириться, иного выхода нет.

После встречи с тунгусом, когда наш скудный флот — два шитика и три лодки обледенели, мы решили, пробивая шестами тонкий лед, плыть дальше, наугад, в надежде повстречать жилье. Мы плыли день и ночь. На быстрых местах шитики неслись сломя голову, то и дело ударяясь о невидимые в ночной тьме камни. Мы прекрасно знаем, что от иного внезапного удара шитик может перевернуться. Если спасемся сами, погибнет остаток сухарей. Так и так — смерть. Однако раздумывать некогда, плывем. И вот подул ураганный встречный ветер. Наши лодки почти остановились. Мы бросили весла, шли на шестах. Но шесты один за другим ломались, за целый день мы едва проходили версту. А нам нужно лететь стрелой, чтоб не погибнуть. Ветер дул целую неделю. Мы коченели от холода, лица опухли, руки разбиты в кровь. Мы теряем последнее мужество. И одно на душе: «скорей бы конец».

Вдруг, совершенно неожиданно, как молния в ясный день — избушка зверолова. В ней люди. Итак, мы третью неделю живем в этой родной, дороже каменных палат избушке.

— В лесу сегодня тепло, — сказал товарищ.

Выглядываю в окно. Белеет земля, белеет крыша балагана, и на фоне сизого неба желтыми призраками вытянулись вверх задумчивые в своей дреме лиственницы. Редко, редко падают неторопливые снежинки.

Беру палку и спешу в глубь тайги, подальше от жилья, туда, где слышен рокот грозного порога.

Как тихо, как хорошо в тайге. Солнца нет, снеговыми облаками укрыто небо, и сквозь колючие узоры леса виднеется долина Нижней Тунгуски. А за рекой угрюмо дремлет хребет Унекан, траурно-черный с белыми пятнами снега.

Тише, человек, тише. Взгляни, какую землю попирает твоя нога. Только взгляни, человек...

Слышу тайным слухом: шепчут мне хвои, весь воздух: «Не бойся смерти, человек. Смерть — сон. Уснешь, чтобы проснуться, как и эта тайга весной. Не будешь верить — умрешь, человек, и не проснешься. Верь».

Вот вижу: сквозь белую пушистую скатерть, только что вытканную мудрейшим ткачом из узорчатых блесток снега, проглядывает куст голубики. Ее спелые ягоды, голубые с беловатым пушком, так удивительно красиво проступают из белизны пороши. Срываю и пробую. Поддеваю в пригоршни снег и нюхаю долго, долго. Какой удивительный аромат: пахнет облаками, небом, вечностью.

Иду по мшистой шубе тайги. Оглядываюсь назад. По моим следам расцветают в снегу розы: то безглазая пята топчет подснежную бруснику, из брусники алая брызжет кровь.

Блеснуло на минуту солнце, позолотило стволы дерев, зарумянило свежий ковер на полянках, поиграло зайчиками на хвое, скрылось.

Белка.

Становлюсь под дерево и, притаившись, жадно слежу за ней. Она распушила хвост, долго всматривается в мое лицо, испытующе хоркочет и, как пружина, упруго прыгает вверх по высокой прямой сосне. Приостанавливается, вновь взглядывает на меня. Я замер, не шелохнусь, и это успокаивает ее.

Ах плутовка! Она будто не замечает моего присутствия.

Я для нее — пень, ничто. Нет, притворяется. Я прекрасно понимаю, что за мной неотрывно следят ее глаза. Шевельнись только, и — прощай игра.

Скачет вдоль большого раскидистого отростка,

садится на самый его конец, игриво поджимает передние лапки к белой груди. Бисерные глаза ее еще раз вскользь задевают меня, она грозит в мою сторону лапкой и, взметнув хвостом, несется сначала по суку, потом вниз головой по стволу к земле. Упруго скачет сразу четырьмя лапами почти до самых корней — не к моим ли ногам сейчас прыгнет, шельма, не сядет ли она на мое плечо, чтоб шепнуть колдовское зверючье слово? Нет. Вдруг круто повернулась в воздухе, и голова ее вновь вверху, а хвост стелется по стволу сосны, скок-скок-скок.

Опять бросает лукавый взгляд и, приняв беспечную дразнящую позу — лови! — она без боязни спускается вниз, на широкий столетний пень. Вот привстала на дыбочках, вновь с любопытством разглядывает меня, пришельца, презрительно грозит лапкой, ждет.

— Ужо-ко я ее. Ужо-ко! Где у меня ружье?! — улыбаясь, шепчу я, плененный игрой, как ребенок.

Не слышит и словно не видит, но знает, что нет ружья.

Хоркает, искоса смотрит на меня, трет лапками плутовскую мордочку, смеется.

— Ага, ты так?! — не утерпел, схватил палку, замахнулся.

Она стремглав на самую вершину и, раскинув кивером хвост, швыряет в меня шишкой.

Я ухаю, стучу по стволу палкой, как ~~баран~~ ~~пры~~гаю возле корневища:

— Ух ты! Ух! Вот я тебя.

Она с вершины на вершину скачет где-то там, под облаками, и, смеясь, задорно кричит:

— Что, взял? Ха-ха... Лови!

III. «ВЕРА ТАКОЙ»

От устья Илимпеи мы идем через непроходимую тайгу, снегами. Снег тихий, обильный, пушистый, настойчиво падал, падал без конца. Недавно был покров, а в иных местах сугробы в два аршина. Верховые наши олени выбиваются из сил. Впереди всех

идет вожак, тунгус Сенкича. Он по грудь вязнет в снегу, в его руках пальма́, он с маху ссекает тонкие деревья, чтоб проложить путь каравану. Мороз, а он весь мокрый, от непокрытой головы струится пар. Сенкича — тунгус отменный, да, впрочем, и все они таковы. Завяжи ему глаза, кружи целый день тайгою, проспится, встанет утром и без ошибки пойдет куда надо. Ему не нужно солнце, он носит тайное чутье путей в самом себе.

За Сенкичей идет гуськом, нос в хвост, связка оленей — ольгоун. Верхом на переднем олене — баба Сенкичи с неугасимой в зубах трубкой и с ружьем за плечами. Чрез седло идущего за ней оленя перекинут берестяный кузовок с ее годовалым сынишкой. Он орет и час и два диким надрывистым криком. Я подъезжаю к ней, говорю:

— Уйми. Остановись, покорми его.

— Пускай гаркат, — отвечает она равнодушно, — пускай греется.

Когда я начинаю приводить резоны, стыдить ее, она в ответ бросает:

— У нас вера такой.

Эта фраза у тунгусов всегда на языке.

Задайте Сенкиче ряд вопросов: почему тунгусы сроду не моются? почему боятся мертвецов? почему мужчины носят косы? — один ответ:

— Вера такой...

За ольгоуном — еще и еще ольгоун, в каждом по восемь вьючных оленей. Когда передняя связка выбьется из сил, ее ведут назад, в хвост каравана. А мы и человек пять тунгусов — верхами.

Однажды в солнечный день я остановил оленя и залюбовался нашим караваном. Я стоял на берегу небольшой речушки. Караван, растянувшись чуть не на версту, ходко спускался в долину. Снег был голубой, мириады блесток играли огоньками. Изжелта-белые пушистые олени шли четкой ступью. Они гордо несли свои густодревые рога. Вот сгрудились на извороте — целый лес рогов.

— Модо! Модо! Ко! Ко! Ко! — погоняют тунгусы оленей.

В сумерках кончаем путь. Вот уже полыхает огромный костер. Это расторопный Сенкича зажег сразу три рухнувших сосны. Разгребают снег, ставят конусообразный чум, на землю накидывают хвою, в средине разводят небольшой костер. Говорливый, пересыпанный хохотом обед из сохатины с сухарями и крепкий сон.

Утром выхожу с географической картой издания генерального штаба. Тот путь, по которому мы идем, на карте — пустое место. Человеческая нога здесь не бывала никогда. Я шаг за шагом, поскольку позволяют обстоятельства, произвожу на всем пути съемку, ориентируясь буссолью и часами.

— Сенкича! Где мы вчера ночевали? Покажи мне направление.

Он смотрит на меня удивленно и так же удивленно, с хитринкой, задает вопрос:

— Разве не знаешь?

В десятый раз начинаю объяснять ему, что мы здесь впервые, а тайга так однообразна, что, отведи любого из нас за сто сажен, и мы заблудимся. Да и все небо в тучах, солнца нет.

Он косится на меня сверху вниз, с непередаваемым чувством превосходства и снисходительно говорит.

— Ладно.

Я его научил вешить линию. Он берет две пальмырогатины, втыкает в снег сажен на десять одну от другой, отходит в сторону, прищуривает глаз, приседает, разводит руками, что-то шепчет, соображая, вот перенес переднюю рогатину на аршин вправо, присмотрелся, перенес на вершок влево, еще.

— Вот так. Иди, смотри. Там были... Э!..

Я прикладываю по линии буссоль, отсчитываю румб, заглядываю в книжку на вчерашнюю запись и поражаюсь: градус в градус.

Он следит за выражением моего лица и торжествующе спрашивает:

— Верна?

— Молодец! Я тебе подарю ружье. Теперь укажи, в какую сторону мы пойдем и где будем ночевать.

Только чтоб верно было.

Сенкича сияет. Ружье для него — целое богатство. Он быстро переставляет рогатину, как колдун опять что-то шепчет, разводит руками, еще раз переставляет и говорит:

— Во, смотри!

Беру румб, записываю. Я вполне уверен, что завтра утром, на следующем стойбище, он точно укажет мне, за двадцать пять верст, это самое место, где сейчас стоим. Я знаю, что обратный румб будет верен, как и в предшествующие дни.

Чем это объяснить? Ведь это же — чудо! Я б всякого назвал лжецом, если б не проверил самолично эту удивительную способность тунгуса чувствовать пространство.

Я показал ему карту. Глаза Сенкичи загорелись. Долго, пристально смотрел, расспрашивал:

— Это что?

— Нижняя Тунгуска.

— Это?

— Катанга.

Он разбросил карту на снегу, припал на локти.

— А это Лемпо? — спросил он, проводя ногтем по черте.

— Да, — подтвердил я, вновь поражаясь быстроте его соображенья. Человек впервые видит карту. Возьмите любого нашего мужика, он процарапает насквозь голову, а не поймет эту китайскую грамоту.

— А это Бирьякан? — задает вопрос Сенкича.

— Да.

— А это Туру?

— Нет, вот Туру. Это Пульваненга, — возражаю я.

Тогда Сенкича швыряет прочь карту, быстро выпрямляется и с сарказмом говорит:

— Какой дурак писал расписка? Врал! Туру вот где, Пульваненга — вот!

— Эту карту писали в Питере, ученые, — раздражаюсь я.

— Дурак писал, — настаивает Сенкича.

Он берет сучок и чертит на снегу весь наш предстоящий путь вплоть до Аннавары. Чертеж его схематичен, в прямых линиях. Но почти все впоследствии подтвердилось.

— Да как ты это, Сенкича, знаешь?

— Вера такой.

IV. ТРОЕ

Ночью по деревьям стучит мороз. В верхнее отверстие чума видны золотые россыпи звезд. В чуме страшный холод. Костер потух. Я лежу в одном белье под шубой. Надо бы разжечь костер, но встать нет мочи. Темно. Вот кто-то вскочил, зябко сделал — брр, — ляскнул зубами, опять упал, пробормотав:

— Язви тебя, вот холод...

Наш русский.

Потом вылезла из оленьего теплого мешка тунгуска Анна. Мешок у них двойной, семейный, спит в нем с Сенкичей, а сынишка — в берестяном кузовочке у костра. Не замерз ли? Однако нет — заплакал. Анна высекла искру, стала разводить костер.

— Замерзла, Анна? — спрашиваю.

— Взопрела, — посмеиваясь, отвечает она.

Анна поднялась во весь рост, потянулась, сняла рубаху, вывернула ее и распялила над пламенем. Рубаха надулась от жаркого воздуха колоколом и стала плавно кружиться в раскинутых над костром руках Анны, как карусель.

— Омко, — посматривая на меня, наставительно говорит Анна.

Я знаю, что такое «омко»; омко — значит вши.

Анна молода, очень красива, от ее бронзового крепкого тела веяло какой-то внутренней чистотой. Но эти окаянные «омко». Закрываю глаза и сердито кутаюсь с головой в шубу.

— Нюльга сегодня будет большая, — заявляет за чаем Сенкича. Глаза его узенькие, заплывшие от сна и таежной стужи.

За чумом голос Анны и бряканье бубенцов. Она собирает оленей. Это не так-то легко: они разбрелись по тайге, надо ловить арканом.

В путь двинулись около полудня. Солнечный, тихий день. На полянах снег слепит глаза. Тишина полная. Иногда с сосны слетит иней: это белка прыгнула на другой сучок. Белок попадается много. Но промышлять их нет времени. Однако Анне невтерпеж. Иногда останавливает она оленя и, приложившись к малопульке, метко срезает с вершины белку.

— А ловко ты бьешь! — кто-то бросает Анне похвалу.

— Вера такой, — скромно отвечает она, попыхивая трубкой.

Мы шли густыми зарослями. Здесь снегу было меньше. Сосны стройно возносились к небу, пушистые кроны их сливались вверху в одну.

Вдруг вдали раздался выстрел.

— Э! Наш промышляет, — сказал Сенкича и выстрелил в воздух.

Караван остановился.

Это глухой Отыркон, старик, — сказал Сенкича.

— Геть, геть! — закричал старик на своих псов и подошел к нам.

— Здравствуй, Отыркон, — сняли мы шапки, с любопытством разглядывая его.

Тунгусы стояли молча. У них нет обычая здороваться. Старик смотрел на нас разинув рот. Собаки пофыркивали, дрожали.

Вид старика жалкий. Меховая парка вытерта, оборвана донельзя, ноги обмотаны в какую-то рвань. Седая голова не покрыта, кисти рук голы, красны, он отогревает их дыханием. Скуластое голое лицо с приплюснутым носом обтянуто желто-серой морщинистой кожей. Узенькие глаза слезятся, щурятся. Мал ростом, но прям и быстр.

Сенкича обнял его за плечи и закричал ему потунгусски в самое ухо. Тот отрицательно помотал головой.

Обращаясь к нам, Сенкича сказал:

— Совсем глушился. Кудой его дела. Тфу! — и дал Отыркону свою трубку.

В руках старика дрянное ружьишко. Самодельная ложа кой-как стяпана топором. Старик подпоясан веревкой. Под веревку подоткнуты убитые белки, а к концу веревки привязана собака. Она сидела у ног хозяина, крутила по снегу хвостом и, высунув язык, весело посматривала на нас.

Старик еще выкурил трубку и заговорил довольно правильно по-русски. Голос его был слаб и тонок, как у скопца.

— Вот я старый, четыре раз по двадцать. Никого у меня нет. Совсем глухой. Оленей нет, ничего нет, смерть уехала куда-то, прощай. Как жить? Вот живем, я да две собаки. Кормимся. Смерть приедет, сдохну, куда они без меня? Мало-мало пропадут совсем. Чисто беда совсем...

— Неужели у него нет никого родных? — спросил я Сенкичу.

Да. Сенкича знает старика давно, он действительно одинок, но тунгусы не оставили бы его, кормили бы, да и сам Сенкича сколько раз звал его к себе. Нейдет. Хочет жить своим трудом.

Сенкича помнит, как одно стойбище тунгусов взяло его к себе насильно, держало чуть не взаперти, ухаживало за ним — очень хороший старик, мудрый — нет, ушел.

Отыркон почуял, о чем мы говорим, и, усаживаясь прямо в снег, сказал:

— Нога шагал, глаз смотрел, работай. Пошто мешать людям? Людям и так совсем худо есть. Каждому свой камень есть. Не надо. Грех.

Он вздохнул, протер глаза снегом и, сделав руку козырьком, взглянул в лицо Сенкичи:

— Сенкича! Я буду околеть весной, в вершине Бирьякана.

— Откуда знаешь? — крикнул Сенкича.

— Будешь там кочевать, возьми ружье.

— Откуда знаешь?! — опять прокричал Сенкича и замаячил руками.

— Каменный Спас сказал.

— Кежма есть, село. Там каменная церковь, Спас, — пояснил мне Сенкича.

А старик продолжал:

— Вот лег спать. Вот слышу: Спас приехал в изголовень мне, сказал: ты старый, ты совсем дрянь, время твое поседело, ухо заросло землей. Этой весной станет тебя душить шайтан. Сдохнешь голодом. Наплевать, не бойся...

По лицу Отыркона текли слезы. Подбородок дрожал. Он поднял голову к небу и перекрестился.

Я с печалью и жалостью смотрел на него. Он нищ, убог, но какой-то внутренний свет исходил от него, и чувствовалась несокрушимая сила в его душе. Так хотелось помочь ему. Но как помочь? Несчастный, погибающий старик.

— Шибко хороший Каменный Спас, — сквозь слезы шептал он, — борони бог, какой добрый Каменный Спас, обиды нет от него... Ну, я пошел.

Он быстро поднялся и, как бы спохватившись, громко спросил Сенкичу:

— Куда, бойе, нюльгиришь?

Сенкича всячески изощрялся, чтоб объяснить глухому: схватил меня за рукав, махал руками к югу, указывал на оленей, подгибал по очереди пальцы, чертил пальмой по снегу.

Но вдруг вдали взлаял черный пес Отыркона. Пестренькая сучка, привязанная к опояске старика, взвилась стрелой и бросилась на лай. Веревка взмыла, свалив Отыркона с ног.

— Куто! Геть! Геть! Куто!! — крикнул он, быстро вскочив и убегая за тянувшей его что есть силы собакой.

Тунгусы смеялись. Вскоре раздался вдали слабый хлопок ружья.

Я долго смотрел в ту сторону, куда скрылся лесной старик. Мне было грустно. Я думал о его недолгих днях, о последней его земной минуте. Холод, мрак, тяжкое одиночество. Когда сердце его устанет и по жилам едва-едва будет струиться холодеющая кровь, он покорно ляжет у потухшего костра и станет безмолвно ждать.

Когда я все это представил себе до четкой ясности и вдумался в слова старика — «умирать шибко сладко», — какое-то чувство зависти вдруг охватило меня всего. Не странно ли, что мы, люди иного уклада жизни, так боимся своей последней роковой черты, а он, этот немощный, первобытный старец, ждет смерти с радостной надеждой. Благо ему!

Мы двинулись дальше. Сенкича шагал со мной рядом, говорил:

— Белку без собаки доспеть трудно. Ясный глаз надо. Отыркон глаз — тьфу! Вот собака туда-сюда нюхтит. Далеко уедет, мало-мало совсем не видно. Отыркон навовся закружится, все на восход лезет, на восход, а другой собак кэ-эк дернет его, прямо назад, старик вверх ногами, бряк! Однако притащит к белке, — бей, значит. Э! Так трое и жрут беду. Э!..

КРАЛЯ

I

Стоял октябрь. Погода направилась свежая, тихая.

Солнце так же ярко светило, но уже не было в лучах его прежней ласки. Бодрящим, трезвым оком созерцало оно слегка застывшую землю. Поседели травы. Подернулись лужи и болота тонким стеклом молодого ледка. Опал лист на кустах и деревьях. Рассветы стали туманны, задумчивы утра, тревожно-чутки дни, угрюмы ночи.

А вверху, по поднебесью, лишь выглянет солнце, тянулись к югу длинными колеблющимися углами запоздавшие журавли, торопясь от грядущих бурь и непогод в теплые страны, туда, где солнце еще не состарилось, где сверкают тихие реки да зеленеют мягкие бархатистые луга. Летят, курлыкают тоскующими голосами... Скорей, скорей...

Грустят ли, покидая север, радуются ли, стремясь в неведомые страны, — как угадать?

Лишь человек, прикованный неволей к земле, провожает их благословляющим взором; только щемящая тоска вдруг схватит его за сердце, а глаза нет-нет да и заволокутся слезой.

И загрустит человек, что нет у него крыльев.

Темным вечером, по шершавой, с глубокими застывшими колеями дороге ехали купец Аршинин да еще доктор Шер.

Торопились скорей добраться до города, опасаясь, как бы не вспыхнуло вновь в небе солнце и не растопило подстывшую грязь.

Сибирские дороги длинные — едешь сутки, едешь другие, третьи, а конца пути все не видать.

Купец был тучный, рассудительный, видавший виды, с большебородым ликом и веселыми, чуть-чуть наглыми глазами. Доктор — худощавый, подвижной и нервный, с растерянным взглядом больших черных глаз, безбородый.

— Скоро? — рявкнул купец.

Ямщик пощупал глазами тьму и хрипло ответил:

— Кажись, надо быть скоро... Быдто недалече...

И, быстро вскинув вверх руку, он браво зыкнул:

— Дела-а-й!..

Лошаденки боязливо покосились на кнут, проворней засеменили, и тарантас заскакал по замерзшим комьям грязи.

Темень висела кругом; но вот мигнул и опять погас огонек, а за ним мигнул другой, мигнул третий...

— Деревня?..

— Она самая...

Всем вдруг стало весело.

Доктор закурил папиросу, а купец сказал:

— Жарь на земскую...

Когда лошади поплелись тише, ямщик обернулся к седокам:

— Ох, там и краля есть... Солдаточка...

Доктор торопливо затянулся папироской, улыбнулся самому себе и переспросил:

— Краля?

— И-и-и... прямо мед...

Купец икнул на ухабе и сказал чуть-чуть насмешливо, обратясь к доктору:

— Вот бы вам, Федор Федорыч, в экономочки кралю-то подсортовать. А?.. Хе-хе-хе... Вы вот все ищете подходящего резону, да на путную натакаться не можете.

Доктор не ответил.

— Ведь жениться на барышне не думаешь? — спросил купец, переходя вдруг на «ты»: с ним случалось это часто. — Ну вот. Да оно и лучше. Возьми-ка, брат, крестьяночку. На подходящую натакаешься — как собака привяжется. Чего тебе — кровь здоровая, щеки румяные... Хе-хе-хе... Слышите? — И деловито добавил: — Только надо поприглядеться — как бы не тово... не этово...

Опять не ответил доктор.

— А звать ее Авдокея Ивановна, — сказал ямщик, видимо прислушиваясь одним ухом к разговору, и, ошпарив тройку, вновь гикнул не своим голосом: — Де-е-лай!..

Лошади птицами взлетели на пригорок, спустились, опять взлетели и, врезавшись в улицу села, понеслись по гладкой, словно выстланной дороге. У церкви сиротливо мерцал одинокий фонарь да еще здание школы светилось огнями. Было часов восемь вечера.

— А вот и земская...

К подъехавшей тройке подбежал дежурный десятский с фонарем и, сняв шапку, спросил:

— Лошадок прикажете али как?..

Фонарь бросал дрожащие снопы света на перекосившееся крыльцо земской, на курившихся паром лошадей. Подошли два-три мужика да собачонка.

— Вноси в избу всю стремлюндию, — сказал купец. — Куда в этаку пору ехать?..

— Куды тут, — радостно, все враз, заговорили мужики, — ишь кака темень... Ха!.. Ты ушутил?..

И весело засуетились возле тройки.

II

В земской тепло, пахло кислой капустой, печеным хлебом и сыростью от не домытого еще пола. Пламя сального огарка, стоявшего на лавке, всколыхнулось, когда Аршинин хлопнул дверью, и заиграло мутным колеблющимся светом по оголенным до ко-

лен ногам ползавших на четвереньках двух женщин, по их розовым рубахам и мокрым юбкам, по сваленным в кучу половикам, столам, стульям и стоявшим на полу цветам герани.

Женщины поднялись с полу, бросили мочалки и одернули торопливо подолы.

Купец размашисто перекрестился на образа.

— Ну, здравствуйте-ка...

— Здрасте, здрасте... — враз ответили обе.

А та, что постатней да попроворней, приветливо метнула карими глазами и молвила певучим, серебристым голосом, от звука которого чуть дрогнуло сердце доктора, а пламя свечи насмешливо ухмыльнулось.

— Вот пожалуйте в ту половину, там прибрано.

И стояла молча, играя глазами.

Купец пошел как-то боком, на цыпочках, неся в руках чемодан, а доктор стоял столбом и мерил с ног до головы женщину.

— Вы не Евдокия Ивановна? — спросил он.

— Да... Она самая. А вы откуль знаете?

Купец высунул из двери бороду:

— Тебя-то? Авдокею-то Ивановну не знать?.. Да про тебя в Москве в лапти звонят... Ха-х ты, милая моя...

— Милая, да не твоя...

— Ну, ладно. Давай-ка, Дунюшка, самоварчик. Сваргань, брат, душеньку чайком ополоснуть...

— Чичас.

И пошла, ступая твердо и игриво, к двери.

Босая, с еле прикрытою грудью, с двумя большими черными косами, смуглая и зардевшаяся, — вся она, вся свежая и радостная, казалось, опьяняла избу тревожным желанием, зажигала кровь и дурманила сердца.

Купец посмотрел ей вслед плотоядными, маслеными глазами.

— Ох, наваждение! Ишь толстопятая, вся ходуном ходит...

И пошел к чемодану, бубня себе в бороду:

— Ох, и я-а-ад баба... Яд!

Доктора бросило в жар.

Толстая, вся заплывшая жиром баба летала проворно по избе, расставляя столы и стулья.

— Подь в ту комнату, я половики раскину.

Доктор очнулся и пошел на улицу вслед за Дуней, а тетка полезла на печку.

Купец, утратив на время благочестивый облик, подполз к ней сзади и, ради первого знакомства, хлопнул по широкой спине ладонью.

Зарделась баба, улыбнулась и, погрозив кулаком, сказала, скаля белые, как сахар, зубы:

— А ты проворен, бог с тобой... Ерзок на руку-то.

Купец хихикнул, тряхнул бородой и, почесав за ухом, сокрушенно ответил:

— Есть тот грех, кума... Есть!

Он крадучись щипнул ее за ногу и, прищелкнув языком, прошептал:

— Кума, эй, кума... Слышь-ка.

— Ну, что надо? — сбрасывая половики, задорно спросила баба.

— Слышь-ка, что шепну тебе.

Она неуклюже повернулась к нему, свесив голову. Он обнял ее за шею и шепнул.

Вырвалась, плюнула, захохотала.

— Чтоб тебе борода отсохла!.. Тьфу!

— Вот те и борода... Стой-ка ужо...

Вошел доктор, весь радостный. Купец отскочил быстро прочь, степенно прошелся по комнате, взглянул украдкой на иконы и тяжело вздохнул. Лицо опять сделалось постным, набожным.

А баба слезла с печи и пошла, почесывая за пазухой, к двери, брюзжа на ходу притворно строгим голосом:

— Ишь, долгобородый, оха-а-льник какой... право.

Доктор быстро взад-вперед бегал по комнате, улыбался, выхватывал из жилета часы, открывал крышку, бесцельно скользил по ним взглядом, совал в карман, чтоб через минуту вытащить вновь. И никак не мог сообразить, который теперь час.

Купец, сидя под образами, в углу, наблюдал доктора, а потом плутовато подмигнул ему и, раскатившись чуть слышным смешком, долго грозил скрюченным пальцем.

— Доктор, а доктор, знаешь что?

— Ну?

Купец еще плутоватей подмигнул.

— А ведь у тебя на лике-то... хе-хе... выражение...

— Вот это мне нравится... Ну, а дальше?

И опять забегал, то и дело выхватывая из жилета часы и улыбаясь тайным сладостным мечтам.

III

Когда на столе появился большой самовар, миска меду и шаньги, купец с доктором уселись пить чай. Оба они частенько прикладывались к бутылке с коньяком.

Отворилась дверь, и легкой поступью, поскрипывая новыми полусапожками, вошла Дуня.

— Дунюшка-а-а... родименькая-а-а... иди-ка, выпей чайку с лимончиком, — обрадовался купец.

— Кушайте. Куды нам с лимоном: мы и морщиться-то путем не умеем.

И прошла в маленькую комнатку, где лежали вещи проезжающих.

В комнатке был полумрак. Дуня что-то передвигала там с места на место, лазила в шкаф, бренчала посудой.

Купец шепнул, хлопая доктора по плечу:

— Иди-ка, иди. Потолкуй.

И опять подмигнул смеющимся глазом.

Тот улыбнулся и пошел в комнату, где Дуня звякнула замком сундука.

Купец пил рюмку за рюмкой, заедая шаньгами и солеными огурцами. До слуха его долетали обрывки фраз.

— Евдокия Ивановна... — говорил доктор, и голос его дрожал. — Вы не цените красоту свою. Ваши глаза... брови...

— А какой толк в них?

— Вы любите мужа, солдата?

— А где он? Нет, не шибко люблю. Не скучаю.

А потом раздался тихий вздох, за ним другой и тихий-тихий шепот...

— Пусти... так нехорошо... не на-а-до, не надо...

— Дуня, милая...

Купец выразительно крякнул и прохрипел пьяным голосом:

— Хи-хи... Легче на поворотах!

Доктор вышел, весь встревоженный, опустился возле купца и сидел молча, закрыв лицо руками.

— Вот что, господа проезжающие, — сказала вдруг появившаяся Дуня и, поправляя волосы, добавила:

— Вы, тово... лучше бы выбрались из той горницы вот сюда. Кажись, ноне урядник должен прибыть со старшиной.

— Урядник? Ха-ха... Эка невидаль! Урядник. Подумаешь... — брюзжал купец и, подавая рюмку, сказал: — Ну-ка, красавица, выпей. Окати сердечушко. Садись-ка вот так. Вот чайку пожалуйте...

Жеманясь, выпила она вино и утерла губы краем голубой свободной кофточки, из-под которой блеснула свежая рубаха. А потом села и заиграла глазами.

Доктор, овладев собою, тихо спросил:

— Так поедешь, Дуня?

У нее чуть дрогнула тонкая левая бровь.

— Пустое вы все толкуете. Разве вы можете нас, мужичек, полюбить?

Она сложила малиновые губы в насмешливую гримасу и молчала.

— Овдотья, эй, Овдотья! Иди, слышь, в баню, што ль, — проскрипел из сеней старушечий голос.

— Иду, бабушка, иду, — торопливо ответила Дуня.

И, обратясь к доктору, сказала тихо, словно песню запела:

— И поехала бы к тебе, и полюбила бы, да боюсь, бросишь.

Купец ответил за доктора:

— Мы не из таких, чтобы... Наше слово — слово... Обману нет.

— И верной бы была тебе по гроб, да вижу — смеешься ты,

Доктор потянулся к Дуне с лаской:

— Милая ты моя, чистая...

— Не трог... не твоя еще, — вскочила Дуня, сверкнув задором своих лучистых карих глаз.

Купец уставился удивленно в чуть насмешливое лицо ее, силясь понять, что у нее в сердце.

Дуня пошла легкой поступью к двери, а доктор — видимо, хмель в голове заходил — нахмурил вдруг брови и тяжело оперся о край стола:

— Постой!.. Слушай, Дуня! А любовник есть? Любишь кого?

Та вздрогнула, гневно повернулась:

— А тебе какое дело! Ты кто мне — муж?

И вышла, хлопнув дверью. Через мгновенье чуть приоткрыла дверь и голосом мягким, с оттенком грусти, сказала:

— Кабы был кто у меня, неужели стала бы языком трепать? Ни сном ни духом не виновата.

IV

Когда купец был совершенно пьян, а доктор в полугаре, в комнату быстро вкатилась толстая баба.

— Урядник! — Она влетела в соседнюю каморку и стала выносить вещи путников. — Уж вы здесь, уж здесь, господа проезжающие. Я вот тут постелю. Уж извините...

Купец, ничего не понимая, молчал, а доктор рассеянно поглядывал на носившуюся из комнаты в комнату как угорелую бабу.

Распахнулись сени, сначала вбежал без шапки рыжий мужичонка с испуганным лицом и бляхой на сером зипуне, за ним ввалилось какое-то чудовище необъятных размеров, с пьяным, одутловатым, лохматым лицом, с мутными, косыми, навыкате, глазами.

Впереди суетился десятский:

— Ваше благородие, вот сюда...

За ним осанистый чернобородый крестьянин со строгим, хмурым лицом.

— Ннда... нда-а-а... Ха-ха! Тоже птицы, ничего себе... Урядник...— заплетающимся языком бормотал купец.— Эй, ты, доктор, понимаешь? Урядник... можешь ты своей башкой понять? А?

Урядник, услыхав купца, появился в дверях своей комнаты и, держась за косяки, обиженно сказал:

— У меня, господа, дело, примите к сведению: убийство в волости, надо допрос снимать... так... что... маленькую комнату мне. Покорнейше прошу...

У купца, когда он выпивал лишнее, голос становился пискливым, а временами срывался на низкие ноты. Исподлобья посматривая на урядника и теребя свою бороду, он задирчиво сказал:

— Бери-бери-бери!.. Получай на здоровье... свою комнату с периной... с двуспальной... Хе-хе! Нн-да-а! Ты человек козырный. А мы что? Мы — людишки маленькие, тварь проезжающая разная. Докторишка какой-то да купчишка паршивый, соборный староста, например, с позволения сказать. Хе-хе... Эка невидаль!

— Что-с?

— Я тебе дам — что-с! — стукнул купец кулаком в стол и, грузно шевельнувшись, как куль шлепнулся на пол.

— Вот так раз... Хы... Сверзился... — бормотал он, барахтаясь меж столом и лавкой.— Господин доктор, врач! Эй, где ты? Подсоби-ка... А на Дуньку плюнь. Плюнь, не подходяще. Чи-и-стая... Солдатка-то, Дунька-то? Она те оплетет, как пить даст. Дур-рак!

Урядник крякнул, свирепо взглянул на доктора и с треском захлопнул дверь.

Купец дополз до брошенного в угол постельника, а доктор забегал — руки в карман — по комнате и, остановившись возле пластом лежащего купца, шипел:

— Я вам не дурак! Вы пьяны! О Дуне же прошу так не выражаться. Слышите? — и опять забегал.

А купец, приоткрыв один глаз, засыпая, мямлил:

— Дур-рак! Семь разов дурак.

V

Купец спал, задрав вверх бороду и посвистывая носом.

В переднем углу, на полке, стоял большой медный крест, два медных старинных складня и медная, в виде кадила, посуда для ладана. На гвоздике висели ременные лестовки-четки.

«Народ набожный, — подумал, рассматривая, доктор, и ему было приятно, что Дуня живет в такой строгой, религиозной семье. — Должно быть, кержаки».

По комнате то и дело проходили к уряднику и обратно какие-то фигуры не то мужиков, не то баб, — доктор не обращал внимания, — а из полуоткрытых дверей доносилось:

— Он к-э-эк его тарарахнет. Да кэк наддаст...

— Трезвый?

— Како тверезый! Кабы тверезый был, нешто саданул бы ножом в бок.

Затем слышался старческий кашель и глубокий вздох:

— Ох, грех-грех...

Доктор взглянул в зеркало и не узнал себя: лицо красное, возбужденное, а мускул над правым глазом подергивался, что бывало каждый раз, когда доктор волновался.

— Ты у меня не финти, сукин сын! — вдруг за дверями заревел урядник.

— Ваше благородие, господи! Да неужто ж я смел бы?.. Что ты, что ты... Пожалей старика... Ба-а-тю-юшка-а...

— Я тебя пожалею. Вот я тебя пожалею!

Шел суд и расправа, а купец храпел на всю избу и охал, да тоскливо попискивал самовар.

Доктор надел пальто и вышел на улицу. В висках его стучало. На душе ползало что-то, похожее на тревогу, и кралась к сердцу грусть.

Вот он тут сядет и подождет Дуню. Он скажет ей много хороших слов, ласковых и сердечных. Может,

поймет его, может, даст ему счастье, надежду на хорошую, радостную жизнь.

Он сел на приступках покосившегося крыльца и, обхватив колени, вглядывался в тьму звездной ночи.

Ночь была тихая, ядреная.

На горе, за селом, колыхалось пожарище. Видно было, как клубились космы изжелта-серого дыма, а искры вились и уносились к темным небесам.

Где-то далеко-далеко заревели коровы да прогрохотала по мерзлой дороге телега. И опять тишина.

За воротами слышался чей-то разговор.

Доктор вышел на улицу. Три мужика.

— Что, пожар?

— Да, — ответили все вдруг, — рига у крестьянина горит.

— Не опасно?

— Нет... далече... так что за селом. А окромя того, тихо.

Еще что-то говорили, спрашивали его. Он отвечал и сам как будто спрашивал. Но все это — и разговоры, и зарево пожара — плыло мимо его сознания.

Он пошел во двор и снова опустился на приступки крыльца. Тоскливо стало.

А что, Евдокия Ивановна не вернулась из бани?

— Поди нет еще. А тебе пошто?

Доктор не знал, что ответить старухе.

— Да я так, собственно... хотел самоварчик попросить.

— Ну-к, я чичас.

Он курил папиросу за папиросой, думал:

Черт знает. Как это так сразу? Стра-а-нно. Это водка... все водка наделала. Пьян!

«Водка? — прозвучало в ушах. — Водка ли?»

Вдруг выплыли из тьмы чьи-то родные, ласковые глаза, поманили, усмехнулись, прильнули вплотную, смотрят.

«Что, любишь?»

Отмахнулся рукой. Замолкло, спряталось, притаилось.

Волна за волной шли мысли, то робкие и расплывчатые, то дерзкие и неотразимо влекущие.

Вот возьмет Дуню — красавицу, каких нет в городе. Привяжет ее к себе лаской, умом. Привьет ей любовь к знанию и заживет тихой-тихой, здоровой жизнью. Может быть, уйдет в деревню. Что ж, разве таких оказий не бывает?

— Да, да, в деревню, — думал он вслух... — Понесу туда свет, знание, помощь... А если... А вдруг?

Он не кончил, не хотел кончать: боялся.

Пожар на горе затихал.

— Дуня, дорогая моя...

Вот скатилась с неба звезда и, вспыхнув, исчезла в синем мраке неба.

— Сорвалась звездочка... А я пьян. И не идет Дуня... Краля? Ты говоришь — краля? Допу-стим... — бормотал, потягиваясь, доктор.

Подошла собака, поласкалась, лизнула в лицо, ушла.

Выплывали откуда-то звуки гармошки и песня. Прислушался доктор.

— Должно быть, рекруты...

Голос выводил, а ему, разрывая визг гармошки, подгавкивали другие:

Как во нашем во бору,
Там горит лампадка.
Не полюбит ли меня
Здешняя солдатка.

Залаяли собаки, набрасываясь с остервенением. Хлопнули ворота. Раздались ругань, крик. А затем большой камень, очевидно пущенный в собаку, ударил в заплот. И опять ругань. И опять пьяная песня да лай собак.

— Что пригорюнился? Спать пора...

— Дуня!.. — Доктор вздрогнул и жадно обнял ее, теплую, пахнувшую свежим веником.

— Сядь, посидим.

— Да некогда... право... Пусти...

— Сядь, поговорим.

— Нет, пусти... Некогда.

Однако села, склонив голову к его плечу, и заглянула в глаза.

— Вот я хотел сказать тебе, — начал доктор, чувствуя, как дрожь овладела им и как стучат от волнения зубы. — Хотел сказать, что полюбил тебя горячо...

— Горячо-о-о? Не обожги смотри.

Она засмеялась тихим, хитроватым смехом.

— Хочешь ли, я возьму тебя с собою? Ты будешь моей подругой. Я покажу тебе хорошую жизнь... Хочешь?

— Ох, мутишь ты меня, барин. И зачем тебя нелегкая принесла сюда?

— Я тебя люблю... Приворожила, что ль, ты меня?

— В куфарки зовешь али как? Поди жена али зазноба есть?

— Нету, Дуня, нету. Никогда, никто...

— Ах, бедный ты мой, бедный! Дай пожалею. — Она высвободила руку из-под накинутой на плечи шубы и стала нежно гладить его волосы, лицо.

— Один, как сыч. Столько лет без любви, без ласки. Ах, как тяжело...

А Дуня ласково, нараспев, говорила обнимая доктора:

— Милый ты мо-о-й... робеночек мо-о-й. Да-кась поцелую тебя.

Вот скрипнула в сенцах дверь: кто-то поставил на пол ведра и стал шарить по стене.

Дуня шмыгнула на улицу и притаилась, припав к стене крыльца.

Доктор сидел молча, не двигаясь, словно боясь спугнуть сладостный сон.

Опять скрипнула дверь: закряхтел кто-то, икнул, завозился, и вдруг из темноты сеней раздался старушечий шепелявый окрик:

— Ай! Кто тут? Ты штой-то хваташь?!

— Да это я... Саквояж ищу. Чемодан...

Дуня прыснула, узнав голос купца, и плотней запахнулась в шубу.

— Чиквая-а-н? Я те такой чикваян покажу. Язви те! Ишь облапал...

— Это ты, бабушка? — хрипел купец.

— А тебе ково? Грехо-во-о-дник...

Дуня давилась от смеха. Купец пошел к выходу, а старуха все еще шепелявила ему вдогонку:

— Чиквадан... Ишь ты, чего захотел. Какой-такой тут чиквадан про тебя доспелся... Тьфу!

Купец наткнулся на доктора:

— Ах, это ты? Мечтаниям предаетесь? Ну, ладно, мечтай, мечтай... О чистой... хе-хе.

И он полез по ступенькам, держась за поручни.

Дуня скользнула в сени, но доктор настиг ее, распахнул ей шубу и жарко целовал шею, губы, грудь.

— Пусти, — молила его, — пусти!

— Не могу...

— Пусти... ну, пусти.

А уходя, бросила:

— Я приду к тебе.

— Дуня-я-я!

— Родной мой... желанный.

VI

Самовар опять попыхивал на столе, и поставленный на конфорку чайник задорно стучал крышкой.

Было часов десять вечера. Допрос все еще продолжался:

— Попервоначалу он его в зубы съездил, а опосля того взашей, значит... в лен.

— В лен?

— В лен, в лен.

— Та-а-к...

Купец, лежа на полу, что-то бредил, стонал, ругался.

По избе ходила толстая баба, вся красная, лазила на печь, заглядывала в шкаф.

Купец вдруг быстро-быстро заработал во сне ногами, точно стараясь от кого убежать, потом подпрыгнул на постельнике всем телом, открыл глаза и гаркнул:

— Караул! Ксы!

Баба кинулась к нему и, припав на колени, прошипела:

— Тшшш... Чтоб тебя притка задавила. Это кот. Брысь!

— Тоись как кот?

— А я почем знаю как. Кот, да и кот... Спи-ка знай.

— Боднул кто-то...

Купец сейчас же захрапел, обхватив руками голову.

Доктор, опьяненный вином и Дуней, целый час бродил по деревне. Наконец ему захотелось спать, и глаза его, утомленные, стали слипаться. Придя в земскую, он сел к столу и налил черного, как деготь, чаю. Вскоре явилась и Дуня.

Она несмело подошла к полуотворенной двери и спросила:

— Вам, господин урядник, чайку не прикажете?

— Убирайся! Некогда! — послышался злой, грубый окрик.

Дуня с омерзением взглянула на жирный, ползущий на воротник загривок, торчащие из одутловатых щек усы и оттопыренные уши.

— Леший... каторжник, — сдвинув брови, обиженно прошипела она — и к выходу.

— Евдокия Ивановна! — ласково позвал доктор.

— Ну, что?

Он придвинул табуретку.

— Сядь.

Дуня улыбнулась, смахнула слезы, выпрямилась вся и, не подходя к столу, издали переговаривалась тихо с доктором.

Он раз и другой пытался подойти к Дуне, но она испуганно грозила ему пальцем, кивая глазами в сторону урядника.

— Почему, Дуня? — удивленно шепчет доктор.

— Ох, боюсь я его, окаянного, — ее лицо скорбно опечалилось, а меж крутых бровей легла морщина. — Зверь! Прямо зверь.

— Но почему? — еще удивленней шепчет доктор.

Дуня мнется, хрустит пальцами рук, взглядывает смущенно на доктора и говорит, волнуясь и проглатывая слова:

— Ох, не спрашивай ты меня, Христа ради. Услышит — убьет...

Доктор порывисто выпил водки. А Дуня шептала:

— Прямо Ирод, а не человек. Всех заездил... Всех слопал... Жену, варнак, в гроб вогнал, робят из дому выгнал. Охти-мнешеньки... Змеей подколодной к мужикам присосался, кровушку-то из нас всю, как пиявица, выпил. А куда пойдешь, кому скажешь — неизвестно... Ох, беда-беда!

Доктор подозрительно смотрит на Дуню, хмурится.

Но та, как солнце из-за облака, вдруг засияла улыбкой, сверкнула радостно глазами, подбоченилась и, тряхнув бусами, гордо откинула голову:

— Вот бери, коли люба! Не гляди, что криво повязана: полюблю — в глазах потемнеет!..

Счастливый, взволнованный доктор все забыл; манит к себе Дуню, говорит:

— Вот завтра, любочка моя... вот уедем завтра...

— А не погубишь? — Она стоит улыбается, того гляди смехом радостным прыснет. — Ну, смотри, барин! — задорно погрозила она пальцем, а в карих глазах лукавые забегали огоньки.

Незаметно уходило время, а Дуня все еще говорила с доктором. Давно погас самовар, кончился допрос, затихла деревня вместе с собаками, песней, пожарищем, только тут двое любовно беседовали да строчил протоколы урядник.

— Подожди денечек... Ну, подожди, — вся в счастье, в радости просит Дуня.

— Что ж ждать-то?

— Надо, соколик мой, надо. Потерпи! Навеки твоя буду, — влагая в слова певучую нежность, шепчет она. И вдруг, с тревогой:

— Ты крепко спишь?

— А что?

— Лицо ее сделалось серьезным, в глазах мелькнул страх, но через мгновенье все прошло.

Еще нежнее и радостнее, издали целуя его, едва слышно сказала:

— Приду... на зорьке... милый.

— Что? — как камень в воду, бухнул внезапно появившийся урядник.

— Что?!

Дуня побелела.

Он посмотрел тупым, раскосым взглядом сначала на Дуню, потом на доктора.

— Вы огурчиков приказывали? — растерянно спросила Дуня доктора. — Чичас, — и скрылась.

Доктор язвительно поглядел ей вслед: таким обычным и земным показался ему голос чародейки Дуни.

Урядник круто повернулся и пошел на свое место, оставив открытой дверь.

Доктор, посидев немного, стал укладываться спать возле купца. Сразу, как погасил лампу, комнату окутала тьма, но вскоре заголубело все в лунном свете. Хмельной угар все еще ходил в голове доктора, и, в предчувствии чего-то неизведанного, замирало сердце. Когда ложился, хотелось спать, а лег — ушел сон, и на смену ему явились думы.

Он лежит, вспоминает, улыбается. И все как-то путано в голове, туманно. Радостно ему, что Дуня стала его подругой, что за солдата выдали ее силой, что никогда не любила и не любит она никого, кроме него: так сказала ему Дуня. Лежит, удивляется: скоро, как в сказке. И это очень хорошо: такие вопросы надо решать сердцем. Вот завтра утром встанут, напьются чаю и уедут с ней в город. А потом доктор выпишет из деревни свою старуху мать, такую же крестьянку, работящую, простую, как и его Дуня. И тогда все трое заживут вместе. Эх, хорошо! Он лежит с открытыми глазами, спать не хочется, голова идет кругом.

Из комнаты урядника выступила желтая полоса света; в ее мутно-сонных лучах вдруг стало оживать висевшее на стене полотенце. Откуда-то взялись руки, грудь, голова с черными глазами, все это дрогнуло, зашевелилось.

— Да ведь это Дуня, — удивился доктор и с досадой взглянул на полуоткрытую к уряднику дверь.

Перо скрипело в руках урядника. Вот оторвался он от стола, сжал кулаки, потянулся всем жирным телом, зевнул и по-медвежьи рявкнул.

Белое видение исчезло, словно испугавшаяся выстрела птица.

— Тьфу! — и доктор перевернулся на бок.

Было тихо. Только слышалось, как, капля по капле, падала в лоханку вода из медного рукомойника.

«Буль... буль... буль...»

Раздались удары в колокол. Плыли они тихо, разделенные большими промежутками времени, и, казалось, засыпали по дороге тихим сном.

Просчитав пять ударов, доктор забылся, ему пригрезилось, не то во сне, не то наяву, как урядник вскочил со стула, подполз на четвереньках к полотенцу, зацепил им за ввинченный в потолок крюк, сделал на полотенце петлю и повесился. Но вбежавшая, во всем красном, Дуня ахнула и быстро перестригла петлю. Урядник всей тушей упал на доктора. Тот вздрогнул и открыл глаза. Сон. Колокол еще раза три ударил и замолк. На докторе тяжелая, отекшая рука купца. Он сбросил с себя каменную руку и отодвинулся на край постельника.

Купец завозился, перевернулся на другой бок и что-то забормотал, а потом отчетливо произнес:

— Яд-баба... Яд!

Запел петух где-то близко, в сенцах, за ним другой, третий.

«Вот приду... Ох, желанный мой», — сквозь сон слышит доктор.

Притаился, слушает, незаметно засыпая.

«Ох, сладко поцелую... Обожгу тебя... О-о-о-х...»

Он слушает, улыбается и засыпает все крепче.

VII

Долго ль проспал доктор, неизвестно, но встрепенулся, когда кто-то хватил его, словно шилом в бок. Вздрогнул, протер глаза.

Дверь в комнату урядника почти закрыта, оставалась лишь неширокая, в ладонь, щель.

Доктор взглянул и обмер. Протер глаза, смотрит. Опять протер, приподнялся. Глядит и не верит тому, что видит.

— Неужто?!

Он ползет к двери, прячется в тень, как вор, и широко открытыми глазами впивается в жирную копну урядника и сидящую у него на коленях, в одной рубашке Дуню.

— Вот это шту-у-ука!..— тянет доктор; он слышит, как бьется его сердце, да капля за каплей, падая в лохань, булькают и насмешливо рассыпаются в обманной подлой тишине.

Дуня обвила оголенной рукой толстую шею урядника, гладит его волосы, что-то шепчет и улыбается лукаво и ласково.

Урядник хохочет неслышно, и его живот, подпрыгивая, колышется в такт смеху, а вместе с ним колышется Дуня, стройная, свежая, в розовой рубашке.

— Два с полтиной, два с полтиной!.. Нет, врешь,— бредит скороговоркой купец и, застонав, добавляет убежденно:

— Еще успеешь угореть-то.

Доктор испугался, пополз было назад, но раздумал.

Дуня встала, заслонив собою свет лампы, и через рубаху соблазнительно сквозило ее красивое тело. Закинув руки за голову, она потянулась лениво и страстно, привстав на носки, а чудище облапил ее левой рукой, притянул к себе и зашептал хриплым голосом:

— Чего он тебе толковал-то?

— А ну их к чертям! — почти крикнула она.

— Тсс... услышит.

— Спят... нажрались оба.

Доктор таращит глаза, дивится. Не во сне ли, думает. А они, проклятые, шипят гусями:

— Люблю тебя, Павлуша.

— Любишь? Ты чего-то юлишь, по роже вижу, что юлишь... А дьячок-то?

— Не вспоминай. Ведь каялась... Чего же тебе надо? Прости!

Замолчали оба. Он красного вина подносит, сам пьет, ее плечо лапой гладит, тискает.

— Ночевать не будешь?

— Нет, ехать надо.

— Подари колечко. Может, не увидимся... Уйду.

— Что-о?

Таящимся, но злобным смехом всколыхнулась Дуня, задорно запрокинула с двумя черными косами голову, взметнула вверх руки, хрустнула пальцами и, покачиваясь гибким станом, протянула:

— Испужа-а-лся?.. А ежели уйду? Кто удержит?

— Сма-а-три, Дуня!

Урядник поднял над головой револьвер, потряс им в воздухе:

— Со дна моря достану, из могилы выкопаю, воскрешу и перерву глотку... Знай!

Она прижала локтями грудь, съежилась, вздрогнула зябко:

— Заколела я чего-то... Поцелуй.

Потемнело у доктора в глазах: сон или не сон? В ушах шумит, во рту пересохло, и, как в наковальню молотом, бьет в груди сердце.

Быстро поднялся с полу — нет, не сон, — быстро подошел к постельнику и, нагнувшись, стал шарить спички.

У урядника погас огонь и захлопнулась плотно дверь. Оттуда слышалась не то ругань, не то смех.

Доктор зажег лампу. Руки его дрожали. Взгляд стал диким, растерянным, а мускул над глазом запрыгал. Он налил в чайный стакан коньяку и жадно, залпом, выпил.

«Нет, не сон...»

Была глухая ночь. Хмель нахрапом вползал в его голову. Заскакали мысли, перепутались, как испуганное стадо баранов, и бросились врассыпную. Чувствовал он, как уползает из-под ног почва, как все горит и стонет у него в душе. Тяжко сделалось.

Время шло. Лампа давно погасла, копоть от тлеющего фитиля висела над столом черным угаром, а сквозь окна глядела луна.

— Эй, ты, господин торгующий... купец! — говорил доктор пьяным голосом. — Тарантас этакий, а? Слышишь? Храпишь? Ну, черт с тобой, спи. Н-нда-а... Болотина-то, грязь-то какая. Ай-яй-яй-яй-яй... Ай-яй-яй-яй-яй... Бррр! Где тут гармония, красота? Вдруг урядник... и Дуня. Ходячее пузо какое-то... и алый полевой цветок. А? Нет, ты посуди, Аршин Иваныч, прав я или не прав? Дурак я, слюнтяй, интеллигент, мечтатель, кисель паршивый! Вот кто я...

Доктор приподнялся с лавки, взъерошил волосы, вытаращил глаза и закричал:

— Эй, вы, красивые... двое! Заперлись?

В комнате урядника примолкли, притаились, умерли.

— За что ж ты мне в душу-то харкнула? А? Ведь ты кто? Знаешь, ты кто? Змея!.. — стал кричать, топая ногами, доктор.

Во тьме что-то зачавкало, всхлипнуло, зашипело, и раздался голос купца:

— Вы с кем это рассуждение имеете?

Доктор удивился звуку голоса, но встал, побрел, еле держась на ногах, к купцу и упал возле него на колени. Целовал его, плакал горько пьяными слезами, жаловался:

— Где же правда, где? Вдруг Дуня — и на коленях у борова. А?.. Зачем обещать тогда? А ведь так клялась...

— Да-а-а, вон оно что. Хе-хе-хе. Так-так-так. На то и щука в море. Вот те и чистая! Ха-ха! Ловко. Вот те и краля!

Доктор, покачиваясь, стоял на коленях и грозно тряс кулаком:

— У-ух ты мне! Куроцап! Убью!!

— Смотри, отскочите... — иронически заметил купец и продолжал зевая: — А ты вот лучше высморкайся да ложись спать с богом. Ишь ночь....

Он еще раз зевнул, перекрестил рот и, перевернувшись, добавил.

— Она даром что Авдокея Ивановна, а умная, стерьва: где пообедает, туда и ужинать идет.

Сказал и через минуту захрапел.

Слышно было, как во дворе раздавались деловитые голоса, бубенцы побрякивали, тяжелые сапоги топали по сенцам и ступеням крыльца, отворялась и затворялась наружная дверь.

Заскрипели ворота, рванули кони, колеса затараторили.

— С бого-о-ом!

Тявкнула спросонок собака, опять заскрипели и хлопнули ворота, побродил кто-то по двору, и все стихло.

Час прошел, томительный и длинный, наполненный вздохами, бессвязным бормотанием, затаенным ночным шорохом: должно быть, черти бродили по избе.

Луна еще не ушла с неба, но конец ночи близок.

— Барин, а барин, — еле слышно позвала нежданно Дуня.

Она стояла среди комнаты, трепетно-белая, охваченная снопом лунных лучей.

— Желанный...

Доктор застонал, открыл глаза и зло перевернулся лицом вниз.

Дуня стоит над ним, что-то причитает и вся дрожит, как в непогоду дерево.

— Слушай-ка... Не серчай... — льется нежный, молящий голос. — Ты разбери только по косточкам жизнь-то мою, разбери, выведай. Не серчай, ради господа.

— Тебе что надо? — повернув к ней голову, крикнул доктор. — Тебе, собственно, что от меня требуется? — и опять уткнулся в подушку.

Прошла длительная жуткая минута. Дуня несмело опустилась возле него на колени.

— Ах, милый, рассуди: ведь смерть, прямо смерть от него, от лиходея, от урядника-то... Муж бил, вот как бил, житья не было; забрали на войну, обрадовалась — хошь отдохну. Тот черт-то привязался, урядник-то... запугал, загрозился: «убью!» — кричит, а защитить некому — одна. Ну и взял... А все ждала, сколько свечей богородице переставила; вот, думала,

найдется человек, вот пожалеет. Пришел ты, приласкал, такой хороший... аж сердце запрыгало во мне, одурела с радости. А с ним, с аспидом, развязалась, отвела глаза, успокоила, — убил бы. Понял? Вот, бери теперича... Возьмешь?

Затаив дыхание она робко ожидала...

— Возьму... Эх, ты...

Пала рядом с ним; отталкивал, гнал, корил обидными словами, а сумела остаться возле, впилась дрожащими теплыми губами в его лицо, замутила голову, всколыхнула хмельную кровь.

— Ах, желанный мой! Люблю! — восторгом, неподдельной радостью звучала ее речь: ждала, насторожившись, — вот скажет, вот обрадует.

— Убирайся ко всем чертям! — после минутного раздумья презрительно и желчно бросил доктор. — Марш отсюда!

— Только-то?

— Марш!!

— Стой, кто тут? — прохрипел купец. — Ты, Дуняха? — Он быстро приподнялся, зашарил-замахал в полутьме руками и, сидя на полу, шутливым голосом покрикивал: — Давай-ка, давай ее сюда! Хе!..

И слышно было, как Дуня, поспешно удаляясь, ступала босыми ногами, скрипнула дверью и там, за стеной, не то захохотала, не то заплакала в голос, как над покойником бабы.

— А ты, доктор, дурак! — сказал, опять повалившись, купец.

Но доктор лежал, свернувшись клубком, с головой закрывшись одеялом, и, как смертельно раненый, мучительно стонал.

На рассвете для доктора стали запрягать лошадей.

Заложив за спину руки, он торопливо ходил по двору, хмурый и сосредоточенный, в сером, перехваченном кушаком, бешмете и высокой папахе.

А кругом суетились, закручивали лошадям хвосты, подбрасывали в задок сено, укрепляли веревками вещи.

Доктор проворно вскочил в тарантас, забился в угол и закрыл глаза.

— Трогай со Христом! — приказал чей-то стариковский голос.

Четко ступая по бревенчатому настилу, шагом пошли к воротам кони.

Когда на улице проезжали мимо окон земской, ямщик-подросток, вздохнув, сказал:

— Эк, Дунька-то как воет... Чу! — и враждебно взглянул на седока.

Доктор вздрогнул, открыл глаза. Больно, мучительно больно... Мерзко... Он высунул было голову, но ямщик гикнул, лошади рванули, понесли.

— Точка, — растерянно прошептал доктор, вновь забился в угол и крепко сомкнул усталые, полные грусти, глаза.

Тихо снег падал, первый осенний снег — гость небесный. Еще дремал воздух, дремотно падали снежинки, все дремало, и бубенцы с колокольцами тихо звякали, зябко вздрагивая на холодке.

На доктора валился сон. Засыпая, он грезил о том, как зима придет с метелями и морозом, и все уснет в природе под белой теплой шубой. Но пролетит на легких крыльях время, и вновь наступит молодая, нарядная весна с ковром цветов, ликующим хороводом птиц. И опять длинными колеблющимися треугольниками полетят с юга, но с новыми вольными песнями, радостно перекликаясь, журавли.

ЧУЙСКИЕ БЫЛИ

Эх, да как стегнула по Алтаю Чуя, священная река. Белые стоят на горизонте горы, все в вечных снегах, Чуйские Альпы, земли надгробие. В них родится Чуя, священная река.

Сначала степью течет она: ни лесу здесь нет, ни сочных трав. Зато отсюда ближе небо, ярче звезды, чище, прозрачней воздух.

Вся степь, во времена минувшие, до самых горных маковок была водой залита: века веков плескалось здесь озеро голубой волной. И стерегли это озеро каменные витязи, Чуйские Альпы, богатыри алтайские, плечо в плечо стояли каменной стеной.

Но не удозорили, не усмотрели: обмануло их озеро, убаюкала их зыбун-волна, уснули крепко. А вода прорвала себе ход, проточила горы и хлынула.

Гул пошел по Алтаю, земля затряслась, осыпались камни. Широко волна хлещет, опрокидывает скалы, грохочет и стонет и мчится вдаль бешеным потоком.

Это Чуя, рожденная в снегах, горами плененная, вырвалась на волю и понеслась меж расступившихся в страхе Алтайских гор.

А озеро обсохло, и дно его превратилось в песчаную Чуйскую степь.

Так стародревняя быль говорит.

На Чуйской степи есть маленький русский поселок Кош-Агач. Такой маленький, что с гор, обнявших степь каменным кольцом, его и не приметить.

Через Кош-Агач Чуйский тракт идет. Узкой тропой соединил он сибирский город Бийск с монгольским — Кобдо.

Весь бы этот тракт серебром можно вымостить да золотом, что загребли-захапали купцы у алтайцев и монголов.

Весь бы тракт можно слезами залить, что сочились из узких глаз полудиких, с чистой душой кочевников; такой большой обидой и горем наделил их русский неистовый, алчный хищник.

Так говорит про купцов недавняя быль.

Бурным шумом шумит, шорохом шелковым...

Эй, подожди, Чуя, вода холодная! Куда бежишь, куда по камням вскачь мчишься? Стой, Чуя, стой! Расскажи нам вчерашние и сегодняшние были свои.

1. ЗЕРКАЛЬЦЕ

Зеркальце как зеркальце. Маленькое, круглое, цена ему — пятак.

Купец их с дюжину привез в горную степь. Давно дело было, в этот заброшенный край еще никто зеркал не важивал.

Думает купец:

«Надо калмыкам продать, надо калмыков нагреть. Греха тут нету: калмык не человек, — зверь, и душа у него, как у пса, — пар. Зверь и зверь».

Едет купец в гости к своему другу, калмыку Аргамаю, которого не раз надувал.

Вечером приехал, к огоньку. Аргамай в юрте сидит толстый, сильный. Один у камелька сидит, баранью кость гложет и мурлычет песню о том, как он завтра на заре будет кочевать к снегам, где такие вкусные сочные травы — сласть скоту.

— Эзень! — поздоровался купец.

— Эзень, эзень! — откликнулся Аргамай, всматриваясь в пришедшего.

— А-а-а... Эвон кто! Друг... — радостно вскрикнул и уступил гостю свое место.

У костра засуетился, — огонь ярче вспыхнул, —

полбарана положил в котел, чай по-калмыцки готовить начал: с молоком, жареным ячменем и солью.

— Баб нету... Один больной, другой в гости укатил к отцу.

— Нет ли арачки?

— Бар, бар... — и подал в турсуке самодельную из молока водку.

Сидят, беседуют. Огонек весело горит. Арачка вкусная, теплая, по жилам загуляла, в мозг ударила, дала волю языку.

Калмык смеется, и купец смеется, по плечу Аргамая похлопывает, льстивые речи говорит:

— Ни у кого таких коней нет, как у тебя. Самые лучшие быки у тебя. Самые лучшие бараны у тебя. Ты богатый. Жена у тебя красивая.

Говорит, арачку пьет, баранину ест.

Аргамаю любо, слушает, смеется и, чтобы не остаться в долгу, говорит гостю:

— Ты самый хороший есть. Самый верный... Друг...

Вспомнил купец про зеркальце.

Думает:

«Надо подарить. Убыток небольшой — пятак».

Достал, показывает.

— На-ка, поглядись.

Смотрит Аргамай пристально. Приковало его зеркало.

— Это кто?

— Да ты...

— Как я?! Это шайтан!

— Нет, ты...

Молчит, еще пристальней всматривается, недоверчиво на купца смотрит, говорит ему:

— Чего врешь?! Нету!.. Шуба-то моя, а рожа сроду не видал, не знаю!..

Купец блаженно улыбается, а калмык от нетерпенья заерзал по войлоку, руки дрожат, крепко уцепились за волшебное зеркало. Сроду такой чудесной штуки калмык не видывал.

— Да ты надень шапку-то... Видишь?.. Ты!..

Смотрит калмык — его шапка в зеркале, косу

смотрит — его коса, с ленточкой, бородавка на носу его, — ущупал...

— Ха-ха-ха!.. Продай... Делай милость, продай!

А купец совсем обмяк, радость другу своему доставить хочет, говорит.

— Да я тебе его...

— Делай милость, продай... Сколько хочешь возьми!..

И вдруг купеческая душа в подлую алчность покатилась.

— Нельзя... — чуть дрогнув голосом, сказал купец.

— Возьми быка... Ребятам, бабам казать буду... Ха-ха-ха... Пусть смотрят рожам...

— Нет, нельзя, — твердо купец сказал и легонько зеркальце к себе тянет.

Аргамай не дает...

— Два быка, три быка!.. Хороших!..

— Что ты, я сам дороже заплатил... В Москве добыл... Знаешь, слыхал?

Чуть не плачет Аргамай, большой ребенок:

— Возьми четыре быка... Пожалуйста, возьми, друг!..

— Пойдем быков ловить, — жадно сказал купец.

Аргамай смеется плутовато, зеркальце подальше прячет, на купца с опаской смотрит, не продешевил ли тот, не отобрал бы...

Ласково ему говорит тонким своим голосом.

— Ты самый хороший есть... Самый верный... Друг...

Поздно ночью возвращался к себе в стан пьяный купец. И, выписывая в седле опьяневшим туловищем мыслете, весело вслух думал:

— Он на то и калмык, чтобы его учить. На то он и татарская лопатка.

II. ЧАСЫ

Жил-был ласковый торгаш с мышиными глазами. Он такой хитрый, что любого шайтана мог трижды перехитрить.

Плут.

Приезжает к нему старый киргиз Юсуп.

Посидел, покалякал, кое-что купил.

А торгаш только что свежий товар из города, из Руси получил.

— Купи часы...

Взял киргиз в руки часы, полюбовался ими, языком прищелкнул:

— Живой... Стукат...

— Купи!..

Вздохнул Юсуп. Надо бы купить, — не себе, а сыну, доброму джигиту. Эх, надо бы купить.

— Я бы купил. Денег нет... Вот будут, куплю.

Не любил Юсуп в долги залезать.

Водкой купец угостил его, целый стакан подал:

— Пей!

Магометанская вера строгая: водку запрещает пить. Однако Юсуп с хорошим человеком маленько выпить может, греха таить нечего.

А водка злая, крепкая, рот обожгла, веселым туманом обложила сердце.

Еще стакан подал:

— Пей на здоровье!

Очень ласковый торгаш.

Попрощался Юсуп, сел на своего верблюда, поехал.

Степью ехал. Тихо было в степи. Лишь кузнечики неумолчно в траве трещали. Небо бледное, в бледных звездах — белых лебедях. Из-за снеговых хребтов подымалась луна.

Едет старый Юсуп, улыбается, с верблюдом разговор ведет и, пьяненький, начинает напевать:

— Вот месяц смотрит... Алла-алла... Круглый, зоркий, как глаза великого аллаха... Светит мне, светит верблюду...

Дальше едет... Тихо в степи... Кто-то навстречу скачет... Свой...

Проскакал джигит. На ходу кричит что-то, но Юсуп не слышит. В небо глядит, месяцу слезящимися глазами подмигивает. Месяц щурится и ярче освещает степь.

Поет Юсуп:

— Месяц, месяц... Золотой мой месяц... Мне хорошо, я был бедняк, а вот выпил вина — богатый стал. Я старый, как в реке черный камень... Вот куплю часы... Урус часы привез... Я их куплю... Часы, часы... Гей, часы. Живые...

И он громко рассмеялся.

И зароились в его голове серебряные мысли, как те круглые, маленькие, блестящие часы, которые он видел у торговца. Их много, не пять, не десять, много. Он все их купит, все часы купит, он всем раздарит. Старой своей жене, молодой жене, да дочке... Сыну, джигиту, трое часов повесит, себе целый десяток... Ха-ха... Пусть тикают, пусть вертят стрелками. Это больно хорошо... Он верблюду часы подарит, он быку подарит. Пусть и бык при часах ходит... Хе-хе...

Вдруг слышит: застонала степь. Дробный топот по степи звучит, отчетливый и быстрый. То кони скачут, бьют копытом землю, гудит земля.

«Ага, свои...» — думает Юсуп.

Весело Юсупу. Огоньком вино по жилам бродит.

«Остановиться надо. Потолковать надо...»

Нагоняют. Купец. С ним люди...

— У меня, друг, часы пропали... Которые ты в руках держал...

«Пропали так пропали... Ха-ха... Эка штука. При чем же тут Юсуп?»

— Я не брал, — говорит он, улыбаясь старым своим бронзовым лицом. — Пусть аллах меня с коня столкнет, когда я над пропастью поеду. Я не брал...

Ласково торгаш отвечает:

— Да мы знаем, что не брал. Вот я с понятыми еду, всех обыскиваем... Вас много в лавке было...

— Ищи, пожалуйста, ищи!

Верблюда посохом по ногам слегка ударил, опустился верблюд на колени. Юсуп слез и с готовностью подошел к купцу, раскорячивая по-пьяному ноги. Глаза черные, лучистые, открыто на купца глядят. Лицо добродушное, доверчивое, бороденка хохолком — дрожит.

— Пожалуйста, ищи. Не брал...

Стали обыскивать. Халат расстегнули... И вдруг...

— Ой, алла, алла!.. — за пазухой часы.

У киргиза глаза широкие, рот открылся, замер киргиз... И, схватившись за голову, закричал упавшим, рвущимся голосом:

— Вой-вой-вой!.. Не брал!..

Торгаш на всю степь взрезел:

— Ребята, вяжи!.. В тюрьму его!..

Вмиг месяц колесом по небу завертелся и упал, серебряными нитками осыпались звезды, небо почернело, всколыхнулась под ногами степь.

Бросился Юсуп на колени, скривил свой старый рот и заскулил жалобно. И не знал, не видел из-за слез, куда ползти, кого молить, где торгаш, ласковый его друг.

— Ой, не надо тюрьма... Ради бога, не делай... Ради бога... Чего хочешь, проси...

Взял купец верблюда, велел пригнать на заре трех лучших игреневых жеребцов. И с честью возвратился восвояси.

III. ТАВРО

Купец Неправедный, рода крестьянского, в молодости пастухом был, из Монголии гонял хозяину овец.

— Я умный, — хвастался он, — богатым буду обязательно.

И верно. Разбогател — распыхался вскорости.

Народ говорил про него:

— У этого рука не дрогнет. Он крест сбросил, а совесть-то пяткой притоптал.

И задумал он в Кобдо ехать, там орудовать.

Приехал, лавочку открыл, руки загребущие расставил, хайло свое, рот щучий открыл широко.

Но рыба ловилась все мелкая, осетры к другим торговцам плыли, и ему стало завидно.

— Это что за дела, — как-то сказал он в Иркутске, в клубе, сидя в компании купцов, — вот кого

ежели б по башке шкворнем съездить да капиталом завладеть.

Купцы возмутились:

— Негодяй!! — И немедленно спустили его с лестницы.

Почти в одно время с купцом Неправедным поселился в Монголии, в городе Кобдо, тихий монгол Раптан, торговый человек. Он старик, ему восьмой десяток идет. У него три сына, два внука. Все вместе торгуют, одним живут домом.

Раптан старик хороший, норовит по правде торговать.

Подружился он с Неправедным, в гости ходит, к себе принимает.

Неправедный тихоней прикинулся, ласково обращается с монголом и со всей его семьей. Дружба завязалась тесная.

Говорит как-то Раптан другу:

— У меня душа не на месте. Я из Китая удрал, кредиторам много должен. Как Большой Кулак бушевал в Китае, у меня три магазина разграбили. Я и удрал сюда. Вот расторговался.

Год за годом протекли, десять лет прошло. В дугу согнуло время старого монгола, плохо видеть стал, плохо слышать стал, и день и ночь богу молится, готовит себя к смерти.

А друга своего первого, русского купца Неправедного, не забывает: и у него гостит, и к себе часто зовет, угощает его, подарки делает — то коров пригонит, то бегунца саврасого подарит, то пришлет купеческой жене куска два китайской чесучи.

Живет старик спокойно, прежние кредиторы потеряли его след, все пути к нему поросли бурьяном.

И вдруг напасть... Из Китая беда идет, нищету тащит за собой на веревочке.

Пришел к старому Раптану монгол и говорит:

— Ой, Раптан, берегись. Тебя ищут, тебя завтра схватят, все возьмут: чиновник в очках из Китая едет долг с тебя получать.

Раптан не сразу понял: и раз и другой переспросил гонца. А как понял, — зашатался, на пол сел, в глазах темный песок, в груди льды идут.

— Я никому не должен. Я им был должен, трем купцам. Но у меня все разграбил Большой Кулак. Пусть с грабителей ищут, пусть с правительства требуют. Я не должен.

И мрачный, опираясь на костыль, побрел к своему другу купцу Неправедному.

Пришел и тихим, старческим голосом говорит ему:

— Вот ты умный, все законы знаешь, все порядки знаешь... Ты добрый, ты друг. Научи, что делать. Защити.

Еще что-то сказать хотел, но запрыгали губы, пропали все слова, слезы полились. Лицо застыло, потеряло жизнь. Слезы льются из запавших черных глаз, а лицо спокойно. Голова низко опущена.

Страшно сделалось купцу, жалость большая родилась в сердце.

Говорит купец:

— А очень просто... И ни черта не получат...

Поднял старик голову:

— А как, друг?

Купец по комнате похаживал, красную бороду утюжил, что-то обдумывал.

— У тебя сколько голов скота?

— Верблюдов сто, быков две тысячи, лошадей с лишним тысяча, овцам счету нет... Забыл...

Сел купец, цепочкой играет на толстом животе, на лбу пот выступил: жарко.

— А очень просто! — крикнул он, хлопнув монгола по плечу. — Слушай! — глаза пошли искрами.

Монгол рот разинул, благоговейно руки сложил: вот мудрость божия польется из уст купца.

— Сейчас же клади на весь свой скот мое тавро, мою мету. А на подмогу я приказчиков пошлю, к утру все оборудуют.

— Так-так... — кивает головой монгол.

— И скажешь, что скот не твой, а мой...

— Так-так...

— А сколько у тебя товару?
— Тысяч на двести серебром.
— Скажи, что и товар не твой, а мой... Я завтра для отвода глаз и в лавку твою сяду. А ты мне вексель выдай на двести тысяч серебром. Понял?.. Так чиновник и уедет несолоно хлебавши, — поговорка у нас, русских, такая есть... А я тебе все потом верну. Не сомневайся...
Старик встал, опираясь на костыль, низко-низко купцу поклонился:
— Мы тебе верим... Мы тебе верим, друг, Ван Ваныч...

Прошло два дня, томительных и длинных.
У стариков время быстро летит: день за днем, неделя за неделей, — глядь, и год прокатил.
Но эти два дня старому монголу показались вечностью. Душа начеку была, вся преображенная, насторожившаяся до предела: словно старик переходил по тонкой жердочке чрез пропасть, а жердочка гнется — вот-вот слетишь... Ему и по земле-то ходить горе, а тут приказано идти по тропинке зыбкой.
Жутко старику.
И началась у него новая жизнь: вышел в поле, с пастухами своими живет, свой скот, меченный новым тавром купца, караулит.
А купец в его лавке сидит, торговлю ведет, ждет китайского, в очках, чиновника. Три хозяйских Раптановых сына — вроде приказчиков, тут же в лавке, робкие, прихлопнутые горем, как капканом зайцы.
В полтретьем дне — хвать! — обломилась жердочка.
Охнул старый монгол, затрясся весь: как волк перед овцой, вырос перед ним в желтой кофте чиновник.
— Я знаю, ты — Раптан, из-под Калгана, ты торговый человек, большой должник. Ты богатый. Суд постановил взыскать с тебя долг.
Вдруг душа монгола выпрямилась, взмахнула крыльями.
Твердым голосом сказал монгол:

— Да, я Раптан, честный монгол, старик. Я был богат. Теперь я беден, как после стрижки овца.

— Что-о-о? — грозно протянул чиновник, — а это чье стадо?

— Это стадо хозяйское, русского купца. Поди, справься... Вот тавро его, иди, смотри. Весь скот его. Я служу в пастухах.

Удивился чиновник, сухие губы зло кусает, очки сорвал, опять надел, кашлянул и сердито повернулся так быстро, что шелковая коса его больно хватила старого монгола по лицу.

Потом чиновник бегал в лавку, бегал в дом к купцу Неправедному.

И ничего не получил.

Купец на славу угостил его тремя щами, тремя кашами — рисовой кашей с маслом, рисовой кашей с миндальным молоком, рисовой кашей с черной ягодкой.

Тремя наливками поил самодельными, пахучими, прямо с погреба принесла сама хозяйка. Холодные наливки, а огоньком веселым окатили-обожгли китайское сердце. Китаец то плачет, то смеется. Ему жалко с русским купцом расстаться, уж очень хороший человек, жаль, жаль... Плачет китаец, разливается, очки уронил, подымать стал — упал, лопнули очки...

Купец с ним по-монгольски прекрасно говорит. Раптана ругает: «Мошенник!» — его, купца русского, тоже нагрел старый плут. Раптан выдал вексель на двести тысяч серебром, а в лавке его и на сто тысяч товару нет.

Говорит так, вексель китайцу в нос сует, а сам смешливо кричит по-русски жене:

— Ожарь-ка, Мавра, этой образине собачью ногу... Слопает...

Так ни с чем китаец и уехал. Даже собственных очков лишился...

Месяц прошел, другой прошел, прокатился год.

Купец все время твердит Раптану:

— Ты ему не верь: он караулит. Они, китайцы,

хитрые. Подкараулит, да все и отберет... Еще надо помедлить. Пока паси мое стадо, а я буду торговать...

— Это, друг, мое стадо...

— Ну, ладно, там видно будет.

Но сыновья и внуки роптать начали:

— Иди, проси купца. Теперь ничего, опасности нет. Поблагодари нашего друга, успокой, пусть о нас не заботится...

Надел старик свой новый синий шелковый халат, большие круглые очки надел, взял две ценных вазы, еще ларчик взял из слоновой кости, золотом и серебром его наполнил. Сына своего старшего захватил с собой.

Пошли.

И опять почудилось старому монголу, что он идет через пропасть по тонкой скользкой жердочке, а все небо закрыла желтая туча, и будто гром рокочет: «Как дойдет Раптан до пропасти, гряну молнией и поражу».

Говорит монгол сыну:

— Ох, что-то мне неможется. Возьми меня под руку — упаду.

Кой-как пришли.

Старик отдышался и торжественно сказал купцу:

— Вот мы хотим благодарить нашего друга. Мы принесли тебе дары. Прими от нас наши дары, и да сохранит тебя бог со всем твоим домом.

И старик упал вместе с сыном купцу в ноги.

Принял купец дары, сказал:

— Спасибо...

Хозяйка унесла дары и заперла в кованый большущий сундук с тремя замками.

— Теперь, друг, позволь тебе напомнить о моем векселе. Ты забыл... Но это ничего, у тебя дел много, забыть легко. Вот мы просим тебя, верни...

Взвилась-вздыбилась купеческая мохнатая душа... Вылупил купец глаза, вобрал в грудь воздуху побольше и, ткнув в дверь пальцем, гаркнул:

— Вон!! Вон!! Все мое — и скот и лавка! Вексель я протестовал... Все мое!! Вон!!

Часто-часто замигал старый монгол, торопливо попятился от своего друга, что-то хотел крикнуть, но, видно, пришел конец, взмахнул руками и грохнулся. Умер старик.

Осиротели дети и внуки Раптана.

То тот, то другой из них заходил к купцу Неправедному. Он их в дом уже не пускал, разговоры вел на крыльце.

— Мы, друг, думаем, что ты пошутил... Мы, друг, разорились. Нам нечего есть... У нас жены, дети, у нас старая мать... Пожалей.

Но купец и не думал жалеть: сердце его твердое.

Искали они правды — нет правды нигде. В суд подали — нет в судах правды, консулу челом били — правды не нашли.

Последний край пришел: целой гурьбой, все до единого, ввалилось во двор семейство старика Раптана и подняло гам, как на отлете птицы: бабы воют, плачут ребята, мужчины стоят суровые и молча ждут.

Вышел купец.

Все зараз закричали:

— У тебя камень, а не сердце. У тебя змея в груди. Ограбил. Ограбил. Ограбил... Не уйдем отсюда... Убивай!..

Купеческое сердце растаяло:

— Ну вот что, ребятушки. Мне вас жалко. Я вам работу дам... Кто помоложе, пусть мои стада пасет, жалованье положу хорошее... А вы трое будете у меня вроде возчиков: мой товар в Русь повезете.

Долго монголы плакали.

А купец в благоденствии до седых волос дожил. Денег невпроворот у него. Дела идут хорошо.

Он иногда любил похвастывать:

— У меня есть тридцать верблюдов. И ежели я все свои дела прикончу, все обменю на серебро — дык мне на своих верблюдах этого серебра не вывезти в Русь, не упоместить... Вот как бог помог мне, царь небесный, батюшка.

Еще недавно город Кобдо китайским был. Китайцы большую торговлю вели с монголами, большие магазины имели в Кобдо. Русские тоже торговали.

И вот между китайскими и монгольскими купцами завязалась однажды жестокая распря, войнишка началась, — чего-то не поделили торгаши: монголы стали китайцев колотить, жечь и грабить китайские товары.

Тяжелое настало для китайских купцов время.

К русским друзьям своим, к русским купцам обратились за помощью: купите наши товары за бесценок. Укройте нас.

Русские возрадовались.

Кровь рекой течет по улицам, дым клубится, раздаются вопли, гремят выстрелы — ад сошел на землю.

А русским любо. Русский купец шире расправляет свой карман, черным вороном кричит, зорко высматривает падаль.

Как-то ночью, весь в слезах, весь в страхе, прибегает к русскому купцу китаец.

Пал перед ним на колени, у ног ползает, сапоги смазные целует и не может слова сказать, языка лишился.

Купец знает, в чем дело. Купец ласковый.

Это его друг, богатый китаец Чанбо, миллионщик.

Подымает его с полу, усаживает в кресло, воды принес, папироску предложил.

— Ты что, друг?

Как грянет на улице пушка, как привскочит до потолка китайский купец, миллионщик Чанбо.

— Ой, друг... Пожалуйста, пойдем ко мне. Тебе бог поможет. Спаси, умоляю...

— Идем, — сказал купец и тяжело вздохнул.

Добрый был. Китайцы и монголы уважали его.

Истово на образа перекрестился, крикнул жене:

— Благословляй!

Молодая жена — в слезы.

— С нами бог, — сказал купец и быстро вышел с китайцем Чанбо на улицу.

Жена за ними:

— Степа! Не ходи... Пусть Чанбо у нас сидит...

— Пошла к ляду, дура!.. — зло купец отвечает ей. — Торчи дома, карауль ребят... Нас не потрогают...

Чанбо по-русски немного понимает: взыграла душа его, на купца, как на святого, смотрит, в ноги ему бух, опять смазные сапоги целовать начал, купчихе кричит:

— Бабушка, бабушка!.. Пасибо...

И оба побежали дальше.

Тьма была. Только справа стояло зарево от горевшей башни. Слышались отдельные выстрелы. Издали доносилось тысячеголосое галденье китайских солдат.

— Много ваших войск-то? — прошептал купец.

— Много, — тихо ответил китаец.

— А чья возьмет?

— Пожалуй, нас перережут...

Китаец тащил купца за рукав. Во тьме наткнулись они на что-то, и оба упали.

— Это наши убитые, — прошептал китаец, захныкал и запричитал. А купец перекрестился. Опять пошли. Звуки крепли. В воздухе пахло дымом, порохом.

Навстречу попалась целая стая собак. Они выли, подлаивали, щелкали зубами, грызлись, невидимыми клубками катаясь по земле.

— Входи, — сказал китаец.

Они вошли в калитку глинобитной, выходившей на улицу стены. Фанза китайца, склады и лавки стояли в глубине огромного двора.

Вдруг китаец остановился. Остановился и купец. Замерли. Кто-то хрипит во тьме.

Китаец ухнул, завопил:

— Зарезали... Брата зарезали...

Но нет!.. Знакомый слышится зов:

— Чанбо! Чанбо!.. Иди скорей...

Бросился Чанбо своему юному брату на шею, а тот говорит цепенеющим от страха голосом:

— Двое врагов были. Мы с приказчиком отстреливались. Приказчика зарезали, ушли... Грозили вер-

нуться. Я боюсь, Чанбо... Чу, как хрипит приказчик... Боюсь...

— Не бойся, — успокаивает купец, — при мне не имеют полного права тронуть... — Говорит так, а сам тоже не может зуб на зуб попасть.

Все трое вошли в фанзу. Огонь зажгли.

— Со мной не потрогают. Нам, русским, монголы заявили: кто боится — уходи за город. Кто не боится — сиди на месте: русским никакого худа не будет.

И не успел сказать, как шум на улице послышался, загалдели люди, близко где-то затрещали выстрелы.

— Идут!!

Заметались братья, не знают, что делать, куда укрыться.

— Полезайте на всякий случай в лавку, заройтесь в товар.

Но там одним китайцам страшно.

— Тогда айда в мешки! Мешки пустые есть?

— Есть.

Два больших мешка живо притащили, сели в них, купец прочно завязал каждый мешок и поставил в угол.

— Сидите смирно, скажу, что это мои мешки с верблюжьей шерстью. Только ни гугу. Не шевелись!..

А в сердце купца уже вступила соблазнительная алчность.

«Нет, нет...» — зло отмахивается купец.

Рев все ближе. Рядом. Отдельные выкрики ясно слышатся.

Купец выбегает с фонарем на крыльцо.

— Эй, что надо?! — кричит ворвавшимся во двор монголам.

Тех много. Факелы в руках. Возбужденные, в зверей обратившиеся, пьяные кровью, бегут шумной ватагой к крыльцу.

— Что надо?! Стой!! — нарочно по-русски кричит купец.

Бегут к крыльцу, галдят, сверкают большими ножами, ружья наготове, дубины подняты.

— Ты русский? — крикнул один из них, подбежав вплотную.

— А ты не видишь? — по-монгольски строго говорит купец. Растаял в сердце страх.

— Не видим... Темно... Где Чанбо?

— Нету.

— Врешь!

— Нет, не вру!!! — сердится купец. — Товар не смей поджигать: мой товар. Все купил я!.. Русский!.. Я!!!

Остановились.

— А то казаков кликну своих. Русских! Солдат!

— Мы тебя не тронем. Товар твой не тронем... Мы китайцев режем... У нас война... Где Чанбо с братом?..

И хлынули в дом. Купец за ними.

«Убей...» — соблазняет купца алчность.

Купец молчит, тяжело дышит... Лоб холодным потом покрылся, замирает сердце.

Толпа по закоулкам в лавке шнырит, в сундуки заглядывает, а на мешки внимания не обращает.

«Убей, убей. Все твое будет», — неотвязно мерещится купцу.

— Мое!..

Не то крик вырвался, не то зарницей мысль стегнула в ошалелой голове купца.

«Война все простит, все покроет...»

Черный свой голос, задыхаясь, подает купец:

— Чанбо нет, брата его нет. Слышите?!

Обомлевшие китайцы, едва дыша, богу молятся, русского друга прославляют и радуются последнею своею страшной радостью.

— Слышите?! Чанбо нет, брата его нет: они далеко убежали...

А сам мигнул монголам и предал китайцев твердым жестом недрогнувшей руки.

Два кривых ножа сверкнули, два ножа кровью обагрились... Не стало братьев.

А купец?

Купец всю эту ночь, как ушли монголы, на верблюдах китайский товар к себе возил. Весь следующий день возил. Всю неделю возил.

Он молчал, ни с кем не говорил, только рукой указывал. Как кончил с товаром, пить стал.

V. ГНУС

Был купец, по прозвищу Гнус.

Лицом курносый, борода лопатой, глаза яблоками, на лоб вылезли, наглые. Корпусом толст, голосом зычен: как гаркнет в поле — лошади шарахались в стороны.

А удаль в нем степная, дикая: скакать бы ему на бешеном коне по полю, глушить бы проезжих с товарами ямщиков, чиновников, купцов.

Да так оно и было.

Ведь черт его знает! Ведь горы золота нажил человек, а любил, бывало, пошалить темной ночью с лихими киргизами, друзьями своими, побарантачить. Видно, кровь в сердце кипучая была. Подобрал себе шайку отпетых и стал с ними по горам гулять. Удали через край в Гнусе, а скупость сказочная. Несколько лавок у него. Весь округ должен ему.

Долги собирал он натурою: возьмет у калмыка телят двадцать за долг, за какие-нибудь двадцать кирпичей чаю, по рублю кирпич, да и скажет ему:

— Ты, друг, оставь телят-то у себя. Где их буду пасти, у меня земли нету.

Калмык пасет их год, и другой, и третий. А потерять или продать — не смеет: телята все купеческим, Гнуса, клеймом мечены.

На третий год посылает Гнус подручного и берет своих трехлетних быков.

А калмык по простоте душевной думает:

«Все верно, все так... Теленок был, бог растил — бык стал...»

Как-то монгол задолжал Гнусу целковый. Хорошую у него трубку купил. Монголу без трубки нельзя, как красавице без румян. Бедный, неимущий монгол.

Гнус сказал:

— Вернешь мне через год за целковый пять шкур сурка: процент на тебя накладываю.

Монгол с процентом очень хорошо знаком: монголы купцами обучены, процент вот где у них сидит, ради процента — чтоб его шайтан съел, — все они и бедные, и живут по горло в долгах, в кабале вечной.

И случилось так, что у монгола не оказалось к концу года лишних шкур: на сторону продал, повинности справил, семью кормил в голодный год. Уплатил всего две шкуры.

— На будущий год уплатишь мне две овцы и три шкуры. Процент накладываю.

Монгол отлично понимает, что такое процент, тяжело вздохнул монгол, но делать нечего.

Вот и второй год кончается. Дела еще хуже идут. Одну овцу притащил.

— Теперь ты будешь должен мне годовалого бычка и пять овец. Теперь все дорого, доставка дорогая. Большой процент накладываю.

До пяти быков дошло дело, до пяти верблюдов. А каждый верблюд сотню рублей стоит.

И век бы сидеть в неоплатных долгах монголу, да догадался, умер. Процент сгубил молодца.

А и всего-то трубку купил, вещь малую.

Но были случаи и почернее.

Лихие молодцы киргизы. Но и Гнус охулки на руку не положит.

Завел себе весь наряд киргизский: малахай бархатный с лисьей выпушкой сделал, чатпор березовый вырезал — такую палку, с корневищем на конце, трахнешь по голове — череп, как арбуз спелый, разлетается! А конь у Гнуса — черту брат: ветер нипочем ему: что ветер! — стрелу певучую обогнать может. Гнус атаманом стал.

И никто об этом не догадывался. Только ночь темная, да широкая степь, да горы знали. Да еще те, несчастные... Но те слова не вымолвят, немую жалобу с собой уносят в землю.

Надумал Гнус караван с серебром обобрать: серебра в Монголию идет много, в слитках, серебро там ценится.

Издалека начал выслеживать Гнус, за границу проводил в Монголию. Там степь, жилья нету, кричи сколько хочешь, плачь, умоляй — степь все выслушает скорбно, но защиты не даст.

Идет караван степью и не чует беды. А беда по пятам крадется, жмется у гор, серая, как серый щебень-курум.

Идет караван ходко, но и солнце не дремлет, книзу катится, вот-вот сядет на сизые хребты. Караван торопится: в степи воды мало, надо у речки ночевать, а до речки десять верст.

Как пал сумрак, говор речки послышался. И люди и лошади обрадовались: отдых.

Не успели еще коней выпрячь — вихрем налетела шайка... Арканы в ход пошли, руки ямщикам вязать начали, конвойных смяли, — много ли их, всего три человека. Один сопротивляться стал...

И быть бы злу великому, но кто-то помешал: то ли казаки из Кобдо в Кош-Агач почту везли, то ли знакомый купец ехал — гикнул Гнус, и вся его ватага умчалась в горы.

«Сорвалось», — сердито думает Гнус, губы себе в кровь искусал, коня взмылил и долго, ругаясь, грозил кулаком золотому огоньку, что робко замигал у речки.

Этим дело не кончилось. Начальство узнало, кликнуло клич.

— Ребята! Кто желает разбойников ловить? Кто хочет получить награду? Шаг вперед!

Выискалось двадцать пять казаков, двадцать пять отпетых голов. Снарядились, поехали чуть свет в путь-дорогу с казацкой песней, с бубнами. Лихо кони мчат, лихо скачут: степь ровная, с гор прохладой веет.

К горам подъехали казаки, в балку заглянули — пусто, в долину речки заглянули — нет следов, дальше поехали, песни не поются, смолкли бубны. Тихо едут, слова не проронят: как бы не спугнуть врага.

Вот и дню конец, а казаки еще и привала не делали, утомились, по сухарям соскучились; лошади похрамывают, корму просят.

Остановились на ночлег.

Гроза надвигалась. Сумрак наполнил степь, скрыл горы. Вдали безмолвно играла молния: вспыхнет там где-то за хребтами, потрепещет над вдруг всплывшими из мрака вершинами и тихо погаснет.

— Дождь будет, — сказали казаки и быстро палатки раскинули.

— Гроза идет, — сказали казаки, поужинали, чаю кирпичного напились и завалились спать.

Гроза надвигалась.

Две грозы надвигались на казаков. Светлая гроза, с молнией и ливнем. Черная гроза — Гнус, душа коварная.

Карауль, сторожевой казак, карауль!.. Черная гроза — опасная.

Сторожевой казак, Петр Байкалов, боится небесной грозы, его громом в детстве еще оглушило. Стоит Байкалов, молитву шепчет, винтовку дрожащей рукой поглаживает, собирается старшего будить. А старший злой: Байкалов и его боится, и грозы боится, не знает, как быть.

Гроза надвигается быстро, ветерок впереди нее идет, разметает степную дорогу, вольную.

Байкалов к самой палатке подошел, а войти не смеет. На небо опасливо смотрит, как бы оттуда стрелой гремучей не пустили. Небо огнем кроется, вздрагивает казак, крестится:

— Свят, свят, свят.

Гром глухо стучит и рассыпается по горам горохом.

Тьма. Ветер травой шуршит, ветер палатку треплет, стал накрапывать дождь.

Тьма густая, предательская. И ничего-то в ней не видать, ничего-то в ней не слыхать: лишь сухая трава шуршит.

Эй, смотри, казак!.. Как блеснет молния — смотри!

Товарищи храпят, пуще всех старший храпит и что-то во сне бормочет. И чует казак, две грозы идут; вторую, черную, сердцем чувствует, защемило сердце тоской...

Крестится казак:

— Господи, спаси... Чего-то чижало...

В небе молния золотой веревочкой с краю в край стегнула, засияла степь, гром ударил близко... Байкалов проворно залез в палатку и с головой шинелью закрылся.

Эх, казак, казак...

Шорохи по степи ползут, много шорохов...

То не дождь ли льет-поливает, не град ли барабанит по земле?

Нет, не дождь... Нет, не град...

Шорохи крепче, сильней. Это смерть по равнине хлещет.

Две грозы грянули враз над казаками. Гроза огненная грохотом все заполнила... А черная гроза с лешевым гиком и посвистом мертвой лавой пронеслась: три тысячи бешеных коней во весь опор проскакали по спящим казацким телам.

Одну слякоть оставил от казаков Гнус, душа звериная.

Далеко стегнула по Алтаю Чуя, священная река!.. Бурлит по крутому склону, вся седая, вся косматая, яро камни точит, грозит своим гневом человеку. Стой, Чуя, стой!.. Гляди — восход стал розовым... День идет, день идет, ночь кончилась... Еще немного — и твои волны запоют иные песни и будут сказывать новые были, светлые и радостные. Да не повторится прошлое, да не затмит оно грядущего дня. Эй, останови, Чуя, гнев свой, не точи яро камни... Милости, Чуя, священная река, больше милости!

СУД СКОРЫЙ

I

Красное летичко развернулось над тайгой неописуемой прелестью. Стояли погожие дни. Солнце рано всходило из-за пологих хребтов, поросших пихтами, сосной и елью, расстилало по небу румяное покрывало и, медленно поднимаясь, наполняло радостной жизнью и дебри леса, и широкую долину северной реки[1]. Тогда утренняя прохлада переходила в знойный день. Таежный воздух насыщался смолистым, опьяняющим ароматом, долина реки благоухала запахом ромашки, полыни, мяты и отцветающей черемухи.

Жаркий день сменялся вечером, за ним шла таежная ночь, иной раз такая холодная, что закрайки лесных болот и мочажи покрывались тончайшим стеклом ледка, а трава и листья дерев седели и в голубоватых лучах луны казались сотканными из серебра.

На самом берегу, прижавшись к густой стене леса, стояла небольшая, кое-как срубленная изба. Днем ставни ее закрыты, чтоб не так пекло солнце; когда же опускалась на землю ночь, окна раскрывались, внутри зажигался огонь. Из раскрытых окон

---

[1] Река Нижняя Тунгуска.

порой врывались ругань и крик, порой разудалая песня с присвистом и гиканьем.

Маленькая эта избушка с ее обитателями затерялась в непроходимой тайге, тысячами верст и бездорожьем отделенная от мира: сюда и ворон-то залетает редко, здесь медведь живет да тунгус, тунгус да медведь, да белка с горностаем и другие звери. Да еще разве леший с комарами и прочим гнусом.

А вот русский купец из мира пришел сюда, из того далекого-далекого сказочного мира, пришел сюда, сел, срубил избу, стал хозяйничать. Он хитрый, этот молодой, с чуть пробивающимися усиками человек, он ловкий, сильный, всего привез с собой, приплавил сверху по воде всяких товаров, каких только надо, и, главное, водки. Такой хороший этот Борька: как свет стоит, никто сюда не заглядывал, тунгус на Ангару ходил за «покрутой» — за тысячу верст по тайге, по звериным тропам, а теперь, слава богу, тунгусу не надо заботиться, как раньше: все привез к нему этот милый человек, дружок Борька.

Да он не один пришел, а захватил с собой двух парней — сподручных и еще девушку Машу. Говорят, сманил ее, насулил горы — «Поедем, женюсь, хозяйкой будешь», — девку долго ль сбить с толку, а тут еще у Борьки черные кудри и глаза большие-большие, печальные, а лицо белое и с горбинкой нос.

II

Верстах в тридцати от них, вниз по реке, было стойбище тунгусов. Здесь жили три семьи, перекочевавшие из тайги на реку, где меньше гнуса и есть долинки с шелковой травой, хорошим для оленей кормом. Чум Конго, молодого и ловкого тунгуса, стоял у самой реки, чум его брата Найканчи стоял повыше, а старик Унекан залез выше всех, расположившись на полянке в лесу.

Старик был большой задира и всегда буянил, когда напивался водки. Его толстогубое лицо угрюмо и сосредоточенно, голос грубый, надменный, но глаза

светились нежными огоньками, и не было в них ни луча злобы.

Найканча с братом были молоды, только что поженились, отчего лето казалось им особенно привлекательным, улыбалось им солнце, а месяц по ночам шептал им красивые сказки.

Однажды утром, после удачной охоты, старик сказал:

— Однако, огненной воды надо достать...

Оба молодых промолчали, только почмокали губами и долго сквозь зубы сплевывали, сидя у костра.

— Однако, надо бы... а? — повторил старик Унекан.

— Как не надо. Надо, — нерешительно ответил Конго и, покосившись на свою жену, добавил: — Только далеко.

Все тогда враз заговорили.

— Как далеко! Чего зря толкуешь.

Конго перевернулся животом вниз и, роясь в земле сучком, стыдливо лепетал:

— Маленько далеко, маленько близко...

Опять все на него набросились, обзывали ленивым лежебоком.

Конго вмиг вскочил и сказал, улыбаясь черными глазами:

— Давай деньги. Пойду...

Захватив пальму и ружьишко, он припустился вдоль реки по песчаному, покрытому мелкой галькой приплеску. Река шла здесь прямым и длинным плесом. По берегам ее стояла стеной тайга.

III

Еще не закатилось солнце, как вернулся Конго.

Он принес бутылку дрянного коньяку и две бутылки водки, приготовленной из разведенного некипяченой водой спирта.

— Сколько заплатил? — спросил старик.

— Дян-тунго-деляко, пятнадцать... Друг последнюю отдал, вся...

Тогда старик по-русски, путая слова, забурчал:

— Шибко плут стал. Шибко мошенник... Борони бог, как... Пошто так дорого брал?

Найканча и старик лежали около костра, посматривали на баб, на сковородку, где вкусно закипало сало и бухались комочки теста, превращаясь в поджаристые лепешки.

— Конго! — крикнула румяная Чочак своему мужу, щепавшему пальмой длинную лучину из сухой лиственницы, — не шайтан ли заткнул тебе мохом уши? — Она рассыпалась звонким смехом. — Слышишь? Тащи ягод...

И застрекотала своей подруге, стала рассказывать ей, какой хороший сон видела прошлой ночью: будто пошла она стрелять белку и вдруг...

— Ну, бабы, скоро управитесь? — крикнул старик. — Давай лепешки-то, давай мясо, давай чай!

Жена Найканчи, гикая, бегала по тайге и ловила оленюху, чтобы надоить к чаю молока, а Чочак звонко:

— Гей, бойе. Идите есть!

Солнце уже закатилось за почерневшую стену тайги, потянуло сыростью, закурился туман над примолкшей рекой, вдали, в густых зарослях лебедника, крякали, гоняясь, утки, а на западе меркли краски зари.

Старик Унекан глодал громадную кость, обсасывал пальцы, вытирал руки о кудластые свои черные с проседью волосы. Одна бутылка выпита, достали другую.

Старик все жаловался на свою жизнь, на то, как обидел его бог, наслал мор на оленей, олени попадали, — много ли их теперь? Эх, что и говорить! Олени, что ж, олени ничего, — олени туда-сюда... А вот жену жалко, отца жалко, детей жалко, — всех слопала оспа, такое лихолетье выдалось, много тогда тунгусов сжила эта самая болезнь со свету. И вот остался он сиротой. С молодых лет остался. Один да один.

Конго подал чашу с водкой:

— Пей, бойе, пей...

IV

Водка убывала. Лицо старика становилось шире, толстые, лоснящиеся от сала губы то подбирались колечком, словно хотели поцеловать сидевшую рядом Чочак, то вытягивались смехом чуть не до ушей, и тогда старик, сюсюкая, хихикал, крутил головой, махал весело руками, а глаза его совсем исчезали с лица, и только лучистые складки кожи изобличали то место, где они притаились: вот-вот блеснут...

И мысли в голове старого Унекана потекли иные — радостные и приятные.

У него, слава богу, и оленей много, и все они здоровы и сыты, толсту-у-щие, и есть, слава богу, много пушнины, — лабаз ломится. Раньше что? Ха!.. Раньше — тьфу! Жены нет — это ничего, куда ему. Детей нет — это ничего, проживет и так, одному легче, сам себе голова, встал, пошел. Зато собаки есть! Омко, Биря, Урядник, Камса... И он их любит пуще всего. Особенно Урядника: самый лучший пес, с ним не пропадешь, хозяина не выдаст. Он всех любит, он все любит: вот дым курится — любит; комар жужжит и сел на нос — любит и комара; утка крякнула — «Ах, утка ты моя, утка!» Все любит и сейчас запоет русскую песню, которую он перенял у своего дружка Борьки.

Бабы тоже выпили по чашке коньяку и еще норовили выпить, но мужики отняли.

Старик клевал носом, бормотал какие-то слова и время от времени что-то ловил руками в воздухе.

Вот и звезды рассыпались по небу, в тайге стало темнеть.

Старик поглядел вверх, подмигнул звездочке, погрозил ей пальцем и захохотал. И все захохотали: и Конго, и Найканча, и обе женщины.

Старик вдруг смолк, поглядел сонливо запавшими чужими глазами на друзей, медлительно потянул руку к голове Конго, сгреб его за косу и стал пригибать к земле. Тот вырывался, все еще улыбаясь, но старик как следует вцепился в его волосы уже обеими руками и, хрипло крича: «Г-г-г-а-а-а!..» —

возил Конго по земле. Тогда Конго, перестав улыбаться, тоже вцепился в волосы старика, и так они оба катались возле костра и кричали что-то гортанными голосами.

В Конго вцепился Найканча, в него — жена Конго — Чочак, в нее — жена Найканчи. И все, изобразив копну пыхтящих, лениво и медленно, словно во сне, барахтавшихся тел, теребили друг друга за волосы, царапали лица: бабы повизгивали, мужчины гикали.

Двадцать две собаки заливались радостным лаем, скакали как угорелые, сшибая друг друга, и теребили за одежду своих хозяев, притворно ворча и приседая на задние лапы.

Унекан встал, весь мокрый, на ноги, схватил срубленную сосенку и, суясь носом, принялся ею возить с размаху то по куче тел, то по угасавшему костру, подымая тучи пепла.

При каждом ударе он крякал и, взвизгивая, кричал:

— А, шайтан! Тебе мало?! А-гык!

Все враз остановились, поглядели на него и друг на друга дикими глазами, поправили волосы и, тяжело дыша, принялись хохотать.

Лицо старика передергивала еще не утихшая пьяная злоба, левый глаз прыгал, то закрываясь, то открываясь, и непослушно косился рот. Он тяжело засопел, подскочил к улыбавшемуся Конго и молча треснул его кулаком в глаз.

Конго всплеснул руками, закрыл ими лицо.

— Это ничего, — равнодушно сказал старик и ударил его в нос.

У Конго показались слезы. Старик похлопал его по плечу, и они оба принялись целоваться, хохотать и плакать.

Вина больше не было, сон наваливался, стали укладываться на ночлег тут же у костра. В чуме душно, здесь свежо, и горит веселым огнем костер. Комары? Но они тоже, может быть, выпили водки, они уснут. А если и попьют маленько крови — пусть. Все уснут крепко и будут видеть хорошие сны. Медведь придет? А собаки... Да разве они подпустят зверя... Эй, Урядник, Камса, фють!

Укладываются и все говорят, все говорят, потом умолкают.

Только Чочак не хочет молчать. Она сидит у костра, смотрит, как переливаются серебром и золотом угольки. Глаза задумчивы, дрожат пушистые ресницы, черные косы в бисере разметались по огненно-красной в лучах костра рубахе, а смуглые щеки рдеют румянцем, и яркие маленькие губы трепещут от милых, таких родных сердцу, слов песни, которая льется, и звенит, и летит над рекой в лес, в горы, в небо, где звезды ходят табунами, и слушает, улыбаясь, месяц.

Она поет:

«Вот солнце утром покажет из-за деревьев свое темя, тогда Конго пойдет к своему дружку. Как только свет белый будет, Конго побежит стрелой к дружку. Конго ловок и силен. Он скачет, как олень, за которым гонится смерть. Он принесет вина, сладкого, как сахар. Чочак любит сахар. Чочак красивая. Она, пожалуй, пойдет с Конго. Им будет дорогой весело. А у дружка их угостят самым сладким вином, от которого загорятся глаза и захочется целоваться и плакать».

Долго она пела звенящим своим серебряным голосом. Старик уже спал, обхватив крепко Конго. Дремали, растянувшись на оленьей шкуре, Пайканча с женой, а Чочак пела чуть не до рассвета.

V

На заимке у торговца с часу на час ждали сверху большую ладью — шитик с товарами. Рассчитывали приплыть за льдом следом. Вот уж и июнь начался, вода скатывается быстро, скоро появятся в реке мели, а шитика не видать.

Наступило время охоты за сохатым; тунгусы из ближних мест: и Буркнуль, и Рынтай, и Чочку с Васильем — давно уже наведываются у своего дружка Борьки, плывет ли его брат Гришка: порох весь вышел, свинец весь вышел, надо сохатого промышлять, а ничего нет, пистонов нет, дроби нет. Пристают

к Борьке, просят: «Дай! Сколько хочешь бери, только дай, ради бога дай!» В ногах у него не валяются. Нет, от тунгуса этого не жди, тунгус знает себе цену, и знает цену торговому: мошенник, больше ничего.

Они прямо ему говорят, в лицо говорят:

— Ты плут, Борька... Шибко мошенник стал...

Борька в ответ мигает, хохочет, угощает тунгусов водкой... Пьют и все мягче становятся. Глаза из сверкающих гневом превращаются в покорные и полные тоски.

— Ты, друг, не обижай нас. Пошто так? Не славно...

— Да ведь дешево беру, где найдешь дешевле?

— Дешево брал, а пошто писал лишку? Пошто расписка врал? Плут...

Борька божится, иконы целует, на стену лезет, уверяя тунгусов, что большой убыток взял. Нет, Борька уйдет отсюда, совсем разорился, — это что же такое, прямой разор, — и за что его зовут мошенником и плутом. Он всей душой норовит, а его ругают.

Говорит так Борька, а сам знай подливает водки.

Глаза тунгусов становятся ласковыми, речи спокойными. Целуют Борьку, говорят ему:

— Ты, друг, не уходи. Живи. Пошто так. Тоскли-и-во, как уйдешь... Борони бог, как...

— Нет, уйду, — говорит Борька, — вот проторгую год, долг соберу, и поминай как звали.

Тогда все враз кричат:

— Пошто поминай! Не надо — поминай!.. Живи...

Так изо дня в день: то один чум придет, то другой, то целое стойбище.

А Борькиного брата Гришки нет.

Маша, румяная, маленького роста девушка, каждый день надевала корсет, купленный Борькой, завивала темные волосы, надевала голубенькое, с белой тесьмой платье, залезала на вершину высокой, стоящей у берега сосны и подолгу смотрела в ту сторону, откуда должен показаться шитик. Она тосковала по своему дому, по подругам и парням, а пуще всего по отцу с матерью, и все ждала хоть какой-нибудь весточки, которую вот-вот привезет Гришка.

А Гришки все нет.

И Маша, сидя на сосне, затягивает песню, тоскливую и протяжную, а сама все смотрит вдаль, смотрит и поет, и не замечает, как вдруг хлынут слезы и скроют из глаз и реку, и тайгу, и солнце. Тогда Маша, прислонив голову к смолистому дереву, начинает, не узнавая и пугаясь своего голоса, выть.

Борька дома кричит:

— Ты, черт, опять ревела?

— Нет...

— А почему бельма распухли и морда красная? Стоскова-а-лась?

— Меня, Боря, комары...

— Комары?! — Борька размахнулся и дал ей две пощечины.

Маша взвизгивает и, семеня ногами, бежит в свой угол, валится животом на кровать и, рыдая, стонет:

— Бессо-о-вестный... Уйду...

— Никуда ты не уйдешь... Куда ты, сука, можешь отсюда уйти!

И Маша замолкает, зная хорошо, что уйти отсюда некуда.

VI

Вчера к торговому прибежал Конго, взял вина.

Борька был уверен, что Конго завтра опять придет за водкой и радовался, что вышел из тайги Унекан, старый хороший зверолов.

Сегодня к обеду действительно опять прибежал Конго.

— Давай, друг, вина. Все кончал. Много давай... Маленько много...

— Вина? Ладно... А что это у тебя щека-то?

Конго стыдливо прикрыл рукой распухшую щеку, молча сел в угол, под образа.

— Дрались?

Конго, запинаясь, ответил:

— Маленько... тыкал... мордам...

— Кто? Старик?

— Кто боле, он... Маленько...

Торговый взял двух собак: одноглазую Пальму и трехногого Ушкана, взял ружье и направился, вместе с Конго, по таежной тропе. С версту прошли, как вдруг услыхали позади себя: аукал и кричал женский голос.

— Марья бежит... — остановился торговый, вскинул ружье и выстрелил.

— Ау-ей!.. — послышался в ответ ее крик.

— Однако, приехали, — сказал Борька и повернулся назад.

— Однако, приехали? — вопросительно повторил Конго, поворачивая за ним.

Из-под горы, где журчал ключ, подобрав высоко юбку, бежала, суча локтями, Маша.

— Гриша приехал! Письмо привез мне... Пойдем, пойдем скорей, Боря... — вся радостная, взволнованная, кричала она.

— Ну, прощай! — наскоро бросил Борька тунгусу.

— Ну, прощай! — ответил тот, улыбаясь.

Пробежав шагов десять, Борька остановился и позвал:

— Конго!..

Тот остановился.

— Толкуй Унекану, чтоб шел завтра сюда на оленях. Пушнины тащите больше!.. Сам приходи, слышь?

— Говорю, бойе, говорю!.. Ладно, дожидай, бойе... Как не придем, придем!..

— Ба-а-б, баб берите!!

— Брал, бойе, брал!

А Маша кричала хозяину:

— Пойдем... Да Бо-ря же!..

VII

Гришка привез с собой в приказчики какого-то пропойцу — верзилу Оглашенного, человек пять рабочих и серую кобылу.

Оглашенный был детина саженного роста, с тупым взглядом оловянных глаз, безбровый, безборо-

дый, усатый человек, прошедший огонь и воду. Во всей его фигуре было что-то звериное, вызывающее страх. Говорил он густым, осипшим, диким басом. Пиджачишко его не по росту узок, с короткими рукавами, штаны широки и стары, с заплатами и прорехами, из которых сквозило нагое тело, давно не знавшее бани.

Во время обеда, когда изрядно «на радостях» подвыпили, Борька, между прочим, сказал:

— Ребята! А знаете что? — и обвел всех смеющимся полупьяным взглядом. — Давайте-ка завтра тунгусов судить. Идет?

Верзила прохрипел:

— Идет... Это мы можем. По тунгусам я хаживал... Всякие явления пустить могу.

Долго сговаривались, как это устроить, шумели и пили вино, обдумали все как следует, хохотали и пели, целовались и ссорились, мирились и плакали.

Борьке жаль тунгусов: он любил Конго и любил Чочак, которую знал еще девочкой. Ему первому принадлежит ее любовь, и вот она завтра придет сюда и опять будет его женой. Конго напьется пьяным, а он, Борька, царь и бог, — он будет целовать Чочак в ее маленькие губки, будет говорить ей сказки, играть на гармонии и петь песни. Маша? Машу прибьет, прогонит к брату, прогонит к рабочим:

— Ребята, хошь?

А Маша стоит трезвая, прислонясь к косяку двери, стоит, вся как снег белая, шатается, в глазах темно. Шепчет:

— Черт, Борька, черт... Окаянный черт...

Прикрывается фартуком и бежит в кухню, опять валится на кровать и, уткнув голову в подушки, начинает голосить.

В комнате слышится смех и ругань, самая скверная, и рассказы самые дикие, безудержные. И все это покрывается хохотом Оглашенного, сиплым, надсаженным, страшным.

— Мамынька... Вызволи меня... Мамынька... — убивается Маша. Но знает она, что нет отсюда выхода.

Борька сидит, обхватив руками кудрявую свою голову, плачет и говорит:

— Жаль... Мне жаль... Вот как жаль их...

— Кого? — хрипит Оглашенный.

— Тунгусов жаль... Проклятые вы все...

— Тунгусов?

— Да, тунгусов... Убежал бы. Да куда? Батька послал... Убьет...

— Чего их жалеть, кого жалеть-то?.. Тунгус разве человек? Тунгус — зверь... Зверь и зверь...

— Сам ты зверь! Толстобрюхий этакий... Сволочи вы все... Окаянные вы все... Живорезы...

Сидит пьяный и плачет. Слезы текут неудержимо, и он ничего не видит, кроме Маши, кроме Чочак и старого Унекана, которого завтра он, Борька, окаянный Борька, христопродавец Борька, будет дурачить и обижать.

Пьяное сердце Борьки размякло, и вот проспится он, и сердце его снова станет жестоким, низким... Эх, бежать бы ему от этой постыдной жизни, ведь он сильный, молодой... «Милая Чочак! Улететь бы с тобой, унестись бы в край света». Но нет в Борьке нужных сил, нет и трезвой воли.

Он угрюмо смотрит в пол, трясет головой, льет слезы. А все валяются под лавками. Все давно спят, пьяные, грязные, храпят, и уста все еще твердят срамные речи.

Только Оглашенный не спит. Сидит, суется носом и дожидается, когда свалится под стол новый хозяин. Может быть, удастся пощупать его карман. К Оглашенному подходит старик-рабочий и говорит, встряхивая желтой бородой:

— Пойдем-ка, паря, взглянем на шитик, не угнало бы ветром: ишь верховка начинается.

Пошли. Светло было. Пташки пробудились. Из-за горы выползали лохмы туч, и дымилась вдали вершина высокой каменной сопки. Волны шлепались о борт шитика, ветер колыхал парусинную на нем

палатку, река покрыта мелкой рябью, и шумела тайга.

— Поспать бы, — сказал Оглашенный, потягиваясь и зевая огромным своим ртом.

Учалив покрепче шитик, направились оба к амбару, где торговля, открыли никогда не запиравшиеся двери — к чему в тайге запирать, кто возьмет, куда схоронится, — раскинули все кипы сукна, одну на прилавке, другую на полу, в головы бросили по куску ситцу, притворили дверь — сразу темно стало в лавке — и улеглись спать.

Старик-рабочий, лежа на полу, говорил Оглашенному:

— Тебя как это, паря, принесло-то к нам, в такую погибель-то?

Тот шевельнулся на прилавке, на мягкой кипе сукна, вздохнул и ответил:

— Да так... Обыкновенно как... Хозяин пьяного подобрал в Киренске, да и обделал... Всю дорогу на убой поил до самой вашей реки. А как на нее попал хозяин, это Гришка-то, и говорит: «Ну, теперь ты наш. Теперь никуда не денешься».

— Куда отсюда тронешься, — прервал старик злым голосом, — птицей обернись, и то не улетишь. В какую сторону броситься-то, не знаешь, не то что... Охо-хо... По тайге пойдешь — с голода подохнешь аль зверь заломает, по реке сплавляться — без малого две тысячи верст до жилого места, да и пороги, сказывают, бушуют впереди...

— Дак как же быть-то? — упавшим голосом не то старику, не то себе задал вопрос Оглашенный.

— Давай лучше спать, паря, — откликнулся старик, — гляди, день скоро... Чего-то сон долит...

Ветер крепчал. Слышно было, как сердито шумела тайга, словно несметные табуны птиц, свистя крыльями, беспрерывно неслись над амбаром.

— А Гришка-то, по-моему, фру-у-кт... — протянул Оглашенный.

— Он-то? Хо-хо-о-о... ты его еще, паря, не знаешь... Ужо-он... У него, у мошенника, правда-то, конечно, что харьковская дуга, прямая...

— Как встретился он с Борькой-то и стал ему нашептывать за кустом: «Оплел, говорит, я Оглашенного-то, подходяще: за пятьсот на год подрядил, а рассчитаем по сту...» А я подслушал... — Верзила сердито замолчал и шевельнулся так, что заскрипел прилавок. Старик стал посвистывать носом и легонько всхрапывать.

— Ты спишь, старик?

— А? Ты чего?

— Спишь, мол?

— Нет...

— А Борька-то как, ничего?

— Борька что ж, Борька ничего, добер... До нас добер... — сквозь сон мямлил старик. — Только шалый, не приведи бог какой: пьяный плачет об тунгусах, жалость будто на него нападает, а тверезый — опять за свое. Али взять хоша бы тунгусок: он их, молоденьких-то, самых зелененьких-то, сколь перешерстил! А так ничего, ничего... Оно... Этово... Как колокол тащили: прямо по ноге...

— Какой колокол?

— А?

— Ты про какой колокол говоришь?

— Ни про какой не говорю, — сонливо ответил старик и явственно выговорил: — Давай, паря, спать.

Тайга гудела несмолкаемым гулом. Что-то охнуло вблизи и встряхнуло землю.

— Дерево упало, — октавой сказал Оглашенный.

Ветер распахнул дверь, с силой ударил в стену и опять захлопнул, обдав холодом дремавших в амбаре людей.

— Пойдем-ка, паря, народ будить... Однако надо вытащить шитик-то, — сказал, подымаясь, старик.

Оглашенный недовольно, с злорадством, прохрипел:

— Гори он огнем, окаянный, и с добром-то ихним... Награ-а-бят, не беспокойся, — и хвастливо угрожающе добавил: — Я еще, язви их, покажу им фигуру!

VIII

Старик проснулся, разбуженный руганью. Слышно было, как у реки говорил народ, пели отчаянными голосами «Дубинушку» и звенел фальцетом голос Гришки:

— Нет, вас в тюрьме сгноить надо, окаянных!..

Старик прислушивается, кряхтит и тормошит за плечо храпящего Оглашенного:

— Эй, ты! Чего ворчишь! Вставай-кась! Слышь!.. Пугало...

— Уйди к ляду... — бормочет Оглашенный и продолжает храпеть.

— Ну, пес с тобой, — отвечает тот и выходит на воздух.

Сеет тихий маленький дождик, все серо кругом и грустно. Две сороки стрекочут, посматривая на хмуро стоящую кобылу. Противоположный гористый берег чуть маячит серой бесформенной массой, а каменную грудь сопки принакрыли седые лохмы ползущих облаков.

Возле шитика народ, без штанов, в вымокших рубахах: ходят в воде, бледные от холода, таскают на берег мокрые мешки с мукой.

Борька с братом отливают воду и, поощряя рабочих, покрикивают повеселевшими теперь голосами:

— Ну-ка, ребятушки, постарайся!

— Ходи удалей, вот выпьем!

Солнца нет, и никто не знает, день теперь или вечер. Борька часов не имел — зачем ему знать время, в тайге торопиться некуда.

— Как думаешь, дедушка, должно быть, к вечеру дело-то? — спрашивает Борька проходящего с заспанным, измятым лицом старика:

— А кто его знает, чего... То ли вечер, то ли день... Не угадаешь. — Осмотрелся кругом, поглядел на сопку, на стрекочущих сорок, задрал вверх желтую бороду, пощупал слезящимися глазами пелену дождевых облаков и, почесав спину, изрек:

— Стало быть, вечер...

На него сразу набросились:

— Ври!.. чего околесицу-то несешь: ве-ечер... Лесовик этакий. Мы как вскочили, так и бросились на воду. Не жрали еще... Ве-е-чер.

Старик крякнул, снял без козырька картуз, поскреб голову, поглядел на кобылу, опять на небо, на амбар, на лежащую в кустах корову и тем же тоном изрек:

— Стало быть, день.

Но старику не верят, хохочут над ним: «Заспал!» Он и сам понимает, что смешно, теребит смущенно бороду и идет, приседая на каждом шагу, к реке умываться.

Старик фыркал, плескал на лицо воду и, утираясь подолом рубахи, вдруг прокричал:

— Однако, ребяты, орда идет!..

Действительно, налетая тихо, как в дреме, изредка прорывались далекие позвякиванья медных бубенцов и тени звуков: «Мо-одо! Мод-мод-мод...»

— Идут! — сказали все враз и, побросав работу, стали прислушиваться, настораживаясь всем телом.

Борька залез на крышу шитика и смотрел вниз по реке, щупая взглядом опушку левого берега.

— На реку выходят, на реку, — шепотом говорил он и, обратясь к стоявшему на корме парню, таинственно приказал:

— Матвей, веди-ка проворней кобылу за мысок...

Серая лента все выползала и выползала из темнозеленой, пасмурной тайги, опускалась к реке и, мерно колыхаясь, извивалась по приплеску.

Дождь кончился: стало посветлей, морока подобрались, великан-гора, четко очерченная и омытая дождем, стояла за рекою. Из-за ее темени вдруг брызнули лучи вечернего солнца и плавно распространяющимся светом неторопливо залили всю долину реки.

Все стало сразу лазурным, ласковым: серебром покрылась легкая рябь воды, вспыхнули пожаром окна точно приставшей на цыпочки и улыбнувшейся миру избушки, зарозовели стволы сиротливых берез, до краев захлебнулись пурпуром плывущие на

восток облака, и видно было, как кропили они золотистой сетью дождя хмурые, уходившие на край света таежные дебри.

Все, сколько было народу, залитые лучами солнца, смотрели пристально вдаль, на приближавшийся караван оленей.

Караван шел крупной ступью, быстро подаваясь вперед. Весь белый, передний олень гордо нес свою красивую, с ветвистыми, раскидистыми рогами, голову. На нем, в залихватской позе, с длинной пальмой в руке, гарцевал всадник в ярко-красном камзоле, с красной повязкой на голове. Он иногда останавливался и пропускал перед собою ленту каравана или, гикнув и ударив пятками по шее оленя, скакал вперед, что-то крича и размахивая пальмою. Олени шли друг за другом гуськом, связанные поводами по восьми штук, и на переднем олене каждой такой связки цепко сидело по маленькому человеку то в синем, то в красном, то в желтом камзоле. По бокам взад-вперед носились оленята: спускались к воде, птицей взлетали по откосу в тайгу, выпархивали вновь на опушку, отыскивали глазами матерей и, не найдя, октависто рычали, вытягивая шеи.

Солнце медлило прятаться, но вечер брал свое: каменная гора за рекою росла и росла, пока не закрыла мрачной своей громадой последних золотых лучей дня. Сразу стало холодно, сразу стало тоскливо и скучно, погасла река, провалились в избушке окна, она присела и перестала улыбаться, тайга насупилась и потеряла радость. Крики тунгусов и рев оленей казались растерянными и печальными, плакали бубенцы, а комары особенно сильно и назойливо наседали на все живое.

Скоро караван поднялся вверх, и тунгусы принялись расседлывать оленей.

Это пришел со своей бабой и тремя детьми-подростками тунгус Василий.

Следом за ним пришли на шестнадцати оленях и Унекан с Конго.

IX

Василий — тунгус зажиточный. Он взял три мешка муки ржаной, мешок белой, сколько надо сахару и чаю, сукна и кожи, дроби, свинца и пороху, немного вина, две горсти конфет, бисеру и ситцу, заплатил за покупку шестьсот белок, десять сохатин, и остался должен сто рублей и пятнадцать копеек. Но Гришка — человек ласковый, он пятнадцать копеек скостил и еще подарил вдобавок тунгусу очки, а его бабе маленькое зеркальце.

Оба, муж и жена, остались очень довольны. Тунгуска гляделась в зеркало, а у нее наперерыв вырывали из рук ее дети, тоже гляделись, хохотали, все враз тараторили, тыча пальцами в волшебное стекло и строя гримасы.

Василий, в очках, часто взмигивал и, улыбаясь, вопросительно говорил:

— Однако, хорошо видать?.. А то глаз кудой стал, совсем моя слепился, белка мимо маленько стрелят...

Он выпил водки, напился чаю, закусил и чувствовал себя хорошо.

Старый Унекан был несговорчив и зол. Ему ничего пока, кроме водки, покупать не надо: у него, слава богу, запас дома хороший. Он принес пятьсот белок и двух черно-бурых лисиц. Триста белок он уплатил за старый долг покойного отца Конго, двести променял на серебряный для Чочак пояс.

А вот лисиц хотел продать, но Гришка мало дает.

Старик деньги любит, особенно серебряные рубли, звонкие, круглые, большие.

Вот и теперь надо бы побольше взять у торгового этих рублей да зарыть их в тайге, под колодиной: пригодятся... Как не пригодятся, — конечно, пригодятся: помрет, — Чочак оставит, Конго оставит, оба бедные, ничего нет у них, а он их жалеет, пуще себя жалеет, но торговый Гришка бессовестная рожа, совсем неподходящие речи толкует, волчья душа этакая, скалит зубы, да и на!

Унекан просит по сто рублей за лисицу и десять бутылок вина, а Гришка дает пять бутылок вина и по три рубля. Старик кричит, спорит:

— Больно дешевил, друг. Пошто так?

— Как хошь, не надо.

— Пошто не надо? Надо!.. Шибко хорош, бери... Пасибо толковать будешь. Бери!..

Но Гришка и слушать не хочет. Он громко засвистал песню и пошел в амбар.

— Готово али нет? — спросил он Борьку.

— Готово.

Еще громче и удалей свистя, он трусцой бежит в избу и говорит тунгусам притворно взволнованным голосом:

— Вот что, дружки... Судья скоро приедет сюда. Всех тунгусов судить будет.

Конго и Василий встали с места, так перепугались. А старый Унекан, видавший виды, спросил насмешливо:

— Какой судить? Чего мелешь?

— А вот увидишь! Плыли мы вчера, обогнали его, верхом на лошади едет. Большой начальник...

Но Унекан не унимался:

— Чего путал? Вчера нету было, сегодня есть? Врал! Какой лошадь, сроду нет.

Гришка опять вышел; тунгусы же все сразу что-то заговорили, к ним пристали бабы, зашептались и завсхлипывали ребята.

Унекан кричал громче всех, размахивая руками, зло выколачивал о скамейку свою медную трубку, бил себя в грудь, и сквозь тунгусский гул голосов раздавались русские фразы:

— Мошенник... Плут.

— Начальник надо толковать. Вот ужо приедет.

Раздались вдали один за другим три выстрела. Эхо покатилось по тайге. Потом явственно зазвенели бубенцы, опять прибежал Гришка и крикнул тунгусам:

— Ребята, выходи.

Все вышли, кроме Унекана, остановились у избы,

а Унекан прильнул к окну и смотрел с любопытством, что будет дальше.

Бубенцы слышались все ясней и ясней. Опять гукнул в тайге выстрел. Сквозь деревья замелькал движущийся огонек, ближе, ближе, что-то храпело там и фыркало. Наконец показался верхом на лошади человек. Лошадь кто-то вел в поводу, с зажженным факелом.

Было совсем темно.

Гришка возился возле амбарчика, торопливо втыкая в землю две палки. Воткнув их, он подпалил, ухмыляясь, ниточки. Вдруг вспыхнуло пламя, зашипело и двумя огненными хвостами шарахнуло в небо, загрохотало в вышине, рассыпалось в падучие звезды и растаяло.

Тунгусы попятились назад, хватаясь друг за друга; старый Унекан отскочил от окна.

А всадник подъехал к тунгусам и заорал зычным голосом:

— Здорово, орда!..

Все стояли раскрыв рты, мяли в руках камзолы и, пораженные, глядели на невиданную здесь лошадь и на огромную, всю усыпанную крестами и звездами фигуру всадника.

На голове Оглашенного был надет, ручкой вперед, эмалированный ночной горшок, отчего одутловатые его щеки еще более раздались в стороны, а усы грозно были опущены книзу.

К ручке посудины, как кивер в каске, была прикреплена сделанная из конских волос якутская махалка от комаров. Через плечо, по солдатскому мундиру, повязан синий шарф, а сверху него, на груди лежала вырезанная из жести цепь с большим посредине крестом.

Оглашенный был пьян, он сидел на лошади кособоко — одна нога выше другой — и держался обеими руками за гриву.

Рабочие, русские мужики и парни, стояли и улыбались, некоторые начали острить.

— Никак, кобыла-то под хмельком, седока-то не сдержит.

— Сде-ерржит. Не брякнись. Оглашенный: тут коренья... Держись за хвост!

Торговый Гришка что-то шепнул им, они замолкли и все, как один, сняли с голов шапки, переглядываясь друг с другом.

Простодушные тунгусы слепо верили, что это — начальник, судья строгий, который сажает в тюрьму, которого все трепещут — и Борька, и Гришка, и поп Ванька, и старшина в Кежме, и урядник, и царь. Нет, царь поди не боится, царь главнее, а может быть, судья главнее, гляди, у него сколь заслуг, кресты, кресты, кресты и цепь. Батюшки, цепь-то какая... А сам-то он толстый, голос толстый, брюхо толстое, не то что у судьи в Кежме, которого они видели на ярмарке: этот самый большой, самый главный; поди что захочет, то и сделает; поди велит оленей отнять, и отнимут; поди велит баб и детей отобрать, и отберут; поди велит убить, и убьют, а тушу псам скормят.

Стоят, трясутся. Уж очень грозным им показался судья.

А если убежать? Нет, поймают. Лошадь, борони бог, как проворно бегает: вскочит, свистнет, никакому тунгусу ходу не даст. Ой, амака-дедушка Боллей-Боллей, Микола-матушка... Что будет, что будет...

А Унекан все в избе, нейдет, вот отчаянная голова, нейдет. Надо бы сказать, чего он нейдет, как не боится, что не встретил. А может, он лежит под лавкой, а то со страху в печь залез? Вот какой товарищ, вот какой плохой товарищ, а еще старик. Чего нейдет... Ой, Микола-матушка, Иннокентий-батюшка.

— Пожалуйте, господин начальник.

— Пожалуйте, господин судья, — наперебой, притворно лебезя, сказали Гришка с Борькой, два брата.

Оглашенный, подняв руки, хотел опереться на Борьку, но левая, что подлинней, нога перетянула, и он неожиданно кувырнулся по другую сторону лошади, грузно шлепнувшись на землю. Посудина с головы укатилась под гору к реке, лошадь, семеня ногами, захрапела, и во всю глотку захохотали рабо-

чие. Оглашенный молча встал на четвереньки, с усилием приподнялся, дал коню сапогом в морду, опять кувырнулся, потом, овладев собой, выпрямился и, ругаясь на всю тайгу, бодро зашагал к избе, сопутствуемый торговыми.

— Ой, батюшки, что-то будет! Начальник рассерчал, свалился, а рабочие хохочут, нечего сказать, — нашли время... вот ужо, он даст им, вот ужо!.. Зачем он свалился-то, чего напрасно беспокоится... устал с дороги, ох, засудит, ох, конец пришел! Начальнику надо бы отдохнуть, шутка ли: пока ехал, месяц и небо поди два раза пропадал.

Чего ж Унекан не выходит?

X

За столом сидели Оглашенный, Борька и Гришка.

У Гришки глаза суетливые, бородка клинышком, рыжая, голова облезлая, нос крючком, алчный, щека платком завязана: флюс. По углам стола горели четыре свечки, вставленные в подсвечники из ножек дикого оленя, под потолком висела зажженная лампа-молния, в избе было светло и жарко.

Рабочие жались у печки, курили и плевали на пол, скалили тихомолком зубы, а некоторые дремали.

Тунгусы, выстроившись в ряд, почтительно стояли, ожидая грозы. За что — не знали, но думали, что раз сюда, в такую сторону, приехал человек судить тунгусов — значит, есть за ними важные проступки. А как иначе и подумать? Здесь отроду никто не был — как свет стоит, никто не был, солнце не видало здесь судьи, месяц не светил ему по дороге, ветер не играл с ним. Как с неба упал. Значит, что-то есть...

Стоят, думают, откуда он зайдет, с какого места прицепится. И Унекан стоит, хотя шибко-то не боится, а стоит. Он судей видал, судья ничего, с ним говорить можно, за себя постоять можно: поди не бог, чего бояться. Все одно помирать: эка штука.

Медведей бивал, сколько их положил. А судья что? Судья ничего. Не обидит. Ноги трясутся — это от старости, зубы стучат — это, это...

На столе книга, — «Оракул» — единственная в стане.

«Закон», — думает Унекан, глядя на потрепанную книгу; он ткнул Конго в бок и шепнул ему:

— Закон.

Оглашенный засопел, закашлялся пропойным кашлем и принялся чихать.

Тунгусы кричали:

— Здоровья пуще, батюшка, здоровья пуще!..

Оглашенный бодался, махал рукой и, весь от напряжения и водки красный, чихал и чихал, колебля пол.

Наконец сказал:

— Который есть тунгус Унекан?..

Старик сделал шаг вперед и твердо ответил:

— Я.

— Ты?

— А кто же боле?.. Я...

— Который есть налицо тунгус Конго?..

Унекан потянул за рукав Конго, тот робко шагнул вперед, встал рядом со стариком и, поглядев на ноги, ровно ли стоит, боязливо робким голосом, не поднимая головы, ответил:

— Моя налисо...

— Т-э-к-с, тэкстек-с. А для чего у тебя на морде дуля?

Конго стоял, красный и растерянный, не понимал, что спрашивает судья, и посматривал на Унекана детскими глазами.

Тот дерзко сказал:

— Какой такой дуля? Толкуй лучше.

— Молчать! — крикнул Оглашенный, и все вздрогнули. Рабочие, дремавшие у печки, открыли глаза и, поглядев осоловелым взглядом, плюнули и выругались.

— Пошто молчать! Говорить надо. Чево кричишь? Слышу...

— Молчать, тебе говорят!

— Пошто злой!.. — сверкая глазами, кричал старик. — Чего гаркаешь? Не глушился, слышу...

Тунгусы приободрились, шевельнулись, переступили с ноги на ногу, обтирая пот с взмокших лиц.

Унекан опустился на пол, поджал под себя ноги, говорил:

— Ну, чего дале-то?

— Встать!

— Ну, ладно. Устал... старик поди. Обсуждай скорей... Ночь...

Опять поднялся Унекан и стал закуривать трубку.

Гришка нагнулся и шепнул на ухо судье. Тот, уставившись на Василия, строго спросил:

— Ты есть тунгус Василий?

— Моя, господин начальник, моя будит! — виновато, глотая слова, ответил тунгус чужим голосом.

— Сколько у тебя оленей, али орон, по-вашему, по-тунгусскому?

Тот долго подгибал пальцы рук, шевеля губами: тунго, дюрдяр, илян-дяр, нямади, да болё, да боле...

Унекан опять дерзким голосом ввязался, вновь, по забывчивости, садясь на пол:

— Тебе коли надо, поди считай сам. Один бог знает...

Оглашенный привскочил, ударив каблуками в пол, и рявкнул:

— Молчать! Встать!!

— Ачать — сать... — всплеснув руками и подпрыгивая, взвизгнула Васильева жена. Рабочие грохнули хохотом, и улыбнулся Борька.

— Тебе еще, старому лешему, морда не бита, нет? — грубо спросил судья.

Унекан, шлепая губами и задыхаясь от злобы, стоял к судье вполоборота и срывающимся голосом, через плечо, бросал ему острые крикливые слова:

— Такой закон не есть был!.. Пошто мордам... Кажи такой закон, где?..

— Вот, погоди, я те покажу...

— Ну, ладно, буду погодил, кажи, пожалуйста!..

Гришка опять нагнулся к Оглашенному, опять пошептались. Двое рабочих храпели; тунгуска, сидя с ребятами вдоль лавки на полу, икала и охала.

Оглашенный заявил:

— Суд удаляется в кухню на совещание. По выходе будет объявлен вердикт и сделан перерыв.

И твердой грузной походкой, задев ногой табуретку, вышел в кухню, притворив за собой дверь.

Он выпил там водки, вытер усы, закрутил их кверху, кашлянул и торжественно направился в ту половину, где происходил суд.

А Борька тем временем шептал тунгусам:

— Не бойся, дружки: я заступлюсь.

XI

Маша сидела у реки на сыпучем желтом песке. Она сначала тихонько мурлыкала какую-то песню, потом вынула из-под кофты письмо с родины, развернула, поцеловала белый, исписанный каракулями, листок бумаги и задумалась.

Мысли ее прерывались пьяными криками Оглашенного, вылетавшими из открытых окон избы.

Ночь была бледная, северная. От воды несло холодом и запахом испорченной рыбы. За рекой била крылом и плакала ночная птица, а Маше казалось, что это мать кличет ее и убивается, не получая ответа.

— Мамынька! — шепчет Маша, едва шевеля дрожащими губами, и смотрит вдаль, на тот берег, где плачет одинокий, такой сиротливый среди ночи, птичий голос. И видит, как сквозь капли слез дрожит тот берег, как пляшут, дробятся и расплываются белыми пятнами и тайга и горы, покрытые туманной мглой.

К Маше подошел старик-рабочий.

— Тоскуешь, деваха? — вздохнул он и опустился возле. Оба посидели молча. Потом старик, хихикнув, сказал:

— Ну и Оглашенный, будь он проклят. Вот это варнак так варнак.

Маша ничего не сказала, сидела согнувшись и подперев рукой низко опущенную голову, покрытую сдвинутым на глаза белым платком.

А старик за тем и пришел, чтобы поговорить с ней, и он, посасывая трубку, начал:

— Конечно, вышел это он из кухни, взял оракуль, держит вверх ногами, да вычитывает по своему закон: такую дурнинушку стал выворачивать, самую что ни на есть похабщину-то: тунгусы стоят разиня рты, слушают, им что хошь читай, народ простой, доверчивый, а наши ржут, конечно, у печки... рады. Присудил быдто всех тунгусов к тюрьме.

— Потешаются, — грустно сказала Маша.

— А вот хозяева обдерут их как липок.

— Как обдерут, врешь?..

— Обдерут, Машенька, обдерут... Вдруг, конечно, Борька встал и говорит Оглашенному: «Господин судья, смилуйтесь, пожалуйста, над стариком Унеканом и над Конгой с Васильем, ослобоните от тюрьмы».

— Ну-ка, ну-ка... — торопила Маша.

— Вы, говорит, всем троим запишите им штраф, оштрафуйте, говорит, их, Ваську с Конгой, — по пятьдесят рублей, я за них внесу, а им запишу, вот, пожалуйте — вынул Оглашенному сотенную, — а Унекана оштрафуйте, говорит, на две, конечно, лисы, у него здесь они. А то как так возможно старику тащиться до тюрьмы. Смилуйтесь.

— Ну?.. — строго спросила Маша и встала.

— Ну, тут я и ушел. Унекан шумит что-то... порядки ругает. Жаль, знать, лисичек-то. Ай-яй-яй. Кабы в город, каки бы деньги взял. Ух ты! Ну-ка, пойду я...

— Посиди, деда: чего-то боюсь.

— Нет, пойду. Догляжу комедь-то. Пойдем.

— И туда боюсь. Чего-то страшно. А за рекой ишь как стонет.

— Птица это. Мало ль их, сиди, не бойся, коли так.

И старик, кряхтя и сгорбившись, стал карабкаться по откосу вверх. Выбравшись, он крикнул:

— Гляди, дождь будет завтра... Спинушку прямо отсекло.

— Мне хошь снег, — откликнулась девушка и тоже поднялась наверх.

Из избы выбежал проворно Унекан, посовался возле избы, завернул за угол и вскоре вновь появился, волоча за хвост две пушистых лисьих шкуры.

— Унекан! — крикнула девушка. — Унекан!

Он остановился, смотрит на нее, а она подходит к нему и говорит:

— Ах ты дурак. Старый ты дурак...

— Верно, Машка, дурак. Как не дурак... Зачем тогда Конго мордам тыкал, глаз подбил, — и быстро засеменил к избе.

— Унекан, стой-ка ужо! — побежала за ним Маша, но тот успел скрыться за дверью.

Хотелось ей броситься туда, — эх, если б сила!.. Хотелось изругать их, обидчиков, этих нахальных парней, этого пропойцу Оглашенного. Нет, не изругать, а вот если бы безменом, да по башкам, — эх, кабы шапка-невидимка, как в той сказке, что говорила ей в детстве бабушка Олена...

Не знает что делать.

— Дед, — кричит она, — дед!.. Борька!..

Прислушивается Маша, ждет. Нету.

— Бо-орька-а!

Лишь за рекой бьет крылом и надрывается птица.

XII

В избе очень жарко и душно, пахнет прелью, табаком, потом и винным перегаром. Тунгусы еле держались на ногах, тоскуя по свободе: рабочих не было. У Оглашенного больше и больше наливалась на лбу жила и подергивалась верхняя губа.

— А ты, Гришка, сволочь, — спокойным голосом сказал он хозяину, когда Унекан убежал за пушниной.

Тот, учуя в Оглашенном зверя, заерзал на скамейке, посмотрел на брата, сердито нахмурился, но ничего не ответил.

— Ты меня за сколько нанимал в год, а? За пятьсот?.. А?..

— После, после... — отвертываясь и избегая страшных глаз, скрипел Гришка.

— После?! — крикнул Оглашенный, и лицо его побагровело. — После?! Когда это — после? Там пятьсот сулил, а сюда привез, сотню говоришь?! Сма-а-три, ребенок... Я тебе не дед!.. — и погрозил пальцем.

Конго с Васильем удивленно наблюдали происходящее и во все лицо приятно улыбались, прикрываясь ладонями.

Вошел, волоча лисиц, Унекан. Глаза его были хитры и решительны. Он пошептался с тунгусами, указывая пальцем на Оглашенного, посоветовался с ними, поспорил. Наконец те враз ответили ему:

— Добро. Это ладно..

Тогда Унекан подошел к столу, положил обе шкуры возле Оглашенного и уже тонким, покорным и заискивающим голосом сказал:

— Вот, батюшка. Получай, батюшка. Пасибо, батюшка.

Потом тем же тоном спросил:

— Ты самый большой в городу начальник али самый большущий есть?

— Есть, брат, есть... Там все есть, там не тайга...

— Есть? Добро, — сказал Унекан и, подойдя к Конго с Василием, подмигнул им; тогда все трое дружно опустились на колени и устремили на Оглашенного, как на икону в церкви, полные упования и мольбы глаза.

Унекан теперь твердым, решительным голосом, держа сложенные на животе руки, начал:

— Судья батюшка, пиши такой расписка, я толковать буду. Ты толкуй большущему, делай милость, толкуй: приказчик самый плут...

— Плут... — испуганно вторили остальные тунгусы.

— Борька самый плут есть...

— Плут...

— Гришка, самый плут, борони бог, как... все путал, все врал. Маленько вовсе обижат, мошенник шибка...

Оглашенный захохотал, поерошил себе волосы и сказал:

— Гришка мошенник, дед, это верно. Он, подлец, и меня надул...

— Молчи, тварь! — зашипел, брызгая слюной, Гришка и ударил кулаком по столу.

Оглашенный едва успел открыть рот, как раздался резкий, словно удар косы о камень, голос тунгуса:

— Сам молчи!.. Что больна!.. — подскочив вплотную к Гришке, кричал Унекан. — Мошенник и есть... Что больна! — все громче и громче звенел его голос, и вздрагивали толстые губы... — В тюрьму сажать нада?.. Сам, плут, сиди!.. обирал больна, богат стал больна, всех тунгусов давил! Вот начальник учить тебя будит, Борьку учить будит... Что больна... Плут!.. Тащи его, судья-батюшка. Пуще тащи!..

— Ха-ха-ха... — деланно и зло захохотал озлившийся Гришка, — дурак ты, старый черт, и больше ничего... Судья?! Это, по-твоему, судья? На тебе судью голоштанную, на!!! — взвился вдруг и, стиснув зубы, вмиг сорвал с растерявшегося было Оглашенного цепь, кресты, ленту. — Нна, смотри!!

Вихрем влетела в избу Маша:

— Бей его, Гришенька, бей! — и сама влепила две звонкие затрещины по жирной шее Оглашенного.

Тот качнулся, хрюкнул, взревел медведем:

— А!.. так?! — опрокинул разом стол и с страшной силой сгреб Гришку за горло. — Будешь? — надсадисто хрипел Оглашенный, — будешь тунгусов обирать?!

Борька, вне себя, кинулся в защиту брата: «Я тебе покажу!» — и в кровь расшиб Оглашенному нос.

Тот, боднув головой, выпустил Гришку и торчмя так ударил Борьку в лоб, что тот, взметнув вверх руки, побежал на одних пятках задом к двери, стук-

нулся боком в печь, отскочил, перелетел через табуретку и докатился по полу до стены. Гришка нож искал, никак найти не мог.

— Я вам всем дам пить!..— вопил Оглашенный, мечась по избе и вышибая пойманной скамейкой рамы.

— Топор, где топор?..— кричал Борька, держа рукой разбитое лицо.— Зови рабочих!..

Маша визжала, как поросенок:

— Режут, батюшки, режут!..

— Карраууу-л!!

Тунгусы выскакали в окна.

— Убегай, Конго... пуше убегай!..— не чуя земли под ногами кричал товарищу Унекан.

В избу ввалились рабочие.

По тайге расстилался поднявшийся с реки туман. Храпела, отбиваясь от гнуса, лошадь, и заливались на разные лады переполошенные собаки.

Конго и Унекан быстро собрали своих оленей, оседлали и поехали в обратный путь. А Василий с семьей долго еще ходил по темным провалам тайги.

— Мо-о-до! Мод-мод-мод!..— звенели призывные женские голоса.

Спустившись к воде и доехав до изгиба реки, где тропа вбегает на пригорок, Конго заметил просвечивавшее сквозь тайгу пламя и взлетавшие над лесом клубы дыма, охваченные светом яркого огня.

— Гляди-гляди!— крикнул он Унекану.— Это чего же такое?

— Это чего же такое?— И тот сказал, соскакивая с оленя.

— Однако, Борька горит.

— Кому боле-то. Он поди...

Постояли, посмотрели, вынули трубки, закурили и пощелкали от удивления языками.

— Машка подожгла...— сказал жалобным голосом Конго.

А Унекан твердо ответил:

— Ты еще молодой, чего знаешь? Не Машка, а сам начальник.

Конго, цепенея от удивления, протяжно посвистал и тронул оленя. За ним поехал и старик.

Перейдя вброд две реки и выбравшись на ровную тропинку, они окончательно пришли в себя.

Унекан едет-едет да захихикает, а сам ничего не говорит, Конго едет рядом молча и тоже улыбается, подражая старику.

Унекану нипочем, что забыл там, у дружка, серебряный для Чочак пояс, что потерял две дорогие лисьи шкуры: «Бог опять даст». Подвигается вперед и не знает, куда несет его олень, ночь ли, день ли теперь, не чувствует, хотя в тайге темно. Где он, кто с ним едет и что тот говорит, кто он сам, жив или умер, сидит у костра или видит сон, — не понимает: весь погрузился в только что пережитое, такое страшное и необычное, большое и угловатое, которое никак не может уместиться разом в его тунгусской душе, чистой и праведной, как душа ребенка.

Едет Унекан, глаза раскрыты, губы улыбаются и что-то шепчут.

Словно осенний листопад, подхваченный порывом ветра, скачут и крутятся перед ним и здоровенный, весь обросший шерстью кулачище судьи, и дикий Гришка, с высунутым красным языком, и кувырком летящий к стене озорник Борька, и семеро рабочих, и девка Машка, — весь этот кавардак то вихрем вьется перед смеющимися закрытыми глазами старого Унекана, то стелется понизу, сучит локтями, мечется из угла в угол и натыкается на этот страшный, какого еще белый свет не родил, кулачище.

Унекану любо.

— Так, судья-батюшка, так... лупи пуще!.. — шепчут, кривясь улыбкой, его губы, душа играет у него, и вдруг, будто глухой удар в шаманский бубен, рокочет далеким громом чей-то голос: «Будешь тунгусов обирать?.. А?!»

Старик открывает глаза, озирается, ищет скрывшегося за поворотом Конго, кричит ему:

— Конго, имиткаль... Имиткале-е-о-о!.. Дожида-а-й!..

Подъезжает к нему вплотную и, весь наполненный восторгом, глядит в улыбающиеся, лучистые глаза своего молодого друга, потом, наслаждаясь смыслом своих слов и хитро прищелкивая языком, по-русски говорит:

— Справедливо, обсуждат начальник-то... Борони бог, как... шибка правильна...

— Обсуждат ладна... — вторит, захлебываясь от удовольствия, Конго.

И оба раскатываются гортанным хохотом.

ВАНЬКА ХЛЮСТ

I

Угрюмая, необъятная, страхи таящая в себе, тайга дремала.

Где-то, за далекой горой, еще блуждал луч солнца, а тьма уже проснулась в трущобах, поползла неслышно из берлог, распласталась по влажному седому мху, нетерпеливо дожидаясь, пока погаснут жемчужные облака. Тишина была чуткая такая, выжидающая.

«Гу-гу-у... Хо-хо-хо!»

Вздрогнула тайга, насторожилась. Но меркли вверху облака, приподнималась тьма выше, баюкала тайгу и навевала ей сны. Дремала тайга. Еще не успели окрепнуть робкие и неуверенные огоньки звезд, а тайга до краев уж захлебнулась тьмою, хлынувшей к померкшим небесам.

Тайга заснула.

Кто-то ходит во тьме. Смеется тихо. Там, на пригорочке, большой костер горит. А возле него — двое.

Костер тихо потрескивает, языки пламени задорно и весело лижут тьму.

Дед Григорий — восемьдесят лет скоро — кряхтит у костра, греется: износилась с годами кровь, похо-

лодела. Лицо у него грубое, с лохматой белой бородой, но в глазах блестит что-то такое хорошее, теплое — словно он открыл неведомые, простые и великие тайны. Хмурит густые брови, а на устах радость. В глазах небеса, а душа все еще по земле ползает.

Говорит дед медленно, густым и хриплым голосом, и в его рассказе всегда смешок слышится — старик веселый.

Еще у костра, притулившись к деду, сидит внук его — хороший, лет шести паренек Тимша.

Да еще две собачки: Жучка с Верным. Жучка молоденькая, как смола черная, юлит возле Верного. Верный лежит смирно, морду на лапы положил и умными глазами смотрит в лицо деда. Когда дед весел, и пес весел, но чуть затоскует старик, вздохнет и Верный.

Тимша с белыми, в скобу подрубленными волосами, остроносенький, с живыми серыми глазенками, и когда смеется, глаза превращаются в узенькие щелки с лучистыми, как у старика, морщинками. На вид он щупленький, бледный. Сидит съежившись, посматривая на деда, чего-то ждет. Тот гладит его большой корявой лапой по шапке и ласково говорит:

— Ох, и лютой же ты, Тимша, сказки слушать...

Мальчонка ерзает радостно и настораживается.

— А ты, дедушка, ну-ка скажи, слышь, про тигру-то...

— Хе-хе... Эвона чо... Ну — ладно, коли так...

Дед толкает в костер смоляной пень, огонь жадно набрасывается на новую пищу и стрижет ее неугомонно острыми ножами своих языков.

— Дык про тигру?.. Ладно-о-о...

Дед много знает забавных рассказов, ласково-грубых, по-таежному красивых: весь свой век в тайге прожил, но сейчас нарочно медлит, посматривая сыскоса на внука, а тот весь нетерпением пышет, как струна вытянулся слухом, ждет...

— Забежала раз к нам тигра из Монголии. Это лет с пятьдесят тому, как не боле. Три волости, парнище, сбили, чтобы, значит, препону ей положить. Вот

ладно. Окружили мы ее, черта, а она промеж нас так вот и сигат, так вот тебе и сигат...

— Сигат?

— У-у-у... Как молынья. Одному по рыле хвостом съездила, сразу салазки на сторону своротила... Вот, брат, кака силища... Зверюга самая душевредная...

Тимша слушает разиня рот и вытаращив глаза от удивления, а дед улыбается и хриплым басом говорит дальше.

И когда дед, увлекаясь, хватает через край, испуганное лицо Тимши вдруг покрывается смехом, и он, фыркая в рукав, машет на деда рукой и вскрикивает:

— Ври-ка больше!..

Тогда дед на полуслове смолкает, зло смотрит на внука, а потом нахлобучивает ему проворно по самые уши шапку, и оба враз заливаются смехом...

В темноте, направо, то всхлипывая, то пересмехая кого-то, гуторит тихо таежная речка: хоть поздно, — давно спустился с неба сумрак, — а сон не берет ее...

И вдруг там раздалась песня... Высокий голос, весь тоска и слезы, жаловался на что-то звездам, укорял кого-то... Это Ванька Хлюст, бродяга, что вчера пристал к деду, как затерявшаяся собачонка.

Послышался хруст валежника, шорох ветвей все ближе да ближе: то Ванька Хлюст продирается сквозь заросль тайги. Вот вынырнул: не идет, а скачет торопливо, подпираясь толстым батогом. Свет костра хлынул ему навстречу, и в трепетных лучах видно было, как Ванька, прискакивая, волочит правую ногу...

— Ну, паря, и мастерина же ты песни петь, — сказал Григорий, — за самое ты меня сердце взял...

— Это мы можем, — откликнулся Ванька, щуря от света глаза, и подал деду котелок:

— Настораживай-ка, благословясь, к огоньку: щерба знаменитая должна выйти...

Лицо у бродяги большое, корявое, ни усов, ни бороды нет, доброе, а из серых печальных глаз вдруг веселье брызнет, удаль какая-то. Расцветет ненадолго улыбка и завянет; огоньки лукавые заиграют в гла-

зах, смехом заискрятся, но грусть вмиг погасит их и покроет лицо кручиной.

— Ну, калека ты моя, калека божия... садись-ка вот тут. Умаялся поди, сердешный?..— участливо говорит старик.

Жучка вскочила, ластится; Верный подошел — обнюхал и, решив, что человек надежный, лег.

Ноги у Ваньки культяпые, сухие, в бродни обуты. Эх, и руки же у парня — беспалые, только на правой большой палец торчит, да и тот без ногтя. Левая рука в локте перевязана грязной тряпицей и веревками обмотана.

— Ну, што, не легче руке-то? — спросил дед.

Ванька глядит на него, — лицо печальное, — и нехотя говорит:

— Да што... ишь отгнила совсем. Разве это рука?.. Одно звание, что рука, мешает только, одна видимость. Весь сустав в локтю порешился, все головой погнило... На одних жилах, да вот еще на веревках держится. Вот размотаю сбрую-то, да как шаркну по дереву — и отлетит к чертовой матери... Ох, горе-горе...

Ванька одернул свою синюю, с белыми разводами, рубаху и почесал культяпкой длинную худую шею.

— Лет пять вот так... В Смоленском селе лег в больницу — там доктор пальцы резал мне, девять штук напрочь откатил, не усыплял, ничего... Режет, а я смотрю... «Ну и крепок, говорит, крестник, — крестником меня своим назвал, — терпленья, говорит, в тебе множество». — «Отнимите, говорю, и руку-то заодно». — «Нет, говорит, рука пройдет, лежи». Лежал я, лежал, а раночка-то вся шилом чкнуть. Потом доктор говорит: «Ну, брат, крестник, рука твоя так что неизлечима... Шабаш, брат...» Я опять: «Отрежьте, Христа ради». — «Не могу, перация трудная... Катай, как не то, в город...» Ха-ха... В го-о-род... Да нешто у нас, в тайге, до городу-то доскачешь? Чу-у-дак человек. В город!.. Пошел я прямо в тайгу. Пришел, пал на колени, реву: матушка — напитай, матушка — укрой!.. Не выдавай, тайга-кормилица, круглую сироту Хлюста Ваньку!

Говорю так, а слезы ручьем-ручьем; торнулся носом в мох, лежу, вою... И словно бы кто шепнул мне ласково, быдто приголубил меня. Не вижу, дедушка, а чувствую, стоит возле меня кто-то, утешает, — и башку от земли отодрать не смею. Слышу только, как в грудях радость ходуном заходила, быдто вода весной. Засиял я весь, приподнялся... Гляжу: бурундучишка стоит у кедра на задних лапках, смотрит на меня глазенками, а сам посвистывает. Захохотал я тут радостно, грожу ему: ах ты такой-сякой, бурундучок ты этакий милый мой... А он смотрит на меня бисером, да знай посвистывает... Э-эх!.. И вдруг не стало во мне, дедушка, ни печали, ничего земного прочего...

— А красно же говоришь ты, Ванюха...

— Ах, дедушка, дедушка... Ведь башка-то у меня умная, вот только досталась-то она дураку, — хы-ы... В тайге, брат, всему научишься...

— Нау-учишься... — недоверчиво кряхтит Григорий. — Где тут научишься-то, с кем?.. С медведем рази?

— И с ним... Я, отец, ране-то так жил: вот забреду на заимку какую, выпрошу хлебца, Христа ради, да чайку, и айда... Заберешься куда-нибудь в отдаленье, на речонку и живешь там, как воевода: морды плетешь для рыбы, песни поешь. А черт ли? Мне ране-то весело жилось, ни о чем не думалось... И разговоры разговариваешь в тайге с кем придется: человека встретишь — с человеком, белка на сучке сидит — с ней... Нет никого — с деревом: и дерево, брат, выслушать да понять может. А то с тучкой либо с месяцем. Орешь ему: эй, месяц-батюшка! Вскочишь, подопрешься костылем, машешь рукой да орешь.

Замолк Ванька, и опять тихо стало. Только костер гуторил да над прогалиной, трепетно и робко мерцая, звезды караулили ночь. К ним, к звездам далеким, вспорхнул Ванька мыслью.

Но дед тут же стащил его на землю:

— А ты бы, паря, шел к нам на заимку, тебе бы бабка руку-то попользовала... Ох и знатец старуха...

Мало ли есть каких средствиев. Эвона со мной случай какой произошел, слушай-ка. Была одна красивая-раскрасивая девка, постоялый двор на приисках содерживала, только одна нога деревянная... С деревяшкой, а вольная была. Пришли как-то, в раз угадали, три мужа — ейные дружки, значит. Она видит, что с тремя-то не рассчитаться, шасть в сенцы, а там на полке стряхнин стоял, волков травить, она возьми да и выпей. А я в те поры парнем был, работником жил у ней. Слышим, что-то схлопало... Прибежали, вот так раз! Лежит девка, хрипит, почернела и деревяшкой вертит.

— Вертит?

— Верти-и-ит... Страсти...

— Ха!.. Лловко, — хмуро вставил Ванька.

— Ну, ладно... А тут у нас на шестке масло разогретое коровье было, мы ей и вбякали. Рот-от расщеперили да огромный ключище меж зубов от кладовой вставили, да и лили масло-то. Польем-польем, да подымем на дыбы, да встряхнем... А потом на доску положили деваху-то, да в горячую печь и вбухали. И что б ты думал? Ведь ожила, шельма, оклемалась... Вишь, какие средствия оказались... Вот оно што... А руку и подавно наладить можно... Кого тут!

Дед крякнул и исподлобья посмотрел на Ваньку.

— А и веселый же ты, дай бог, дед, ласковый...

— Хо-хо... Я-то?.. Я, брат, ничего, мастак на эти штуки... Артельный человек... Бывало, чего-нинабудь сколоколишь смешное, вот и смех... А где смех, там греха меньше, злобы... А вот еще со мной случай был, почище стряхнину... В аптеке я служил сторожем да заместо микстуры — просто попробовать хотел, побаловаться: сладкие другой раз бывают — взял да, не разобравши дела, серной кислоты ложку и царапнул... Дык у меня — хошь верь, хошь нет, — вот тебе Христос, вот... как у окаянного, изо рта и из носу дым повалил!..

Ванька ухмыльнулся, заерзал по земле и звонким голосом сказал:

— Ну и развеселый же у тебя, дед, характер...

II

Дед топчется у костра, хворост в огонь подбрасывает, котелок с ухой настораживает и думает: вот его, старика древнего, третьеводнись послал сын на соседнюю заимку, верст за пятьдесят, — что бы самому слетать, так нет! — просил коновала добыть для жеребчика. Тимшу взял, все повадней. Сели в лодочку, да благословясь и поплыли. А вечор, солнышко уж за лес падало — в тайге дни короткие, — глядь-поглядь: человек на берегу сидит, да таково ли жалобно поет песни, и дымок возле него вьется... Подъехали. Кто таков? Человек... Вижу, что не полено... Откедова? Бродяжка, Ванька Хлюст... Возьми, говорит, дедушка, ради господа... По народу, по слову человечьему я затосковался. Суетится дед у костра, думает, любовно посматривает на бродяжку и говорит:

— Расскажи-ка, брат, сделай милость, как ты, не в огорченье будь сказано, изувечился-то?..

Ванька медлил. Он снял шапку, с ожесточением единственным пальцем поскреб кудрявую голову и, вздохнув, поглядел на деда измученными глазами.

— Так сказывать?

— Сыпь, пока уха преет... — ответил тот.

— Поморозился я лет пять тому, а всего мне будет без трех годов тридцать... Расскажу я тебе, дедушка родимый, всю жизнь. Не затоскуй только — жизнь моя не веселая...

Ванька сел поудобнее, тихо кашлянул и тихо начал:

— Родился я от своих родителев: от девки да от солдата. Мамыньку сердешную схоронил ноне, а батька жив. Ну, ладно. Рос я не как все другие прочие, законные которые, а так... Сам знаешь: приблудыш, так оно приблудыш и есть, как баран шелудивый... Ну, и озорным же я парнишкой был, надо правду сказать... Первеющим пакостником меня считали, по всей округе наслыхах был. Одно слово — Ванька Хлюст! Стекла ли попу высадить, дубиной ли кого из-за угла огреть — это я... Подрастать зачал, девок стал забижать, и не то чтобы пакостно, а так, гля антиресу больше: зубы стиснешь, налетишь, раз

по уху! а сам заливаешься, хохочешь, словно тебе в душу-то мохнатый с хвостиком залез... И никакой во мне жалости не было к человеку... Пуще же всех ненавидел я батьку... Ох и зверь, и аспид родитель-то мой, прямо рестант...

У Ваньки в глазах огоньки замелькали, а голос трещину дал:

— Ведь он, идол, в гроб вогнал мамыньку-то... А что мне выволочек было, мордобою этого самого, не есть числа: он и голодом-то меня морил, и на мороз-то в одной рубашонке выкидывал... Вот, погляди-кось, башка-то у меня проломана местах в трех... А мамынька-то... А мамынька...

Ванька отвернулся от деда, засопел, в землю уставился, шепчет:

— Покойна твоя головушка... Привечный тебе покой.

Руку занес, перекреститься хотел.

— Вот ишь... Ну, чем я крест положу? Кулаком, что ли? Культяпкой?

— Ему, батюшке, все единственно, — заметил дед, — хошь рукой, хошь ногой... Была бы душа настоящая...

— Душа?! — вскрикнул Ванька, — вот то-то и дело, что душа...

Тимша с собаками у костра возился: все трое катались клубком по земле. Тимша, лежа на животе, по-собачьи взлаивал, а Жучка с Верным притворно урчали и, наседая на Тимшу, старательно теребили надетую на нем мамкину кофту.

— Ну, дык чо дале-то? — обратился Григорий к Ваньке. — Карахтер-то у тебя, это верно, с загогулинкой...

— Карахтер-то?.. Не озлобляй!.. Я человек не злой, я нраву веселого: ишь — ни рук, ни ног, а сердце-то у меня ласковое... Да-а.

Ванька задумался. Но вдруг на лице затеплилась радость, улыбнулся бродяга, подбодрился:

— А гармонь у меня была первый сорт; мамынька, дай бог, сгоношила, да сам в пастухах жил, сколотил деньжонок, и песенник был я отменный.

Ванька окреп голосом:

— И так я, дед, на этой самой гармони играл, что ах! Идешь, бывало, по улке с ребятами, о празднике, да как взыграешь на всех переборах — эх ты но... Дуй, не стой!.. Дык не то что девки али бабы молодые — старухи-то и те из-за печек, как тараканы, выползут да к окнам прильнут, чтоб Ваньку Хлюста перед смерточкой напоследях послушать... Во как! Не веришь? Ей-бог... Господин барин как-то был у нас из Питера, анжинер, значит, насчет приисков приезжал, разведку делать... Хошь, говорит, Иван, в столицию? Знатнеющий музыкант, говорит, из тебя должон выйти... Подучить, говорит, тебя мало-мало... Пальцы-то золотые, говорит, у тебя... Цены нет твоим пальцам-то... Эхо-хо-о...

— Ну, так вот, — сказал, чуть помолчав, Ванька, — так оно и шло колесом, покедова не вырос, а как стал парнем, поступил я, отец, в ямщики на трахт... Бывало, как выедешь в ночку летнюю, да как гаркнешь: «Соколики, грабят!..» — вот и рванут — рванут тады лошаденки, дорога лугом, что скатерть гладкая: несешься — в ушах ветер поет, ничим-чего тебе не видно, словно валишься в пропасть какую... На звезды взглянешь, а они за тобой следом катятся... И была там у меня на селе зазноба, кабатчика нашего дочка — Дунюшка...

Ванька насупился, вздохнул и, ковыряя костылем землю, прошептал:

— Нет, лучше уж не ворошить... Чего тут...

Дед крякнул, боднул лохматой головой и сказал, пристально поглядев на бродягу:

— Не ты ль, Ванюха, в прошлом году у Петрована Безденежных на заимке жил? Всю зиму быдто бы?

— Я... А что?..

— Да так... Сказывал Петрован: чевой-то скучал ты шибко... — и, не дождавшись ответа, добавил: — Это, брат, плохо, соколик, ежели скучать... Укрепиться надо... Мало ль чего в жисти случается... Ну, это я так, промежду прочим... Сыпь да не-то, как лапы-то ознобил, сказывай...

— А это, вишь ли, каким манером дело-то вышло. После покрова вскорости — ни зима, ни осень, а так, середка на половине, хозяин мой, ямщину содерживал, — из дому отлучился в город, один я остался. Вот ладно... Только что я приехал с трахту, заколел, как анафема, сижу, отогреваюсь в хомутецкой на печке — ночь темная и буран зачинается, а теплынь стоит. Вдруг из земской сотский прибегает: «Живо, грит, лошадей: лешак попа принес... Поп орет, ямщика к себе требовает... Да поп-от не один, слышь, а с бабой какой-то». А я знал, что у попа чередовского синпатия есть, родня не родня, а так, сбоку припека, пришей кобыле хвост — можно сказать... Ну ладно... Хошь не хочется идти, а куда деваться, — пошел... В броднях грязных прямо вверх лезу... А мне что?! Еще докладаться, да внизу ждать?.. Наплевать можно, с мужика спрос короток: пру прямо вверх... Вошел в горницу, помолился. Поп один сидит, здоровенный, красный, сурьезный, знакомый поп... Народ, признаться, не шибко же его долюбливал, не уважал... Крутой поп был, карахтерный, да и драл с живого-мертвого просто ужасти как...

— У попа жисть хороша, — перебил дед, — помрет — не уйдет, и родится — годится. Ххе...

— Это самое... — ухмыльнулся Ванька. — Ну, дык вот... Перекрестился это я наотмашь. «Здравия желаю, говорю, батюшка». — «Лошадей». — «Никак невозможно», — говорю. «Ах ты сукин сын». — «Никак нет, батюшка, — отвечаю вдругорядь, — я ваш сын, а не сукин, потому как вы наш отец духовный... Ежели, говорю, отец духовный такой вопрос обозначает, то чего ж родному-то отцу остается делать? Одно: взять оглоблю, да оглоблей-то по темю». Слово за слово, ну, только што он меня козырнул словцом одним удивительным, вижу, дело плохо, говорю ему: «Ежели, говорю, усердие в вас такое есть, чтобы ехать, то я коней сготовлю, но без обиняков вам скажу, загинуть в пути можем за милую душу». — «Не твое дело!» — «Ну, в таком разе, я живчиком... Позвольте вас с папиросочкой поздравить». Обмяк поп, дал папиросочку, улыбается. Ладно... Пригнал

я лошадей, самых отчаянных, тройку... Выходит поп в шубе енотовой, кушаком весь запоясан, от горла да вокруг пузы, — ну, а у меня, сам знаешь, шебур мужичий трижды через нитку проклят, чрез две — окаянный, да верхонки[1] мокрые — вот и вся амуниция...

— Кругом шестнадцать, — вставил, крякнув, дед.

— Хы-ы... Вроде этого... «Отойди-кось к сторонке», — поп-от говорит... Отошел я, а сам глазом этак покашиваюсь. Гляжу: поп госпожу на дно положил в кошевку, сам лег, кочмой накрылись. «Готово, кричит, садись, ямщик!» Поблагословился про себя, сел. Поехали... Ветерок дул маленький, помню, утих буран-то, а выехали за деревню, ветер крепчать зачал, и буран стал опять разгуливаться. Верст пять отбежали — вдру-уг буран кэ-эк ахнет! Как застонет все кругом. Ну, думаю, плохо мое дело. А со мной на облучке еще мужичок увязался, попечитель школы одной сельской. Тоже навроде меня одет — рыбий мех, бобровый верх — сидим, трясемся оба. Что делать? А буран все пуще да пуще. Словно молоком все залито, у коней — скажи на милость, — даже голов не видно. Снегом им все глаза залепило, они и стали. «Нн-у!..» Стоят... «Малютки, грабят!» Кэ-эк шарахнет тройка!.. Я вверх ногам, попечитель вверх ногам — бух на попа с попадьей оба, корячимся в кошевке, тпрукаем: я тпрукаю, попечитель тпрукает. А поп выставил из-под кочмы бороду да как начал меня козырять всячески. А я ему на опакишь... Он мне слово, я ему десять. Потому осерчал... Кони несут, дорога ухабная, одначе я уцепился пластом, к облучку царапаюсь, а попечителя, как куль с мукой, на ухабах подбрасывает: то на голову одыбит, то пятки к бороде подворотит... Смехи... А буранище так вот и крутит, прямо с огня рвет, по роже снегом, как бичом хлещет, насквозь прохватывает, аж дышать нечем... Глядим — огонек. Мы туда целиной поехали было. Пропал огонь, точно его кто слопал... Ах ты господи! Ровно бы и жилью-то тут быть не надо. Сбились мы совсем с дороги... А буран так раз-

[1] Верхонки — кожаные рукавицы.

бушевался, что надо бы пуще, да некуда, ревмя ревет все кругом на разные лады. Жуть... Зачали мы с попечителем дорогу искать: привяжешь вожжи к саням, да по вожже-то и ходишь во все стороны.... А то, чего доброго, отойдешь сажен на десять, да и к лошадям не вернешься. Кружились, кружились — нет дороги... «Батюшка, а мы с дороги-то сбились...» — «А ты ищи... ишь ты». — «Сам поди-ко поищи: ты в енотке, а я заместо тебя под кочму-то прилягу...»

— Под кочму?.. Ххе... — подмигнул Ваньке дед.

— Дык как же?.. Знамо... Ну, ладно. Как обозначил я это, поп и замолчал. А тут, братец ты мой, стало пристывать, морозом здорово прихватывать зачало. Ну, думаем, карачун пришел, терпленья нашего не стало... Глядим — стог... Мы туда. Отгребли кой-как снег, сено маленько разрыли, сели за ветром. А буранище так вот и садит, знат надвигат, того гляди стог опрокинет. Я присел на корточки, замаялся... Сколь просидел так, не знаю. Гляжу: месяц восходит из-за леса, и звезды в небушке загорелись. Потом, на вот те... вдруг соловьи защелкали и таким быдто теплом повеяло от кустов зеленых да от поля. Что за притча?.. Встал, оглянулся — верно: ночка летняя, соловьи поют, свежим сеном пахнет... А буран-то где?.. А поп-то где?.. Стою, улыбаюсь... Глядь-поглядь: Дуня по лугу идет, и месяц ей по дороге светит. Кричу: «Дунюшка, желанная, ягодка моя боровая, здесь я! Иди-ко, что скажу тебе, слушай-ко, што мне приснилось-то: я быдто попа, быдто попа, быдто попа...» Не могу от радости выговорить, да хоть ты што хошь. А она, и словно бы не она, а чужая — смеется издали, машет рученькой правой да кричит милым голосом: «Вставай-ка, вставай — скорей, эй, ямщик...» И чувствую: хлоп мне кто-то по плечу: «Эй, ямщик, ехать надо...» Открыл глаза: поп стоит, лицо злое... «Ты что, заснул? Поедем-ка, ишь буран-то кончился и огоньки видать: должно Пазухино...» Гляжу: огоньки видать, и впрямь Пазухино село... А шебур-то мой кол колом стал на морозе, да и портки к ногам примерзли, аж с кожей отодрал, руки ноют, зашлись совсем, верхонки как железные —

позамерзли... А от попа, чтоб его язвило, пар валит, рыло красное...

— Буран, слава богу, призатих, а я чувствий порешился, ничего не чувствую. Уж не помню, как и до деревни докатили... А пальцы у меня быдто палки сделались, стучат, обмерзли. Я на печку, попечитель на печку сдуру-то... Слышу: поп хозяина кличет, за водкой его посылает. Вот ладно, принесли живчиком водку. Поп стакан себе, другой мне: «Эй, ямщик, пей...» Поблагословился, выпил. Он вдругорядь: стакан себе, стакан мне: «Пей еще». Выпил... Партоманет вынимает: «Вот тебе прогоны, а вот тебе еще два целковых, потому как ты пострадал...» — «Покорно, мол, благодарим и на этом, два рубля на чай деньги не малые, ну только что вы, батюшка, полжисти у меня отняли... Дай бог вам». — «Ничего, говорит, чадо, поправишься...» А попечитель на печке сидит, дрожит весь, его не попотчевал поп-то... Вино мне в голову вдарило, вышел я как очумелый, руки словно в кипятке поют, быдто ножом от костей мясо сострагивают... Я хозяину рубль — тащи водки — уж очинно попечителя сделалось жалко — подал попечителю, подал хозяину, сам выпил, потому терпленья нет... Опосля того свалился, не помню чего и было... Попечитель через четыре дня богу душу отдал, а я вот вишь как обсовершенствовался... Вот те и Ванька Хлюст! Вот те и золотые пальчики... Вот так и маюсь, отец, всю жисть свою...

— Чего поделаешь, сударик... — откликнулся душевным голосом дед, — попала в колесо собака — пищит, да бежит. Так и человека жисть ущемить может, ежели. Ау, брат... От што...

Ванька вскинул на деда глаза:

— Чегой-то раздумье долеть меня начало... Сон от меня по ночам прочь бежит. Ворочаешься, ворочаешься ночью, словно медведь, с боку на бок, потом сядешь, да и думаешь... А о чем, спрашивается? О жисти да о Дунюшке... Обо всем, вобче, думаешь,

И, вздохнув, добавил:

— Жисть — штука великая, дедушка...

— Да, не малая, паренек.

— Она кому всласть, а другой от нее окарачь пол-

зет... Пришел я как-то к попу, уж когда по миру ходить, бродяжить зачал: «Здравия желаю, батюшка!» — «Ты кто таков?» — «А вот, смотрите, — сам руки искалеченные показываю, — признали?» — «Нет». — «А помните буран-то? Окажите такую божескую милость, приделите меня хоть в пономари...» Повернулся поп в сердцах, вышел в другу горницу, три пятака медных вынес: «На!..» — «Да что вы, батюшка... Да на вас креста нет». — «Проваливай, проваливай со Христом... А то живо работника крикну... Эй, Яфим!..» Я тут так слезами и захлебнулся. Ну, ловко он меня... поприветствовал... Дай бог... Это за что ж, дедушка? В сердцах-то за что? Не он ли виноват в убожестве-то моем?.. А?.. Как же так не пожалеть калеку? Разве не такой же я есть человек, а?.. Разве не из одного теста?

— Из одного дерева, брат Ванька, бывают лопаты и иконы. На иконы богу молятся, а лопатой дерьмо гребут... Так, милай, и люди, бывают разной выделки... От што... Они, брат, хозявы в жизни, а мы что? Так, слякоть...

— Дык рази в том есть правда? Ну-ка, скажи.

— Правда-то на небе, Ванька... А, сказывают, семь верст до небес, да и те кочебурами... От што... Стало быть, такой придел положен, чтобы по земле ползать. Отползал свое — ложись, умирай.

— Приде-е-л? — насмешливо протянул бродяга и вдруг взвился: — А ежели я не жалаю придела-то?! Что мне придел? Я сам себе придел! Вот те и придел. Вот захочу, останусь, захочу — торнусь в омут, и крышка... Ха! придел!..

Дед уставился на бродягу, подумал минуту, ответил:

— От жисти, брат, не уйдешь, Ванька: все равно поймает.

Ванька задумался, ничего не ответил деду... И погрезилось вдруг Ваньке, что тайга все знает и чувствует, на все может дать совет мудрый, только выслушай ее, только сумей угадать, что она шепчет.

— Ну, а Дунька-то как же, Дунька-то? — громко спросил дед.

— Что?.. — встрепенулся бродяга и лениво перевел на деда все еще затуманенные глаза.

— Дунька-то, говорю, любушка-то твоя?

— Ох, и не спрашивай... — упавшим голосом сказал Ванька. — Еще в больнице лежал, слышно было, что девка того гляди ума тряхнется. А как пришел я, беспалый-то, да с костылем-то, да как увидела она меня, аж обмерла вся — на шею друг дружке бросились, да и завыли вряд страшным голосом... «Сиротиночка ты моя, говорит, сиротиночка...» А потом за нее жених стал свататься...

И Ванька едва слышно добавил:

— А она головой да в прорубь...

Хоть тихо сказал Ванька, а ему опять померещилось, что тайга учуяла и отозвалась таким же шепотом: «головой да в прорубь...» и на речке кто-то откликнулся.

— Чу! — испугался Ванька. — Слышишь, дед?

— Ничего не слышу. Ты што это?

Бродяга встал на четвереньки, прислушался и, быстро поднявшись, закултыхал к речке, подпираясь батагом.

— Эй, куда? — крикнул ему вдогонку Григорий.

Жучка в обнимку с Тимшей спит у костра, дрыгает ногами и жалобно повизгивает, — сон, надо быть, видит. Дед ласково гладит пса и сам с собой тихо рассуждает:

— Нет, чевой-то не ладное с ним, с Ванюхой-то. Пра-а-во... Шибко тоскует.

III

Дед подымается, кряхтит, растирает затекшую спину и, сгорбившись, тянется к котелку:

— А, мотри, упрела уха-то. — И не своим, бабьим голосом, ухмыляясь, монотонно бубнит, как в дудку дудит:

Табашники к табаку-у-у,
Пьяницы к кабаку-у-у,
Обжоры к у-у-ужину!..

Потом, вместе с проснувшимся внуком, торопливо усаживается возле котелка.

Вскоре на зов приходит и Ванька. Лицо бродяги спокойно, но что-то таится в глубине его усталых глаз.

Дед вытащил из мешка деревянную обмызганную ложку и, все тем же смешливым голосом, весело подмигнув Ваньке, сказал:

— Люди за хлеб, а я разве ослеп? Ну-ка-а раз! А ты что, Тимша, зеваешь? Имай рыбу-то... первый сорт мясо: от хвоста грудинка...

От ухи валит пар. Старик ест так, что за ушами пищит. Челюсти его работают сосредоточенно и жадно. Тимша чавкает, то и дело утирая нос рукой и чему-то радостно улыбаясь. А Ванька ест вяло, нехотя, печальный такой сидит, пасмурный.

Дед, зорко покосившись на бродягу, вдруг заулыбался, положил, не торопясь, ложку, пощупал мешок, вытащил бутылку и, подняв ее выше головы, весело прохрипел:

— Ну-ка, братья, зелено, — не прокисло бы оно... Самосядочки хошь, Ванька? Хорроша штука. У нас, в тайге, старухи ее из хлеба сидят... Знаешь поди?.. На-ка, благословись стакашком...

Тот, очнувшись и вскинув на деда белые свои брови, сглотнул жадно слюну:

— Благодарим, дедушка Григорий. Мы не пьем...

— Ты кому другому это скажи, — смеясь, кричит дед. — Не пьешь... Нешто не вижу я, как кадык-от у тебя заползал. Пей, тебе говорят!..

Ванька смущенно скребет за ухом и, круто передернув плечами, тянется дрожащими беспалыми руками к самодельному берестяному стакашку:

— Ну, за ласку твою, отец! Пригрел меня, сиротину.

— Во здравие, — откликается дед.

Ванька чамкает губами, сердито сплевывает, крутит головой и говорит:

— Ух, анафема! Штука лукавая... Ране, бывало, я, действительно, завей горе веревочкой, водку эту

самую довольно сурьезно сосал. Ну только теперича — аминь!..

Костер ярко пылал, тьма по сторонам клубилась, а вековые кедры — богатыри таежные — гурьбой обступили костер и, хмурясь, протягивали лапы свои к теплу и свету.

Уха подходит к концу. Дед всех удалей из котелка черпает и балагурит, стараясь распотешить компанию. Тимша смеется во все звонкое горло, то и дело расплескивая из ложки уху, но Ванька грустен.

Псы нетерпеливо топчутся, повизгивают и просительно гавкают тонкими благопристойными голосами, а дед, чавкая беззубым ртом рыбу и вкусно обсасывая кости, небылицы рассказывает:

— И как лег это, значит, я не поблагословившись, не успел еще и заснуть-то путем, глядь: чертенок, будь он проклят, скок на меня...

— Всамделишный?.. Большущий?.. — широко открыв глаза, спрашивает Тимша.

— Да как тебе сказать, не соврать: вершков этак пять, не более... Я его кэк сгреб в кулак, так всего, окаянного, и зажал. Только рога одни поверх кулака торчат, да темя видать... Вот ладно... И стал я кругом шарить, а сам думаю, как бы его, собаку, ошарашить по маковке-то, чем бог послал...

Босоногий Тимша, пыхтя и по-стариковски покрякивая, укрылся шубой, циркал сквозь зубы в огонь и облизывался на пекшиеся в золе кедровые шишки.

Вдруг Ванька, перевалившись на бок, подполз к бутылке:

— Дед, а дед... Можно, ежели?..

— Сыпь, сыпь...

Ванька облапил бутылку, задрал вверх кудрявую голову и жадными глотками выпил все вино. Глаза его заблестели задором, а лицо сделалось бледным и злым.

Дед на Ваньку уставился с любопытством, улыбнуться хотел — улыбки не было.

Ванька про себя всхлипнул, покрутил удрученно головой и, свирепо погрозив тьме, стал, ругаясь, выкрикивать:

— Эвона, моклышки-то, видишь, старик? А полено-то видишь?.. — ткнул он в мертвую руку. — Ха-ха! Понимай, брат. Чувствуй!.. А ни-и-чего-о... Слава богу, не жалуемся, живем богато: дом о семи жердях с подъездом!

Дед не спускал с Ваньки удивленных глаз, костер оправлять начал. А Ванька, проворно поднявшись, посовался носом и, ненавистно тыкая в небо обезображенной рукой, взревел:

— Проклятые!! Мучители!!. Утух-вы!! Бог-то где же?!

Дед от неожиданности чуть котелок с чаем не опрокинул, вздрогнул, выпрямился:

— Ванька, опомнись!.. Ванька, одумайся!..

Бродяга сразу смолк, словно грудь надорвал и, еле переводя дух, угловато опустился на землю.

К нему Верный подошел, смотрит в глаза, ластится. Обнюхал уродливые руки и стал ласково лизать.

Ванька тяжко вздохнул.

— Скажи мне по чистой совести, как перед истинным, скажи мне, дед, веришь ты богу, в правду-матушку веруешь? — заговорил бродяга срывающимся голосом.

Поскреб дед в раздумье голову и, бросая в огонь валежник, не спеша ответил:

— Алтайцы — богу не молятся, у них дворы скотом ломятся. А наш русак, хоша просит вышнего, кола нет лишнего: кругом бегом... Это у нас в тайге така присказка. А я тебе, сударик, вот что скажу: бога я завсегда в сердце имею. И тебе советую. Понял?.. Вот что, мила-а-й...

Ванька мигает часто, молчит, потом медленно, точно сам с собой, говорит:

— Ну ладно... Ежели веришь, стало быть, бог есть, по-твоему?..

— Дурр-а-ак... За такое слово сто раз дурак... По самое это место... — цедит сквозь зубы дед.

— Ну ладно. Стало быть, есть, — заключает Ванька. — А где же он?.. Я ли ему не молился?.. Я ли не ползал перед ним на карачках? У святителя Иннокентия в Иркутском был. Ты ушутил при моих-то ногах!.. Идешь, бывало, в мороз ночью, вскинешь голову вверх, а там звезды, да месяц по небу ходит... «Господи, шепчешь, господи. Оглянись на Ваньку, пошли исцеленье. Чего тебе стоит, господи. Не дай загинуть!.. Душа моя, господи, душа опаршивела, коростой, как пес гнилой, вся покрылась...» Да ну плакать, да ну кувыркаться в землю, в снег башкой... Я, брат, слезоточив, из меня слеза даже неудержимо катится. Встанешь, утрешь рыло-то, да на небо взглянешь, а там все по-старому, только месяц смотрит на тебя да ухмыляется... А грех все на душе камнем лежит... — закончил он тихо и низко опустил голову.

— Да какой у тебя грех-от? Какие у нас с тобой могут быть грехи?.. Ну-ка...

Ванька деланно захихикал и торопливо, скороговоркой пробормотал:

— У меня, дед, грехов сорок мешков. Один грех продал — всех выпустил. Разбрелись который куда: кто по кабакам, кто по дуракам, а одного вот у вас на заимке пымали... Ххе... — и, помолчав, добавил: — Поди и грехов-то никаких нет на свете... Каки таки грехи бывают, ты знаешь, дед?..

— Как какие? — встрепенулся старик и, придвинувшись вплотную к калеке, стал подгибать по очереди корявые пальцы и перечислять монотонным, как у начетчика, голосом:

— Непослушание, нерадение, паки блуд, лихоимство, гордыня — дочь дьявола, злоненавистничество, и самый смертный грех: хула на духа свята...

— Ха-ха-ха! Здо-о-рово... Расписал, как размазал... А ежели какого зловредного человека жисти решить?.. Это как?.. Грех, али как?.. По маковке ежели фомкой кокнуть, ломиком? — И в голосе Ваньки заметен был хмель.

— Дуррак... Язви те!..

— Х-х-х-ха... — хрипел бродяга... — Не любишь?.. А ежели от которого, окромя зла, никакой корысти, как от гадины, тогда как? А?..

— Как никакой корысти? Ме-ельница!..

— Ну, вот хоть от меня, например. Какой прок во мне? И какой я есть человек для миру?.. Я столь же миру-то нужон, как дыра в мосту... Вот и следовает раздавить меня, как таракана. И я так умствую, что тому человеку-то за меня, как за паука за доброго, ежели убить меня, сорок грехов убавится. Ххы...

— Статуй этакий... Елыман, прости бог... Пей-ка чай-то, умная твоя башка со вшам. Оно лучше дело-то будет. Ошпарь-ка душеньку-то...

Чай пьют без сахару из деревянных чашек. Дед натолкал в чашку пшеничных сухарей и, прихлебывая, говорит резонно:

— Вот смерть придет, узнаешь, каки таки грехи-то бывают. Пей-ка...

— А что мне смерть? — оживился калека. — Нешто я боюсь смерти? Да хошь сейчас!.. Нашел чем пугать Ваньку... Я, дед, в прорубь бросался — вытащили, давился в лесу — веревка лопнула... А ты — смерть!..

— Ой, Ванька... Не торопись умирать...

— А как же жить-то мне, ты подумай? Ну, куды я?..

— Жисть-то нам единова дается. Эх, Ва-а-нька...

— Ну-к чо?..

— Жалеть, мотри, будешь...

— Я, брат, дед, подохну скоро. Чую, что околеть я должен невдолге: замерзну али так где окочурюсь... Что мне смерть?.. Харкнуть да растереть... Во!.. Не боюсь я ее вот ни на эстолько, — и Ванька прижал единственным пальцем кончик костыля.

— Ой, вре... — недоверчиво вставил дед.

— Вот те и вре, — передразнил калека.

— Ой, паря, вре...

— Тебе, может, жить-то хорошо... дак...

— Тому хорошо, у кого брюхо большо, — перебил дед. — А ты живи да бога благодари. Мир должон как-никак прокормить тебя. Без этого нельзя...

— А рука-то?

— Руку напрочь отнять...

— А душа-то покалечена, промерзла наскрозь?..

— Ха, душа!.. Да она, может, почище, чем у кого другого прочего... От што...

— Да ты дурак, дед, прости бог, али умный?! — крикнул Ванька и ткнул деда в грудь. — Ежели я кудрявый был, ежели я пригожий был, и девки от меня таяли?.. А теперича... На-ка вот. Ты ушутил?..

И, поднявшись во весь рост, Ванька, постукивая костылем о лежащую возле лесину, раздельно произнес:

— Землю зря топтать ежели, в том моего согласья нет!.. Понял?..

Старик ничего не ответил, а только сказал:

— Пей-ка еще. Чаю много!

— Благодарим...

— А ты пей без сумленья... От чаю на брюхе веселей делается. От што...

У Ваньки корявое лицо укоризной покрылось, и он, опускаясь на землю, сказал:

— Брюхо тут ни при чем, ежели душа просится на волю...

— А ты, чтобы тебя через сапог в пятку язвило... Он опять свое... Ххе!.. — запавшие, вдавленные временем глаза старика грустно улыбнулись. — Как же я-то? Ведь во мне полторы жисти сидит, а я бы еще три прожил... Че-ортушка, прости бог, этакий... Право!

И чтоб потешить загрустившего Ваньку, он вынул из-за пазухи табакерку и, опять не своим, смешливым голосом, разыграл штучку:

— К голому голяку, к бедному бедняку, к нашему деду Масалову понюхать табачку носового. А для чего же табак нюхать? На гору одышка не берет, под гору спотычка не живет... Ну-ка ра-аз!.. — и подморгнул дремавшему Тимше. Понюхал, крякнул громко, по-цыгански: — Кахы!.. — и сам себе ответил: — Кто крякнет, тому два!..

— Ну и ласковый же характер у тебя, дед,— чуть ухмыльнулся Ванька.

Дед улыбается, кутает Тимшу в шубу.

— Спи, благословясь...

Тимшу сон не берет: ему хочется послушать, что говорят большие. Но те молчат, и Тимша заводит сам разговор с дедом.

— А смертынька, дедушка, по земле ходит?..— И, не получив ответа, продолжает:

— Это пошто ж она, скажи на милость, ходит-то?..

— А вот по то, что тебя не спросила... По этому самому...— Дед опять набивает обе ноздри табаком, чихает свирепо, с присвистом, и приговаривает:

— Чи-хи... Неумытому в рыло!..

— Неумытый-то кто, дедушка, черт?..

— А вот дрыхни, тогда и узнаешь кто...

— Нет, впра-авду?..

— А вот вправду и есть...

Становилось холодно: туман пополз от речки седыми лохмами. Норовил он, цепляясь за стволы дерев и кусты боярки, подняться ввысь, но таежный сумрак давил его к земле. Справа, над речкой, в прогалинке, серебрился месяц, и его тихий голубой свет встал и расплескался над объятой мраком тайгой.

Костер меркнет. Старик нехотя подымается, бросает смолье и укладывается спать. Бродяга, свернувшись калачиком, лежит молча, должно быть спит. Возле него Верный.

Тимша пыхтит под шубой, с Жучкой возится, а потом, высунув голову, говорит деду:

— Анадысь я обортня на заимке видал с парнишками... Здо-ро-ве-енный...

— Что и говорить...

— Нет, вправду... Кобелем борзым прикинулся... Матеру-у-шший...

— С тобой-то слово,— подсмеивается над внуком дед, сладко позевывая.

Тот обиженно сглатывает, глазенки блестят огнем, и он рассказывает дальше, стараясь придать голосу вес:

— Я схватил кость аграма-а-аднищую, да кэ-эк этим костем-то звездану кобеля-то по роже!..

— Ври-ври...

— Вот-то и ври-ври... — Тимша вылез из-под шубы, лицо его вытянулось страхом, и он, сам себя пугаясь, прохрипел: — Дык кобель-от так весь тут тебе и рассы-ы-ыпался. Аж искрушки полетели!..

Когда старик загремел густым смехом, Тимша, смутившись, виновато улыбнулся и юркнул под шубу...

— Вот как выволоку тебя за волосья, — сказал, хихикая, дед, — да спущу штаны... Эвона чо городит... Баран этакий!

Дед вскоре начинает с присвистом всхрапывать, и мальчонка, надрожавшись досыта под шубой, тоже крепко засыпает.

IV

...Костер погас. Ушел с неба месяц. Передвинулись звезды. Непроглядным мраком охватило тайгу. Стоит тайга, не шелохнется, спит. Самое глухое время наступило: без звуков и шорохов, словно вместе с месяцем исчезла вся жизнь.

— Господи, батюшка... — послышалось еле внятно.

Это Ванька шепчет. Возится во тьме, всхлипывает. Молчит.

— Дед, а дедушка. Спишь?..

Не слышит, намаялся, спит старик крепко.

— Ох, батюшки мои, батюшки... Что ж это будет... А?..

Слышно — ползет к деду:

— Где ты тут? Проснись-ко, Григорий... Эй!

— Кто тут? Ты, Тимша?

— Нет, я, дедушка...

— Ты, Ванька?..

— Я... Я... Страх на меня навалился, дед! Порешу я свою жисть! — в голосе его большие дрожат слезы.

— Ну, не паршивец ли ты?.. — зло и укоризненно шепчет дед, — ну, не озорной ли ты малый?.. Чтоб на себя руки наложить? Тьфу? Удди от меня к ляду, дьявол этакий!..

Молчание. Опять тьма поглотила звуки.

— Дык чижалехонько ведь... Сам не рад поди... Душа во мне запищала... Ау, брат... Сумленье к самому сердцу подкатилось. Гложет, окаянное, как собака кость, дыхнуть не дает. Хошь стой, хошь падай... Прямо край!

Дед молчит. Неужели спать хочет? Нет. К его сердцу жалость вдруг прихлынула, кровью облилось его старое, изжившееся сердце.

— Ну, скажи на милось... по чистой совести, — шепчет бродяга. — Ну, кому нужон я? Каков теперича прок от меня? одна помеха...

— Как кому? Себе нужон.

— И себе не нужон, — еще тише шепчет. — Жил я, радовался всему на свете, а люди меня в яму сбросили... Ослеп я там, руки-ноги поломал, и нутро у меня порешилось. Ну, куды я должон? А из ямы мне не вылезти, а смерть забыла про меня — нейдет... Как тут? И еще раз тебя, отец, упреждаю, попомни: зря топтать землю — в том моего согласия нет!..

— Терпи. Значит, терпи, парнище... От што...

— Терпи... А ежели и терпелка-то спортилась, ржой покрылась... Тады как?

Молчит старик, что сказать — не знает.

— Вот видишь?.. молчишь, дед... Я бы давно ушел, да тайга держит: живи, говорит... — задумчиво вымолвил бродяга и, шевельнувшись, крикнул с угрозой: — А уйду-таки!.. Нет, дедушка, я уйду... Как хошь, брат...

Тот все еще молчит, не может с мыслями собраться.

— Нет, нет, уйду... Уйду-уйду... Как хошь...

Тогда дед все таким же отечески-раздраженным, чуть насмешливым, чуть укоризненным голосом сказал:

— Ты еще молод, сударик. Жисти не знаешь... Тебя еще жареный петух в брюхо не клевал... От што-о-о...

— Боюсь я ее, окаянной!.. Смерти этой самой!..

— А как же ты даве... — обрадовался дед.

— Зря тогда молол, похвалялся. А теперича... Веришь ли, дедушка Григорий, как и расставаться с жистью-то?.. Неужели ты не боишься?..

Дед зевает, бормочет молитву и, не торопясь, чеканя каждое слово, говорит:

— А чего ее бояться-то?.. Бедному, брат Ванька, умереть легко: стоит только защуриться... От-што-о-о... Сама придет, никуда, брат, не денешься... А ты не накликай ее... Грех... От што-о-о...

И минута и другая проходит. Оба молчат... Только Тимша тоненько во сне хохочет под шубой, да вдали ухает филин.

Дед чиркает спичку и разжигает костер. Тени торопливо пляшут спросонья, наскакивая гурьбой на что попало, и под их полусонной пляской горбатый нос деда начинает трястись, лицо то становится огромным и плоским, как лопата, то собирается в клубок и пышет хохотом, то отливается в страшную рожу с перекосившимся в страхе, сумасшедшим взглядом.

Ванька согнулся в дугу, словно лесиной пристукнуло — сидит неподвижно, низко понуря голову... Жив ли? Ярко вспыхнул костер, но нет в огне силы, стал потухать.

Дед укладывается, крестит размашисто вокруг себя тьму и охает.

Ванька молчит, только плечи вдруг ходуном заходили и затряслась голова. И из его груди прорываются робко придушенные вздохи и всхлипыванья.

— Ты чо это, Ванька? — тревожно бросает дед.

Тот борется с собой, но, видно, совладать не может, начинает, уже не сдерживаясь, выть чужим голосом, сплевывая сердито и ляская по-волчьи зубами.

Костер гаснет, вверху ветер начинается, и под легкий шелест тайги Ванька надрывается звериным хриплым воем.

— Ванька!.. — кричит дед.

— Ууу... Ууууу...

Ветер все пуще, зашепталась тайга, всполошилась. Сумасшедший вой, навевая ужас, будоражил тьму, до боли сверлил сердце деда, наполнял неизъяснимым страхом все кругом.

— Да ты ошалел!!! — кричит испуганно дед, — что ты, черт, как лесовик!.. Аж жуть берет!..

Бродяга смолк, до крови закусил губы.

А тайга брюзжит, вершинами машет, спорит о чем-то с ветром.

Ветер, злясь, треплет встречные деревья и спешит дальше, вглубь, будит тайгу. Шумит тайга, шумит. Капля за каплей падает дождь.

— Григорий... — помедля немного, позвал Ванька решительным голосом.

— Ну, что, родимый? — учуяв что-то, отвечает ласково дед, — ты подь-ка поближе сюда... А то ишь тайга-то матушка гуторит... От так... Ну-ка...

И во тьме чуть слышно:

— Покаяться я тебе должон, как перед богом... Видно, капут пришел мне... Не совладать... Ау, брат!.. Жила во мне у сердца лопнула...

Помолчал. Вздохнул. И дед вздохнул.

— Попа-то... Помнишь?.. Ведь я спалил... Я... А ты как думал?

— Ни-и-чего... — еще ласковей отвечал дед, — ох, мила-а-й... Так ему и надо, крохобору.

— Дунюшку-то... Дунюшку-то ведь... я... порешил...

— Нно-о-о?..

— Я... Я... Не досталась, чтоб... Уманил я ее к речке, да в прорубь... Ву-у-у!.. Ухухууу...

И сквозь вой слышен строгий, властный окрик деда:

— Ах ты, проклятая твоя душа!.. Варнак ты!.. Варначище, язви те!..

— Про-сти-и... Христом прошу...

— Прочь удди!!

— А ты пожалей, слышь, дедушка...

— Пожалеть? Вон я тебя пожалею, жиган ты этакий! Вот ужо. Душегуб проклятый...

Ванька скачет прочь от деда, как от журавля лягушка...

— И ты?! И ты, дед?! С попом вместях?!

Ветер ураганом взвился по тайге, обрывая шелковые хвои. Угольки в костре вспыхнули и зарницей на

миг осветили поляну. Тайга заревела, затрещала вершинами. Дерево где-то ухнуло во тьме и с треском и стоном упало на землю.

Дождь тихо идет. Ураган умчался, лишь ветер робко блуждал меж хвой тайги.

Калека съежился в клубок, лежит на боку, к сосне привалившись, и зубы его от волненья лихорадочно стучат. Чувствует Ванька, что нечем дышать становится: тоска душит, змеей подкатилась к горлу. Лежит, думает, глаза открыты. И не может понять, то ли наяву мерещится, то ли во сне видит жизнь свою, да не ту, что тучей надвинулась, камнем повисла на шее, а новую, светлую и радостную, которая в удел бы досталась Ваньке, не случись с ним греха. Вот он сильный, кровь бушует в жилах, на щеках румянец играет. Тройку каурых, своих собственных коней, закладывает в наборчатую сбрую, кореннику шаркунцы серебряные подвязывает. Возле него карапуз топчется: «Тятенька, бормочет, тятенька...» Дуня вышла, румяная такая, дородная. Подошла, обняла Ваньку, в глаза, усмехаючись, заглядывает и умильным голосом шепчет: «Соколик мой... Боровая моя ягодка». Лежит Ванька. Спать не спит — глаза открыты.

— Ванька, — любовно окликает дед.

— Ну?..

— Ты меня, Ванька, в слезы вогнал...

Бродяга засопел, что-то сказать силился, но уста молчали.

Дед кряхтит, ворочается с боку на бок:

— Ты... не убивец, Ванька... Я чую это... И пошто ты, например, таку неправду на себя примал?

Ванька Хлюст точно тьму рубит:

— Душа требовает.

— Как так душа? Бог простит, брат. Он все простит. Все грехи твои на обидчиков переложит. Чуешь?.. А я приют тебе предоставлю к зиме... От што... Страданья твои не малые... Он, брат, все видит. От што, мила-а-й... Не робей... От што... Жить у меня будешь в тепле.

Ванька, повалившись на грудь и обхватив голову руками, скулит, как малый ребенок, и не может от волнения понять, что говорит дед.

— Слышишь?..

А тот все скулит и ничего не отвечает.

Уснул дед и уже бредит во сне.

Стонет в болоте выпь, точно тупым ножом по стеклу скоблит, небо плачет, возвращая земле ее слезы, тайга шумит — и чуть внятно всхлипывает Ванька.

Потом все умолкает...

Час проходит. Другой проходит. Нагулялся ветер, поздний гость, пал устало на дно тайги. И снова стоят в вышине и тихо мерцают омытые слезами звезды.

Но, чу!... Застонал Ванька, заметался... Знать, страх подполз к его изголовью и отогнал прочь таежные сны.

...Темно. Костер погас, в пепел рассыпался. Тихо. Словно смерть вошла сюда, и погасила свет, и смела все звуки.

...Верный гавкнул спросонья и залился тревожным лаем. Побежал куда-то, ворчит, мечется, поблескивая в темноте угольками глаз. Потом завыл... таким протяжным, тонким, со слезами, голосом.

В тайге еще темно было, а небо уж начало бледнеть, и потянуло сырым холодом. Ночь кончалась.

— Ванюха! Ванюха-а!.. — крикнул пробудившийся дед.

Но никто не ответил.

НА БИЕ

I

Однажды летом, в средине августа, наш плот, миновав благополучно бушующие пороги красавицы Бии, пристал у лесного кордона, притаившегося средь зеленеющих лесов левого, низменного берега. Как раз напротив, на противоположном берегу, вздымались кверху мощным увалом Ажи-горы. Одетые зеленым ковром сочных трав, с молодым кудрявым березняком по террасам и складкам увалов, эти горы уходили вниз и вверх по реке, и видно было, покуда глаз хватал, как то здесь, то там льнули к ним, словно дети к матери, многочисленные заимки. А вот за тем увалом, верстах в трех отсюда, разбросился своими домишками аил алтайца Сурубашкина. Точно с разбегу наскочил на гору, да дух заняло — не добежал до вершины, и остановился на полдороге: «хорошо и тут». День был, после вчерашнего дождичка, ясный, солнечный. Все блестело необычайно свежими, сочными красками, точно сегодня законченная, еще не успевшая подсохнуть, картина. И гладь успокоенной здесь реки с отраженным куполом голубого неба да зеленеющими берегами, и величественный массив Ажей-гор с игрушечными заимками свободолюбивых староверов — все это, млея на

солнце, словно замерло в сладкой истоме, словно молилось без слов, одними, чуть внятными, вздохами, да благоуханием каждой былинки и травки.

Мы стояли на берегу и любовались.

— А не худо бы поесть да чайку напиться,— сказал один из нас.

Крикнули рабочим:

— Эй, на плоту!

Те зашевелились, высыпали на берег и стали направлять костры да котелки настораживать. Но в это время к нам подошел господин в форме лесничего и, познакомившись, пригласил к себе.

— Ну, как? Не скучаете здесь? — спросил я.

— Привычка, знаете... А потом, дела так много, что и скучать некогда. Почти все лето в седле: участок огромный, а везде надо побывать — там пожар, там порубка, здесь лес продать надо...

— Кабинетский?

— Да...

— Кусочек добрый.

— Чего лучше. А потом у меня маленькое хозяйство: коровы, лошаденки, огород. У меня и дыни, и арбузы, и всякая всячина. Вот сегодня «помочь»: траву кошу, сено на зиму заготовляю. Не желаете ли поглядеть? Картина для вас, горожан, эффектная... Палаша, живо самовар! — крикнул он пробегавшей девке.

— Чичас... — вильнула хвостом, убежала.

Невдалеке, меж редкого молодого соснячка, пестрели яркими цветами группы мужиков и баб — местных черневых татар. Большинство их стояли или, растянувшись, валялись в тени, но, завидя нас, зашевелились, вскочили и с ожесточением принялись махать косами.

— Лодыри. Пока стоишь — работают, отошел — кончено дело... А вечером все придут водку пить да угощаться; кто вовсе не работал и тот придет...

Подошли вплотную.

— Помогай бог!..

— Пасибо, пасибо! — все враз крикнули.

Мужики в белых холщовых штанах и рубахах с кумачными выпушками на плечах и под мышками, а бабы либо в ярких ситцевых, либо в холщовых, вроде рубах, платьях.

Смуглые, в большинстве чумазые, неряшливые, с черными глазами и волосами, высокие, сильные — они были красивы под лучами солнца и пестрели своими белыми, желтыми, голубыми и красными нарядами, как цветки средь буйной, густой травы.

Постояли, полюбовались. А чрез четверть часа сидели за самоварчиком и о том о сем калякали.

— А вот не угодно ли яблочков сибирских покушать... только, извините, всего два осталось, — предложила хозяйка и вынула из шкафа настоящие яблоки.

Мы ахнули:

— Как!.. Неужели?.. Сибирские?!

Мы о сибирских яблоках знали только понаслышке. А некоторые сибиряки сибирскими яблоками зовут обыкновенную картошку.

Попробовали. Вкусно.

— Вот с работами мимо пойдете — загляните, — сказал лесничий, — это под Сайдыпом, верстах в пятнадцати от Бии, у Глаголева.

— Непременно. А кто такой Глаголев?..

— Старик очень почтенный. Бывший чиновник.

Петр Николаевич, товарищ наш, человек немецкой складки, учинил лесничему форменный опрос относительно глаголевского сада и записал в книжку. Так как мы угостились преотменного вкуса и крепости медовой брагой, языки наши как следует поразвязались, и мы болтали без умолку, подтрунивая над Петром Николаевичем.

А тот потел, фыркал, косясь на нас через пенсне убийственным, с лукавой улыбкой, подслеповатым взглядом, и пунктуально, шаг за шагом, снимал опрос. Когда он дошел до собак и, при всеобщем хохоте, стал записывать их клички, мы поняли, что пора идти спать.

Да кстати и брага в кувшине усохла изрядно.

II

День проходил за днем, мы продвигались с работами версты по четыре в сутки. С каждым шагом перед нашими глазами развертывались все новые и новые картины, одна другой лучше, красочней.

Когда идешь по незнакомой горной реке, никогда не угадаешь, какую еще панораму она откроет тебе... Ну, хотя бы вон тот зеленый увал, спустившийся в реку, как голова допотопного зверя, поросшая, словно гривой, остроконечным пихтачом.

Смотришь и по аналогии рисуешь себе зеленеющую цветами и травами поляну, виденную раньше вот за таким же увалом.

Подошел, заглянул и ахнул! Опять новое, опять неожиданно-прекрасное, еще не виданное.

Горы свесились тут своими оголенными каменными глыбами и отвесной стеной ушли в воду, а река, торопливо обогнув «носулю» увала, бросилась на эту каменную грудь и, ударившись, рассыпалась белой пеной, захохотала, заискрилась под лучами солнца и понеслась дальше, волна за волной, опрокидывая по пути оборвавшиеся с утеса камни. А утес стоит да стоит, улыбается добродушно многочисленными очами пещер и вымоин, да, словно брови, хмурит он на челе своем морщины, подернутые мохом времени.

А дальше опять аил, за ним покуривающая сизым дымком заимка...

Вечереет. Солнце вот-вот спрячется в горах. Понесло холодком. Запахло рекой и пряным запахом хвойного леса.

Плот наш то еле двигается по гладкой поверхности вод, то, попав на стрежь, несется как бешеный.

— Как этот бом[1] прозывается? — спрашиваю лоцмана.

— А кто его знает... Бом, да и бом... Быдто прозвища нету...

---

[1] Бом — отвесный, скалистый берег, по которому идет тропа.

— Ну, как нету!.. — слышится с гребей.

Говорит бородатый человек в плисовой рубахе, шляпа набекрень. Пришел «с Росеи» за счастьем в Сибирь.

— Второй год здесь толкаюсь, по Бии, к татарам поприсмотрелся... Они народ любопытный, у них, мотри, кажинному ручейку, кажинной балочке прозвище дадено: камень, к примеру, и весь-то с кулак, шапкой прикрыть, расщеперился надвое, вроде вилашек — у них прозвище: «аир таш»; скала ушла в поднебесье, да козырем верхушечка натулилась — у них опять кличка: «карлач-уязы» — ласточкино гнездо, значит. Они, брат, все примечают, любят земельку свою, всему названье дают... Как в святцах...

И, вынув из кармана горсть кедровых орехов, погрыз-погрыз, да еще сказал:

— А то и песню сложат хорошую... Едет-поет, идет-поет... Что видит, про то и поет: река — про реку, девка — про девку, орла высмотрит — про орла песня сложена... Доброй души люди, что и говорить...

— Что и говорить, — подхватил другой дядя, сибиряк, — с таким народом жить можно... Ничего...

А лоцман спросил:

— Ну, а как же насчет Глаголева господина?.. Пойдете, што ль, по яблоки-то?.. Поутру как раз на то место потрафим...

— А далеко до него от берега-то?.. — полюбопытствовали.

— Ка-а-ко далеко, — ответил лоцман, — эдак, как тебе сказать — не соврать, версты четыре либо пять, не боле...

— Ой, больше... Как же лесничий добрые пятнадцать верст считает?..

— Мало чего тебе лесничий наскажет... Поди сам-от и не был там... А я скрозь это место знаю... защурясь пройду...

— Не врешь?..

— На вот тебе... Пошто врать, мы не врем... — Обиделся, посмотрел поверх наших голов на виднев-

шиеся вдали беляки и лоцманским, особым голосом, закричал:

— О-о-п!.. Ударь лева-а!.. Еще раз-о-ок!.. Оп!..

Плот пролетел возле самых беляков, качнулся, затрещал в связях.

— Надо иматься, однако... темнеть зачало... Чуть было на камень не натакались. Ишь взмыривает, пропастина...

И опять заревел:

— О-о-оп!.. Давай к берегу-у-у!.. Бей речно!! Бей сильно!!! Еще!! Оп!..

Плот лениво завернул к подрезистому приглубому берегу, и минут через десять мы уже сидели возле костров, кипятили чайники и сговаривались о завтрашней прогулке в фруктовый глаголевский сад.

III

На другой день с полден мы вчетвером направились в экскурсию. Перекусили кой-чего всухомятку, да с тем и пошли; далеко ль тут: час туда, час обратно, да там часа два — к обеду как раз вернемся.

— Так версты четыре, говоришь?

— Четыре либо пять, — откликнулся лоцман.

Поверили: человек резонный.

— Вот я вам все обскажу, слушайте: вот так прямехонько через речонку — курице по брюхо, — Куют прозывается — а там заимка... Как заимку пройдешь, все вправо держись, все вправо — упрешься в гору; а как гору перевалишь, тут тебе и Глаголев господин... Его, брат, сразу узнаешь... Бородища — во, по пояс... Поди сивый стал теперича... По бороде сразу приделишь, кто таков... Ну, в час добрый... Со Христом!..

Впереди шел Владимир, высокий, лет двадцати малый, с покатыми, как у борца, плечами и в короткой не по росту рубахе, за ним жизнерадостный, коренастый Вася с энергичными глазами и чуть пробивающимися усиками. А мы с Петром Николаевичем

плелись сзади. Петр Николаевич был малый добрый, товарищ хороший, но трус, каких мало. И, кроме сего, обладал секретом нагонять тоску даже на самую бесшабашную компанию.

— Василий Петрович, Василий Петрович, — говорит он нудным голосом, — а как думаете, тут есть медведи?

Тот молчит, словно не слышит.

— А, Василий Петрович... Есть?

Чтобы отвязаться, Вася кричит раздраженно:

— Есть, есть!.. Они тут еще с прошлого года вас караулят...

А вот и речка. Поискали-поискали брод — нашли, перебрались по камушкам. А Петр Николаевич — человек упрямый — пошел напрямик. И нам видно было, как он, подобрав полы азяма, скакал поперек речки.

— Гоп-ля... Гоп-ля... Гоп!.. — и как раз угодил в омут, чуть не по пояс. Выругался, выполз на берег. Сидит, отливает из сапог воду, кричит:

— Господа, обождите меня... Я сей-ча-а-а-с...

Дождались, опять пошли. День был пасмурный. Дул ветерок. По небу бежали, торопясь к востоку, низкие облака. Пахло дождем и сыростью. Прошли версты две. А вон и заимка. Да не одна, а целых, кажется, пять. Речка, крутясь и извиваясь, опять пересекла нам дорогу, но, слава богу, возле самых заимок чрез нее налажен из двух сплоченных бревен мост. Бревна ослизли, а берега высоки и круты, да и речонка пыжится тут, переливаясь по камням, как и заправская. Хоть страшно было, а перешли, кто ползком на четвереньках, благо заимочники не видят, а кто похрабрей — на ногах. Поручней не было. Заимочник до этого еще не додумался, а может, нарочно такой мост наладил: мы, дескать, ни в ком не нуждаемся. Да и то сказать: сюда, в этакую глушь, кроме урядника, никто почти из посторонних-то и не заглядывал никогда. А урядник ежели и появится за недоимкой да проползет лишний раз по ослизлым бревнам, эка невидаль! За это ему жалованье от казны идет. Итак, мы возле заимок.

IV

— Молодуха, эй, молодуха! — крикнули мы доившей корову женщине. Повернулась, встала. Высокая, статная, с приятным смугло-розовым лицом и бойкими приветливыми глазами.

— А как нам на заимку Глаголева пробраться?

— Глаголева? — переспросила она нараспев.

— Да.

— Порфирья Яковлевича, што ль?

— Да, да.

— А вам зачем? — заулыбалась, сверкнув белыми, один к одному, зубами.

Мы стояли, опершись на изгородку, и тоже улыбались столь неожиданному допросу. Потом сказали ей цель нашего путешествия.

— А вы кто такие будете?

Опять допрос.

— Мы исследуем Бию: глубины промеряем, планы с порогов снимаем, пробуем, нельзя ль пароходы по реке пустить...

— А-а-а... Водяные землемеры, значит, будете?..

— Вроде этого...

— Так-так... — задумалась.

Тут одно облачко разорвалось надвое, и солнце ленивыми лучами стало заливать, не торопясь, окрестность. Вот вспыхнула серебром речка, улыбнулись белые, чистенькие домики заимки, зарделся ярко зеленеющий лес на цепи холмов. И вдруг, что за чудо! вместе с радостным лучом солнца раздались откуда-то, совсем близко, печальные звуки похоронного пения. Мы вздрогнули, переглянулись, — посмотрели по сторонам. Да, вот оно что! Там, за речкой, в полугоре, стоят в неподвижных, понурых позах люди, человек двадцать. Двое, нагнувшись, копают землю лопатами, а остальные поют да плачут. И чем ярче светило солнце, чем наряднее одевались под его лучами леса и горы, тем безутешнее плакало пение. Баба отставила подойник. Мы спросили ее:

— Что это?

— А девочку заимочники хоронят... Луки Митрича дочку... Сгорела вчерась, сердешная...

— Большая?

— Да лет этак десяти поди будет... Ох, родименькая моя, о-о-х... Глашенька ты моя... Ягодка моя борова-а-я...

Женщина замигала часто-часто, скорбью покрылось лицо ее, засморкалась, прикрылась передником и жалобным голосом запричитала.

Из заимок, то здесь то там, бежали, ловко перепрыгивая через соседние изгороди парни и девки, молодые мужики и бабы, а старики со старухами степенно выступали из калиток, и все, с опечаленными лицами, спешили туда, к тому залитому солнцем зеленому увалу, где хоронили девочку.

— Ох, милые мои, побегу... ох, побегу... Ох, Глашенька ты моя...

И, причитая, направилась к калитке.

— Она родная, что ли, тебе?

— Не родная, да лучше родной... Мы здесь — все родные.

Пошли рядом с ней.

— Как же сгорела-то она?

— Да как... Знамо, грех!.. Отец-то с матерью в город за товаром уехали вчерась, — торговцы они, — и посейчас еще нету их, баушка одна слепая. Сами-то не ране как в воскресенье приедут. Ну, а девочка-то, знамо, ума нет, разложила костер во дворе, картошку варить себе с баушкой к ужину, ан платьишко-то у ней возьми да и займись полымем...

Баба засморкалась, сморщилась вся, всхлипнула раз-другой и, успокоившись, продолжала:

— Взнялась огнем вся, несчастненькая, да с перепугу, видно, и языка лишилась. Подала голос, когда уж почернела вся... Промаялась ночь-то, а к утру вот и представилась... Ласковая такая да обходительная была. Все заимочники в голос ревели возле нее всю ноченьку... Да где тут... Не свят дух, не поможешь...

— А доктора нет поблизости?

— Како тут доктора, попа-то и того нет, вишь, сами хороним. Вот батьке с маткой горе-то будет!..

Остановилась, посмотрела на нас заплаканными глазами и сказала:

— А вы вот по ефтой дорожке так и идите, все по заколку, по заколку, никуда не задавайтесь, ни вправо, ни влево... Дойдете до Комаровой заимки, а там и к Глаголеву дорогу спросите...

— А далеко еще до Глаголева-то?

— А кто е знат... У нас не меряно... Верст поди с десяток набежит...

— С десяток?! — удивились мы.

— А кто е знат... Може, и мене... Ну, прощайте, пока...

Мы постояли с минуту и пошли дальше.

— А вы яичек свеженьких не купите, либо шанежек, — крикнула нам в догонку и, когда мы отказались, опять прозвенела серебристым молодым голоеом:

— Ну, в час добрый!

И бегом — заторопилась к могилке.

V

Пока дорога шла у подножья холмов, по сухому месту, подвигались вперед быстро, но вот, одно за другим, стали попадаться небольшие болотца. Дорога совершенно терялась в них, а для пешеходов по обочинам налажены были, чрез бегущие тут ключи, переходы из жердочек. И, по мере того как болота попадались все чаще и чаще, путь становился трудней. Каждый из нас запасся по дороге хорошим колом и, балансируя, как по канату, перебирался по жердочкам чрез опасное место.

— Гоп-ля, гоп-ля-гоп! — выкрикивал отчаянно Петр Николаевич и на самом вязком месте неуклонно срывался в болото.

Отстал от нас изрядно:

— Эй, господа... я быстро не могу... я человек близору-у-кий...

Приходилось ждать.

А солнышко опять спряталось за тучи, и начал накрапывать дождик. На душе стало грустно и от только что виденной картины, и от плохой дороги, и от обложенного свинцовыми облаками неба. Ноги ныли, нервы от постоянного напряжения устали, стучало сердце. А время шло да шло. Уж скоро четыре часа, а заимки что-то не видно. Вот тебе и пять верст!.. Стали ругать лоцмана, заочно посылая его ко всем чертям.

— Господа, заимка! — крикнул Владимир, шедший саженях в пятидесяти от нас.

— Далеко?

— Нет... Версты две будет... С гаком...

— Тьфу, черт ее задави!..

Идем дальше, ругаемся.

Вдруг залилась собака, за ней другая.

— А ведь мы, господа, верст восемь добрых отбрякали, — сказал кто-то.

Собаки набросились, точно с цепи сорвались, и, несмотря на окрики и цыканье девчонки, сидевшей под окном домика, они до тех пор наскакивали на нас, задрав хвосты и скаля острые зубы, пока не съездили одну из них вдоль спины жердью.

— Девочка, а девочка!

— Ну, чо надо?.. — пропищала та.

— Глаголеву заимку знаешь?..

— Ну, знаю...

— Как пройти туда?

— Вон, э-эвона крыши-то выглядывают из леску...

— Тут и есть Глаголев?

— Как бы не так... Нет, брат, до него еще пошагашь. Это только еще Наумовска заимка. Дойдешь, спросишь...

— Как Наумовска, что ты мелешь?.. — возмутились мы, — нам же сказали, что от Бии верст пять до Глаголева...

— Вот те и пять... Нет, брат, пошагашь... Отседова верстов поди восемь будет...

Мы расхохотались ей прямо в глаза:

— Ничего ты не смыслишь, деваха!..

И пошли по дороге вперед. А побитая собачонка изловчилась-таки подкрасться сзади и сцапать за ногу отставшего Петра Николаевича. Хамкнула и, поджав хвост, быстро отскочила в кусты. Тот ахнул диким голосом, торнулся носом, вскочил, опять упал и тогда только закричал, как заплакал:

— Господа... погодите... я пенсне обронил...

Но ждать мы не желали.

Вася крикнул:

— Скорее идите... Вы нас погубите... Ночь на дворе, а тут волки бешеные рыщут по болотам...

— Серьезно?! — стонет Петр Николаевич и, не дождавшись ответа, подбирает повыше полы и рысью догоняет нас.

Действительно, стало темнеть: время предосеннее.

VI

Сразу же за заимкой болота кончились, и дорога, опушенная буйным кустарником, пошла в гору и скоро врезалась в молодой лиственный лес, за которым синели вдали таежные дебри. Шли быстро. Страшно хотелось есть, но желание скорей достичь цели подбавляло нам силы и бодрости. Подсмеивались над собой, над шустрой девчонкой, над лоцманом, и все были уверены, что видневшаяся вдали заимка и есть не что иное, как глаголевский рай.

А вот и лесок. Стоит себе, притих, нахмурился.

Дорога опять стала грязной, и мы направились возле нее, по опушке.

Ранняя здесь осень успела уже наложить руку на теряющие свои ризы леса. Пред этим были два-три утренника. Кой-где поблекла травка, стали желтеть помаленьку да осыпаться листья берез и осин. Зато боярка да бузина с рябиной стояли разрумяненные всеми цветами теплых тонов от ярко-кирпичного до густо-фиолетового, почти сизого. И гроздья их свешивались красными шапками, как бы приглашая сорвать и отведать впитанные ими лучи солнца, запах ветра да соки земли.

Костяника так рдела на яркой зелени лесной травы, что даже и в сумерках бросалась в глаза своими холодными, алыми, как кровь, ягодками. Срывали и ели, чтоб утолить жажду. Вдруг лесок разбежался в стороны, и сразу, по склонам увала, встала перед нами заимка. Все здесь жило, двигалось. Множество коров толкались тут возле домов и домишек. Сновали собаки, храпели, помахивая хвостами, лошади. Бабы с подойниками и ребятишки суетились, галдели. Мужиков не было видно. Впрочем, под окном одной заимки бородатый дядя обихаживал, с молотком в руках, сенокосилку. Кой-где в окнах мерцали огоньки. А тут же почти рядом, в ложбине, за мостиком чрез речку, виднелся обнесенный новым дощатым заплотом участок земли и среди него два «справных» — дома.

Мы сразу догадались:

— Наконец-то Глаголев.

Очень обрадовались. Вася подбоченился, заулыбался и, чтоб попробовать голос, запел весело:

Кончен, кончен дальний путь...

Мы тоже, кто как умел, подхватили и, радостные, направились было к тем домам, но Петр Николаевич, человек во всех отношениях премудрый, сказал:

— Не лучше ль нам справиться, пустят ли туда ночевать?.. Эй, тетенька, а тетенька! подойдите-ка на минутку.

Тетенька одернула подол, подошла. А потом подошел и волосатый дядя.

— Ведь это, если не ошибаюсь, Глаголева заимка?

Мы стояли, улыбались и нетерпеливо ожидали утвердительного ответа.

Баба молча почесала зад, а дядя кашлянул в кулак, зевнул не торопясь, взглянул на нас искоса, спросил:

— А вы кто такие сами-то?

И опять пришлось «начинать сначала».

— Да эта заимка Глаголева, что ль? — почти крикнули мы.

— Которая?..

— Да вот...

Повернул опять, не торопясь, голову, посмотрел прищуренными подслеповатыми глазами на белый заплот, и так же медленно перевел глаза на нас:

— Вот эта? — указал рукой.

— Ну да?! — горячились мы.

— Дак вы кто такие сами-то?..

— Тьфу!.. Тетенька, милая, хоть ты скажи, бога ради...

Та утерла проворно нос указательным пальцем и бухнула:

— Нет, еще до Глаголева упрешь, мотри... Рубаху-то выжмешь...

Мы так и присели от изумления и тупой злобы ко всему на свете.

Петр Николаевич пожелтел сразу — что случалось с ним всегда, когда он злился, — и, взглянув чрез пенсне в плутоватое лицо бабы, унылым голосом, не без яда, сказал:

— Чтоб вам, тетенька, типун на язык за ваши слова.

Та, усмехнувшись, ответила:

— В ефтом разе уж мы не виноваты... А только что до Глаголева еще верстов пять будет...

Мы стали втроем совещаться — как быть, а Петр Николаевич продолжал в том же духе:

— А у вас, тетенька, муж есть?

— Неужли — без мужа... знамо, есть...

— Чтоб у него борода отсохла, тетенька...

— Вот дурной... Да чо ты, в уме?.. Ха-ха-ха... Ну и дурно-о-о-й...

— Да ка-а-к же, — хнычет Петр Николаевич, — обида ведь: перли-перли, верст десять пробухали; я глубину всех болот перемерял, в речке выкупался, иззяб, кушать хочется, и вдруг — пять верст еще... У-ю-ю-ю... — и Петр Николаевич сокрушенно закрутил головой...

Мнения разделились. Я да Вася во что бы то ни стало решили доползти до Глаголева, — все одно: день потерян, а путешествие в тайге ночью интересно

новизной впечатлений, — а двое других настаивали переночевать здесь, чтоб утром, чуть свет, тронуться в путь.

Мотивировка их сводилась всего к двум словам:

— Ночь... тайга...

А для нас двоих, наоборот, это-то и служило приманкой. Наконец нам удалось склонить Владимира, а за ним должен был подчиниться решению большинства и Петр Николаевич.

Распрощались.

— А то ночевали бы... у нас ноне слободно: хозяина нет... — сказала тетка, обхватив руками прущую наружу грудь, и насмешливо улыбнулась.

Однако пошли.

— Мотри, никуда не свертывай... Они будут, сверточки, а вы все прямо, все прямо; да на леву сторону все посматривайте... Огонь на горе увидите — тут тебе и Глаголев живет.

Когда прошли шагов двадцать, Петр Николаевич, хлопнув ладонью сначала по одному карману, потом по другому, вынул записную книжку с карандашом и, остановившись, крикнул, стараясь придать игривость своему плаксивому голосу:

— Эй, тетенька!..

— Ну, чо еще?..

— А как ваша девичья фамилия?

Мы шагали втроем дальше; а тетка рассыпалась мелким смешком и весело закричала:

— А подь ты от меня!.. Стеклянные твои глазы... Просмешник...

Мы хотели было раскатиться хохотом, но, вспомнив, что Петр Николаевич человек премудрый и что не зря же он допытывает тетку, от смеха, по молчаливому уговору, воздержались.

VII

У заимки, в полугоре, сумерки только что наступили, но в низине, куда мы спустились, чувствовалось, что чрез полчаса, много — час, наступит ночь.

Ну и отлично. Дорога шла лугом, и по бокам ее, то здесь, то там вздымались душистые стога свежего сена. Вон туман стелется, цепляясь за кусты: должно быть, у горы болотце. Пронеслось над нами стадо уток, за ним — другое. Вася вскинул ружье, но опоздал. Опять стог, огороженный жердями. А вдали, куда бежит дорога, что-то чернеет. Мы знаем, что это тайга.

По поляне попадаются деревья, в одиночку и целыми островками. Налево, рядом с ними, темные увалы холмов. Где-то стучит топор. Это, наверное, доканчивают просеку рабочие землемера, межующего землю — так сказали нам на заимке. Идем быстро и, чтоб не скучно было, поем песни.

Вдруг дорога разлетелась в разные стороны: одна вправо, другая влево, а третья — меж ними. Пошли прямо, как учила нас тетка. Но та дорога скоро разбилась опять на три, из них одна, что поменьше, круто завернула влево. Вот тут-то мы и призадумались. Пошли на разведки.

А кругом становилось темней да темней.

Левая перешла скоро в просеку, с вешками посредине, и там затерялась куда-то, правая — увязла в болоте, пошли по средней.

Стало холодеть. Справа тоже показались горы. А в небе ни звездочки: серое-серое, неприветливое, висело оно над нами. Шли мы хмурые, не уверенные — туда ли идем.

Опять утки. Вася прицелился. Глухо раздался выстрел и замер; а чрез секунд пять вдруг пред нами в горах что-то грохнуло и мягкими, рокочущими звуками покатилось-покатилось, дальше да тише, и, не успев замереть, с новой силой загрохотало вправо, рассыпалось, притихло, перебросилось влево, там грохнуло и таким же мягким, все убывающим рокотом унеслось вдаль и пало где-то в тайге.

Мы стояли как зачарованные и слушали:

— Вот так эхо!

Опять выстрелили и слушали вновь.

Потом сильными голосами взяли аккорд:

— А-а-а!!

Укатились звуки, замерли, и вдруг, в разных местах, одна за другой, гармонией откликнулись горы. Это было так необычно, так трогательно и красиво, что мы повторяли еще и еще, забыв о дороге. Однако пошли. Наш путь пересекла какая-то хорошо протоpенная дорога, а сажен через сто — другая. Черт знает сколько дорог!..

— А ведь мы, господа, заблудились!..

— Ну, вот еще...

Но все мы чувствовали, что наверное сбились с пути... А сумрак ближе да ближе. Вот кончается скоро поляна, и тайга поглотит нас всех.

Вася сзади кричит:

— Обождите, пистоны я потерял сейчас!..

Плохо. В тайге без ружья плохо.

Петр Николаевич почувствовал это сильнее всех и первый побежал на помощь Васе.

Искали с полчаса: все сажен на десять выползали, найти не могли. Сожгли полкоробки спичек.

— Я, господа, дальше не пойду, я лучше вернусь, — говорит Петр Николаевич и, не получив ответа, предлагает: — Давайте-ка, пока не поздно, залеземте до утра в стог...

Но мы схватываем его под руки и толкаем вперед.

Поляна кончилась, пошел перелесок, за ним — тайга. Темная-темная, приняла она нас, но мы люди бывалые — не боимся, идем.

Стало так темно, что мы больше не видим друг друга, только два белых картуза сереют, да слышатся хлюпающие шаги по грязной, после дождя, дороге.

— Стоп!.. Ух, — язви те!.. — Слышится время от времени недовольный голос Петра Николаевича: должно быть, натыкается на деревья да пни.

Заухал, заржал где-то филин. А ему откликнулся другой.

— Животная ночная... — сказал Вася и спросил: — А вы, Петр Николаевич, животная какая?

Тот, помедлив, жалобно отвечает:

— Денная...

— А зачем же вы на ночь глядя пошли?..

— По глу-у-пости... Я думал, что близко... Кабы знал — не пошел бы.

Впереди всех хлюпает Владимир.

— Господа, — кричит он, — дорога пропала!..

Подошли. Ползает на четвереньках и щупает руками землю. Мы очутились на какой-то сплошь истоптанной копытами поляне. Ползаем сами, щупаем, ничего не можем понять...

— Сюда, господа, сюда!.. — опять кричит Владимир, — нашел!..

Спотыкаясь и падая, бежим на голос. Верно, дорога... Но не другая ли? Ну, да теперь все равно. Идем. Чувствуем, что сваляли дурака, не оставшись ночевать на заимке.

Кто-то из нас сказал:

— А ведь эта дорога идет, пожалуй, на прииски, что по Лебеди... Верст сто пройдешь и жилья не встретишь...

В тайге что-то хрустнуло.

— Не медведь ли?!

А ружья нет, без пистонов оно — палка.

— Ребята, медведь!!

И мы сразу, что есть силы, заорали, чтоб напугать.

— Это я-а-а... — стонет в ответ Петр Николаевич. — Где тут дорога-то?..

Вдруг, среди тьмы, откуда-то сверху, с увала, что с левой руки, яркий женский голос:

— Э-го-о-о-ой!..

Ах, как обрадовались мы тогда. Боже, как обрадовались!

— Огонек, огонек на горе...

— Где?..

Погас огонь и больше не появлялся.

Мы принялись кричать все враз...

Голос не откликался.

— Глаголев!.. Глаголев!..

Слышим:

— Э — э-э-эй!.. — кричит опять женщина, где-то далеко-далеко, чуть слышно и как будто в другом уже месте.

— Гла-го-лев!.. Гла-го-лев!!

Молчание. Кричали полчаса. Ни звука...

Вася зарядил ружье, насыпал в капсюлю пороха, а Владимир поджег. Ружье плюнуло полымем, грохнуло, заорало. Но вновь тишина, и только слышно было, как тяжело дышали наши груди.

— Это — русалка...

Кто-то сказал глупость — а мороз подрал по коже, чакнули зубы.

— Русалочка, милая, захохочи!.. Зачем и куда завела ты нас? — шутил Вася.

— Я бы предложил, господа, идти налево, прямо к тому месту, откуда кричали... — сказал Петр Николаевич.

Но, сообразив, что ночью по незнакомой тайге ходить опасно — можно погибнуть, — решили идти вперед, не теряя дороги:

— Авось дойдем, хоть к утру, до какой-нибудь заимки.

Голод совсем пропал, только ноги дрожали, да в груди ползали злоба и жуть.

VIII

Когда мы, достаточно измучившись, начали мало-помалу терять мужество, встал перед нами неприятный вопрос:

— Что же делать?

Назад идти, на заимку — безрассудно: в такой тьме не найти даже стога сена. Ночевать в тайге — без ружья опасно. И кроме того, стало холодно. Положение было не из приятных. Решили: ощупью подвигаться вперед. Хоть на душе у нас было больно плохо, но там где-то на дне, как уголек в золе, чуть мелькала надежда: авось! Молча шли кой-как вперед. Останавливались, прислушиваясь к тайге. Но ни звука, ни шороха. Да полно, есть ли тайга-то? Так темно и тихо... Не погиб ли я? Существует ли что-нибудь возле меня, кроме тьмы, тишины и жути. А может быть, сон?

— Господа... — тихо спрашиваю я.

Отвечают. Это хорошо. Хоть дрожащими голосами ответили, а на душе стало легче.

— Господа, — стараюсь говорить громко, — давайка нащупаем березу, надерем бересты, факелов понаделаем и с песнями пойдем вперед.

Предложение принимается, и через минуту Петр Николаевич кричит:

— Ее-сть береза...

Вот зажгли факел, за ним вспыхнул впереди другой. Тьма расступилась, запрыгала. Всюду поползли черные тени от нас самих, от стволов и пней. Береста фыркала, трещала, а густой дым клубился ввысь, сливаясь с чем-то черным, бездонным. Сгрудились все, пошли проворно, пока горят огни. Вдруг видим: прет на нас из тьмы какое-то серое чудище, храпит.

— Стой, стрелять буду! — Слышится незнакомый окрик... — Вы кто такие?!

А у нас возьми да, как на грех, факелы и погасни.

И опять стала тьма. Ох, какая зловещая была минута.

Ббах!! — грохнул вдруг выстрел... Ббах!!! — другой.

— Да ты ошалел?! — как зарезанные заорали мы...

— А вы кто такие? — Опять злой голос прорезал тьму, совсем близко от нас.

— Где Глаголев живет?

— Я вам такого Глаголева покажу, что унеси бог тепленьких!.. — загремел голос, и слышно было, как сломилось ружье, как вставились в стволы свежие патроны.

— Мы не жулики, мы вот кто...

— А-а-а, — более дружелюбно протянул голос и добавил совсем мягко: — А то, кто е знат... Вот прошлым летом также, было укокошили нас... С приисков, должно...

Трясущимися от волнения руками зажгли факел. Глядим — стоит перед нами верховой, здоровенный, на белом коне, мужик и угрюмо щупает нас глазами, держа наготове ружье. Заметив, должно быть, две форменные фуражки — успокоился окончательно.

— А я с соседней заимки, с версту подале отсюда. Промеж нас, вишь, уговор с Глаголевым: ежели у него ночью выстрел — я к нему должон на помощь, а у меня — он ко мне... Так это вы стреляли-то даве?..

— Где ж Глаголев-то?..

— А вот на горе, против нас... Каких-нибудь сто печатных сажен...

— Сделай милость, проводи, полтину дадим...

Согласился:

— Ну, я впереди, а вы не отставай, держись прямо за лошадью... А то тут ключик... Айда!

Такими ослепительными улыбками сияли наши физиономии, что, кажется, было б светло и без факелов. Шли, хохотали, рассказывая заимочнику наши злоключения.

Хохотал и он.

— Еще как вы на зверя не натакались...

— А есть тут? — хриплым шепотом спросил Петр Николаевич.

— Тут-то? Ха-ха... Сколь хошь.

Петр Николаевич вздрогнул всем телом и зашагал ближе к лошади, пугливо косясь по сторонам. Наконец миновали ключик, поросший колючими кустами кочкарника, и уперлись в гору.

— Глаголе-ев!.. Эй, Глаголев... — закричал всадник.

Мелькнул вверху огонек, и женский голос ответил:

— Что-о-о?..

— Ты, Аннушка?

— Я...

— Вот гостей пымал... Господа к вам идут в гости... Сады смотреть... Сам-то старик спит?

— Нет еще...

— Ну так вот, примайте...

И, обратясь к нам, сказал:

— Ну, давайте деньги... Вот по этой тропке царапайтесь вверх. Как раз в калитку.

Я порылся в кошелке и сунул провожатому в руку полтину. Тот завозился в седле, чиркнул спичку и внимательно осмотрел монету: не надули бы!

— Ну, благодарим... Прощайте-ка.

И, отъехав, крикнул сквозь тьму:

— А я, грешным делом, так и подумал, что вы, современем, варначье. Ха-ха-ха!.. Уж извините...

IX

Наконец-то. Пред нами домик окна в четыре. Крылечком выходит во двор, застроенный сарайчиками, клетушками, навесами. Хотя наружная дверь была настежь, однако доступ в сени преграждался низенькой, странного устройства, калиткой, а за ней, по пояс скрытые, стояли, сгрудившись, трое: высокий с огромной окладистой бородой старик, молоденькая, лет шестнадцати, девушка да пожилая женщина. Старик держал фонарь и, сделав руку козырьком, пристально разглядывал нас. Лица их были бледны, глаза светились тревогой и любопытством.

— Вы кто такие, господа?..

Здороваемся, называем себя...

— А-а... так-так... Милости просим, милости просим... — а сам калитку не отмыкает. Начался допрос: как про него узнали, почему заблудились, кто стрелял? Наконец протянул, перегнувшись через калиточку, руку:

— Ну, здравствуйте-ка... Вот теперь пожалуйте. — Вынул из скобок запор, отворил дверцу.

— Аннушка, внеси ружьишки-то в комнату...

Та, конфузливо улыбнувшись, взяла стоящие в углу три ружья и, хихикнув, скрылась в комнаты, а старик сказал:

— Вы, милостивые государи, изрядно-таки напугали нас... вишь, ка́кой гостинец был для встречи приготовлен... Уж извините... Живем в страхе... Место глухое... Вот также прошлым летом...

И он рассказал, как их чуть не убили какие-то проходимцы с золотых приисков.

— Это не вы ли нам голосок подавали? — спросил Вася девушку. Та суетилась, накрывала на стол, возилась возле самовара.

— Я... — улыбнулась, стрельнув глазами.

— А мы вас за русалочку приняли. Почему ж вы не откликнулись нам, злодейка?

— Потому, как Порфирий Яковлевич не велели. Мы попервости подумали, что евоный сын с города едет, Михайло... А потом слышим — нет: чужие, да много...

— Не только кричать... хе-хе-хе, — смеялся старик, — я и огонь-то велел в дому погасить... В тайге опаска не вредит... А народ всякий бывает... Иной хуже зверя...

— Сколько верст до Бии считаете? Мы оттуда шли...

— Семнадцать...

— Семнадцать?! Лллловко!!

Мы с таким волчьим аппетитом набросились на свежее роскошное сливочное масло, на чай, на душистый, только что подрезанный мед, что, — не знаю, как товарищам, — а мне было-таки стыдненько.

Нас засыпали вопросами. Мы отвечали, сами спрашивали, много смеялись, но что отвечали и о чем спрашивали — хорошенько не помню, очень хотелось спать. Да и товарищи изрядно позевывали.

Помню только очень хорошо, как среди чая Глаголев куда-то исчез с ключами и фонарем и минут через десять явился с яблоками в корзине.

Все мы очень дивились, всячески рассматривали яблоки: и на ладони взвешивали, и на свет смотрели. Наконец стали есть. Петр Николаевич, по обыкновению своему, священнодействовал. Чрез полчаса мы разбросили на полу свои «азямы» и кой-какую хозяйскую «лопотину», грохнулись как попало и уснули богатырским сном.

X

В путь двинулись, неся по очереди два пудовых ящика меду. Потом, на полдороге этот мед мы трижды прокляли, так как ящики оттянули нам руки. Мой ящик был связан лычной веревкой с большой петлей. Я умудрился петлю надеть на шею, и ящик все время тянул меня вперед, нагибая к земле.

Я пыхтел, спотыкался на кочки, но все-таки кое-как подвигался. Дорога была скверная, и ее тоже пришлось проклясть трижды.

Назад шли ровно пять часов.

Домой пришли втроем: Вася остался у молодой красивой заимочницы — купить свеженьких яичек, да шанежек...

— Эй, позовите-ка сюда лоцмана!

Пришел. Взглянул на нас — смекнул, в чем дело — стоит, виновато улыбается. Глаза бегают.

— А сколько верст отсюда до Глаголева?

Молчит, смотрит на нас, улыбается. Потом снял картуз, изо всех сил поскреб темя, опять надел и тогда только, с виноватой ужимочкой, ответил:

— Да верст поди шесть... Либо девять...

Мы взялись за бока и покатились со смеху.

А лоцман, почапывая по очереди то бока, то спину, бубнил:

— Кто е знат... Знамо, не меряно... Все говорили быдто, что четыре.

КОЛДОВСКОЙ ЦВЕТОК

I

Дедушка Изот — настоящий таежный охотник, медвежатник. Вдоль и поперек на тысячу верст тайгу исходил: белковать ли, медведей ли бить — первый мастак. А соболь попадет — срежет за милую душу и соболя. И чего-чего он только не видал в тайге:

— Ты думаешь, эту просеку люди вели? Нет... Это ураган саданул, ишь какую широкую дорогу сделал... А меня, парень, почитай на сотню сажен отмахнуло вихрем-то, сколь без памяти лежал. А молодой еще тогда был, самосильный...

Изот и леших сколько раз в тайге видал:

— Он хозяин здесь... Только что хрещеному человеку он не душевреден... Иду как-то я с Лыской, а он, пáдло, нагнул рябину, да и жрет прямо ртом...

Он и тунгусов, и шаманов их, самых страшных, самых могучих, видывал:

— Тунгусов здесь, в тайге, много. Ух, и шаманы же у них в старину были: посмотришь на него раз, умирать будешь, и то вспомянешь...

Бродить мне по тайге с Изотом весело. Заговорит-заговорит — знай слушай.

Да и тайга зимой красоты небывалой. Вся опушенная белым снегом, густая и непролазная, она кажется

какой-то завороженной сказкой, каким-то волшебным полусном.

Мы с дедом еле тащим ноги, направляясь на яркозолотой отблеск вечерней зари.

Жучка, высунув язык, черным пятном ныряет по сугробам и устало тявкает, когда упавшая с сосны шишка обнаружит притаившегося на вершине зверька.

До нашего зимовья, крохотной лачуги, добрых версты две. Сумрак все настойчивей выползает из берлог и падей, заря гаснет, в небе одна за другой вспыхивают звезды.

— Ну-ка, паря, приналяжем, — кряхтит дед и надбавляет шагу.

А вот и зимовье.

Маленькое, пять шагов в длину, пять в ширину, наскоро срубленное и кой-как протыканное мхом, оно нам с дедом милее каменных палат.

Жучка хозяйственно обежала избушку и, полаяв на все четыре стороны, первая шмыгнула в полуоткрытую дверь.

II

Лишь только запылали в каменке лиственничные дрова, мы с дедом повалились на холодный земляной пол и, посматривая на веселый огонек, плакали от едкого дыма, сразу наполнившего всю избенку.

— Дед, открой, пожалуйста, дверь.

— Пошто... Этак, брат, нам и хаты не согреть. Уткнись, коли так, рылом-то в шубу... Он чичас к потолку подымется... От та-а-к...

Дед подбросил еще охапку мелко наколотых дров, огонь заболтал о чем-то, затараторил по-своему, и воздух стал быстро нагреваться.

— Ну, садись, — скомандовал дед раскатистым своим басом, — а я дыру открою, надо дым на волю выпустить. — И, весь окутанный облаками дыма, полез на нары, чтоб открыть под самым потолком задвинутую доской продушину.

Через полчаса мы, усевшись на разбросанные по земле хвои, пили с ржаными сухарями чай, а над

нашими головами колеблющимся голубоватым пологом плавал дым.

— Да-а-а... — тянет дед, настораживая к костру котелок с оленьим мясом, — ты говоришь, тайга... Тайга, брат, охо-хо-о-о-о... И народ в ней другой, особый — прямо тебе скажу, дикий народ.

Дед стоит у костра вдвое перегнувшись и, опаски ради, придерживает левой рукой огромную свою сивую бородищу.

— Да и вправду молвить — ну кто округ нас есть живой! Медведь да тунгус — вот и весь свет... Куда ни кинься — тайга... Лес, лес да дыра в небо. И никакой к нам пути-дороги... А все ж таки...

Дед набил трубку, вытащил из костра головешку, закурил.

— А и промеж нас иным часом бывает... Нет-нет да и... Тьфу! чтоб те пятнало, окаянного! — вдруг плюнул дед, — гляди, каку дыру прожег, — и, зажав дымящийся подол рубахи, принялся сердито ворошить палкой прогоравшие дрова.

— Что же промеж вас бывает-то?

— А как тебе сказать.... Ну, быдто сумленье в голову вступит, куда-то поманит человека, душа вроде как скулить начнет... Вот взвился бы птицей да улетел бы к самому небушку... Да-а-а... А то тайга, тайга, никакого тебе вздыху нет... Скушно... Да вот погоди ужо, я те расскажу, какой случай мог произойти с одним человеком, прямо будем говорить, с моим родителем.

Поужинав и разомлев в тепле, мы стали свежевать с дедом белок: обдирали с них пушистые шкурки и связывали их, хвостами вместе, по двенадцати штук в бунты.

Жучка, нажравшись до отвала белок, подсела к огоньку и вскоре, подремывая, стала клевать своим острым носом.

Дед притащил еще охапку дров и сказал:

— Ну, паря, давай укладываться спать.

— А случай-то?..

— А ты ложись знай: ночь долгая... Поди намаялся день-то деньской...

III

Мы лежали с дедушкой Изотом на прикрытых оленьими шкурами хвоях. Костер в углу на каменке ярко горит.

Черные, покрытые густой сажей потолок и стены тихо колышутся в лучах костра, а за крохотным, над скамьей, оконцем, сквозь вставленную прозрачную льдинку мерещится голубая таежная ночь.

Дед укрылся шубой, а голые ноги подставил близехонько к костру.

— Ну, вот теперича, коли так, слушай...

Покряхтел, поскреб обеими руками лохматую голову, сладко зевнул и старательно закрестил рот.

— Ну, дак вот, я и говорю. На моих памятях это дело-то приключилось, а я втапоры мальцом был. Да. И вдруг, братец ты мой, стали мы с матерью замечать, что с тятей что-то неладное доспелось, чего-то тосковать тятя начал. А жили мы, надо тебя упредить, справно. Сядет, бывало, тятя под окошко, подшибется рукой, да и сидит, как статуй, молча. «Ты чегой-то, Терентий?» — мамынька окликнет. «Так, ничего». Мамынька на реку сбегает, баню протопит, придет, а он все еще подшибившись сидит. «Да ты бы хоть поел, на-ка щербы покушай». — «Нет, не надо». — «Не брюхо ли у тебя схватило?» А отец этак срыву ответит: «Вот тут у меня болит... вот тут, понимаешь?» А сам по сердцу ладонью стукает. «Ну-к иди, не то, в баньку, похвощись». — «Дура!» — крикнет отец, вскочит, сорвет с гвоздя картуз да марш вон. А мамынька — выть. Уж ночью придет батя, к петухам почитай. Вот день, вот другой, вот третий... Батя сам не в себе. Потом оклемается — опять за работу... Недели две так продюжит, а тут опять к нему лихо причепится. Ах ты, господи! А то пить учнет. И пьет, и пьет, фу ты, пропасть! Так вот и маялся. «Да с чего это с тобой, Терентий, сделалось?» — мамынька спросит. «Тоскливо мне... Тоска... Понимаешь, тоска...» — а у самого слезы. «Дык, дай я тебя натру, благословясь, сорокапритошником, от сорока приток, сорока

болезней способствует». — «Молчи, дура, баба», — и весь сказ. И вот, братец ты мой, теперича, слушай, какая оказия стряслась. Спишь, нет?

— Я слушаю.

— То-то. Ну вот... Заходит к нам в этако-то время бродяжка, так мозгляк какой-то, ночевать просится. Ну что ж, ночевать так ночевать, места не жалко. Накормили его, значит, напоили. «Откуда бог несет?» — «По хрещеным хожу, питаюсь. А вот, говорит, верстах в десяти от вас — чудо». — «Какое чудо?!» — отец обрадовался. «Да, говорит, по Нижней Тунгуске из Енисейска-города на Лену в каторгу преступников в лодке бечевой тянут, а средь них, говорит, знаменитый разбойник Горкин с полюбовницей». — «А чем же он знаменитый?» — «Да его, говорит, никакие цепи, никакие остроги не держат... Слово такое знает, сколь раз убегал... Сам убежит, да еще человек с двадцать уведет с собою». У тятьки и глаза загорелись, аж задрожал весь. «Изот! — кричит мне тятя. — Оболакайся живчиком, пойдем глядеть». Ну, одначе, мамынька умолила тятю, — не потрогал меня, один ушел. Вот ждать мы тятеньку, ждать — нету. Опосля того, этак через неделю времени, бряк в окно: «Эй, отворитесь-ка». А ночь была глухая. «Ну, говорит, Акулина, вот чудо, дак чудо видал я», — и начал нам, значит, по порядку, что и как. До самого утра я разиня рот слушал.

«Вот прихожу, говорит, я на Еремкину Луку, а там действительно костер горит, возле костра люди. А туман такой стоял, что страсть. Поприветствовал я, говорит, народ. Гляжу — все чужие. И вижу, у костра сидит женщина, красным платочком повязана. Как уперлась она в меня глазищами, я так назад и подался. «Чего, говорит, испужался», — а сама возьми да улыбнись. Ну, такой женщины сроду, говорит, не видал, ну, до чего у ней, говорит, глаза удивительные, как стрелой разит, вот как. Ну, из себя тоже шибко хороша. Да. «А главная-то рыбина в лодке, в шитике», — говорят мне. Я туда. Сидит мужичище, вроде цыгана, нос горбатый, борода черная, цепями весь окован. Как взглянул я на него, сробел, жуть на

меня напала, плюнул я, — век, мол, тебя не видеть. Вот начал народ суетиться у лодок, время плыть, коней начали в постромки вчаливать. А женщина встала, отряхнулась, бровью повела, — ну, прямо королева. «Дозвольте мне, говорит, на эту гору подняться. Лодку я догоню». А река тут быстро бежит, лодку супротив воды тянуть трудно, лодка огромная — шитик. Старший ей говорит: «Ну, ладно, иди, никуда ты в тайге не скроешься». Вдругорядь улыбнулась женщина, подобрала юбчонку да айда на гору, а шитик тем временем с разбойником вверх повели. А я стою, — говорит мой родитель, покойна головушка, — дожидаюсь ее, прямо ну вот, скажи на милость, все бы на нее глядел, ну прямо околдовала, дьявол. Долго ли, коротко ли, говорит, ждал, ну только гляжу: спускается с горы, маячит сквозь туман, сама в веселых мыслях и какой-то цветок в руке держит, травинку. «Вот, говорит, мужичок: сколь времени я такой цветок искала, нигде не могла найти, опричь этого места. Беги, говорит, мужичок, к лодке, а я с этим цветком под водой пойду, я вас наздогоню». И не успела, батюшка ты мой, вымолвить, подбежала к крутому берегу да чебурах в воду, только гул пошел. Я — ай-ай! караул! — да ну по кустам вдоль берега тесать, быдто заяц... А туман страшенный; сколь разов, говорит, я под берег кубарем летал. Ну, кой-как догонил шитик. «Стой, кричу, стой! Женщина утопла!» Шитик к берегу, я вскочил, говорит, туда, начал все чередом обсказывать, так, мол, и так, и вдруг в это самое времечко как взыграет вода под кормой, как вынырнет наша красавица-то: «Ну, вот и я!» — а сама сухохонька, быдто и в воде не бывала. Мы все так и осатанели. Шапчонки сдернули, окстились. А она улыбается. Туман того гуще стал, все как в молоке, вся округа. Народ перепугался, шепотком разговоры ведут, боятся, как бы она, колдовка-то, какого худа не сделала: как махнет цветком, да оборотит всех медведями али гадиной какой. А она, братец ты мой, ровно бы угадала. «Вы меня не пужайтесь!» Ну, мы ничего, оправились».

Мой родитель с неделю с ними плавал, она еще разов пяток этаким же побытом под водой ходила. Да...

Ну, теперича, паря, давай курнем.

IV

Накурившись всласть, дед приподнялся, задвинул дымовую продушину, огладил Жучку и снова лег.

— Ну, дак вот, парень... На чем бишь я остановился-то... Да-а-а... Этово, как ево... Да-а-а...

Наконец, собравшись с мыслями, дед начал:

— И с этого самого времени родитель мой, покойна головушка, в отделку загрустил, окончательно умом тряхнулся. Самое лето наступило, пора сенокосная, тут только давай-давай. А он как-то утречком: «Ну, прощай, баба... прощай, сынок... А я пойду...» — «Куда ты, что ты?..» — «Пойду счастье пытать». — «Очнись, одумайся...» А он свое. Так, братец ты мой, и скрылся. Плакали мы с мамынькой, плакали, как быть, куда деваться? Объявили миру, стали у мира помочи просить. Вот всей деревней с неделю по тайге шарились, да разве сыщешь: тайга эн какая, конца-краю ей нет...

А тут пошел это я с ружьишком линных уток пострелять по Ереме-реке. Вот, братец ты мой, подхожу это я к берегу, слышу: схлопало что-то по воде. Я испужался, схоронился за сосну, высматриваю. Опосля гляжу: человек посередь реки вынырнул да к берегу по саженкам чешет. Глядеть, глядеть — господи, царь небесный, да ведь это тятя. Я к нему. «Тятенька, кричу, тятенька!» Подбежал, повис у него на шее да ну реветь в голос: «Ты что же, тятенька, задумал?» — «А я, сынок, цветки пытаю всякие... Мне колдовской цветок обязательно надо сыскать... Пойдем-ка». И повел меня в кусты. Шалашик у него там сделан, а кусты густущие, век не найти бы... Возле шалаша на козлинах жердочка строганая, а на ней всякие нанизаны травы. «Вот эти все перепробовал, в них силы нету настоящей». — «Тятенька, мамынька

меня за тобой послала... Пойдем». — «Обожди, сынок. Айда к речке!» Вот повел меня к берегу. Разулся опять, разоболокся, взял из кучки один цветок белый, зажал в горсть, разбежался да бултых в воду, на самое дно. Ну, я стою разиня рот, дивлюсь. Опять тятя нырк наверх посередь речки, фырчит, отдувается, аж захлебался весь. «Не тот, кричит, не тот!.. Дай-кось синенький». Да так до самого вечера и нырял все с разными цветками.

Ну, одначе, сговорил я его. Пошли мы с ним домой. Как вошли в тайгу, сели под елочку, я ему и говорю: «Зачем же тебе, тятя, такой цветок?» Он похлопал это меня по плечу, вот как сейчас помню, да таково ли ласково вымолвил: «Ах, сынок, сынок... Еще молодой ты, чего знаешь... Скушно человеку, сынок... Вот как скушно... Ты слыхал, говорит, сказку, как Иван, царской сын золотых кудрей, на колдовском коне за тридевять земель ездил, али про жарптицу, али про ковер-самолет?.. Вот то-то и есть, сынок! Да кабы мне такой цветок-то колдовской найти... Ха! Да я бы сквозь все земли прошел, я бы все небушко надзвездное вольной птахой выпорхал... Ух ты, господи!..» Обнял он меня, да таково ли страшно задышал... Я уставился на тятю, а у него слезы так ручьем и хлещут...

Дед пофыркал носом и незаметно смахнул набежавшую слезу. Под нарами тихо взлаивала во сне Жучка. А в костре попискивали, о чем-то шептались золотые угольки.

— Ну, как ты думаешь, чем же вся эта побывальщина окончилась? — спросил дед, повернувшись на бок, ко мне лицом.

— Не знаю.

— А окончилась она так, милый... Вернулся отец и все нам с мамынькой по хозяйству справил. Вперед всех с поля убрались. Да. И вот в позднюю пору, уж когда деревья начали призадумываться, а в лесу красный лист обозначился, опять тоска к отцу подкатилась. Он мамыньке, царство ей небесное, ни гугу, а все со мной больше разговор имел. Как-то раз и говорит: «Я теперича, Изот, по-другому надумал цветы

пытать». Не прошло и трех дней, хвать-похвать, тятькин и след простыл. Ну, тут опять и началось у нас с мамынькой. Она и к попу-то ездила, и знахарок-то выпытывала, и шамана от тунгусов примала, — нет. Прямо как канул.

Уж ко здвижению дело подходило, на хребты снег пал. Сидим мы как-то с матерью, сумерничаем... Приходит в избуусед наш Онисим. Покрестился на святы, — «здорово, говорит, живете», — а сам топчется. У нас с матерью так сердце и захолонуло. «Ох, не с добром ты, я вижу, Онисим», — мамынька молвила, а он: «Так что Терентий ваш нашелся». — «Где?!» — «Известно, в тайге». — «Ну!» — «Зверь его, видно, зашиб, медведь». Матерь моя так с лавки и покатилась. А он: «Ехали мы, говорит, из кедровника, с орехов, глядим — что за оказия! — из-под хворосту ноги торчат. Раскидали хворост, а там Терентий вниз лицом лежит, а в горстке у него цветок желтенький зажат быдто».

Дед, помолчав, прибавил:

— Вот те и все. И весь сказ мой. Вот я и мекаю: однако он, родитель-то мой, покойна головушка, медведя цветком-то покорить хотел да в поднебесье лететь на нем, навроде сивки-бурки... А?

Дед замолк и долго лежал, тяжело вздыхая. Костер прогорал, в зимовье стоял колеблющийся сумрак, а голубой сноп, лившийся через ледяное оконце, нащупывал что-то под нарами, шарил в темном углу, кого-то выслеживая и карауля.

Возле зимовья вдруг послышался скрип снега, будто грузный человек взад-вперед ходит, и тихий, надвигающийся из тайги разговор. Жучка, заблестев глазами, сторожко подняла голову и, потянув ноздрями воздух, октависто заворчала.

— Дедушка, чуешь?

— Стой-ко, ужо...

Мы приподнялись, сидим, опершись руками в землю, и чутко прислушиваемся. Да, голоса... Говорят медленно, тихим распевом, много голосов. Все ближе, ближе...

— Ах, окая-а-нный, а?.. — испуганно шепчет дед, крестится и тянется тихонько за ружьем. А голоса громче, шумней...

Жучка, вся ощетинившись и рыча, подступает к двери. Кто-то за дверью стоит, торопливо шарится, скобку ищет...

— Стой, держи... Хватай ружье!..

И уж не разобрать, что творится там, за стеной: все смешалось в еще далеком, но быстро растущем вое.

— Жучка, узы!..

И вдруг тут, среди нас, застонало, завыло, загайкало, дверь рванули — гайгага-а-а!.. — дверь настежь.

— Свят, свят!..

Ворвалось, ввалилось что-то безликое, все в белом, крутануло, плюнуло, разметало весь костер, холодом глаза залепило, заухало...

— Аминь, аминь!.. — взревел дед и грянул из ружья...

— Сгинь, нечистая сила, сгинь!.. — и все смолкло.

Я, не попадая зуб на зуб, стоял возле деда в глубокой тьме. Жучка жалась к ногам и испуганно повизгивала. Дед трясущимися руками чиркнул спичку, лучину зажег. Весь пол, нары и мы сами были запорошены снегом, а дверь — плотно закрыта.

Дед перекрестился: «Ну-ко, благослови, Христос», — и как-то по-особому, с хитринкой улыбаясь, стал разводить костер.

— Вот они, нечистики-то... Чуешь?.. Ишь как я его из ружья-то ожег подходяшше.

В двери зияла пробитая пулей дыра.

— Это ураган, — заметил я.

Дед круто обернулся ко мне, выпрямился, ударившись головой о потолок, и зло крикнул:

— Ураган?! Как не ураган!.. Много ты смыслишь... Вот пойдем-ка по дрова.

Мы вышли. Тайга не шелохнется. Полный месяц в мутно-белом кругу высоко стоял над тайгою. Снег на полянке переливался алмазами, и кругом была холодная тишина.

— Ну, где ж тебе ураган? А?.. — подступал ко мне дед.

— А видишь, как запорошило тропу...

— Тропу-у-у?! Толкуй слепой с подлекарем... Вот те и тропу... Тащи дрова-то... Умник!

Вновь засиял костер. Мы вымели набившийся в зимовье снег и стали укладываться спать.

— Это оттого, что я маху дал, забыл дверь окстить.

И дедушка Изот залез на нары, закрестил торжественно дымовую продушину, потом стал крестить дверь, шепча какие-то тайные слова и сплевывая через левое плечо.

Была глухая полночь. Меня одолевала дрема. Я засыпал под раскатисто-плавный голос деда:

— Вот так же лег я, не поблагословившись, в зимовье одном, а там быдто блазнило, значит, по ночам рахàло... Да-а-а...

Всю ночь мучили меня страшные сны: то филином летал я над тайгою, то боролся с медведем, то нырял на дно реки за колдовским цветком.

СИБИРСКИЙ ДЕД

I

По селам слух прошел: австрийцев на постой из города гонят, австрияков.

Кто такие эти самые австрияки — никто путем не знал. Хотя в городах крестьяне видали их частенько: народ, кажется, чистый, тихий, ничего народ. Но это в городе. А запусти-ка его в деревню, еще неизвестно, каким он там себя окажет. Вдруг бунт поднимет, вдруг красного петуха пустит али девок да солдаток мутить начнет.

Дедушка Пров — настоящий сибирский кедр, мужик самосильный, всей семье глава. Он крепко постановил в своем сердце: этому не быть, ни австрияка поганого, ни другого басурманина к себе не пустит.

И все об этом по селу знали и Прову верили:

— У нашего Прова Силыча слово — олово.

Пришел к Прову староста:

— Так что, дедушка, пленного тебе... Как хошь...

— А это видел?! — крикнул дед и наставил старосте кукиш.

Приехал урядник списки составлять:

— Ну, Пров, принимай австрийца...

— Да ты в уме, твое благородие?! Да ты сшалел?!

— Закон. Ничего не попишешь: у тебя хата большая.

— Врешь, твое благородие. Этому не быть.

Потащили Прова на отсидку, на три дня в каталажку заперли, — авось прохладится там, другие мысли в голову вступят.

Сидит дед за решеткой, не сдается:

— А что такое — каталага? Да мы ее, матушку, всей деревней ладили... И моих поди бревна три есть: да я тут, как у себя на печке, полный, можно сказать, хозяин... Знай сиди...

В другой раз приехал господин урядник:

— Ну как, согласен?

— Кто? Я? — сверкнул глазами Пров, ощетинился весь, на лысине испарина выступила. — Я в своей избе царь и бог. Не жалаю!

Урядник кашлянул в рукав, покрутил левый ус:

— А ежели в тюрьму за такие поступки?..

— Хоть в каторгу! — сжал кулак Пров и грохнул по столу.

Урядник сгреб портфель, надел задом наперед папаху и, засвистав простуженным носом, юркнул на улицу.

Все село ахнуло, узнав про дедов разговор.

— Ха! Молодца дедка. Воевать могит...

— Гляди, паря, какой упорный... А?

А тем временем австрийцев на село пригнали: кому одного, кому и двух поставили.

Пришел к Прову священник, стал его упрашивать. Пришли к Прову соседи, товарищи, просят Прова:

— Да што ты, на самом-то деле... Что ты, бог с тобой...

Пров долго молчал. Сидит, пыхтит, седую бородищу потеребливает. А возле него внучка увивается, черноглазая Дунька: и так и этак зайдет, все норовит поймать дедов строгий взор.

Как брызнет в нее дед глазами, защипало морозом пятки у босоногой Дунюшки. Однако, захлебнувшись, она скороговоркой пропищала, прижимаясь к деду:

— Дедушка... А дедшка... Ддушка...

— Ну?

— Прими стрияка... Прими...

— Пшл! — ожег ее дед, но тотчас же улыбнулся. А как улыбнулся, махнул рукой.

— Ну, вот што, хрещеные... Так и быть... Давайте его мне, собаку.

Все село, узнавши, ухмыльнулось:

— Ага, Пров!.. На попят пошел... Хе-хе...

II

У австрийца на правом боку сумка через плечо, у сумки — чайничек болтается, на левой стороне — желтые полусапожки. Ничего, собой чистяк, краснощекий, шапка с медной пуговкой.

Пришел, пролопотал по-своему, поклонился деду.

— Убирайся к черту!.. Язви тя... — отвернувшись, сплюнул дед.

Семья у деда большая: старуха, две солдатки, девка да пятеро внучат. Спать легли рано: нечего зря керосин изводить. Поужинали, чайку хлебнули всласть и на боковую.

Австрийца дед к столу не допустил:

— Пускай у порога жрет...

Австриец покушал на сундучке хлеба, чаю кружку подали, выпил, творожку бабка подсунула — съел.

Лежит дед на полу на шубе и все брюзжит, всех на свете лает: и господина урядника, и батюшку, и кума, а пуще всех — австрийца.

— Холера бы его задавила... Язви его в хвост... Ище упрет чего-нибудь, анафима.

И все брюзжит, все брюзжит. А то себя начнет честить.

— Старый пес... Запустил-таки жабу... Обогрел... Они, дьяволы, сынов наших убивают, а их тут чаями-сахарами... У-у, пропастина.

Австриец у печки лежит, шинелишку свою подкинул, молчит, о чем-то думает. О чем австрийцу думать? О том, как бы к солдаткам пробраться, как бы

коня угнать, как бы деду башку топором оттяпать да из сундука мошну стянуть?

Дед к сундуку крепко плечом прижался, в головы топор положил, боится глаза сомкнуть.

— Старуха! Зажги-ка лампу: пусть горит...

На австрияка смотрит. Тот смирно лежит, думает, глаза открыты. О чем он думает? О вишневых садах своих думает, о жене, о сыне... Эх, скрипицу бы сюда... Взыграть бы на скрипице песню...

Вздохнул австрияк.

«Ишь ты... Вздохнул...» — думает дед...

Борется дед с дремой, плечом еще крепче к сундуку привалился, топор нащупал: тут, острый...

— Вы?! Чего ржете? Чего беса тешите? Дрыхни!

Присмирели солдатки.

— Это Дунька... Чикочется...

— А вот ужо-ка я ее...

Встал дед, подбросил в железную печь дровишек, жарко сделалось.

— Нет, его, варнака, в хлев бы, к баранам бы... А то, ишь ты, развалился... Брахло такое...

Разомлел дед в тепле, уснул. И приснился ему сон страшный: будто боров нос ему откусил, будто подошел к деду, хрюкнул, да как цапнет за нос.

— Горим!

— Ково?! — вскочил дед и схватился за топор.

Старуха лампочку подкручивает:

— Зря горит...

Старик перевел дух, перекрестился, лег и уснул крепко.

III

Утром, ни свет ни заря, пробудился Пров. Ставни скрипят, ветер под крышей воет.

«Буран...» — думает дед.

Старуха печь топить собирается. Трехшерстный котище об австрийца трется, хвост трубой, мурлычет, песни ему напевает, ластится. Австриец за ухом ему щекочет, оглаживает, а коту любо.

— Буран, — говорит дед старухе, — ишь как воет, ишь выкручивает...

Солдатка еле ставни открыла, до пол-окон снегу насыпало, страсть.

— Надо за сеном собираться... — кряхтит дед.

Австриец живо встрепенулся, валенки с печи достает, полушубок хозяйский надевает, рукавицы ищет.

— Эй, ты!.. Пуговка свинячья! — взревел дед. — Ты куда это, супостат, а?! Скидывай!

Австриец остановился как вкопанный, трубку изо рта выхватил:

— Сено... ехай... туда...

— Какое сено? — разинув рот, приподнялся Пров с шубы. — Сам поеду...

— Ты старий... борода... седой... ты на печку лезь... Спай...

Дед окаменел:

— Да ведь тебе не найти?

— Мальца посылай. Кажет.

Дед призадумался, на австрияка во все глаза смотрит. Лицо у австрияка румяное, лукавства во взгляде нет.

— Эй, Мишка! — крикнул дед внуку. — Оболакайся живчиком... Айда со стрияком...

Умылся дед, богу стал молиться:

«Господи, спаси помилуй... Тоже, поехал... Рабо-отничек. Ха!.. Ище парнишку-то там... как бы... Боже, милостивый буди нам, грешным. Соббачья шерсть... Алилуй, алилуй, господи».

Помолившись, Пров перетряс все доспехи пленного, сумку вывернул:

— Храни бог, ножа нет ли, али пистолета... Ого, кни-и-жица...

Он поднял маленькую, в переплете, книжку.

— Эй, бабка!.. Глянь-ка... Богородица это, што ли, срисована?

— Она... Стало быть, она, матушка...

— Да-а... — удивленно протянул Пров, — вишь ты... — и все аккуратно сложил в сумку.

Еще печь не протопилась, заскрипел под окнами снег.

Дунька давно австрийца у окна караулит, продышала в стекле глазок:

— Стрияк едет!.. Воз везет!.. Гли-кось, деда, гли-кось!

Дед поперхнулся чаем и закашлялся.

Австриец, весь запорошенный снегом, вошел в избу. Пров, далеко вытянув левую ногу и подбоченившись, позвал:

— Эй, служба!.. Как имя твое? Кличка-то?

— Вацлав.

— Ну, Асаф, так Асаф. Залазь-ка, Асаф, за стол, садись чай пить. Дай-ка ему, бабка, штей.

За день Вацлав воды бабам натаскал, дров наколол, снег расчистил.

— От пес... Какой горячий... А? — брюзжал все время дед, ухмыляясь в бороду, спать лег без топора, утром встал попозже.

— А где стрияк?

— По дрова уехал.

— Ха! Чисто камедь, — улыбнулся дед и сладко позевнул.

За обедом Вацлав много рассказывал ломаным языком. Пров, плохо понимая его речь, поддакивал:

— А ты лупи пуще кашу-то... Не робей...

На третий день не утерпел дед: достал из сундука деньжат, пошептался с бабкой и направился задами к торговому человеку.

— Отмерь-ка мне, сделай милость, двух сортов ситцу... с разводами... на пару рубах. А на третью — кумачу.

Отмерил торговый человек.

— Покажь-ка ты мне на штаны сукнишка... Дело! Отмерь, что полагается.

С удовольствием отмерил торговый.

— Ну, теперича опояску давай... Шапку давай.

— Это кому ж, Пров Силыч? — осклабился торговый человек.

— А надо... Кому придется, — ухмыльнулся дед.

Принес домой. Похлопал австрийца по плечу:

— На, Асаф, получай... Потому как ты очень сердитый на работу... дороже ты мне всего... Эй, женски! Качай ему всю амуницию...

Австриец широко улыбался, тер рукой переносицу и от удовольствия усиленно сопел.

— А вот ужо сучку пестренькую удавим, дак... я тебе рукавицы справлю. Ничо... Живи со Христом, — сказал Пров и еще раз потрепал Вацлава по плечу.

Посвящается
Павлу Николаевичу Медведеву

ВАРИН СОН

I

Варя Лесникова никак не могла ясно себе представить, что такое война. Она видела, как по городу ходят с песнями солдаты, как на базаре толкутся в неуклюжих штиблетах пленные австрийцы, как недавно огромная толпа с флагами рекой лилась по улицам и кричала «ура».

В прошлую пятницу все учебные заведения города устраивали манифестации: с разноцветными флагами и музыкой целый день попарно маршем разгуливали от гимназии к реальному, от реального к управе, от управы к губернатору. Всем было очень весело: под звуки музыки, не умолкая, звонкими голосами кричали:

— Да здравствует Бельгия!

А сзади, из тысячной, примкнувшей к шествию толпы одиноко доносилось:

— Эй, ребятки... Грянь марсельезу! Грянь!

— Сербии ура! Англии ура! Урра!

И снова музыка, и снова многоголосое нестройное пение.

Встречные пленные либо ныряли, согнувшись, в переулки, либо делали под козырек и, чему-то печально улыбаясь, проходили мимо, а те, что из немцев, крепко зажимали ладонями уши, зло отворачивались.

— Долой Германию! Да здравствует Франция! Урра!

Несмотря на то что день был морозный — гимназистки частенько прятали носы в муфты, а у восьмиклассника Коли Фунтикова заиндевели усы и борода, — несмотря на усталость, все учащиеся были весьма довольны манифестацией: пошли насмарку и геометрия, и латынь, и немецкий, да и назавтра обещано послабление.

Потом в той гимназии, где училась Варя Лесникова, стали готовиться к патриотическому вечеру. Через неделю у реалистов также будет патриотический вечер, у коммерсантов был только что...

Словом, война совсем, совсем не страшная. Хотя позабрали порядочно на войну народа: у трех Вариных подруг братьев взяли, у Сашеньки Востротиной — отца и дядю, но у Вари в семье, слава богу, пока все благополучно. Вот только няниного сына, Прохора, угнали.

II

В воскресенье погода установилась добрая. После трескучих морозов сразу потеплело. Небо ласковое, синее, и деревья в Варином саду, нарядившись в легкие пушистые кружева, были задумчивы и чисты.

Брат Вари, гимназистик Миша, и с ним целая стая ребятишек весь день вели отважную игру. Они, гикая и ухарски свистя, шумно носились по двору и саду, барахтались в сугробах и с азартом друг друга тузили. Старая няня два раза выходила в своей кацавейке в сад звать домой Мишу.

— У нас война. Проваливай!

И когда она настойчиво вышла в третий, то, будучи принята за неприятельского шпиона, едва не угодила в плен, причем, поспешно отступая, она отделалась лишь тем, что военный летчик Карась ловко метнул с аэроплана бомбу, то есть, забравшись на сарай, лопатой свалил на няню свесившуюся снежную глыбу.

— Эх ты! Ну-ка! — крикнула перепуганная нянька, навсегда покидая поле братоубийственной войны.

И лишь под вечер, когда зажгли огни, Миша явился домой. Тяжело сопя, он вошел в свою комнату, хлопнув дверью.

Варя отложила в сторону задачник и пошла навестить брата. Замыв Мише разбитый нос, ворчливая няня прикладывала к синяку под глазом большой старинный пятак:

— Добалуешься ты до дела, добалуешься...

Из дальнейших пререканий няни с братом Варя узнала, что нос Мише разбил «неприятель», когда они брали траншею, а фонарь под глазом подставили неприятельские скрытые саперы, сцапав Мишу в хлеву.

— И зачем вы, озорники, палочьями-то бьетесь? — скрипела няня.

— Война! Понимаешь: война.

— А кабы он тебе вышиб глаз-то?

— Наплевать: война!

Хотя отец назвал Мишу болваном, а мать на три дня оставила его без сладкого, он чувствовал себя героем: гордо ходил с завязанным глазом по комнатам, пугал воинственным кличем маленькую собачонку Зорьку, а когда поздно вечером ординарец командующего армией, гимназист-приготовишка, крадучись, принес ему за храбрость вырезанный из жести крест, Миша таким преисполнился восторгом, что, неистово крича, бросился галопом в залу, вскочил на стул, залез на пианино, спрыгнул на пол, боднул подвернувшуюся няню, а потом, влетев в коридор, поймал за левую ногу улыбавшегося ординарца и поволок его в столовую. Ординарец, маленький карапуз в большой папахе и шинели до пят, испуганно скакал на правой ноге за Мишей, сюсюкая тонким голосом:

— Брось... Не балуйся... Отстань!

III

Когда легли спать, Миша долго посвящал Варю в свои военные дела. Кавалерийские набеги, фланг, тыл, встречный бой и много других странных и непонятных слов услыхала в эту ночь Варя.

— Иди и ты к нам...

— Я, Мишенька, боюсь.

— Ха, боюсь... А как же взаправдышная-то война?.. Ведь там по тысяче убивают... Почитай-ка в газетах...

— Неужели, Миша, по тысяче?

— Натурально...

Варя задумалась. Она представила себе тысячу солдат, обреченных на смерть, и среди них вдруг увидала няниного сына Прохора, того самого ласкового дядю Прохора, который в прошлую зиму возил снег с ихнего двора и устраивал детям гору. Сердце ее запрыгало, а душу охватила жалость. И не тысячу ей было жаль чужих, незнакомых солдат, а вот этого самого дядю Прохора, которого с такими слезами провожала летом на войну няня. Варя вспомнила последний день разлуки, когда дядя Прохор, огромный и высокий, выше папы, стоял, пофыркивая носом, среди кухни, а перед ним, привалившись спиной к печке, вся в слезах, няня. Она левой рукой размазывала по лицу слезы, а правой крестила сына, приговаривая: «Прошенька ты мой, милый ты мой... Ох, горюшко...» Папа дал Прохору три золотых и долго ему что-то наказывал. Прохор часто кивал в ответ в скобку стриженной головой, смущенно утюжил бороду и тер кулаком глаза. Мама дала ему образок: «Как пойдешь в бой, помолись», — а Миша с обнаженным деревянным мечом, в наклейных кудельных усах и в желтых погонах из Вариных подвязок, держал возле печки почетный караул и молча, по-военному, ел глазами дядю Прохора. «Уж вы... в случае чего... барин... старуху-то мою...» — не договорил дядя Прохор, и глаза его заплакали, а няня, всплеснув руками, завыла в голос и бросилась к нему на шею. Когда слезы прошибли дядю Прохора, Миша враз опустил с плеча меч и завсхлипывал, а она, Варя, побежала в свою комнату, схватила с комода глиняную копилку, набитую серебряными, принадлежащими ей, деньгами, и, вернувшись в кухню, незаметно всунула ее в карман дяди Прохора. Прохор стоял великаном; он придерживал

плачущую няню и говорил ей: «Ну, будет, бабка, ну, чего ты! Все идут... Авось как не то».

— И вот, вспомнив все это и вновь пережив, Варя долго лежала молча.

На камине тикали часы, в саду за окном шумели деревья, у ворот сонно постукивал в колотушку сторож.

— Кто же их убивает? Немцы? — наконец спросила, тяжело дыша, Варя.

— Натурально, немцы...

Варя быстро приподнялась на кровати, сжала кулачки и нервно крикнула:

— Немцы подлые! Я их ненавижу. Подлые! — и, закрыв руками лицо, торнулась в подушку.

Миша в ответ радостно хихикнул, погасил электрическую лампочку и, помолчав, таинственно прошептал:

— Хочешь, бежим? Ежели согласна немцев бить... бежим с нами... нас трое собирается... Добровольцы.

Сбросив одеяло, он подсел на кровать к Варе и, захлебываясь, быстро заговорил:

— Степа Прыщиков бежит. Многие бегут. Ты почитай газеты... У одного реалиста три георгия... Разведки... пластуны... знамя... Я на коне... Ты на коне... Дядя Прохор... Бежим!

Но Варя, отмахиваясь локтями, не слушала. Она что-то странное оглядывала внутренним взором, вся вздрагивая: ей представилось, что немец налетел на дядю Прохора и ударил его по шее саблей, а дядя Прохор, замахав руками, как обезглавленный петух крыльями, пустился бежать без головы по полю.

Варя отшатнулась, крикнула.

— Ты чего? — привстав, бросил Миша.

— Я, Мишенька, боюсь... Зачем ты мне рассказываешь? Я боюсь.

— Ну... значит, баба.

IV

Мише так и не удалось склонить сестру к побегу на войну. Да и весь его заговор предательски был открыт глупой нянькой. Она нашла у него под кроватью

старинный ржавый пистолет, зазубренный косарь и походную торбу, набитую сухарями и чаем.

У Миши поднялись дыбом волосы, когда в спальню крупными шагами вошел папа.

— Это что значит? Откуда у тебя эта дрянь? — держа руки в карманах, кивнул он глазами на Мишины доспехи, коварно разложенные няней на лежанке.

Мише, прежде чем ответить отцу, необходимо было вернуть самообладание, нужно было не ударить лицом в грязь перед этой девчонкой Варькой, которой он вчера еще так красноречиво говорил про свою отвагу и которая тут же торчит возле няньки и, всячески ужимаясь, вот-вот прыснет смехом. Миша, не поднимая глаз и угадывая все творящееся возле него, мысленно поклялся накрутить сестре косичку тотчас же, как кончится «дело».

— Ты оглох, что ли? — повторил отец.

— Нет, слышу... — весь вспыхнув и вновь почувствовав себя героем, поднял Миша на отца черные, с огоньком глаза.

— Ишь, набычился... — пробурчала няня. — Ты чего это на папашеньку-то волчонком смотришь? Проси прощенья!

Миша вдруг вообразил себя попавшимся в немецкий плен русским солдатом и решил держаться гордо и надменно.

— Это оружие из арсенала, — сказал он и, заложив руки назад, зашагал по комнате, крепко стуча каблуками.

— Из арсена-а-ла? — протянул отец. — Из какого арсенала? А? И это из арсенала? — пряча в усах ядовитую улыбку, вытащил он из торбы круг заплесневевшей колбасы. — И это из арсенала? А? — уже гремел отец, держа в руках красный кисет с махоркой. — И трубка из арсенала?

Миша круто остановился и, кусая нервно губы, сквозь слезы выкрикивал:

— Я солдат. Понимаешь, солдат... Я иду родину защищать.

Отец поднял на лоб очки, уперся в Мишу чуть подслеповатыми глазами и топнул:

— Я те такую защиту покажу, я те такой кисет с махоркой пропишу...

— А вот и не пропишешь...

— Что? Что-о-о?..

— Не имеешь права. Теперь все порядочные люди...

— Молчать! Марш за уроки! Нянька, выбрось всю эту дрянь в дыру!

Варя, зажав фартуком рот, громко фыркнула, посматривая, как толстобокая няня сгребает в подол с лежанки Мишино добро.

— Не смей, не смей! — закричал Миша и бросился к няньке.

— Марш за уроки! — схватив за руки, поволок отец Мишу к двери.

— Не буду... Не надо... Я не хочу учиться...

— Что? Ах ты болван!

Отец втащил его в свою спальню и для острастки вытянул вдоль спины подтяжками.

V

Поруганный в своих порывах, Миша, всхлипывая, лежал на кровати. Варя, всячески стараясь угодить брату, принесла ему на ужин кружку молока и сдобный пончик.

— Ты, Мишенька, будто раненый, а я будто сестра милосердия... Ладно? — говорила она, приглаживая черные волосы брата. — Это все из-за немцев, Мишенька... А на папу ты не сердись... И на няню не сердись... Ладно?

Отворилась дверь, вошла в белом капоте мама.

— Дети, спать... Поздно уж.

— Сейчас, мамочка... — И Варя стала укладываться.

— А ты что ж, сын милый... Бежать хотел? Из родительского дома бежать?

Миша, обхватив горячими руками шею матери и целуя ее душистые волосы, прыгающим голосом заговорил:

— Мамочка, милая... Я же это не взаправду... Я же это так...

Поцеловав детей, мать тихо пошла из комнаты, задержалась у двери, еще раз взглянула на рядом стоявшие кровати и скрылась за портьерой.

Варя, выглядывая из-под одеяла, шептала брату о том, как гимназистки заготовляют для солдат и офицеров подарки к праздникам, как по вечерам они собираются два раза в неделю в гимназии и там, вместе с учительницами и классными дамами, сортируют и распределяют по пакетам подарки.

— В каждый пакет, Мишенька, положим записки... Как ты думаешь, что бы мне написать?

Миша что-то пробормотал, засыпая.

— Что, Мишенька? — громко спросила Варя.

— Спи, вот что, — заскрипел возле нее голос няни.

Варя приподнялась, окинула комнату сонными глазами и, увидев сидящую у столика няню, спросила:

— Это, нянечка, кому носки? Прохору вяжешь?

— Ему, ягодка, ему... Ужо-ко какой холод будет там... страсть... А ты молилась ли богу-то?

— Молилась, нянечка... За папу, за маму, за сродников. А за немцев не надо, нянечка?

— Пошто? Молись... И за немцев молись... Хоть оно действительно что...

— За них — грех, нянечка... Они подлые...

— На вот те... Ишь ты... А как же Христосеньку-то нашего, боженьку-то распинали, то ли не вороги, то ли не лиходеи, а он, батюшка, царь-то наш небесный, всех простил, всех пожалел... За всех молился... А что ж немец... Нешто ему не больно? Подумай-кось...

— А они зачем воюют?

— Ха, чудная... Да ить цари велят... Как тут?

Варя задумалась и вопросительно переводила дремотный свой взгляд то на ласковое морщинистое лицо няни, то на образ спаса с играющим огоньком лампадки.

А няня, мелькая спицами и низко склоняясь над чулком, завела своим скрипучим старческим голосом:

— Вот так же в Крымскую войну забрали моего родителя, царство ему небесное. Еще мы тогда крепостные были, помещичьи, я чуть помню... И ходила тогда по небу звезда-хвостунья. И такая была огромная звезда, что и не вымолвить: хвостом своим почитай полнебушка застилала... Все хрещеные тогда думали, что конец свету пришел... Да...

Няня сладко зевает, крестит рот и, поправив очки, еще ниже склоняется над работой.

— А о турецкой-то о войне мужа моего убили, превечный ему покой, хозяина... Прошенька-т по второму году после него остался...

VI

На другой день Миша вернулся из гимназии расстроенный. Учитель немецкого языка, Федор Карлович Штоль, издавна служивший мишенью ребяческих проказ, совершенно зря влепил ему единицу и нажаловался на него директору.

А случилось это так.

Лысый и толстый, похожий на пивовара, Федор Карлович ввалился по-медвежьи в класс и, подняв к потолку руку с вытянутым указательным пальцем, интригующе возгласил:

— Ого!

При этом он хитро улыбнулся и, прищелкнув языком, подмигнул гимназистам.

— А что такое? Федор Карлович, что?

— Ого! Как наши рюски сторофо немцев бьют. Ого!.. Рюски молодец.

В ответ класс грянул хохотом, а Миша, вскочив на парту, пронзительно свистнул и прокричал:

— Немец-перец... кол-баса!

Учитель смутился, покраснел, бросил на стол журнал и, пошлепав бритыми губами, крикнул:

— Шо? Шо такое? Болван! Рюски свин!

А потом кол в журнале, директор, весь класс без обеда, нагоняй всем, а Мише — особая распеканция...

Придя домой, Миша зло швырнул ранец под стол, поддел ногой рыжего кота и пошел в свою комнату, резанув на ходу перочинным ножом дорогие обои.

Когда он шагнул в свою комнату, к нему вся в слезах прибежала Варя:

— Дядю Прохора-то... Мишенька... Милый...

А на кушетке, скорчившись, лежала вниз лицом няня и, обхватив голову, выла в голос.

Миша подошел быстро к матери, которая, стоя у окна, перечитывала письмо от Прохора, и, заглядывая через ее плечо, стал бегать глазами по строчкам.

«...Так что я теперича, слава богу, в госпитале. Ну только что левой рученьки своей лишился, ну, еще отняли по колен ногу...»

Миша ясно представил себе дядю Прохора, его дюжую фигуру, его бородатое румяное лицо. Строчки были написаны вкривь и вкось, самыми обыкновенными чернилами, но они, как живые, звучали мягким и ласковым голосом дяди Прохора, будто он сам вернулся сюда, взял Мишу на руки и вот рассказывает ему о своей беде. «Обо мне же не сумлевайтесь, бог не без милости... Ну только что кто же теперича Мишеньке лыжи мастерить будет али барышне Варваре Ивановне гору? Ну я же теперь навек калека».

Вдруг строчки запрыгали, побежали к правому углу листа, и Миша смахнул с глаз слезы, крякнул и крепко прикусил прыгавшие губы.

После ужина он написал Прохору длинное письмо, в котором уверял его, что он, Миша, с товарищем Степой Прыщиковым, ей-богу, убегут на войну бить немцев. Они отомстят за Прохора!

Спать легли сегодня поздно. Все с няней возились, за доктором бегали. Няня заболела.

Варя еще вчера до смерти надоела папе и маме, по десять раз спрашивая, что бы такое написать на записочках для трех солдатских пакетов.

А теперь, перед самым сном, она, сидя рядом с Ми-

шей, твердой рукой, не колеблясь, выводила на каждой из трех записок:

«Храбрый воин! Заколи, пожалуйста, двух немцев».

Написала, перечла:

— Так им и надо: пусть Прохора не убивают, — и вложила в пакеты.

Ложась спать, Миша сказал ей:

— А я все-таки, Варька, убегу...

— Куда?

— Немцев бить.

Варя, чуть помолчав, ответила:

— Мишенька, и я...

VII

Долго в эту ночь не спалось Варе.

Няня раза два тяжело поднималась со своей кровати и, охая, подходила к ней.

— Нянечка, мне не спится... Поговори со мной, нянечка...

Старуха опускалась на стул и, вся скрючившись, начинала о чем-то рассказывать.

Слушает — не слушает Варя, глаза закрыты, вот-вот уснет.

— Ох, горе-горе...

Варя открывает глаза, удивленно смотрит на няню, а та поднялась со стула, уходить собирается и плачущим голосом говорит:

— Сердечушко-то во мне все изныло... Батюшка ты мой, Прошенька.

— Нянечка... Ты не горюй, нянечка... Не плачь.

— Ах, Варюшка... Жаль ведь... Какой он теперича есть человек? Кто его кормить, поить станет... Охо-хо...

Старуха стоит, пошатываясь, у кровати, а туго повязанная полотенцем голова ее трясется.

— Ну, ангел с тобой, хранитель с тобой... Спи, дитятко, спи.

Она крестит старческой дрожащей рукой Варю и, так же охая, уходит.

Варя, закутавшись в мягкое одеяло, долго еще перебирает в памяти свои беседы с Мишей, и вот мечты вдруг подхватили ее на сказочный ковер-самолет и несут в неведомое далеко. И не может Варя понять: сон или явь это.

Вот они едут с Мишей и Степой Прыщиковым в вагоне. Варя сидит в самом углу купе. Она в белом с красным крестом фартуке. Ей весело смотреть в окно вагона, за которым крутит и метет вьюга, а ей тепло. Она любуется на брата и Степу, как те, в огромных папахах, с золотыми эполетами, рассматривают карту, что-то записывают в книжечку и горячо спорят.

— А куда же вы, девочка, едете? — услыхала Варя голос.

— Немцев бить...

— То есть как бить? Вы же милосердная.

— Нет не бить... Перевязывать... Солдатиков лечить.

Варя открыла глаза, высвободила из-под одеяла руку, нащупала стенку кровати и опять зажмурилась. «Сон», — подумала Варя, но в это время Мишенька подошел к ней и, играя золотым кинжальчиком, сказал:

— А мы скоро, Варька, на воздушном шаре полетим... — сказал так и дернул ее за косичку.

Варя отмахнулась: «Отстань». Глядь: папа и мама по бокам ее сидят.

— Папочка, и ты? И ты, мамочка, с нами?

— Да, — сказали они, — мы только до станции...

— Варька, крепче держись! Держись!

Чувствует Варя — несутся они по воздуху, высоко-высоко, наравне с птицами.

— Ах, Мишенька! Я сорвусь, — шепчет она и видит, как зеленым ковром легли под ней поля с лесами, с речками, деревни видит, города, много городов.

— Лесникова! — вдруг услыхала она голос учителя географии и вся замерла. — Слушайте, Лесникова, покажите мне, где Казань, где Москва... Назовите мне эту реку.

Оглянулась Варя, — учитель в подзорную трубу смотрит вниз, а рукой какое-то колесцо переводит.

— Ну? — А она, Варя Лесникова, фартучек свой быстро-быстро перебирает, думает: «Господи, дай бог сон... сон... Нет, не сон».

— Я... я не подготовилась...

— Спускай! Садись! Легче! — командует Миша, и шар их плавно приник к только что сжатым нивам.

Варя, сильно вздрогнув, спрыгнула на землю и сразу догадалась, что про учителя географии был сон. И все трое — Миша, Степа и она — побежали к тому месту, где радостно играла музыка.

Быстрей и быстрей несутся они, схватившись за руки, а впереди и с боков бегут солдаты, скачет конница, и все кричат звонкими голосами:

— Вперед! Вперед!

Ярко солнце светит, гудит земля от топота.

— Поспешай, чадо! — знакомый слышит Варя голос.

То батюшка, отец Сергий, бежит с крестом возле нее и, улыбаясь, осеняет ее благословением. А вдали по полосе няня торопится, машет Варе рукой:

— Варечка, не отставай, дитятко, не отставай!

А сама на бегу то упадет, то поднимается.

— Вперед! Вперед! — со всех сторон льется клич.

И уже все поле покрыто воинством, знамена реют в воздухе, ядреная песня звенит, на белых конях генералы мчатся.

— Победа! Победа!

Пушки, должно быть, грянули, колокола залились, все ликует, движется.

— Нянечка! — кричит Варя и машет ей голубым флагом... — Нянечка! Ура!

И все поле, весь лес, весь воздух загудели от этого крика:

— Ура! Ура! — перекатывалось и дрожало от земли до неба.

— Левей, левей! — кричит батюшка, отец Сергий.

И няня:

— Сюда, Варенька, за мной, к Прохору... Эвот Прохор-то...

И вот отбились они от воинства, повернули влево, к лесу, а воинство, вместе с Мишей и Степой, все удаляясь, все замолкая, уходило, расплывалось и скрылось за синими туманами.

Вот видит Варя: русские солдаты с ружьями стоят.

— Прохор! Дядя Прохор! — вскрикнула Варя и только хотела броситься к нему, как отец Сергий строго погрозил ей пальцем и сказал:

— Нельзя... Не подобает... — а сам вынул из-под рясы три Вариных пакетика и передал солдатам.

Пока солдаты развязывали веревочки, пока читали Варины записки, видит Варя: против каждого русского солдата по два вражьих воина стоят. Лицом угрюмые, усатые, на ружья руками уперлись. А за ними, тут же, сидят, пригорюнившись, вражьи женщины, возле женщин вражьи дети играют, на руки просятся, к старикам льнут.

Вдруг наши солдаты, и Прохор с ними, крикнули:

— Колоть, что ли? Эй, Варя! Вот тут в записочках...

Вся в страхе взглянула Варя на вражьих женщин, на детей, на стариков: сердце ее замерло, остановилось. Она приникла лицом к земле и, горько плача, застонала:

— Ой, ой! Не убивайте!

И поднялось враз великое смятенье, шум стал особый, будто огромные крылья, уносясь, секли воздух, будто под взмахом мимолетной бури зашуршал, звеня, камыш.

А Варя все плакала, плакала, боясь оторвать от сырой земли голову и открыть глаза.

— Ну, вставай... Что лежишь, — говорит над ней няня, — чего стонешь?

И приподнимает ее с земли.

Открыла Варя глаза, очнулась.

— Нянечка... Дорогая моя нянечка... Сон-то какой я видела.

И вся прильнула к рыхлому, с запахом лекарств, телу няни.

Шторы опущены... В комнате полумрак.

VIII

Наскоро умывшись и поцеловав в морду рыжего кота, Варя вышла в столовую, где папа, сидя за стаканом чаю, читал газету. Увидев Варю, он, улыбаясь, ласково забрюзжал:

— Ну-ка, ну-ка, засонюшка, поди-ка сюда, поди: я тебя за левое ушко...

И, притянув к себе дочь, поцеловал ее в голубой бант на голове.

— Ну, садись, пей чай... Закуси.

— Некогда, папочка... Я опоздала... Ой, папочка, я закон не подготовила, задачку не решила... А где мама? Спит? А знаешь, папочка, сон-то какой я видела...

Так тараторя своим серебряным голосом, Варя на ходу проглотила стакан молока и побежала в гимназию.

— А тюрочки-то свои не забыла? — крикнул ей отец.

— Взяла, папочка, взяла.

Возле гимназии стоял большой, запряженный парой фургон с красной надписью: «Жертвуйте на передовые позиции».

— За вещами? — спросила Варя, и у нее сильно забилось сердце, словно она вдруг чего-то испугалась.

— Так точно, барышня, — ответил ей бородатый, похожий на Прохора кучер, оглаживая коренника.

Звонок дали на десять минут раньше, чтоб до уроков отобрать заготовленные для солдат подарки. Варя села за парту и торопливо стала развязывать свои пакетики.

Варя еще утром решила другие вложить записочки, но, как ни придумывала она, что бы такое на-

писать в них, ничего не приходило в голову. В кровати думала, дорогой думала. Эх, жаль, папу не спросила, а классная дама торопит девочек.

— Лесникова? Вы что копаетесь?

— Сейчас, Марья Ивановна, сейчас!..

И уж некогда ей было раздумывать, некогда новые записочки писать. Она глубоко обмакнула перо, перекрестилась мысленно и к словам:

«Храбрый воин! Заколи, пожалуйста, двух немцев», — вся вспыхнув, добавила: *«Только не до смерти»*...

ТА СТОРОНА

I

Они жили втроем: старый тунгус Давыдка, его жена Чоччу и брат Давыдки — Василий. Крестились недавно — вряд ли пять лет прошло — и ничего не понимали в новой вере. Знали только понаслышке, что есть бог Никола, что он живет в большом селе, в белой каменной юрте, и что перед ним днем и ночью горят свечи. Но село от них, сказывают, тысячу верст: до него надо полсотни дней тайгой брести. Правда, поп-батька много толковал им, вел мудреные речи, пальцем на солнце показывал, но они путем ничего не поняли, а Давыдка слушал, слушал да заснул и захрапел так громко, что все кругом захохотали. А поп-батька рассердился, погнал их всех на реку, надел новые рубахи, кресты на грудь медные большие положил, помахал золотой штукой с дымом и долго причитал громким голосом. И стал с тех пор Буркиуль — Давыдкой, Чоччу — Машкой, а Рынтай — Васильем.

Так бы и жить им втроем, но случилась большая беда: старого Давыда медведь задрал.

Овдовела Чоччу. Стал Василий ее самым любимым мужем, первым. Оба молодые, сильные, жили в согласье: сохатых били, белок, лисиц.

Приехал как-то поп-батька и долго их ругал. А за что — путем не знают. Неужто Василию жениться на

чужой тунгуске, неужто Чоччу одной, без мужика, жить? Плевать, что мертвый Давыдка его родным братом был!

Никогда Василий не послушал бы пустых поповских слов, если б не сердце.

Как-то встретил он в тайге молодую женщину, почудному встретил, словно в сказке. Высмотрел он на суку белку. И только было прицелился, а ружье — грох!— белка кубарем. Выругался Василий, что ружье само пальнуло, глядь — а к белке женщина нагнулась.

— Моя, — кричит Василий.

— Нет, бойе, моя, — ответила чужая женщина.

Василий осмотрел свое ружье: пистон целый.

Закурили трубки. Анна, затянувшись, передала свою трубку Василию, почмокала розовыми губами и сказала:

— А я, бойе, себе мужика ищу... Муж помер. Одной не славно. У тебя баба есть, бойе?

— Есть... — сказал Василий, рассматривая ее губы и глаза. Но сердце его замерло, и кровь ударила в голову. — Нету, — поправился он. — Есть, да... Только... — Он замялся.

Василий домой вернулся не в себе. И всю неделю был жалкий, растерянный.

Ну, ищи другую, — сказала Чоччу.

Взглянул на нее Василий: баба сидит, вся в дыму табачном, глаза горят.

— Как ищи?.. Откуда знаешь?

— Ищи... Одна проживу.

Чоччу хорошо стреляла, хорошо пальмой-рогатиной владела, найдет медведя — не упустит.

— Я, Чоччу, на промысел пойду... Ты, Чоччу, дожидай...

Утренней зарей взял Василий ружье, собаку, поводил носом во все стороны, принюхался и быстро зашагал полевей восхода.

На четвертый день взлаяли собаки, дымок синий показался, олени целым стадом бродили возле, отрывая из-под снега мох.

— Вот, пришел...

Анна у костра сидела на пенышке и крошила в котел оленье мясо. Подняла на него глаза, осмотрела с ног до головы: Василий красивый, высокий, плотный — и ни слова ему не сказала.

Он шагнул в ее чум и разложил там костер. Вскоре явилась и Анна. Нашлось вино. Вкусно поели, веселые сделались, вино по жилам потекло. Вот сам собой рухнул чум, открылось небо, звезды унизали деревья и, щурясь, стали смеяться, а круглый месяц колесом закружился, запрыгал по небу, как по снеговым полям заяц.

Анна вскрикивала и хохотала, весело ударяя в ладоши. Василий указывал пальцем на месяц, подмигивал ему, дразнил языком, хлопал по плечу Анну и, сюсюкая, что-то без умолку болтал.

А когда вместе с звездами вся тайга пустилась в пляс, все завизжало, запело, заухало, свист кругом пошел, топот, Василий испугался и залез в просторный, из оленьих шкур, мешок.

Разбудил его злобный лай собак.

Василий открыл глаза: темно. Его крепко обнимали за шею чьи-то теплые руки. Он потрогал — женщина. Он провел осторожно пальцами по ее лицу: глаза у нее открыты.

— Бойе... — сладко сказала женщина.

— Ну? — спросил Василий, соображая, кто она, где он.

— Проснулся, бойе? Вставай!

Они вылезли из мешка. Сквозь верх чума просачивался солнечный свет.

— Анна? — удивился Василий и захохотал.

Анна улыбалась, закуривая трубку.

Собаки лаяли отрывисто, зло, словно по зверю. Отпахнулась пола чума, вошла Чоччу с трубкой в зубах, с ружьем.

— Уйми собак, — сказала она Василию.

Тот смущенно вышел.

Женщины быстрыми глазами ошаривали друг друга.

Чоччу была красивая. Но Анна краше. Чоччу вздохнула.

Василий долго не являлся. Обе женщины молча поели мяса и сулихты. Когда пришел Василий, Чоччу собралась в поход.

— Знаю... ты меня бросил... — сказала она. — Я встану чумом недалеко... день пути. — И пошла: несколько заседланных оленей тащили ее добро, и целое стадо их шло по бокам и сзади.

— Кто такая? — спросила Анна.

— Родня. Давыдиха... Машка... Чоччу.

II

Ну что ж! Хорошо можно было бы и с Анной жить. Но сердце Василия дало трещину: исподтиха началось — дале шире — раздвоилось сердце, как рог молодого лончака-оленя, Василий словно встал у следа двух лисиц, разбежавшихся в стороны: хорошо бы разом обеих взять.

Неделю Василий прожил с Анной. Анна такая красивая — глаз не отведешь, но Чоччу крепко к сердцу приросла — родней. Вот бы вместе всем. Но огонь с водой когда уживались? Чоччу добрая, тихая у Анны в глазах гроза. Кто сильнее: вода или огонь? Чоччу грудь с грудью с медведем сходится — трубку курит. Анна, пожалуй, не дрогнет и человека пальмой-рогатиной пырнуть.

«Огонь все попалит, вода все зальет», — припоминается ему песня старого Давыдки — и уж не знает Василий, чем обмануть, успокоить свое сердце.

Когда про Анну думает — сердце радостно бьется под камзолом. Про Чоччу вспомнит — обомрет сердце, заскучает, словно обмороженная нога в тепле.

Сидит Василий на коряжине, в глухой тайге, а возле него табун оленей. Увидали человека, со всех ног к нему бросились: густой кустарник из оленьих рогов вырос, и в нем, как красный гриб в лесу, — Василий в своем красно-огненном камзоле. Тихий снег раздумчиво падает. Тайга распластала, раскинула свои лохмы, вся белая, примолкла, будто спит, а сама все чует: вздохни — насторожится, крикни — голосом

ответит. Хорошо бы вот так сидеть, сидеть. Пусть бы белый снег валил, пусть бы олени стояли возле, Василий сидел бы смирно и, закрыв глаза, мурлыкал бы песню. Хорошо сидеть, хорошо вспоминать о том о сем, а лучше ни о чем не думать. Так оно и было раньше. А теперь...

Василий покрутил головой, вздохнул... Он здесь долго будет ждать: весь вечер, всю ночь, пока не покличет Анна... Разве вскочить да заорать на всю тайгу, чтоб олени градом прочь? Холодно. Разве вскочить да закружиться на месте, как шаман? «Вскочу!..» — думает Василий и неподвижно сидит, словно вросший пень, весь от снега белый. Он сейчас зажжет костер, ляжет на бок в снег и станет разгадывать, о чем бормочет пламя. «Вскочу», — вздрагивает Василий и, весь скрючившись, начинает похрапывать и посвистывать носом.

— Анна!.. — сказал однажды Василий. — Хорошо бы, Анна...

Та молчит. Тихо Василий начал, просительно. Анна сердито вздохнула.

— Неужто, Анна, тебе не жаль?.. Одна живет... Куда попала?.. Плохо... Одной, Анна, борони бог, как плохо!

Анна выхватила изо рта трубку, сплюнула. Василий опустил глаза и долго рассматривал на своих ногах чикульманы.

— Вот бы ей тут жить... Возле нас... Мне ее не надо, Анна... Мне тебя надо... А она — так... родня...

Анна быстро схватила палку и со всего маху ударила подвернувшуюся собачонку.

Василий взглянул на Анну и тотчас же боязливо опустил веки.

На другой день он взял двух собак, чтобы идти на медведя. Голубое небо ласково глядело на него. Снег полыхал под солнцем, слепил глаза. Василий зажмурился, потянул в себя свежий морозный воздух, и все в нем заиграло.

«Скучает баба... пойду, навещу», — радостно подумал он, поправил красную повязку на голове, оглянулся на чум и быстро зашагал. Собаки весело скакали, барахтаясь в сугробах.

— А не видал ли ты учуга-оленя?

— Нет, не видал... Ты как? — Василий даже попятился.

И они направились с Чоччу к ней в чум. Шли всю дорогу молча. Тунгуска печальными глазами, крадучись, посматривала на Василия и тихо вздыхала. А дома, в чуме, стала свежевать белок.

— Вот все одна бьюсь. Волки прибежали, — сроду не было, — прибежали, оленей распугали. Убила трех.

Она оправила костер и откинула назад черные косы.

— Хожу-хожу по тайге — устану... Приду домой — нет никого... Был муж — нету... Был Василий — Анна отняла... Ну, каково живешь? Славно ли живешь? Рад ли?

— Маленько рад, маленько не рад...

Василий тер рукою лоб, сдвигал и расправлял брови, крякал. Ему надо много толковать с Чоччу... Надо бы самое-то главное сказать, чтобы поняла, надо хорошо языком повернуть: пусть Чоччу успокоится — он ее не бросит.

— Я... я... ничего... Вот Анна только...

Василий больше ничего не мог сказать. Он в раздражении больно прикусил язык, на глазах слезы выступили. Очень плохой язык, не может вертеться как следует, не может толковать все чередом, по порядку, чтобы складно и мудро, как у шамана.

— Языком вертеть не смыслю... — Василий высунул окровавленный кончик языка и указал на него пальцем. — Тут много, — хлопнул он себя по лбу, — тут того больше, — дотронулся он до сердца, — а язык дурак!.. Прямой дурак, заплетается в зубах, как лисий хвост в трущобе.

Василий опустил голову и засопел. Он все слова расшвырял, а новых не накопилось. И уж до самого вечера сидел молча. Он с любовью разглядывал

каждую вещь в чуме. Вот иконка маленькая, закоптелая, висит на жерди, а рядом с ней лесной шайтан, звериный хозяин, Боллёй-батюшка, с бисерными глазами. Вот кумоланы, вот для костра рогульки, и все знакомое такое, близкое... свое...

— Ты совсем ко мне? — спросила Чоччу.

— Что ты! Как? — испугался Василий и быстро встал. — Пойду... А то...

— Да, ну-ну? — удивилась тунгуска. — А я одна?

Когда она подняла голову, Василия не было.

Другому надо день идти, Василий в одночасье прибежал, всех собак замучил. Скакали-скакали по сугробам, рассердились, злобно лаять начали. Скакали-скакали, из сил выбились, задрали носы кверху, взвыли.

Василий вторую чашку чаю выпил, когда пришли измученные собаки. Кривая сучка Камса всунула в щель чума остроносую морду, нашла желтым единственным глазом хозяина и, презрительно оскалив зубы, зарычала. А Василию и невдомек, что волки появились, что сыпучие сугробы для собак — беда. Он все тогда забыл, только Анну помнил: у Анны брови тонкие, щеки — как цвет шиповника, тело гибкое, руки в глухую полночь ласковы, но... в глазах — гроза.

— Бойе... Это ты напрасно... — загадочно сказала Анна.

Василий раскрыл рот. Ни слова не проронила больше Анна, но он все понял.

Никогда Анна так не ласкала Василия, как в эту ночь. Но в этой ласке Василий чувствовал что-то страшное и, обливаясь холодным потом, ждал, что Анна всадит в его сердце нож.

Едва дождавшись рассвета, Василий побежал в тайгу по вчерашним следам, а обратно возвращался тихо, понурив голову и весь холодея. Солнце склонялось к западу, когда он пришел домой. Анна вышивала бисером красивый фартук-хальми и на Василия не взглянула.

— Далеко-далеко, там... Я твои следы видел рядом с своими, — дрожащим голосом сказал он и почувствовал, что его сердце останавливается.

— Где твой медведь? Убил вчера? Нет? — чуть слышно проговорила Анна. Лучше бы по щеке его ударила. Он молчал.

— Ты меня убил... — так же тихо сказала Анна. И на ее бисерный хальми скатилась бисером слеза.

Назавтра, рано утром, Анна согнала в кучу всех оленей, заседлала верховников и навьючила все свое добро.

— Пойдем, — сказала она Василию.

— Куда?

— Неделю будем идти, другую будем идти, да еще, да еще... Далеко уйдем... Тут нам не жить.

Василий почувствовал себя кустом калины, который с корнем вырывают из земли.

Пошли они на север, в ту сторону, где одни ледяные старички живут. Василий знал, что там лето короткое, и когда пойдет с ледяного моря осенний холод, все крохотные сказочные старички собираются в кучу и садятся на пенышки. Сядут, пошепчутся и опустят враз головы. А из носу капельки у них бегут, а из глаз слезы все на землю да на землю. А мороз крепко слезу кует. И все сидят, все сидят, сонные, пока не получится ледяной батожок-палочка, из носу да в землю. Так до весны и сидят. Василий все это вспомнил, страшно ему идти в далекую северную сторону.

Анна звонко кричит.

— Модо! Мод-мод-мод!.. Ко! Ко! — Звонко по тайге ее голос стелется.

Тайга седые брови морщит, слушает, непролазная, вся укутанная снегом.

III

Живет Василий с Анной на севере, хорошо живет.

Вот и весна пришла, снег начал таять, загудели ручьи, солнечный свет на ветвях повис. Ходит по тайге

Василий, в каждую нору, в каждую берлогу заглядывает, у пенышков глазом землю шарит: хочет волшебных старичков найти. Но старичков нет.

— Нету... Нигде не видать... — сказал он Анне. — Надо своего дожидаться, маленького... Когда оттаешь? Когда раздвоишься?

— Скоро, — сказала Анна и как бы невзначай провела рукой по своему большому животу.

Василий рад был, что у них родится сын. Он знал, что сын. Ему надо сына. Хороший тунгус будет, белку бить будет, медведя дедушку-амаку. Не скучно будет с ним, — с ним да с Анной. А Чоччу как? Где-то она, жива ли?

Василий зыбку для сына смастерить сбирается. Надо хороший лубок найти, а где его найдешь, надо большую осокорь искать. С утра ушел Василий, целый день шлялся и только вечером — уже звезды над тайгой сияли — вернулся домой.

У дерева оленюха за рога привязана; тонкая, как девка, Анна доит ее.

— Иди-ка в чум, отгони собаку, — сказала она каким-то особым голосом, ласково так сказала, нараспев.

— Геть!— войдя в чум, крикнул Василий.—Геть!— собака стоит над разостланной у костра шкурой и, крутя хвостом, что-то обнюхивает. Присмотрелся Василий, языком прищелкнул и пал на колени перед маленьким своим сыном.

— Анна! Анна! — закричал он. — Гляди! Сын родился.

Когда вошла Анна и улыбнулась, в чуме сразу светлей сделалось.

И стал Василий отцом. Теперь ему никого не надо, кроме Анны и маленького Ниру. Забыл Василий про Чоччу, совсем забыл.

А Чоччу в тот самый день, когда откочевал сюда Василий, пришла налегке к опустевшему стойбищу.

— Нету... — сказала Чоччу и, вернувшись домой, три дня не ела, не пила.

Месяц дожидалась, вот придет, — другой дожидалась, да еще, да еще.

— Бросил, — сказала Чоччу.

И как сказала себе это слово, будто бы легче сделалось, а потом опять... Такая тоска... эх, лучше в землю...

Каждый вечер подходила она к высокому шесту с жертвенной кожей наверху, подшибалась ладонью и долго щупала осиротевшими глазами таежную тропу. Смотрит и поет, и причитает, а слезы сами собой текут, и дрожит сердце.

«Та сторона далекая... Там Василий... Вот щеки мои завяли, вот губы высохли... А Василья нет. Я вскочу на самого быстрого оленя, скажу ему: ищи, олень, милого... Олень, олень! Взвейся над тайгой, отыщи моего милого... Нет! Стой, олень, стой смирно!.. Забыл, пусть забыл... Я буду одна... Пусть тайга кругом гудит, пусть медведь бродит... Я буду одна...»

Чоччу утирает слезы, гонит прочь подвывающую ей собаку и вновь жалобно:

«Ой, ветер, не шуми хвоей!.. Скажи, ветер, сердцу — может, послушает—пусть молчит: одной лучше... Я одна, совсем одна... счастливая! Разве ты не знаешь, ветер, какая я счастливая...»

IV

Лето прокатилось, осень на исходе. Василий все еще на севере. Первый снег на хребты, на полянки пал, болота подстыли, мерзлая трава под ногой хруст дает.

— Ну, как — ничего? — спросила однажды Анна и, оторвав от груди черноглазого Ниру, долго целовала его в крохотный влажный рот.

Василий не понял, о чем спросила Анна, и, растерянно улыбаясь, ответил:

— Ничего.

— Ничего? Забыл?

— За-а-был... — махнул рукой Василий и пощекотал травинкой в носу Ниру. Тот скосил глаза на

травинку, чихнул и заегозил кулачками возле носа, пуская пузыри. Анна и Василий громко засмеялись, а Ниру забрал в рот свою ногу, стал ее сосать и радостно гулькать.

Утром Анна переспросила:

— Забыл? Верно? — и долго, пристально глядела на Василия. — Лови оленей, вьючь. Нюльгирить будем.

— Куда? — как и в тот раз, удивленно спросил Василий.

— Ербогоч-ду... в Ербогоч, на ярмарку. Ничего у нас нет, все кончилось, надо к купцу идти, надо пушнину торговому тащить.

Дорогой их захватила стужа. Василий, как всегда, шел впереди, прочищал тропу, за ним верхом Анна, за ней на отдельном олене, болтаясь справа у седла — Ниру. Его положили в лубочный коробок, на дно постлали коричневой трухи от сгнившей древесины, чтоб было мягко. Он кое-как прикрыт оленьей шкурой, но его грудь голая.

Он почти всю дорогу спит, а то вдруг зальется звонким плачем.

— Не слышишь? — кричит Василий Анне.

Та ударяет пятками по шее оленя: «Ко! Ко!»

— Не слышишь? Ревет...

— Пускай греется, — равнодушно отвечает мать, а Ниру, наплакавшись вволю, замолкает.

Анна тогда соскакивает, привязывает к дереву оленя и вытаскивает полуголого Ниру из зыбки. Тот весь дрожит, но, почуяв грудь матери, с урчаньем и хрипом, как голодный волчонок, жадно нащупывает сосок и начинает, захлебываясь и сладко жмурясь, глотать теплое молоко.

Вьюга крутит и воет. Снег белой тучей носится по поляне. По сторонам гудит и гнется тайга. Огромные, оторванные ветром сучья, распластав хвою, проносятся над остановившимися тунгусами. Олени сгрудились и, подставив ветру зад, роют копытами сугробы.

Василий стоит возле Анны, прищелкивает языком и сглатывает, наблюдая, как сосет Ниру.

— Замерз? — спрашивает любовно Анна, ежась от холода.

— Борони бог! Жарко... — от Василия идет пар. Он устал, шагая по сугробам, его голова, повязанная красным платком, вспотела.

Шли долго. Вставали до солнца, оленей собирали и приготовляли в путь к полудню, а шли весь день дотемна. Но проходили верст пятнадцать — двадцать.

Облюбуют где-нибудь место, — сумерки, солнце давно село, — остановятся на ночлег. Снег выше колен — расчистят, поставят чум, набросают внутрь мелких хвойных веток и запалят костер. Тепло тогда в чуме. И если поддерживать огонь, тепло будет всю ночь. Но ночь для сна — в чуме к утру холод, как в тайге.

Пока приготовляют стойбище, Ниру стоит дубком в своей зыбке, внаклон прислоненной к сосне. Возле — костер-гуливун. Стоит Ниру один долго. Стоит, на пламя смотрит, на игривые золотые языки, и прислушивается к их говору, и улыбается, довольный льющимся на него теплом. Наскучит смотреть — заплачет, наскучит плакать — примолкнет, гулькать начнет, а то углядит косо прорезанными глазами висюльку в зыбке — тянется голой рукой и норовит заграбастать в рот.

А ночью Ниру спит хорошо, иногда во сне улыбается, отчего на смуглых, замазанных грязью щеках его — маленькие ямочки. Но никто не видит, как спит ночью Ниру, потому что ночью все крепко спят: собаки, олени, люди; только сторожевой пес, соблюдая собачью очередь, бегает дозором кругом тихого стойбища.

Были ночи звездные, но без месяца, темные. Были ночи с каленым холодным небом, с каленым месяцем, звезды тогда стояли четкие, крупные, мороз трескучий, палящий. Весь снег в алмазах, в блестящем бисере, и ночь казалась светло-голубой.

А то тихий снег всю ночь падает, тепло стоит — ночь мутно-белая. А то буран вовсю гуляет: и крутит, того гляди сровняет с сугробами тунгусский чум.

Долго тунгусы тянулись. Шли, шли — много тайги осталось сзади. Шли, шли, шли — расступилась тайга, просторно стало, пред ними поля легли. Остановились.

— Это что ж такое? — Василий разинул рот и указал на каменную, видневшуюся за рекой церковь.

Анна — человек бывалый. Она чуть презрительно, сверху вниз смотрит в смущенное лицо Василия, все еще стоявшего с удивленно открытым ртом.

— А ты не знаешь?

— Нет.

— Ах, бойе, бойе!.. Там Никола живет, русский бог Никола-матушка, — говорит она по-русски.

Василий прищелкивает языком, качает головой и вдруг, совершенно пораженный, замирает. Со стороны села прогудел и растаял удар большого колокола. За ним другой, третий. Удар за ударом густо колыхали воздух, словно огромный шаманский бубен рокотал над тайгой.

— Это что же такое? — круто повернув назад оленя, готовый кинуться в тайгу, спросил Василий.

— Колёколь!.. Колёколь!.. — радостно кричала Анна. — Бумм!.. Бум!.. — и, соскочив с оленя, подбежала к Василию.

— Колёколь!.. Слезай!..— стащила его на землю.— Пляши! — смеясь, тормошила она мужа.— Колёколь!.. Бум! Бум!

Василий весь просиял, глаза от широкой улыбки скрылись, он схватил за руки Анну, и оба, в огненных лучах заката, принялись кружиться и на разные лады повторять:

— Бумм!.. Бумм!.. Колёколь!.. Колё-околь!.. Бумм!

Заря была золотая, с красной по краям кровью.

V

Ярмарки не застали. Купцы разъехались. Пушнину сдать некому. Вина достать негде. Анна долго горевала.

Стойбище Василия было за рекой, в двух днях от села; Василий стрелял белок, ловил кулемками лисиц,

колонков и горностаев. Анна иногда заглядывала в село, продавала там крестьянам меховые чикульманы и рукавицы, шитые бисером потакуи [1], а оттуда приносила муки, чаю, сахару.

Ниру перед весной начал ходить. Он вставал на четвереньки и, одобрительно крякнув, тихонько приподымался. Он бродил по чуму, хватаясь то за мать, то за отца. Но за чумом он не бродил, а ползал по оттаявшей, покрытой хвоей земле и нередко сражался с собаками, отнимая у них кости.

Собаки всегда были к Ниру почтительны. Когда он подымался на кривых ножках, держась за собаку, та смирно стояла, поджав покорно уши. Когда он падал, собака тщательно облизывала ему лицо, и Ниру приползал в чум чисто вымытый.

Отец делал ему из тряпок кукол, из дерева птиц и оленей, а иногда игрушками ему служили отрубленные утиные носы.

Анну все теперь радовало: как-то по-особому блестело солнце, веселей пели прилетевшие издалека птицы, и Анне самой хотелось песен и любви.

Однажды ночью Анна вдруг проснулась в какой-то смутной тревоге. Полежав немного с открытыми глазами, она быстро поднялась и неслышно скользнула за чум. Прислушалась, вздрогнула, пошла в тайгу.

Было пасмурно. Начинал моросить дождь. Тьма была.

От холода заплакал Ниру. Он подполз к отцу и стал открывать ему глаза, подковыриваясь пальцами под веки. Василий проснулся, разложил костер, тепло стало, и Ниру уснул.

Лишь перед рассветом вернулась Анна.

— Я тебя долго ждал... всю ночь... Где была?

Анна глубоко дышала, ноздри вздрагивали, раздувались, лицо было красное от возбуждения. Она, согнувшись, сидела у костра и жадно затягивалась трубкой.

— Оленей, что ли, волк пугал?

---

[1] Потакуи — берестяные, крытые оленьей кожей сумы.

Анна молчала. Наконец криво усмехнулась и насквозь пронизала Василия колючим взглядом.

Она молчала целый день, а вечером, перед сном, вдруг захохотала каким-то невсегдашним смехом и нараспев сказала:

— Бойе... Ах, бойе!.. Это я так, бойе... Не бойся! Просто сон худой видела... Очень худой сон. Ха-ха-ха!.. Вот ночью бегала... — Лицо ее стало угрюмо.

Она укрылась паркой, легла спиной к костру и обняла Ниру.

Василий лег, плотно прижавшись к Анне. Они всегда так спали рядом, но головами врозь, и возле лица Василия приходились выглядывавшие из-под парки маленькие ноги Анны.

Василию не спалось. Он ворочался с боку на бок, в кровь поцарапал бока и голову, громко и протяжно зевал. Анна храпела. Василий тихо встал, оглянулся на Анну — спит, и побрел в тайгу на лай собаки.

Вслед за ним вскочила Анна. Она — кошкой к дверце и, выставив голову, чутко насторожилась.

Было очень тихо. Только собака надрывисто лаяла, и доносился придавленный окрик:

— Геть!..

Анна схватила пальму. Пальма тупая. Схватила топор. Она только что выменяла его у мужика, топор острый, — и кинулась в тайгу.

— Пойдем дальше!.. Она увидит... — стуча зубами и весь дрожа, говорил Василий.

— Пойдем ко мне, бойе... Пожалуйста, пойдем... близко... — звала Чоччу.

— Боюсь... Дознается.

Они стояли друг против друга, и огонек двух вспыхивающих трубок слабо освещал их тревожные лица. Василий видел, как по щекам Чоччу катятся слезы. Он ласково потрепал ее по плечу. Должно быть, сорвалась вблизи сова: крикнула, словно простонала.

— Пойду домой... После, — вздрогнул и заторопился Василий.

Подойдя к чуму, он чиркнул спичку и осветил внутри. В костре золотились угли. Анна так же спала,

всхрапывая и шевеля губами. Сердце Василия забилось ровнее. Он лег возле жены и долго думал.

— Анна!.. — наконец тихо дотронулся он до ее ноги.

— Ну?

— Ты не сердись, Анна... Вот я тебе буду толковать... Ты слушай... — И опять язык не может как следует работать.

— Ведь ты знаешь, Анна? Она здесь... Ты все знаешь, Анна.

— Кто? Родня? — спокойно сказала Анна. — А ты ее видал, бойе?

Василий засопел и подавился кашлем.

— Я... я... она близко... Я оленя ее видел, учуга...

— Ты оленя, бойе, видел?

— Да... оленя... И еще собаку... Собака лаяла.

— И собаку, бойе, видел?

— Да, и собаку... Она бежала возле Чоччу... А Давыдиха, Чоччу-Машка, искала оленя... А собака лаяла...

— А ты?

— А я... я... — Василий часто замигал и отодвинулся от Анны. — Мой язык дурак. Он не то плетет. Он зря толкует... Ты его не слушай, Анна! Он дурной... Я никого не видал, Анна!

— И что же она тебе толковала?

— Я видел ее оленя.

— И зачем она тащила тебя в свой чум?

— Ты знаешь? — приподнялся Василий. — Тебе сон снился?

— Да, бойе, сон... Мне сон снился...

Они оба промолчали до рассвета.

Их разбудил закатистый плач Ниру. Он сидел на потухшем, но теплом еще костре, на груде серого пепла и подбирал себе в рот черные угольки. Но вот, копошась в пепле, он нашел золотой уголек, красивый, и, крепко зажав его в руку, надрывался плачем. Не сразу догадались, что с Ниру, и когда разжали ладонь, она была красная, как прожаренное с кровью мясо.

Ниру намазали руку оленьим салом, завязали грязной тряпкой. Василий и Анна всячески старались утешить его и рассмешить.

Когда Василий, изображая сучку Камсу, стал на четвереньках ходить возле Ниру и тявкать, прищурив для большего сходства с кривой сучкой свой черный глаз, Ниру оборвал плач и засмеялся.

— Пойдем к родне, — сказала Анна спокойным ровным голосом, но левая бровь ее дрожала, а губы были плотно сжаты.

— Ладно. Пойду оленей ловить. — Василий старался казаться равнодушным, но голос его осекся.

— Пешком пройдем... Близко.

Они взяли Ниру и отправились в путь.

Анна шла впереди, уверенно, твердым шагом, словно много раз бывала у Чоччу. За плечами ружье, в зубах трубка, в руках пальма.

Небо было безоблачно. Всходило солнце. По опушке леса и у голых пней пестрели расцветающая саранка и желтый лютик — колдовской шаманий цвет.

Показался голубой дымок. Запахло жильем. Навстречу кинулась ощетинившаяся собака и громко залаяла на Анну. А перед Василием повалилась кверху лапами и заюлила.

Василий сердито пнул ее ногой и что-то буркнул, — Анна скосила на него глаза и язвительно засвистала.

— Что встал, пойдем! — крикнула она и уверенным шагом двинулась вперед.

Чоччу была больна. Она лежала в чуме, укрывшись паркой. Анна и Василий молча сидели возле нее и курили. Анна передала свою трубку Чоччу, и та, покурив, вернула Анне.

— Вот маленько кудой стал, — печальным голосом начала по-русски Чоччу, — маленько не славный, тошно... Хвораль... одна...

— Одна... куда попало... плохо!.. — уныло подхватил Василий.

— Плохо... Совсем маленько плохо... Борони бог! — подтвердила Анна, следя за мужем. Но тот сидел с опущенными глазами.

Анна пытливо разглядывала Чоччу и сравнивала с собой.

Ну, конечно, Анна красивее. У Анны нос приплюснутый, лицо скуластое, румяное, губы маленькие, алые. А Чоччу... Ну, чего там про Чоччу толковать. Анна успокоилась и стала готовить обед.

Обедали молча. Но когда хозяйка вытащила из потакуя остаток спирту, все враз заговорили.

Ниру тоже тянулся к бутылке. Но, чуть глотнув, он несколько мгновений сидел с открытым ртом и с изумленно вытаращенными глазами, потом круто уткнулся в грудь матери, пободал головой и отчаянно завыл, высоко подняв больную обмотанную тряпкой руку. Анна, смеясь, схватила его в охапку и стала баюкать.

— Оеей!.. Ниру огненной воды хватил!.. Оеей. Ниру пьяный!..

А Василий вставил в его рот свою трубку и сказал:

— Чего гаркаешь? На, затянись!

Ниру пососал губами и, проглотив дым, закашлялся.

— Ничего... ладно... другой год идет. Учись!.. — смеялся Василий и вновь совал ему в рот трубку.

Чоччу сидела печальная, с повязанной головой.

Вечером Анна сказала:

— Надо одному остаться. Хочешь, оставайся? — взглянула она на мужа.

— Нет, я домой, — напряженно сдвинув брови, ответил Василий.

Он встал и вышел, ни на кого не взглянув.

Василий один прожил двое суток. На третий день зазвенели медные ботала оленей — женщины пришли.

— Вот... родня... — сказала Анна Василию. — Иди, ставь ей чум.

Чоччу выбрала невдалеке моховую поляну, чтоб был оленям корм.

Так стали жить трое, четвертый Ниру, опять в одном стойбище. Анна, как зверь по следу, выслеживала каждый шаг Василия. Тунгус это чувствовал и следил за собой, как лисица следит, заметая свой след хвостом.

Чоччу брала, что можно, и чувствовала себя по-разному. Когда, крадучись, сидят они с Василием темной ночью, молча сидят, думают — хорошо тогда Чоччу. Но это бывает редко, — так редко, лучше б и не было.

Однажды, когда земляника вызревать стала, зашел к ним мимоходом тунгус Пиля, лохматый, страшный, Ниру очень его испугался.

— Чего в село не идете? Торговый сверху на шитике прибежал.

— Торго-овый?! — протянули враз тунгусы.

Им надо идти с большим караваном к торговому. От пушнины у них лабаз ломится: два года не сдавали.

Но Ниру ночью захворал: то ли Пиля его ушиб худым глазом, то ли спелой земляники объелся, лежал весь горячий и стонал. Ну что ж, захворал так захворал, пройдет.

Послали за вином Пилю. Сел Пиля на оленя и на другой же день под вечер привез четверть спирту. У Пили — пальма да трубка... Было ружье, но он его пропил. Ему все равно, где жить. Остался он у Василия.

VI

Пировали у Анны с вечера до утренней зари. Пели песни, объедались олениной, ссорились, мирились, хохотали. Чоччу была грустная. Когда пели песни, она как-то по-особому грустно смеялась либо плакала, размазывая по лицу слезы.

— Чего ревешь? — кричал Пиля. — Ты вдова, я вдова... Давай вместе! — и лез к Чоччу целоваться.

Василий тяжело задышал, быстро схватил Пилю за ноги и сильным броском перекувырнул его.

— Пошто бьешь?! — визжал Пиля, отдирая руки Василия от своих черных растрепавшихся кос.

Анна схватила чашку вина, залпом выпила, а остатки плеснула в глаза Василию.

— Кок! — крикнула Чоччу. Она хотела броситься к Анне, но остановилась и горько заплакала, тыкая пальцем в ее лицо:

— Ты!.. Ты!.. Все ты!.. Ну, ладно... Вот ужо...

Однако все скоро успокоились. Хмель свалил всех. По чуму — храп и бормотанье.

Ниру тормошил мать, плакал, злился, кричал. Мать не откликалась. Ниру, боязливо оползая храпевшего с разинутым ртом страшного Пилю, подполз к отцу. Но и от него ничего не добился.

Ему очень хотелось есть. Сидя возле отца, он поднял вверх голову и долго выл диким, без слез, голосом. Взгляд его упал на большой котел, у которого, крутя хвостами, работали собаки, — Ниру весело крикнул: «У!» — и заулыбался. Он подполз к котлу, ухватился за его края и поднялся между кривой Камсой и черным трехпалым кобелем.

— У! — вновь крикнул он, заглянул в котел и потянулся за добрым куском мяса. Тут Камса лизнула его в самый рот. Ниру чихнул, покачнулся и заплакал. Но сквозь слезы увидал полуобглоданную кость, схватил ее и стал сосать, зажмурясь и урча. Собаки подняли возле котла грызню. Ниру со страхом отполз в темный угол и забился между сумами.

— Геть! Геть! — заорали враз четыре оторвавшиеся от земли головы и тотчас же упали. Собаки воющим, визжащим клубком выкатились вон.

— У! — одобрительно сказал Ниру и пополз к большому куску сахара.

На другой день, когда Ниру уснул, Василий с Анной пошли в гости к Чоччу.

У Василия болела голова. Анна опохмелилась и шагала бодро.

— Отчего не пошел Пиля? — спросила она.

— Не надо... Больно худой... Больно лезет...

— Ты ему вырвал косу.

— Пускай!

— Чоччу возьмет его к себе.

— Она тебе сказала?

— Знаю.

У Василия пальма острая. Силы в ней сегодня много. Вот только голова... Он шел впереди Анны и разговаривал с ней через плечо.

— Ты врешь, — сказал он раздраженно и ударил пальмой по осине. Ствол дерева толстый. Крякнула осина, но не свалилась.

— Врешь!.. Дурачишь!.. — крикнул он и ссек осину. — Я вижу...

— Как ты видишь, если я плеснула в твои глаза вином?

Василий вмиг вспомнил это, испуганно схватился за глаза, чтоб удостовериться — целы ли? И ему сразу показалось, что он плохо видит. Тайга стояла перед ним сплошной серой стеной, все как-то посерело вдруг и задрожало.

— Вот слепиться буду... Как тогда? — сглатывая накопившуюся обиду, сказал Василий тонким голосом.

— Слепиться? — равнодушно переспросила сквозь зубы Анна и пнула ногой большой красный мухомор.

— Носом учуешь... На-а-й-дешь!

— Кого это? — крикнул Василий, а сердце его застучало. Перед ним замелькало грустное заплаканное лицо Чоччу, встали в памяти ее слова и вся их былая жизнь. Если Анна не хочет жить вместе — он останется с Чоччу, возьмет Ниру и останется.

Василий хрипло вздохнул, пропустил жену вперед, закурил трубку и до самого стойбища шел понуря голову.

— Я сегодня богатая... Ха-ха!.. Я сегодня веселая! — встретила их Чоччу. — Давайте весело гулять... Давайте вино пить. Сегодня веселая будет ночь.

Она нарядилась во все лучшее. Синий, весь в позументах, камзол, большой крест на бисерном нагруднике, крупные серьги в маленьких ушах, туго закрученные, сложенные на голове косы.

— Давайте не в чуме. Давайте под сосной... Ночь теплая.

Чоччу, чуть откинув стройный стан, легкой поступью ходила от чума к сосне, где разложен огромный костер.

Анна была молчалива. Она, прищурившись, с злобной завистью смотрела на Чоччу.

Сегодня Чоччу красивее ее.

— Ну, чего ты? Пей! — весело крикнула Чоччу.

Анна выпила, крякнула и подала чашку:

— Еще! — выпила, крякнула. — Еще!! Давай скорей еще!

— Станем песни петь! — сказала задорно Чоччу.

— Какие песни? Тунгус не знает, — говорил Василий, обгладывая кость олененка.

Все были вполпьяна.

— У меня своя есть... Хорошая есть... — поднялась Чоччу, утерла рот рукой, оправила волосы, но, окинув Василия тоскующим, ревнивым взглядом, вновь села. — Я когда пью одна, всегда плачу... Я всегда одна... Была вместе, стала одна... Ну вот, буду петь...

— Эй, месяц, — взмолила Чоччу зыбучим гортанным голосом и подшиблась рукой. — Золотой мой месяц!.. Ты один!.. Нет у тебя солнышка, ты один... Ой, месяц, я одна!.. Милый был, да нету — я одна!..

— Дай еще! — протянула Анна чашку.

Анна выпила и повалилась на бок, обхватив руками голову.

Она немного полежит и пойдет домой. У ней томится сердце. Она пойдет домой и нарядится в сто раз лучше Давыдихи... У ней соболья шапка, серебряный чеканный пояс, у ней золотые кольца... Она возьмет Ниру, маленького любимого своего смешного Ниру, оседлает серебряным седлом оленя и помчится в ту сторону, где солнце спит: она устроит чум и будет там жить. Мимо их чума пройдет молодой тунгус: «Эй, бойе, стой!» Остановится тунгус, красивый, улыбчивый... «Я, бойе, умею хорошо ласкать... У меня был один — мой, стал не один — чужой... Вот я ушла. Если ты один, если вольный, оставайся, бойе!..» Да, она сейчас встанет и пойдет. Вот и месяц смотрит, и месяц зовет ее, мигает. И Чоччу над ней смеется, воет про себя, скрипит... И Василий шепчет ей... Пусть!

— Не реви, не гаркай... — шепчет Василий. — Пусть уснет.

— Как узнаешь, спит ли?

— Я узнаю.

— Анна! Эй, Анна! — кричит Чоччу.

— Разбуди, спит. Дай ей вина. Тащи за косу.

Анна подняла, не раскрывая глаз, голову, нащупала протянутую чашку, выпила и еще крепче уснула.

Василий сидит, покачиваясь, в обнимку с Чоччу; голова его валится на грудь. Чоччу шепчет:

— Теперь вместе... Как раньше, бойе... Как до Анны!.. Уйдем, бойе. А погонится, скажем: уйди прочь! Я, бойе, рожу тебе сына... Он будет наш... Давай, я тебя буду целовать...

— Услышит... Она — змея!

— Тьфу!

— Она тебя испортит!

— Я ее закляну... Давай, бойе, целоваться!

— Нет!.. Костер яркий... Месяц светлый... Не надо!

— Пойдем, бойе, в чум...

Василий тяжело поднялся, потоптался пьяными ногами возле спящей Анны и — к реке. Встав на колени, он по самые плечи погрузил хмельную голову в студеную воду. Если б не страх, он долго пролежал бы, не отрываясь от воды. Страшно вдруг сделалось: сзади шайтан крадется — сгребет за ноги, бросит в омут. Василий вскочил, зафыркал, поплевал во все стороны и, обирая с черных своих кос воду, побежал к Чоччу в чум.

Он с опаской вошел туда. Чоччу, разметавшись, лежала на мягких пахучих хвоях.

— Бой-ой-е! — иволгой прозвучал ее голос.

Костер ярко горит, теплом на спящую Анну пышет. Звезды по небу узоры развели, разбросались золотым песком по синему. Месяц меж ними тихо продвигается, грузным светлым колесом к тайге клонит.

От костра уголек горячий — щелк! — да прямо Анне на лицо. Вскочила, отряхнулась, почесала обеими руками волосы и села. Пустая четверть с опрокинутыми чашками блестели, двигались в дрожащих лучах огня. У Анны сами собой закрылись глаза, а тяжелая голова вновь устало приникла к земле. Но вот Анна быстро со стоном поднялась и дико осмотрелась. У костра валялся камзол Василия, его кисет и трубка, а поодаль — шитый позументами камзол Чоччу. От яркого пламени кругом темно. Анна, пошатываясь и натыкаясь на пни, обежала вокруг костра. Нету!.. Она сдернула с кучи потакуев лосиную кожу — нету!.. Она метнула взглядом по освещенным стволам сосен — нет пальмы Василия!.. Где пальма? Где топор? Нету! Сунула за голенище руку — нет ножа! И как-то сам собой прошел весь хмель. Прихлынула к глазам, к рукам, к голове, к сердцу сила, а ноги пропали, их будто нет, совсем нет. Анна над землей птицей летит к чуму. Как вобрала в себя воздух, не может выдохнуть. В руках в огненном золоте большое из костра полено.

Отпахнула полу чума, зашаталась.

— О-гый!.. — и, размахнувшись, швырнула в спящих пламенным поленом.

— Шайтан! — без памяти заорал Василий. — Огонь! Огненный змей! Чоччу! Вставай! — не заметив Анну, он, все опрокидывая, прорвал стенку чума и бросился в тайгу.

Огненный шайтан, растопырив крылья, настигал его. Василия кидало то в жар, то в холод и захватывало дух. Напролом, забыв тропу, он мчался из чума Чоччу к себе домой: шуршала хвоя, с хрустом ломались сучья.

— Догоню! — выл огненный шайтан и каркал вороном. У Анны глаза волчьи: и в темноте видят каждый скок Василия, стерегут каждую его увертку. По пятам гонится, устала.

Вдруг Василий пропал. Собака хамкнула... там, в чуме...

— Ага!.. В мой чум вбежал! — показалось Анне.

Она схватилась за сердце и, словно стрела из лука, влетела в свой чум.

Как рысь бросилась к сундуку, где был топор, как рысь нащупала во тьме изголовье мужа:

— А-а-а!.. Спишь? Прикинулся?! — И со всей силы в исступлении хряснула топором. И вдруг завизжала, загайкала, безумно, страшно...

Василий меж тем весь обомлел и сжался. Он и не думал вбегать в свой чум, это так лишь померещилось Анне. Он в это время ничком лежал в берлоге, куда провалился, спасаясь от огненного змея.

— Шайтан! — чакнул он зубами, прислушиваясь к вновь наступившей тишине. Ему все еще спьяну чудился крылатый змей, что лизнул его пламенем там, у Чоччу, а по дороге чуть не слопал. Где же Чоччу, где Анна? Хоть бы пришли скорей!.. Василий крепко зажмурился, но шайтан, виляя желтым хвостом, ходит взад вперед под самым его носом.

— Агык! — гортанно рычит Василий, весь вминаясь в землю, и пьяным языком через силу бормочет заклятые слова.

В ушах звон: где-то гудит-рокочет бубен, потом все рассыпалось черными искрами и разом сгинуло.

VII

Когда проснулся Василий и высунул из берлоги голову, — кругом бело от холодного тумана. Он вспомнил про вчерашнее и боялся вылезти.

— Анна! — позвал Василий. «Вернулась ли? Или все еще там, у костра спит, не проснется?» — подумал он.

Василий знал, что в трех днях отсюда есть каменная сопка, где живет огненный змей — шайтан. Когда пролетает он, ваЛись скорей в яму, не дыши, заткни уши мохом, заткни ноздри мохом, умри, — не заметит, прокатится.

Василий долго лежал в яме и когда вновь высунул голову — тумана не было. Он сразу узнал свое

место: олени бродят, недалеко чум стоит, — и вылез из-под корневища.

— Омко-омко!.. Боллей-боллей!.. Помогай!.. — он зорко огляделся.

Все тихо было. Огненного змея нет. Вставало солнце. Он подошел к своему чуму. В чуме тихо.

— Анна!.. Ниру!..

Тихо. Не шайтан ли передавил их? Василия забила дрожь. В чуме зарычало. Василий отпрыгнул и побежал к сосне. Шайтан! Из чума вышли две собаки. Они, насторожив уши, подбежали на робкий свист хозяина и, облизывая морды, кинулись к нему ласкаться. Василий приободрился, зашагал к чуму.

Вплотную подойти страшно: пожалуй, там шайтан... Кончиком шеста он отпахнул полу чума и, присев, заглянул туда. В чуме полумрак.

— Анна!

Анны нет. Он метнулся к зыбке.

— Ниру!

Ниру нет.

Он пал перед своей меховой постелью и вдруг с звериным стоном опрокинулся на спину, словно его кто швырнул. Весь от пепла серый, волосы дыбом, глаза дикие — он вскочил и помчался к Чоччу. Бег его неверный, заполошный, зыбкий.

Дотемна искали Анну, охватив тайгу большим раскидистым кольцом, охрипли от крика, изморились и лишь ночью замкнули круг.

Костер разложили — огонь не греет, пламя яркое — свету нет. Сели рядом, согнулись, сжались. Холод кругом, душа вся в холоде. Голоса их тихие, руки дрожат, губы прыгают.

— Беда, — шепчет Чоччу и вздыхает.

— Чисто беда!.. — шевелит губами Василий.

— Отдохнем мало-мало, опять пойдем, — шепчет Чоччу.

— Опять пойдем, — шевелит губами Василий. Он не понимает, что говорит Чоччу, и не слышит, что отвечает ей.

— Найдем, жалеть будем... беречь будем... — тоскливо тянет Чоччу.

— Будем... беречь будем...

Месяц выплыл холодный, белый. С речки, с мочажин туман ползет.

Анна едет на олене, самом крепком, самом быстром. Она в полном своем дорогом наряде, в соболях, серебре, бисерных висюльках. Лицо румяное, глаза блестят, губы улыбаются... Анна едет на олене и всех спрашивает:

— Где дорога к милому?

Сосна мохнатой лапищей указывает: там! Белка хвостом крутит: там! Филин перед ней летит, нетопырь вьется: там, там! А впереди лесной хозяин-батюшка, Боллей на карачках ползет, бородой метет тропу, пятками пни выворачивает. Анна смотрит на него, беспечально улыбается.

Ниру с ней. Она его очень любит. Бедный Ниру: с ним стряслась беда. Если он молчит, это ничего. Он спит, он будет долго-долго спать. Его разбудит шаман, самый сильный, какой только есть на свете. Вот уже завтра, вот вчера, вот через месяц... когда золотой месяц умрет-родится, когда вольный месяц подопрет своим острым рогом небо, где большая-большая звезда стоит, божий глаз, тогда она придет к милому, к прежнему... Она скажет своему милому: «Вот я пришла!» Она скажет милому: «Вставай, зачем умер, зачем закопался в землю — ты живой!» Она скажет: «Вот Ниру... Мой Ниру спит... У меня нет Ниру... Когда течет из сердца кровь, хорошо быть возле милого... Тише, тише... Не будите Ниру... Тише!..»

Анна погоняет оленя, губы ее улыбаются, но слезы льются из черных глаз.

— Вот погоди, Ниру, вот приедем!.. Любишь ли ты мое молоко, Ниру? — Она остановила оленя и распахнулась. Она нажала грудь, из соска брызнуло ей в лицо молоко.

Комары густым роем жадно пили кровь Анны, она не замечала. Комары так насосались крови, что уж не могли слететь, и красными, кровяными, блестя-

щими ягодками лениво унизали ее лицо, грудь, плечи. Как во сне провела Анна по лицу рукой, лицо и рука вдруг покрылись кровью. Кровь была свежая, Аннина, не застывшая. Она ярко-красными свежими подтеками, со следами раздавленных комаров легла на засохшей крови, вчерашней, ночной, что густо покрывала кисти ее рук.

— Ниру!.. Ниру!.. — воркует Анна и развязывает суму, где сын.

Ниру лежит смирно — спит... Пусть спит, его разбудит страшный шаман. Встряхнет бубенцами, звякнет колокольцами, ударит в бубен — гром пойдет и грохот. Тогда мертвый Ниру, может быть, проснется.

Анна быстро сбежала в луг и вернулась с цветами.

— На, Ниру, играй!..

Но Ниру не открыл глаза. Он никогда больше не проснется.

Крепко завязала суму Анна, подвела оленя к пню, вскочила верхом и, малоумно улыбаясь, двинулась дальше, в тот край, где родятся утренние зори, в ту сторону, где непробудно спит, зарывшись в землю, милый.

ШКВАЛ

I

Кончался ноябрь. Каспий сердито гудел. Дувший с моря ветер раскачал морские воды и вал за валом гнал к скалистым берегам. По песчаным отмелям крутили желто-серые вихри, и подхваченные ветром пески неслись целой тучей к поблекшим степям. Изжелта-сизые валы с гудящим рокотом бешено били в утесы и, откатываясь назад, в злобе седели.

На берегу стояла толпа стариков, детей и женщин. Взмахи ветра трепали их одежды, а дряхлых старцев валили с ног. Но толпа не сдавалась. Все впились глазами вдаль, откуда грозно наплывали свирепые валы.

Весь поселок охвачен нарастающей тревогой. Еще три дня тому назад, в тихий солнечный день, все мужики и молодежь ушли в море на осетровый промысел. Хотя ушедшим рыбакам не занимать отваги, однако, как знать? Море шутить не любит. Море обманчиво и коварно: чуть оплошай — проглотит, не примет никаких молитв.

На берегу вздыхают, перебрасываются отрывистыми фразами.

— Взяли мы moristee, а нас опять прибило к черням.

— Отлегло от сердца: глядим — берег здекнулся... Но большинство угрюмо молчит.

Над морем проносятся чайки. Они летят угловатыми, надломленными линиями, в борьбе с ветром то остановятся, то ухнут вниз и плачут-плачут скрипучими голосами, грустно зовут кого-то, что-то хотят сказать.

II

— Михайло!! — стараясь перекричать ветер и шум волн, надсаживался Прохор, плечистый, с черной бородой мужик. — Слышь! Подбери рифы! Майна парус!!

Волны яро ударяли в высокий борт лодки и клали ее на бок.

Прохор, стоя в корме, навалился широкой грудью на затрещавший руль.

— Паруса! Паруса!!

Ладья, нырнув в пучину, вновь вздымалась на гребень и, шлепая надувшимися парусами, с минуту гордо покачивалась.

Михайло, лет двадцати парень, косая сажень в плечах, сбросив огромные свои бахилы, сидел возле мачты и крепко держал концы натянувшихся, как струны, шкотов.

— Батька! — крикнул он зычным голосом. Он глядел прямо и смело в лицо неминучей опасности. В его черных глазах огонь, окаченное волной лицо сурово и решительно.

— Михайло! Трафь к берегу! К черням!

— Чего?

— К черням! Майна парус! Опускай!!

Но слов не слыхать, разлетались пухом. Буря ударила всем напором в ладью, в волны, в паруса.

— Батько! — Михайло хотел крикнуть «прощай», но что-то сдавило ему горло, и слова застряли.

Ладья круто накренилась, сразу взметнулась вверх и, затрещав мачтой, вмиг накрыла рыбаков.

Зеленые валы катились и катились. Перевернутая вверх дном ладья крутилась в водовороте, увлекаемая прибоем. А ветер рвал и рвал, упруго проносясь меж серыми облаками и поседевшими холмами волн.

III

На невысоком, вдавшемся в море утесе, в стороне от толпы, стояли трое: мать Михайлы, его жена и дед — отец Прохора.

— Ничего... Авось вынесет, — щурясь и приставляя к глазам руку козырьком, говорил старик обнявшимся и тихо плакавшим женщинам. Он внимательно всматривался в горизонт. Но негодующий лик моря по-прежнему загадочен и грозен.

Дед вздыхал, еще более сутулился, крепко опираясь на батог, и принимался стыдить женщин:

— Постой... Чего воете? Эка!..

Но по растерянной фигуре деда, по какому-то особому, обманному тону его голоса женщины чуют беду.

У деда скучает и болит сердце. Каждый раз вздрагивая от ударявших в скалу волн, он едва слышно шепчет:

— Не совладать... Уложит... — и, глубоко вздохнув, бодро говорит: — Полно! Брось! Эн — гляди-ка, никак показались... — указывает он рукой неведомо на что и крадучись смахивает со старых глаз слезу.

Он помнит, когда еще мальчонком был — а теперь ему сто пятый год, — как точно так же взбуровил Каспий. Боже милостивый, что тогда было... Ветрище из-за моря с Кавказских гор дул прямо на поселок. Море ревело зверем. Вот также и тогда все выбрались на берег и ждали. Забелели паруса, ладья показалась. Ближе, ближе, ныряет, мчится птицей и с налету в твердокаменный берег — хрясь! В щепки...

...За ней другая, третья.

— Стой! Назад! Левей! — орали во всю мочь с берега. Куда тут... Шквал разве допустит?

С треском, как скорлупа под каблуком, разбивалась ладья за ладьей, обломки их кружились в водовороте, а люди сразу исчезали.

— Назад! Назад! — до хрипоты кричали обезумевшие, и он, мальчонка, скуля и плача, тоже надрывался в крике:

— Назад! Тятенька, назад! Миленький, назад!

Помнит дед, как в ужасе все метались по берегу, махали платками, сбегали вниз, чтобы чем-нибудь помочь, и море сметало их разъяренным валом. Тридцать лодок разбилось, больше сотни народу убавилось, богатырь к богатырю, кряжи.

Все это ясно промелькнуло теперь в мыслях деда, и он как-то сразу пал духом и ослаб.

— Мавра... Подсоби-ка...

Еле передвигая трясущиеся ноги и громко сопя, дед побрел домой. Добравшись до избы, он еще раз посмотрел на море, что-то прошамкал посиневшими губами и безнадежно махнул рукой.

IV

Прохор ахнул и, очутившись под ладьей, оцепенел. Враз остановилось дыханье, и ему представилось: кто-то сгреб его за ноги и с силой тянет на морское дно.

— Смерть... — с ужасом выдохнул Прохор и, чтоб вынырнуть на поверхность, хотел ударить руками об воду. Но руки до боли крепко впились в канат, и Прохор наконец понял, что прилип ко дну ладьи.

«Михайло», — ярко, ослепительно всплыл перед ним образ сына, и сердце Прохора облилось кровью.

Дно ладьи, подобно своду, опрокинулось над Прохором, а оставшийся в ладье воздух упруго давил на воду и препятствовал ей залить заключенного в склепе рыбака. Под ладьей было как в пещере.

— Михайло! — твердо крикнул Прохор. Но голос его и не его, чужой, глухой и слабый, едва прозвучав, упал в бурлящую под Прохором воду.

— Михайло... Эй! — напрягая всю силу легких, вновь крикнул он и прислушался.

— Смыло, — уронил Прохор; он освободил левую руку и вытащил из-за голенища нож с большим костяным чернем. Взяв нож в зубы, он опять поймал левой рукой шкот, а правой схватился за черенок ножа.

Тук-тук, — постучал он чернем в дно. Ответа не было.

«Конец...» — подумал Прохор. И еще раз постучал, сильнее.

Он открыл рот и замер в ожидании. Вдруг чуть слышно зазвучало дно ладьи. Прохор передернул плечами, крякнул. Стук вновь раздался, ясный и определенный. Прохор прошептал: «Жив... За перегородкой», — и, освободив руку, перекрестился.

Ладью подбрасывало и опускало вниз, вода лизала спину Прохора, разливалась холодом по всему его телу. Не узнать было, куда несет ладью: к берегу или в море. Из-под ладьи не слышно бури, лишь всхлипывала, бурлила внизу вода. Руки Прохора стали уставать. Он начал шарить во тьме. Ага, снасть... Пыхтя и отдуваясь, он опоясался вокруг талии, а оставшийся конец прикрепил к ребру ладьи. Повиснув на снасти, он убедился, что может дать свободу рукам. Хорошо было бы точно так же подхватить ноги, шею. Но Прохор утомился в возне. Его стало клонить ко сну. Он закрыл глаза, зевнул. В голове шевельнулись думы, и потекли, и взмыли перед Прохором одна мрачней другой. Он вспомнил, что в кармане есть бутылка спирту.

— Вот она, — проговорил Прохор и жадно отхлебнул.

— Опростоволосились мы... Эх, черт! — Прохор сжал кулаки и, раздувая ноздри, скрипнул зубами. — Погоди! Живьем не сглонешь...

Прохор в теплом пиджаке, но веревка давила поясницу, спина рыбака стала затекать. Он попробовал подтянуться ближе к корме, где было сиденье из двух толстых, прикрепленных к бортам, плах. После долгой, упорной работы ему удалось наконец подлезть под плаху, и он, лежа на ней как на полке, прижался к борту и дал уставшему телу отдых.

— Добро... А ну-ка!

Он проглотил еще добрую порцию спирта и долго лежал с закрытыми глазами, чуя, как загулял в крови огонь. Раздался стук. Прохор улыбнулся, крикнул:

— Мишка!.. Миш... Дожидай!.. Не робей.

Хорошо бы под голову подушку и укрыться шубой. Почему он залез сюда? Ха-ха... Ну что ж... Вот проспится, пойдет домой. Дождь, должно быть, на улице... Кто это стонет? Ну пусть стонет... Пусть скрипят чайки... А вот тюлени... тюленей жаль. Плачут... Когда шло на них с берега стадо тюленей, Прохор лежал за камнем с чекушей в руках. Прохор помнит, как подымалась его рука и раз за разом валила тюленей метким ударом в лоб. Целая гора была их уложена. Прохор стоял по колено в крови, рука его онемела от беспрерывной работы, а тюлени теплой барахтающейся массой ползли с острова к морю, подставляя убийцам лбы. Сосед Прохора сказал: «Плачут, твари». Прохор взглянул пристально в выпуклые черные глаза раненого, перевернувшегося вверх брюхом тюленя и увидал, как действительно из тюленьих глаз катятся слезы.

«Плачут, твари», — припоминая это, подумал Прохор, и ему тоже захотелось плакать.

— Уйди, — сказал Прохор и слабо отмахнулся рукой.

К нему под ладью залез тюлень, за ним другой, третий, много их, задавят.

— Уйди... Я зарок дал... Чекушить — баста...

Раздался стук. Прохор лениво открыл глаза. Стук продолжался. Прохор ударил в дно и гаркнул:

— Михайло! Миш! Ха-ха...

Потом крепко уснул.

Когда проснулся, не мог сообразить: день или ночь — темно.

По томившему его чувству голода Прохор понял, что очень долго спал. Может быть, сутки.

Михайло!

Прохор стукнул в борт. Михайло ответил. Успокоился Прохор. Быстро перегнувшись и придерживаясь за канат, чтоб не сорваться с полки, он дотянулся до двери под кормой. Кажется, там была коврига. Прохор сглотнул слюну, ощутив запах

свежего ржаного хлеба, но, вспомнив, что припасы остались в корзине у Мишки, выругался.

Хлебный запах продолжал его раздражать. Прохор быстро распахнул дверцу и вновь настойчиво стал шарить в шкапчике под кормой. Кроме больших камней, взятых как грузило для сети, там ничего не было. Прохор сплюнул и злобно примолк.

— Спирт... Спирт — тот же хлеб.

Прохор еще раз жадно отхлебнул из бутылки и, поболтав ею над ухом, убедился, что спирту на донышке. Плохо... Пусть будет плохо, а он допьет.

...Текли часы, долгие, томительные.

Уж все, кажется, было передумано, вся жизнь ощупана, проверена. Оно бы... пожалуй... Нет, надо еще пожить годков десяток. Силы в теле много. Разве грохнуть сапогом в дно, разве упереться руками да приналечь? Нет, Прохор знает, что тогда снизу сейчас же подопрет вода, и все кончено. Увидят ли? Спасут ли? Трудно дышать... маленькую-маленькую дырку провернуть бы да соломинку через нее наружу высунуть... Припасть к этой соломинке, да все бы и дышать, дышать. Сладко быть на воле... Каспий, батюшка! Эх, ты... Ветер мористый, вольный... ветерок, прощай, брат... Все прощайте... ау...

Пустая бутылка давно спущена в воду... А хорошо бы хлебнуть пресной воды... глоток... один глоток...

...Ладья смирно стояла на месте... Наверное, в небе солнце. Не к берегу ли прибило ладью? Спасут? Нет? Э, все равно... Когда нечем будет дышать, Прохор упадет в воду... С камнем надо, а то не примет. Он нащупал в корме два больших камня.

«Хватит», — подумал он.

И, взяв камень поменьше, постучал в дно. Ответа не было. Подождал и постучал сильнее. Не откликается Михайло: спит.

Прохор часто и отчаянно стучит камнем, с замиранием сердца ждет ответного стука, но Михайло спит. Что так долго спит? Эй, Михайло!

Черное время уныло шло.

«...Тятенька, назад. Миленький, назад... Пить!.. Тятя!.. Матушка... Пить!..»

В глазах огненные круги. В ушах гудело, ныла спина, спать хотелось, но очень трудно было дышать. Тьма.

— Соломинку бы... Оконце бы... — шевельнул пересохшими губами Прохор. Камень выскользнул из руки и — в воду.

«Вот оно... подходит», — сказало сердце. Прохор охнул, открыл глаза и захрипел.

V

Два дня трепали ладью волны, да сутки стерег ее зеркальный морской простор. Буря кончилась, и, найдя в берегах свой предел, море застеклело.

Капитан парохода «Самсон», медведеобразный, с бритым, корявым лицом, Лука Архипыч, нащупав биноклем белое брюхо ладьи, повернулся к штурвальному:

— Клади руль налево!

— Есть! А что?

— Ладья... Опружило... Стой, круто! Вот так.

Лука Архипыч не боится, что запоздает с пароходом в порт. Лука Архипыч на своем веку уж несколько человек так спас. Ему душа человеческая дороже хозяйского добра. Это для бога хорошо, да и не плохо, если к двум медалям на его груди за спасенье утопающих прибавят третью. Что же, не грех и награду получить. Если бы пароход «Самсон» был большой, поднять ладью — плевое дело: подцепил краном и тяни. Но на «Самсоне» крана нет. И чтобы спасти человека, попотеть придется вдоволь.

Капитан быстро подошел к боковому машинному рупору и отдал команду:

— Прибавь до полного!.. Самый полный!

А пробегавшему чернобородому боцману крикнул:

— Приготовь к спуску шлюпку!.. Живо!..

— Есть!

Рассекая гладь моря, пароход быстро подходил к ладье.

— Свисток!

Пароход разжал губы и взревел на весь белый свет.

— Стоп! Шлюпку! Людей!

VI

— Шевель-не-шевель... — едва передохнул очнувшийся Прохор. — Ма-а-тушка...

И чует — навалился на него всей своей тушей тюлень, зажал ему горячим языком обе ноздри — не вздохнуть, а сам заплакал, застонал по-человечьи. Завязалась борьба. Прохор, стараясь вцепиться в клокочущее тюленье горло, тряс головой, ляскал зубами и жадно открывал рот, как выброшенная на песок рыба.

— Нож... — кто-то шепнул в уши. Он судорожно схватился за рукоять ножа.

Но тут раздались над ним сильные удары в дно. Прохор вздрогнул, стряхнул тяжелый сон, пришел в себя. Вместо тюленей — тьма. Удар за ударом резко раздавались от самых его ног до головы. Прохор заохал. Словно чужую, поднял он руку и слабо постучал в дно.

— Есть! — крикнул матрос, — работай!..

— Стучит, что ли? — нетерпеливо спросил капитан.

— Стучит... Живой... — весело ответил матрос, припав к ладье ухом.

— Эй, ребята! — позвал капитан. Он сидел в шлюпке, приткнувшейся носом к ладье. — Кто из вас погорластей? А то погоди, ужо я сам.

Он осторожно перебрался на брюхо ладьи, встал на четвереньки и что есть силы закричал, как топором отрубая каждое слово:

— Эй, рыбак! Слышишь?!

Прохор ничего не мог разобрать, кроме неясного а-а-а. Но он еще раз постучал, хватая глотками воздух. Надежда на спасенье проснулась в нем, вся кровь бросилась в голову, сердце ожило.

А капитан надрывался:

— Мы на аршин дно выдолбим!.. Ты!.. сразу!.. туда голову суй!.. Сразу!.. В дыру!.. Слышишь? Эй, рыбак!!

И, обращаясь к матросам, приказал:

— Ну, ребята, качай. Вот тут. Должно, он так лежит, повдоль.

Чтоб прорубить дыру, требовалось большое искусство, осторожность.

Капитан, вновь забравшись в шлюпку и задымив сигарой, учил матросов, старавшихся над прорубкой лаза.

— Аккуратней, ребята!.. Не прошиби, спаси бог, наскрозь: а то воздух из-под лодки в дырочку выпустишь, вода хлынет снизу — и аминь.

Два матроса, прикусив кончики языков, вырубали на брюхе ладьи бороздку, смыкая круг.

— Когда надрубите, стой... Потом взревем ему, чтобы приготовился... Легче, легче!.. Прошибешь, качай тя черти!.. Ну-ка покричи — живой ли?

Капитан бросил окурок и тотчас же закурил новую сигару. Глаза его горели, ноздри раздувались, на лбу налилась жила.

Солнце склонялось к западу, утопая в алеющей дымке. На востоке едва виднелся берег, и на зеркальной глади моря можно было разглядеть небольшие темные точки: то плыли из станицы рыбаки.

— Помню я, лет с двадцать тому назад спасали, — жевал сигару капитан. — Да, знамо, дураки, молодые, а дело небывалое. Перестукнулись вот так же с человеком. Ну, один матрос: «Надо сразу, говорит, а то задохнется», — да как хватит топором, а из дыры-то фонтаном кровь. Ведь кончили, гляди, человека, по самому черепу угодили. Ух ты, батюшка, что и было тогда! Матрос в море бросился, насилу выловили... Я в Новой Афон говеть ездил.

— Готово, Лука Архипыч! Теперь только кокнуть, — и матрос занес над насечкой ногу.

— Стой, качай тя черти! Молись богу!

Лука Архипыч бросил сигару и торопливо перебрался на ладью.

Все сняли шапки и усердно закрестились на восток.

— Ну, ребята, дружней у меня! Помни: человека спасаем.

— Есть!

Он встал опять на четвереньки и резко крикнул:

— Эй, рыбак! Приготовсь!!

Прохор задыхался. Приходили последние его минуты.

Капитан быстрым движением выхватил у матроса молоток, ударил несколько раз в лодку и припал ко дну ухом.

— Затих, — мрачно сказал он. — Ну, что будет. Действуй, молодцы! Васька, Мишка! Как только проломлю, враз руки в дыру суй, хватай, тащи. Эй, там, нашатырный спирт есть? Коньяк есть? Ну, с богом!

Поднявшись во весь рост, он топнул по надсеченному кругу ногой. Дно хрустнуло, вмиг образовав в аршин дыру.

— Имай!

Испорченный густой воздух, вытолкнутый шумно поднявшейся снизу водой, шибанул в носы припавших к дыре людей.

— Тащи!

— Легче, легче!..

— Подводи! Да, дьявол, к дыре-то подводи!.. Тьфу!..

— О так... О так... Делай шире дыру... Ломай!..

Корма ладьи осела. Люди сидели на ней по пояс в воде.

— Ну, будет. Тащи!.. Ну-ка?.. Пожилой... Эй, шлюпку! Ближе, аккуратней! Клади!

Прохора положили лицом вниз, и шлюпка на десяти веслах понеслась к пароходу.

VII

Больше часу возились над Прохором. С Луки Архипыча градом катился пот.

— Не отступлюсь, — хрипел он, совершенно лишившись голоса.

Наконец Прохор вздохнул. И вместе с его вздохом радостно вздохнул весь пароход. Молодые матросы стыдливо пофыркивали носами: человека спасли, не шутка. У самого молоденького — кока — градом брызнули слезы. Лука Архипыч набожно перекрестился и, казалось, выдохнул из себя весь воздух: «У-ух!» — словно освободившись из-под рухнувшей на него скалы.

А в это время подплывали к пароходу рыбачьи лодки.

Прохор открыл глаза, недоуменно поводил ими по кучке людей и вновь защурился.

— Эй, человече! Не бойся, жив. На, выпей вина.

Лука Архипыч влил ему полстакана коньяку.

Прохор, проглотив вино, чуть слышно спросил:

— Михайло... Сын... Где он?

Все переглянулись.

Лука Архипыч, весь вспыхнув и морща лоб, недоуменно переступал с ноги на ногу.

Прохор сидел, опершись руками в пол. Обезумевшие глаза его прыгали с предмета на предмет, взмокшие волосы прилипли к вискам.

— Братцы... Михайло... там... — твердил он, весь дрожа, и пополз на четвереньках к борту.

Среди наступившего смятенья раздались за бортом шумные голоса. Рыбаки, пристав к пароходу, карабкались вверх по лестнице и, тяжело стуча в палубу бахилками, окружили Прохора.

ЗОЛОТАЯ БЕДА

I

Еще октябрь не изошел, а Якутский край весь забросало снегом. Вечно мерзлая, лишь на аршин оттаивающая летом почва вновь превратилась в камень. Лену сковал мороз, и по ее белой глади стегнула вихлястая дорога. Из улуса в улус, с берега в берег пролегли тропинки, и вдоль их выросли зеленые вехи-елочки.

Вчера солнце встало «в рукавицах», а к ночи ударил мороз с дымом.

Но якут Николка мороза не боится. Что ему мороз? Хе-хе!.. В мороз человек крепче делается, ноги прытче, дорога короче. Хо! Зимой ноги сами мчат. Им только глазом моргни — куда, — они уже свое возьмут. Прытко-прытко, где шагом, где скоком, только елочки мелькают, летит, бывало, Николка, загребая снег кривыми своими, как дуга, ногами. Зимой знай нос береги: натри медвежьим салом, да шибко-то не выставляй, не то мороз, словно кошка когтем, шибанет по самому кончику, нос сразу белым станет, а придешь в тепло — клюква на носу выскочит.

Николка сидит возле своего чума на здоровом пнище, щурит раскосые глаза на красное, в рукави-

цах, солнце и сладко позевывает. А в голове его бродят думы о том, как бы хорошо вяленого оленьего языка отведать, да нельмовых пупков жирнущих всласть поесть, да взять бы жирный-жирный кус говядины, да лепешек ячных, чтобы в масле жмыхали. Обожраться бы донельзя, а сверху все прикрыть крепким кумысом!

— Якши, якши, — сглонул Николка слюну и зажмурился. В носу у него защекотало приятным сытым духом. Он сладко помолсал безусыми губами, прищелкнул языком и сплюнул.

Эх, не надо бы Николке глаза открывать! Открыл — все пропало, сытый дух кончился, а кривые тонкие ноги вдруг выступили из-под вытертой оленьей парки. Взглянул Николка на свою нищенскую одежду — вздохнул; взглянул на свою дырявую юрту — вздохнул поглубже. Перевел взгляд на дорогу: прытко-прытко, где шагом, где скоком, только елочки мелькают, движется его отец, старый якут Василий, такой старый, что уж... а все еще в себе крепкий дух держит.

Николка сердито сорвался с места и скрылся в чаще.

Ведь Николке сорок два года, говорят, стукнуло. А кто он, — ну, кто он такой?.. Человек он или так себе, вроде дикого оленя? Он так беден, так беден, что ни одна девка за него не пойдет. Зато у отца... ху-ху... деньжищ, что желтых листьев осенью! А оленей, а коров! Только крепок, старая лиса, ужимист: продаст сотни две голов, навострит лыжи в лес, в тайгу; отыщет потайное место, к куче золота еще пригоршни прибавит.

А дома чем батька его кормит? Пошто такое у Николки ребра вылезли, как у зачумелой собаки? Пошто Николкину мать безо времени на погосте закопали? Пошто Николкина сестра в чужих людях горе мыкает?

— Старая лиса!.. Шайтан!.. — шипит притаившийся Николка.

Ему вдруг необычайно захотелось есть. Надо пойти в юрту — наверное, отец пьет там вино.

А когда он пьет, о-о!.. тогда, может быть, баранью ногу даст...

— Ты всегда один пьешь. Ты должен меня угостить: я твои стада пасу... И я твой сын.

— Псс!..— презрительно просвистал сквозь зубы старик и проглотил добрую чепурушку водки.— Когда Николка станет умным, он будет богатый... Когда Николка будет богатый, он сможет пить сколько влезет...

Николка опустился на земляной пол, между пылающим камельком и дверью, ведущей в огромный хлев. Дверь настежь. Из хлева несло навозом и парным молоком.

— Николка тогда будет богатым,— чуть дрожа, сказал он,— когда укараулит, где его отец прячет золото.

— Дурак,— сердито сказал старик и, задрав вверх скуластое лицо, забулькал из бутылки.— Самый дурак!

— Может быть, и дурак... Но не дурашней сына моего дедушки,— съязвил Николка, косясь на вытянутую журавлиную шею отца, по которой прыгал синий, в пупырышках, кадык.

Николка, глотая слюни, хотел еще кольнуть отца каким-нибудь обидным словом и уж рот раскрыл, да в это время корова просунула из хлева голову и лизнула Николку в самый нос.

— Ксы! — крикнул он и утерся рукавом.

Отец закатился дробным смехом и, протирая кулаками глаза, засюсюкал:

— Очень хорошо умыла тебя корова!..

— Хе-хе!..— зло ответил Николка.— Ты хорошо выпил, а я хорошо закусил коровьим языком... Пссс!

Старик опять захохотал, потрепал по плечу усевшегося рядом Николку и достал из сундука четверть.

Николка жадно проглотил поданную ему чепурушку водки и почамкал губами.

— Самое слядко,— сказал он по-русски. Отец угостил его еще.

Николка скоро охмелел. Он то хохотал и затяги-

вал песню, то жаловался на свою судьбу и горько плакал:

— Кто я? Корова ли, олень ли? Пастух я твой!..

Старик протяжно рыгнул, покрутил пальцем возле своего лба и сказал:

— Вот здесь у тебя заслабло... А то я тебе сказал бы... Хе-хе-хе...

— Чего толковать-то!.. Ты богач, Василь Иваныч... Я бедняк, Николка. Что зря болтать... Вот скажи, где твое золото.

— Стану подыхать — скажу.

— Когда ты подохнешь?.. Не скоро еще ты подохнешь... Надо правду говорить... Чего толковать-то!.. Кабы не съел твоей души шайтан, тогда бы...

— Ну? — вплотную придвинулся к нему старик и хрипло задышал.

— Ты золото один жрешь... Смотри, лопнешь!.. Надо правду толковать... Околеешь — неужто с собой возьмешь?

— Не возьму... и тебе не дам!

— Тьфу! — плюнул Николка.

— Тьфу! — плюнул старик.

Потом, подобрав свои жирные губы и досадливо сморщившись, старик сказал:

— Хорошо, когда золото есть. Лучше, когда нету... Брось!.. Не проси, не надо...

— Пошто толкуешь!.. Худо толкуешь!.. Надо!.. — крикнул Николка и ударил кулаком по туесу с маслом.

— Эх, Николка!.. Большой ты дурак, Николка... Пропадешь с ним, Николка... с золотом...

— Я и так пропал... Чего там? Ты погляди, с тебя сало топится. Я худой, как вяленый коровий хвост... У тебя шуба, как дом, а у меня что?.. А?.. — Николка скривил рот и всхлипнул.

— Кабы у тебя был тоньше лоб, мои слова влетали бы в твою голову, как в улей пчелы...

Водка мало-помалу убывала. Отец и сын говорили теперь оба враз, и их пьяный говор переходил порой в пронзительный бестолковый крик. Они то крестили большим крестом вокруг себя, чтоб про-

гнать сновавших тут шайтанов, и свирепо плевали на них, попадая друг другу в лицо, то вдруг вскакивали, схватывались за руки и, пристукивая подгибавшимися ногами, топтались у костра и гнусаво выкрикивали:

— Ехор-ехор-ехор-ехор!..

Но, утомленные, вновь опускались на землю и тяжело пыхтели, отирая пот.

Уж огонь в камельке потухать стал — якуты пьют. Угли чахнуть начали — пьют. Поседел костер от пепла, ветер чум выстудил — кончили якуты пить. Как сидели, сложив ноги калачиком, так и повалились на бок, и, соткнувшись головами, захрапели.

Долго спали отец с сыном. Коровий рев и овечье блеяние не могли прервать их сон. Не слыхал Николка, пастух отцовских стад, как баран бодал его наскоком в спину, не слыхал, как пролезшие в чум коровы одурело мычали над ним, прося корму и пойла. Разбудил Николку стон отца. Страшно, дико стонал отец.

Николка вскочил, отпихнул прочь пустую четверть, крикнул:

— Ты!.. Старик!..

— Вина!.. Скорей беги... Смерть!

Николка подхватил два покатившихся золотых, выскочил на улицу и заработал ногами к селу.

Когда Николка прибежал назад — отец был мертв.

У Николки поднялись дыбом волосы, зарябило в глазах, он опрометью кинулся из чума.

Прытко-прытко — только елки мелькают, побежал опять в село, со страхом озираясь — не гонится ли вслед ему мертвец.

II

Вот уж два года прошло, как схоронил Николка отца.

Живет он на краю села, в большом пятистенном, под железом, доме. В одной половине — торговая

лавка, в другой — он с сестрой. Торговлю ведет сестра, а Николка все время ездит по улусам, высматривает себе хорошую бабу и часто запивает горькую.

Жиру в нем прибавилось, походка изменилась, серое лицо посвежело и стало лосниться.

Хорошая пошла у Николки жизнь. Тряхни кошелем — что захочешь и на тебе!.. Тряхни кошелем, звякни золотом — любая девка тут как тут.

Николка во вкус вошел. Шуба у него лисья, доха оленья. Пальцы в золотых перстнях, часы с музыкой.

Счастливый якут Николка! Видно, когда он родился — медведь в берлоге рявкнул. Да как же не счастливый?

Когда кончится у Николки серебро да золото, пойдет он потайным поздним вечером сам-друг с лопатой, разыщет тайную, заповедную сосну кудластую, колупнет раз-другой — ему и будет!

Впрочем, не всякий-то раз можно отмыкать заповедный отцовский клад; как бурундук, как белка запасает себе на зиму в дупло орехов, так Николка запасался деньгами с осени, когда густой листопад надежно покрывает землю. А то... О-о-о!.. Людской глаз зорок. Только оплошай, только покажи след — загребущая человечья лапа живо опорожнит!

Жить бы да жить Николке. Ан — уставать стал, что-то в сердце завелось: червяк не червяк, шайтан его знает что — так, пакость какая-то, скверность! Скучать Николка начал.

— Швырвяк точает... нутро сосет... — жаловался он попу Степке, отцу Степану, священнику. — Скушна!

— А ты бы, Никола Васильич, господу поусердствовал... Вот домик бы причту новый схлопотал... Да и так... деньжонками... Народ мы многосемейный... Отчего ж это скука на тебя напала? Не перед добром это... Жертвуй!

Жертвовал Николка и деньжонками. Много жертвовал, а не помогло.

Как сказал священник, так и вышло: заглянула в Николкину жизнь беда.

Родили от Николки, одна за другой, две русских женщины: девка да вдова. Может быть, и не от него, как знать? Но поп Степка, отец Степан, священник, сказал, что от него:

— Жертвуй, Никола Васильич... От тебя!.. Несомненно от тебя... По всей видимости от тебя!

Пожертвовал Николка, много пожертвовал. Вдовица-то ничего себе, живет, ребенка пестует, муку, сахар и все прочее чередом получает... А вот с девкой горе. Задушила она своего ребеночка, а ночью, в потайную полночь, зарыла его тайно в хлеву, под навозом. Зашушукалось село, всполошилось, начальство дознаваться начало.

Это ничего. Золотом всякий грех прикрыть можно. Прикрыл Николка свой грех золотом.

Грех прикрыл, а боль по сердцу разлилась шире. Заскучала пуще Николкина душа, пуще Николка пить стал.

Сестра плачет, ничего с братом поделать не может: и свечки Николе-угоднику ставит, и святой воды брату в вино подливает, и шаманов кличет, а толку нет.

Главный шаман долго шаманил, долго в бубен бил, двух оленей заколол, оленьей горячей кровью помазал пьяного Николку и сказал:

— Тебя шайтан мучает...

— Я знаю, *что* меня мучает, — ответил Николка. Рассудительно так ответил, ничего что выпивши.

Остепенился было, да опять...

До того допился, что виденица началась.

Едет он как-то верхом на олене в улус, чтобы за поглянувшуюся девку калым заплатить — выкуп. Трезвый едет, дня три не пил, в полном разуме. Вдруг слышит сверху:

— Куда ты, дурной, едешь?

Вскинул голову: сидит над ним на лесине ворон, смотрит на него бисерным глазом, говорит:

— Гляди-ка, дурной, на ком едешь-то!

Взглянул Николка, да с седла кубарем: медведь под ним!

— Шайтан! — гаркнул Николка и без памяти — домой.

Деньги сестре ручьем текут, торгует шибко. Надо бы радоваться, а где тут... Сохнуть стала сестра.

А якут Николка все-таки отыскал себе жену: самую молоденькую тунгуску, красавицу Дюльгирик высватал. Большой калым за девку дал; когда тащил — золото карман оттянуло. Отец богатству вот как рад — нищий. Но девка... о-о-о!.. Дюльгирик цену себе знает. За старого Николку, у которого ноги как дуга, а под носом всегда висит капелька, не выйдет. Она лучше грудь свою ножом распорет и отдаст сердце любимому.

Но золото — сила. Привез Николка свою Дюльгирик богатым поездом; двести оленей в караване было. Украсил ее комнату дорогими мехами.

Плакала Дюльгирик.

Подарил ей соболью в серебре шапку, чеканный браслет золотой, шубу черно-бурых лисиц. Дюльгирик плакала и все смотрела на восток, в ту сторону милую, где остался близкий ее сердцу молодой тунгус.

— Что же ты плачешь, невеселая?

Дюльгирик молчит, все молчит, не хочет обласкать Николку журчащей своей речью.

Однажды он, пьяный, ввалился в дом и горько спросил:

— Плачешь?

Дюльгирик плакала.

Николка вынул из кармана кису и вытряс в подол жены много звонкого золота.

— На, Дюльгирик!.. Вот как я люблю тебя, Дюльгирик.

Дюльгирик, не подымая глаз, чуть улыбнулась и, как угас закат, пошла за водой, накинула на лебединую свою шею веревку из конского волоса и повесилась.

Николка скрылся в лес и пропадал там целую неделю. Потом пришел, избил сестру до полусмерти и шатался по селу весь день словно дикий; все от него прятались.

Пока пропадал в тайге, опять беда стряслась. Не так чтобы большая, а все ж... Взломал какой-то лиходей у Николки амбар и утащил много всякого добра. Очень чисто обделал: не стукнул, не брякнул, злых собак не взбудоражил, — знать, человек знакомый.

Мало-помалу дознался Николка, кто таков. Оказалось — сельский староста, Гришка Ложкин.

— Это моя мука!.. Это моя пушнина!.. Видишь тавро мое, мета, — сказал Николка, заглянув при свидетелях в амбар старосты.

Пожаловался на него Николка, в суд бумагу подал, — бумагу ему один политик написал, хорошо написал, складно.

— Я тебя пристукну!.. Ты что, тварь? — пригрозил ему Гришка Ложкин. — Вот донесу на тебя, что мне взятку дал... За что ты мне двести целковых дал?.. А?.. Подучил девку ребенка кончить, да и... А отчего, спрашивается, твоя баба задавилась? А?

И послал на него бумагу встречно.

Как ни старался Николка подкупить суд деньгами — не приняли судьи, засадили Николку в городской острог. Полгода просидел за решеткой, много кой-чего передумал и домой вернулся к рождеству.

Пока сидел в тюрьме, сестра померла, дом заколотили, лавку разграбили. Где управы искать? Дома не жалко, товара не жалко, сестру очень жалко сделалось. А тут еще Дюльгирик всплыла в памяти. Тяжко. Заплакал Николай.

Когда ударил колокол, он пошел к вечерне. Еще никого в церкви не было. Сторож оправлял свечи. Поставил якут перед образами свечку, бухнул в землю, зашептал:

— Никола-бог, батюшка... Давай мне настоящую башку... Давай мне хорошую башку... Дурак я!.. самый дурак...

Никола-бог смотрел с образа на якута грозно.

— Не серчай, Никола-бог... Я тебе тыщу оленей пригоню... Только ума дай!

В церкви Николка не остался: какая-то сила влекла его в тайгу. Он купил еще две рублевых

свечки, и когда отходил от образа, Никола-бог смотрел на него милостиво, добродушно.

— Беда!.. Прямо беда!.. — бормотал Николка, шагая вдоль улицы, и крутил головой.

— Чисто беда!

Он миновал свой заколоченный дом, вышел за село, сел на запорошенную снегом лесину, осмотрелся. Возле него шумела тайга, а впереди лежала в сумраке бесприютная речная ширь. Только там, где село, приветливо помигивали далекие огоньки. Николка взглянул на них, и ему сделалось скучно, одиноко. Он стал перебирать в мыслях всю свою жизнь и ничего не нашел в ней, кроме беды и горя. Ему вдруг захотелось удариться с разбегу об сосну головой или схватить веревку, да... как тогда Дюльгирик...

«Хорошо, когда золото есть. Лучше — когда нету», — припомнил он речь отца и, защурившись, засопел.

Он долго задумчиво сидел, потом взглянул вверх, умилился: густо на небе золотых звезд-червонцев; это праведный Тойон для людей старается, золотую беду с земли тащит да гвоздями приколачивает к небесам. Должно быть, давно работает, вон какую протянул дорогу поперек всего неба, а пустого места все еще много. Но великий праведный Тойон каждую ночь трудится. Когда перетаскает все золото, на земле не останется греха, не будет обиды ни человеку, ни зверю, ни дереву...

— Так, так... Хорошо ты надумал, бог-батюшка... — сказал одобрительно Николка и добавил: — Ты — молодец!

Вот только шайтан мешает: взлетит ввысь лешевой гагарой, долбанет носом в золотую звезду, покатится по небу червонец, да раз! — богачу в карман... Плохо!..

— Ах ты, беда! — причмокивая, досадливо шепчет якут Николка. — Не надо бы богу дремать... не надо бы!..

Он быстро встал, сбросил шапку, приставил ладони дудкой ко рту и, запрокинув голову, громко крикнул:

— А ты старайся пуще!.. Я тебе буду подсоблять... Ты знай приколачивай... Эй, Тойон!

Николка круто повернул и зашагал на огонек к селу.

— Дай, друг, лом да лопату, — постучался он к мужику-соседу.

— На что тебе?

— Пожалуйста, давай... Шибка нужно... Пожалуйста, давай!

Медленно, надсадисто пробирался Николка к заповедной кудластой сосне своей. Долго он бился у сосны над сыпучим глубоким снегом, еще дольше над промерзшей землей, и вот вытащил кожаную суму, стал разжигать костер. Отогревая руки, он зло на нее косился. Потом выхватил отточенный, с чернем из мамонтовой кости, нож и скакнул к суме с звериной яростью, будто к попавшему на овчарне волку.

— У, шайтан! — взвизгнул Николка и саданул по ременным шнурам ножом.

— Шайтан!.. Самый шайтан! — он подхватывал трясущимися пригоршнями золото и вновь ссыпал в суму. Золото, звеня, смеялось над Николкой.

— Врешь, шайтан!.. Врешь!.. — сверкая глазами и стискивая зубы, шипел Николка. — Ты шайтан, прямой шайтан!.. Ну-ка!.. Пойдем-ка... Ты — беда!

Он взял под пазуху суму и, перегнувшись, потащил к реке.

В глазах у него все задрожало, закачалось, перед ногами кто-то бросал горстями червонцы, а вслед летел дикий хохот, и брякали шаркунцы с бубенцами, словно сзади исправник на тройке мчал.

— Врешь, шайтан!.. Знаю!.. — озираясь страшными глазами, громко кричал якут, чтоб прогнать вставшую со всех сторон нечисть.

— Стой, Николка! — скомандовал он сам себе и остановился у проруби.

— Бросай, Николка!

Он приподнял грузную суму, поустойчивее укрепился и, раскачав ее, швырнул в прорубь.

Недовольная внезапно прерванным сном, вода испуганно ухнула и заплескалась. И вместе с ней всколыхнулись, задрожали, заструились змейками, отражаясь в воде, звезды.

И не вода это ухнула, не звезды заиграли в ней: черные шайтаны подняли возню у проруби, блеснули во тьме чьи-то горящие глаза, завыли, затявкали волки, свист пошел над речной пустыней. И кто-то черный шагнул к нему.

Якут подался в страхе назад, сорвал с головы шапку и, пав на снег, неистово заголосил:

— Бог Никола, заступайся!.. Эй, Никола-матушка, подсобляй!..

Вмиг все смолкло. Якут встал, глубоко вздохнул и часто-часто закрестился, читая вслух дрожащим, срывающимся голосом одному ему ведомую молитву.

Огляделся кругом: тишина и темень. Посмотрел на прорубь — вода дремала. Николка хихикнул. Сделав строгое лицо и заложив руки назад, он важно, вперевалку, подошел к проруби и с ненавистью плюнул в воду:

— Нна!!

Потом прищурился на небо, провел взором по златопыльному звездному пути и, гордо ткнув в грудь пальцем, крикнул своему богу:

— Я — тоже молодец!

На другой день был праздник. Якут Николка весело похаживал по селу. Как ни соблазняли его крестьяне по праздничному делу выпивкой — ничего не вышло.

— Шабаш!.. Кончал!.. Все кончал, — улыбаясь, говорил Николка. — Золотой беда бросал... Много-много беда с земли уехал... Борони бог. Совсем кончал!..

Ничего не поняли крестьяне. А как пришел в гости к батюшке, тот понял, стал упрекать его:

— Ты бы, Никола Васильич, бедным мог раздать... Не одобряю... Дубина ты!.. Чурбан!

— Ах, поп Степка, отец Степан-священник, — ответил якут. — Чего ты смыслишь?.. Ты, бачка, тьфу смыслишь... Ведь золото — беда, прямой беда!.. Деньги — беда, прямой беда!.. Пошто беда раздавать?

— В тюрьму тебя опять!.. Орда чертова!.. Говори, куда дел?!

— Псс!.. Ах, бачка... худой твой башка! Дурак есть...

Посвящается Вл. Бахметьеву

ПУРГА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Белая, мглистая, в тихом сне лежит тундра.

По белой глади едва ползет темная точка. Это человек. Низкое серое небо, белая бескрайная равнина да человек. Куда идет, что ищет здесь?

Один.

Одинок ли он? Нет, с ним — мечта!

В его глазах торжествующая улыбка. Он выковал в себе радость жить в этой жуткой стране смерти.

Петр Лопатин — зверолов, рыбак, Петр — на все руки. Вот уже месяц он в тундре. Поселок Край, последнее жилое место, далеко остался позади. Покосившаяся деревянная церковка, десятка два хибарок, укутанных сугробами до самых крыш, да его новая просторная изба — и весь поселок. Один, вот этими железными лапами, срубил Петр избу. Когда затаскивал наверх грузные бревна, мужики разевали рты, качали головами:

— Ну, конь...

Теперь живет в ней кузнец Филипп, его друг по ссылке.

Сильный, бодрый Петр, бывало, говаривал приунывшим товарищам:

— Эх, вы, мелюзга! Ссылка? Ну что ж, плевать!.. Человеку — везде дом. Чего боитесь? Тундры-то?

Но в ответ слышались вздохи, жалобы:

— Вам, товарищ, можно рассуждать. Вы, товарищ, из скалы высечены. Поглядите, какая у вас грудь. А ручищи!..

Перебирая в мыслях все, что осталось позади, Петр подводил итог:

— Мелюзга. Человечки.

В кармане у Петра компас, за плечами винтовка, сзади — огромный воз: на высоких копыльях нарта с припасами.

«Чудак Филя!.. — вспоминает Петр и улыбается. — «Возьми, говорит, лошадь, а то надорвешься...» Ха! Чудак человек! Да разве лошади под силу такой путь?»

Он до изнеможения шагает целый день по плотному насту, сам с собой говорит, читает вслух стихи любимых поэтов, а чаще импровизирует и поет, придумывая напевы тут же сложенных арий.

Голос у Петра — сильный бас: если крикнет в избе — дребезжат стекла, а здесь голос ограничен простором, открыт душе. И вместе с песней ему мерещится желанная картина: вот расстилается под ногами мурава, пахнет сеном, шумит кудрявый дубняк, встали в небе толпы звезд. Иногда он так увлечется, что перестает отделять явь от сказки: то не ветер воет, швыряясь снегом, — ворчит, кряхтит его старая няня, он — пятилетний карапуз, звездная же ночь с северным сиянием — голубой полог кровати, сквозь который просачивается дремотный лампадный свет.

А то накатится вдруг тоска: и грызет, и чавкает — некуда податься. Тогда Петр достает флягу и отпивает добрый глоток спирту.

Петр шел теперь прямо на север, к океану. Он хотел встретить там рыбачью артель и все разузнать о промыслах.

«Ерунда!.. Обман! Какой я, к черту, рыбак! Для брюха это... Ерунда!» — раздумывал он, глядя под ноги на скрипучий снег. Потом вдруг вскидывал голову, срывал шапку и дико орал улыбаясь:

— Здорово, богиня приполярных стран!.. Так потягаемся, говоришь? Ну, ну... Люблю я это!..

На его нарте лежат шкуры настрелянных в пути песцов, лисиц. И чем дальше он углубляется на север, тем больше видит зверья, непуганого, доверчивого.

Он, утомленный, кончает свой путь поздно вечером.

Когда ночь тихая — спит в двойном, из оленьих шкур, мешке, прямо под открытым небом, но при ветре — лучше поставить легкий, из брезента, чум.

По субботам бреется. Садится у костра и, посматривая, как в зеркало, в широкий клинок кинжала, говорит:

— Ишь оброс. Чисто цыган. И до чего глуп волос: зимой вся растительность умирает, а он прет, да и никаких. Чудно.

Побреется и вновь в клинок:

— Пригож, ей-богу пригож! Чисто Еруслан Лазаревич, — сказала бы нянька. «А росту в тебе — без трех вершков сажень. А лицом упрям, чист. А глазыньки у тя навыкате, черные, орлиные. А брови у тя — соболиные. А годков-то те...»

Он встряхивает плечами:

— Сила! Ух, и сила ж...

Ему иной раз хочется пройтись колесом вокруг костра или побарахтаться с парочкой медведей.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Чем ближе к океану, тем короче день: солнце в розоватом тумане едва выползало из-за горизонта, и над тундрой дремали сумерки.

Петр знал, что это — начало длительной полярной ночи. Он чувствовал, что его душа начинает тосковать, постепенно во все тело прокрадывается лень, голову одолевают мрачные мысли. Но он не дает померкнуть духу:

«Посмотрим, кто — кого...»

Стояли морозы. Но вот подул с севера ветер, поползли от океана лохмы туч, мороз сломился, хлопьями стал падать снег.

Петр начал готовиться к пурге, страшному бичу тундры. Однако опасения не оправдались: снег к утру кончился, туча проплыла на юг, и перед его глазами на прояснившемся горизонте замутнели, как призраки, едва намечавшиеся цепи поседевших гор.

— Вот оно что: день-другой и... — бодрым голосом сказал Петр и пошагал к горам.

Сугробы задерживали путь. Как лось, напрягал он сталь мускулов и лишь на десятые сутки, к вечеру, очутился между скал.

Хорошо развитый слух его уловил странный, непонятный шум, словно где-то вдали плескалось море, шуршали льды.

Ночь протекала в томительной тревоге. Но Петр все-таки сказал себе:

«Я победил пространство».

День встал серый, как предвечерний час.

Сквозь ущелье Петр вышел на берег. Пред ним лежали безбрежные ледяные поля, засыпанные снегом. Кой-где бурели полыньи, над ними плоским облаком плавали туманы. Местами виднелись ледяные бугры. Небо серое, низкое.

Дотемна, до крайней усталости Петр шел без отдыха, когда же остановился на ночлег, небо над ним заколыхалось. Петр привык к «сполохам», — как называли здесь северное сиянье. Сгустившаяся тьма стала озаряться трепетным голубоватым светом, как от длительной далекой зарницы. Петр зорко всматривался в кайму берега, который необходимо ему завтра осмотреть и во что бы то ни стало отыскать людей: запасы пищи требовали пополнения, надо наловить рыбы — обратный путь далек.

А главное...

«Люблю все-таки людишек! Ей-богу, люблю... Хоть бы какого обормота отыскать да парой слов перекинуться... Найду! Не может быть...»

Однако двое суток он тщетно искал какой-нибудь

признак человеческой жизни. А сколько было обманных радостных минут. Нашел! Вот чернеет в белом берегу изба, курится дым.

— У, проклятая!..

Это черный обломок скалы торчит из сугроба, снежный вьюнок, вихрясь, шалит, как дым.

Злоба рвалась бомбой, растекалась унынием. Но бодрость брала верх:

— А все-таки найду!

На третьи сутки утром, когда стало рассветать, Петр сидел, согнувшись, у костра и ворошил в котелке упревшую кашу. Его как будто позвали. Он быстро обернулся. Тихо, никого нет. Он приподнял голову и внимательно водил взглядом по карнизу скалистого берега. Ага! закопченный дымом снег. Да, несомненно, жилье. Бросил ложку, побежал. Хорошо протоpенная тропинка — звериный след. С камня на камень она вползала вверх, к жилью, и на ровной площадке заворачивала за серый выступ скалы. Очевидно, жилище без людей, заброшенное рыбачье зимовье. Сердце Петра испугалось.

В зимовье, за дверью, — отрывистое тявканье, звериный визг и грызня.

— Песцы.

Петр кинулся к вросшей в берег избе, рванул дверь и ввалился в сенцы. Грызня смолкла. Полумгла сеней заклубилась серым клубком, съежилась, припала к полу. Петр кровожадно смотрел в испуганно-хитрые, следившие за ним глаза зверей.

— У-у, черрти...

Приседая на задние лапы, попятились, встопорщились, глаза блеснули желтым.

— Человека жрут! — крикнул Петр, сгреб двух песцов, грохнул об стену.

С урчащим шумом вся свора стегнула вон.

— Так и есть... Человек...— неприятно дрогнул Петр и обнажил голову.

На полу, окруженный клочьями изорванной одежды, лежал скелет. Безглазый череп с присохшими волосами откатился прочь, хрящи ребер обглоданы.

В углу — открытый мешок муки, и возле мешка — другой мертвец. Этот лежал на правом боку, скорчившись, с зажатым в белой руке самодельным, из чурки, подсвечником. Человек, очевидно, умер недавно: звери успели обглодать лишь его лицо и вырвать в свалке бок ватного пиджака. Опрокинутое с мукой блюдо. Мучная дорожка от мешка к двери в избу, и кругом рассыпанная мука.

Петр весь нервно встряхнулся и открыл дверь в жилье. Оттуда густо пахнул на него нестерпимый смрад. Петр отшатнулся.

— Кто?.. Смерть ли, добрый ли... чело...век? — колыхнулся хриплый, булькающий шепот.

Ослепленный белым снегом, Петр ничего не мог различить в темной избе. Он чиркнул спичку и приник к заскрипевшей кровати. На ней — двое рядом. Ноги женщины лежали на подушке, возле головы мужчины.

— Не бойтесь... Я вам помогу.

— Ба... тю... ба... ба...

Петр нагнулся, стараясь разглядеть их: страшные, с бурыми оскаленными лицами, глаза закрыты. У Петра кружилась голова. Из правой руки его капала кровь. Он промыл спиртом рану от зубов песца и стал разжигать печь. Сухие дрова ярко вспыхнули, загудел огонь, воздух начал очищаться.

«Должно быть, цинга, — подумал Петр, соображая, как поднять больных на ноги. Он был несведущ в медицине, но знал, что лук и спирт делают чудеса. — Кровь... еще горячая кровь зверей!»

В натопленной, согревшейся избе рыбаки крепко спали. Петр ночью напоил их чаем, накормил жидкой кашицей; они жадно схватились за очищенные головки лука, но не могли откусить: желтые зубы шатались, из вспухших десен сочилась сукровица. Рыбаки заплакали. Петр накрошил лук мелко. Рыбаки, громко чавкая и урча от наслажденья, жадно ели, из полузакрытых глаз катились от боли слезы.

— Где Андрей с Михайлой? — спросил рыбак.

— Не знаю, — ответил Петр.

— Должно быть, ушли, — равнодушно сказала женщина. Петр дал им по глотку спирта. Они выпили, повалились на постельник и сразу захрапели.

Было два часа ночи. Петр лежал на полу. Завтра он примется наводить порядок. Он долго не мог заснуть. В нем разгоралась энергия.

— Спасу людишек, спасу...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Через три дня умирающие очнулись, ожили, но Петр не решался утомлять их расспросами. Он ждал, что рыбаки разговорятся сами.

Действительно, когда подал им горячей похлебки, рыбак спросил:

— А ты откуль, кормилец?

Петр сказал. Он с удивлением смотрел на их побуревшие, с печатью тления, лица, на запавшие мертвые глаза, на угловатые, уродливые костяки с припекшейся кожей и мрачно думал:

«Мертвая тундра... Два обглоданных зверями мертвеца... И двое этих ждут смерти. Занятно, черт возьми».

Петра было охватило малодушное раздумье, но сознание, что он должен их спасти, что он поборет смерть, зажгло его глаза огнем молодого задора:

— Ничего, братцы! Вот немножко — и на ноги...

Поддерживаемые Петром, они поочередно глотали пищу, и во всех их движениях было что-то неживое, отталкивающее. Ни слова не сказав, не поблагодарив его, рыбаки повалились на постельник.

Петр пошел набивать котел снегом, чтоб согреть чай, и надолго задержался. На глаза попалась нарта. Он заботливо, с некоторой тревогой осмотрел оставшиеся запасы.

— Маловато.

Ему надо заняться промыслом, надо быть сытым, чтоб не захворать. Хорошо бы убить белого медведя и попить горячей крови; говорят — отводит. Ну, да рано еще.

— Черт, как темно!.. — он достал часы, но стрелок рассмотреть не мог. Привычным глазом он отыскал бледно намечавшуюся на небе Большую Медведицу — «Сохатого» — и сообразил, что времени около четырех часов дня.

— Да, наступила полярная ночь... Здесь она длинная, говорят, три месяца... Филипп, дружище...

Он вспомнил своего товарища, вспомнил уютную свою, там, под Туруханском, срубленную из кедрача, крепкую избу. Стены и пол ее покрыты пушистыми шкурами, у потолка — лампа, на полке — книги, ярко топится печь, бородатый Филипп раздувает самовар и бросает отрывистые фразы. И Петру захотелось туда, в родной уют. А тут еще полезли в голову разные думы. Ну что ж, можно и помечтать...

— Помечтай-ка, брат, помечтай, — насмешливым голосом сказал Петр и, улыбнувшись, вздохнул.

— А ну тя к черту! — крикнул он и, притворясь беспечным, пошел между скал к океану.

— Эй, ты... Хведор... — толкнула баба своего мужика локтем. — Ты умеешь, толкуй... у меня болит... болит... — Она говорила, растягивая слова, неясно, будто во рту жвачка.

— А?.. Чего?.. — очнулся Федор.

— Не слышишь. Спрашивает он. Ох, господи. Дальние мы, батюшка, расейские... Хведор, говори!..

— Мы сами дальние... — ответил Федор.

В избе трепыхался свет: вспыхнет, поколышется, и вновь темно.

— Пожар, что ли?.. Ишь... — прохрипел рыбак и закашлялся, пуча глаза.

— Сполохи, а не пожар, — кто-то поправил его.

Тогда он вспомнил, что у студеного моря живут по ночам сполохи, что небо огнем горит. Ему рассказывали об этом в Красноярске, в пути, купец-хозяин, матросня. Рассказывали работники Андрей да Михайло... Где они? Ах, вот чего... Должно — убежали. То ли убежали, то ли умерли...

Федор хотел перекреститься, но онемевшая рука не слушалась.

— Мы, кормилец, дальние... расейские...

Мрак дрогнул, всколыхнулась печь, подпрыгнуло висевшее на стене решето, окошко замигало голубоватым зорким светом. У печки на чурбане сидел он... тот, как его... Он сидел на сутунке[1] согнувшись, шевелил локтями, словно дратвой сапоги тачал.

Рыбак прищурился на странного чужого человека, но вот голубое оконце погасло, и все исчезло, заключилось в тьму.

— А? — спросил рыбак. — Да, да... забыл хвамиль-то... Красноярский купец. Он и нанял... Ну, мы, значит, вчетвером: я со старухой да Андрей с Михайлой, рабочие...

— Какие мы старики... мы не старики, — глухим голосом забулькала, засопела женщина, — мне сорок два, а хозяину моему сорок.

— Вот, вот, сорок мне... Это болезнь так перевернула. А? Громче кричи, я не слышу! Седой, говоришь? Ну, знамо, зацинжали вовся... Цинга заела... Говорят — цинга. Мы сами-то не знаем — впервой здесь. Да ты где, кормилец? Эй, ты...

Рыбак сделал усилие, приподнялся, упираясь руками о постель, и стал всматриваться в тьму, где маячил он... тот, как его...

Вновь хлынул в избу неверный свет. Человек на сутунке все еще сидит, лицо у него большое, белое, безглазое. Он улыбается, подплясывает, что-то шепчет, указывая рукой на окно.

— Идет? — спросил рыбак. — Кто же идет-то? Не знаю я... А ты чего смеешься?.. Ты не смейся, пожалей...

— Мы дальние, кормилец, расейские, — пожалей, мол!..

— Идет... — тихо сказал рыбак, повалился на спину и застонал.

---

[1] Сутунок — широкий, заменяющий стул, обрубок бревна.

Вскоре за стеной действительно послышались поскрипывающие шаги, кашель. Отворилась дверь, вошел Петр.

В зимовье тихо. Спят, охают, бредят.

Он зажег лучину, затопил печь. Лучина давала мало свету. Он отыскал в чулане большой кусок сала.

«Тюленье, что ли?»

Разогрев его в черепушке, он соорудил светец. На светильник пошла скрученная куделя из его собственных запасов. «Эх, керосинцу бы сюда да лампочку хоть плевую...»

— Электричество бы!.. Люстру бы свечей в пятьсот!.. — сказал он, горько улыбаясь. — Да музыку бы... симфонический оркестр.

Он уселся возле печки на сутунок и дал волю мечтам.

Ему вспомнилась радостная неделя, проведенная когда-то в Петербурге. Из лесов архангельских он выехал тогда в столицу по делам партии. После лесной бедной деревушки, где был учителем, после малолюдного тихого города шум и грохот столицы поразили его.

В первый день он чувствовал себя диким самоедом и ходил разинув рот по площадям и оживленным проспектам, а вечером попал в театр. Сцена, музыка, блистающий поток огней окончательно раздавили его, он еле добрался до номера гостиницы и всю ночь мучился бредовым, тяжелым сном.

Дрова в глинобитной низенькой печи весело потрескивают, обдавая Петра теплым светом, у стены скоргочут зубами больные, за окном полыхает сполох.

«Да! Здесь — и там... Какая громадная разница... — сквозь дремоту рассуждает Петр. — Два мира, два полюса. Культура, свет человеческий — и эти огненные небесные столбы, свет природы. Что же выше, значительнее? Перед чем человек должен преклониться? Что должен восславить? Себя, свое творенье, или вот эту нерукотворную красоту?»

Он повернулся к окну и ждал. Небо утихало. Богиня севера прятала свои огнистые покровы в ледяной хрустальный гроб.

«Два чуда... Одно из другого рождается и взаимно дополняет... Какое счастье жить, чувствовать, познавать!.. Что чувствовать?»

Он согнулся, подпер руками утомленную голову, закрыл глаза.

О скалы грозные
Бушуя плещет море... —

коснулось его слуха.

«Ах, да, музыка!» — мысленно воскликнул Петр, его глаза грустно, через силу, улыбнулись.

«Чувствовать... познавать... жить... Да, да!»

Огни чуть мерцают где-то вверху, затихают, гаснут... Занавес вздрагивает, вот-вот взлетит. Льются радостные волны звуков, кончается... как ее... прелюдия? Нет! Ну, как же, как? Увертюра? Да, да, да. Увертюра кончена. Занавес взвился. Древний Новгород. Господин Великий вольный Новгород, частокол бревенчатых стен, мачты кораблей, шумная, веселая толпа. И среди них — Садко. Вот он, русский баян с гуслями, наш, русский, наш Садко! Он собирается в путь, в страны заморские, на оснащенных кораблях. Сказка, седая старина русская, вымысел крылатых душ. А кто же это плачет, кто сидит на камне, поет и плачет?.. Жена Садко... Любава, Купава? Как же?.. Где ж Садко?.. Зачем плачет Любава? Зачем поет и плачет?.. И это не жена Садко, это Наташа, его, Петра, невеста... Она прижалась к Петру, шепчет: «Музыка, какая дивная музыка... Зачем ты, Петр, плачешь?» Петр гладит ее волосы: «Наташа, милая!.. Как хорошо жить на свете!» — «Не плачь», — говорит Наташа и заглядывает в его глаза бережно и нежно. А гость варяжский:

Мечи булатны, стрелы остры
У варягов...

Кругом вырастают серые гранитные скалы, волны бьют в них, плещут и с воем отскакивают прочь... «Угрюмо мо-о-ре!..» — во весь сильный голос подтя-

гивает Петр. «Что ты, что ты! — вскрикивает Наташа. — Я со стыда сгорю... Слышишь?! Сгорим, сгоришь!»

— Сгоришь! Эй, ты, как тебя? Милай!

Петр открыл глаза, боднул головой и недоуменно осмотрелся. Пахло гарью.

— Сгоришь, мол... Эк заснул!

Петр сорвал с себя тлевший пиджак и притоптал ногой.

— Задремал, — сказал он смущенно. — Устал маленько, назябся... Уголек скакнул...

Все еще полный грез, он поворошил в печке. По углям переливалось золото, играли янтари и аметисты, и в этом мерцающем движении красок Петру чудилась музыка.

— Однако завтра встану, — сказал рыбак. — А то пролежни у меня... тяжелехонько.

— Что?

— Экой ты, человек дорогой... И откуль ты взялся, андель божий? — растрогалась женщина. На измученном, все еще безобразном лице ее показались слезы. Она отерла их сухим дрожавшим кулачком.

Петр подумал: «Кажется, можно поговорить». Он спросил:

— Откуда ж вы? Как сюда попали?

— Мы ведь тебе сказывали!

— Когда?

— Сказывали, сказывали... Недавно быдто... Ты на сутунке сидел, обутки тачал дратвой.

— Я только что пришел.

— Сказывали, сказывали!

— Ага! Ну, хорошо, — поспешно согласился Петр. — Я и забыл. Верно...

А сам подумал:

«Галлюцинация! Возни с ними будет порядочно».

Он подошел к ним со светцом и присмотрелся. Вялые, сонные, болезненные лица. У женщины голова тряслась, ввалившиеся щеки подергивались, словно она подмигивала. Шел тяжкий запах, и нельзя было

проветрить, уничтожить его, избыть: дух тления жил в них самих.

«Эх, ты, черт, живут же люди... Ну, ну», — брезгливо и больно шевельнулась мысль, и он вздохнул.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Проснулся ровно в десять. Болела голова, позванивало в ушах.

— Воздуху, — сказал он, — на простор!

Напоив чаем рыбаков и плотно подкрепившись, он пошел к океану рубить из сушняка дрова.

В сенцах лежали мертвецы. Петру сделалось неловко, сумно. Он проворно отворил наружную дверь. Хлынул серый свет. Петр огляделся. Мертвецы лежали, как тогда, — труп в одежде и обглоданный костяк.

— Ну-ка, вот сюда ложись, брат, рядышком... Вот так... — сдвинул их друг к другу.

На шесте висела дерюга. Снял, покрыл ею мертвецов.

— Теплей будет... вот так... Ничего, лежите, Андрей да Михайло. Ничего!

Он тужился бодриться, стараясь прогнать охватившую его робость, но сердце вздрагивало и обливалось холодной жалостью.

Он шагал к океану твердо, с лицом суровым, окаменевшим, думал:

«Вот она, жизнь... Молодые, видно. Жили, радовались. Эх, кабы знать, где кончишь жизнь! И когда ее кончишь...»

— Зачем? — громко спросил себя Петр и не знал, как ответить.

Небо в рыхлых облаках, меж которых бледно голубела высь; на севере тяжелым свинцом лежали тучи, восток окрашивался розовым.

На отмелом берегу бухты, среди нагроможденных глыб льда, чернел целый залом прибитых бурей деревьев. Петр сбросил рукавицы, поплевал на ладони и принялся. Щепки с воем летели во все стороны, и

по льдине кувыркались желтые поленья. Петр без устали взмахивал топором с каким-то ожесточенным раздраженьем. Он не знал, откуда пришло, но чувствовал, что оно растет и крепнет в нем.

— Ерунда, вали! — вскрикивал он и, прикрякнув, богатырскими взмахами крушил сушняк.

— Стоп!

Он распахнул оленью парку с широкими, как у рясы, рукавами, достал бинокль и начал щупать даль. Нахолодавший металл бинокля ожег глаза. Мертво, лениво, пусто. Льды, кой-где взбугренные, белой равниной уходили к горизонту и тонули в сизой туманной мгле. Местами чернели полыньи, и над всем простором навис какой-то угнетающий сознание сумрак. Полнейшая тишина. Спит океан, дремлет воздух. Хоть бы тюленей где увидать или белого медведя! Даже песцы попрятались, и не видно птиц.

Смерть кругом, безмолвие.

— А я-то, я?.. Живой или мертвый?.. — громко взывает Петр, голос его раскатывается и насмешливо прыгает меж скал.

«Песню, что ли, запеть?» Но сердцу не хотелось песен. Было два часа. Он закурил трубку и провел по небу взглядом. Там висели лохмы зловещих туч.

«А ведь солнце-то не показалось».

— Милостивец наш, как тебя звать-величать? — проскрипел рыбак.

— Петром.

— А меня Хведором, а ее Марьей, старуху-т мою... Вот будемте знакомы, коли так. Ох, грехи, грехи...

Дрова весело горели, хлопотливо лопоча огненными языками и распространяя колеблющийся свет. По ослизлым, заплесневевшим стенам скакали тени от торчавшего в углу ухвата, от суетливо сновавшего Петра. Он был в одной рубахе с засученными рукавами и всюду поспевал. Принес корыто, стал его оттаивать, а после обеда принялся за стирку. Грязное белье рыбаков жмыхало под его руками, от мыльной воды вздувались радужные пузыри и ле-

тали по избе. Рыбаки во все глаза следили за Петром и за пузырями, как дети. Марья глупо улыбалась, из открытых вспухших губ текла слюна.

— А как же тебя, милостивец, звать-величать? — вновь проскрипел Федор.

— Я ж сказал, что зовут меня Петром.

— Так, так, так... — откликнулась Марья, завозилась. — Петрован, батюшка, — сказала она, — а где мой Мишка? Не повстречал ли ты мово Мишку, племянника мово, родного племянничка, сестры Степаниды сынка? Чуешь? Ушел и ушел.

— Ну, Андрюха-то померши, — подхватил Федор, — он чужой, пес с ним! Царство ему небесное. Мишка говорил — померши... в сенцах быдто бы. А вот где Мишка-т?

— Ушел и ушел, — простонала Марья, облизнулась и что-то зашептала.

Петр подумал и сказал:

— Михайло тоже помер. Андрей и Михайло умерли.

— Ну?! — воскликнули рыбаки и закрестились. — Царство небесное, превечный спокой...

Марья засморкалась, завсхлипывала:

— Петрован, батюшка... покажь ты мне его. Проститься бы напоследочки. Ради Христа, голубчик!

Петр оторвался от корыта и посмотрел на рыбаков:

— Я их похоронил.

— Врешь! — крикнула Марья. — Врешь! Зачем врешь?.. Он седни приходил... темно было... стучался... Он живой. Врешь!.. врешь! Убить его, видно, хочешь?! — Она закрылась с головой шубой и завыла толстым голосом.

— А ты, дура, не реви, — остановил Федор. — Чего ты, полудурок... Живо-ой приходи-и-л... Знать, во снях пригрезилось?

Марья замолчала, успокоилась. Молчал и Федор.

— Черт знает что за чушь! — нервно проговорил Петр и с еще большим ожесточением стал стирать и жмыхать.

«Придется похоронить. Что ж это я?..» — с такою мыслью проснулся поутру Петр.

Вставать с нагретого места — лень. И не хотелось умываться снегом. Однако пересилил себя, встал.

Управившись с делами, взял ружье, топор и вышел. Подымалась непогодь: в сенцах крутились белые вьюнки, пробивавшиеся в щели.

Петр открыл дверь. Мертвецы лежали смирно, только дерюга у края прошлепывала от наплывавшего с воли ветра. Сердце Петра забилось короткими толчками. Тень страха вновь проползла перед ним. Он нервно шагнул к мертвецам и откинул дерюгу.

— Ты, что ли, по ночам ходишь-то? Который Михайло-то? — твердо сказал он, но сердце не согласилось, заставило голос дрогнуть.

Петр громко кашлянул, по сенцам пошел гул. В стену раздался стук. Петр прислушался. Постучали покрепче. Петр вернулся в избу.

— Ты с кем это разговор ведешь? — лениво шевеля губами, спросила Марья.

Петр смущенно улыбнулся:

— Ни с кем.

— Как так — ни с кем? Врешь! — рассердилась Марья.

— Да сам с собой, себя ругал: забыл дверь в сенцы припереть — снегу намело.

— Так, так... — откликнулся Федор. — Куда ж ты собрался, желанный? Ты, слышь, не убегай далеко-то.

Петр шел быстрыми шагами, чем дальше, тем быстрей, словно боясь погони, но вдруг остановился.

— Ха-ха! Страх! Сегодня же лягу с ними спать... Страх.

Смех, ложно прозвучав, растаял. Кругом завихаривали белые вьюны, над головой низко висели тучи, волоча сизой шерстью по земле.

Петр тревожно стал прислушиваться к себе: что-то назревало внутри, укреплялось, пускало корни.

«Вернусь, тяпну спирту».

Он оглянулся. Вихри, игриво бесясь, застилали зимовье. Он не знал, сколько отошел: может — версту, может — пять шагов.

Ноги увязали выше колен, снег скатывался с меховых длинных унтов, не попадая за голенища. Вскоре он почувствовал усталость, заныли крыльца, задрожали колени.

— Что за черт! Кажется, захварываю. И зачем я залез в сугроб?

По укатанному ветром снегу, вихрясь, скользила низом метелица.

— Поземок начался. Пурга будет.

Он вышел к берегу океана. Там, в белой мгле, тоже завихаривал поземок. Седой, косматый, он полз низом по всему необозримому простору, обшаривая снежные суметы, впадины, взлетал на горы льда, вздымался крутящимися вихрями и, подкравшись к Петру, стегал в лицо снежной пылью. Петр взобрался на скалу, черным камнем спускавшуюся к океану, и недвижимо встал на ней, как истукан. Ему люба ожившая природа: смерть кончилась, взметнулся ветер, скоро разразится пурга. О, пурга! Страшный бич всего живого, гибель оплошавшему в тундре человеку! Но здесь, когда под боком пристанище, где можно отсидеться, — она только любопытна.

— Го-го-го!.. — заорал во всю глотку Петр. — Гой, ты! Иди, брат, старуха, иди! — И, как помешанный, замахал руками. — Да здравствует жизнь, движенье, суматоха!

Ему не раз доводилось отсиживаться в тундре в яме, как ореху в снежной скорлупе; он сам тогда вызывал на бой пургу, мерялся с ней силой и всегда торжествовал победу. А вот теперь...

— Ну и хорошо же, черт тя ешь, жить на свете... Люблю! — воскликнул Петр, наблюдая пляску вихрей, и сам удивился, что прежнего радостного порыва в сердце не было и иссяк в голосе металл.

— Да здравствует пурга!

Ветер шел толчками — то стихнет, то ударит. На горизонте, где океан, копились белые облака, тучи давили землю, и полдневный час казался вечером. Вихри все чаще и чаще взмывали впереди. Словно белые привидения, они таинственно толпились по сумрачному простору, раскачивались, падали плашмя и вновь всплывали, наскакивали друг на друга, сшибаясь лбами, как шаловливые козлы. Или, схлестнувшись в кучу, крутым винтом взвивались вверх и, шумно буровя воздух, бесследно исчезали. А им на смену спешили другие, такие же неуемные чудодеи, чтобы снова сцепиться в бесовский хоровод и мчаться и нестись куда попало.

Петр растерянно стоял, наблюдая их игру.

— Покойники, — вдруг неожиданно для себя уронил он слово.

А за словами родился образ: те двое, Андрей да Михайло — мертвецы.

Он почувствовал как весь дрожит: вихри забросали его снегом, позёмок навил возле ног сугроб, ветер распахнул парку, знобил тело.

«Андрей да Михайло — вихри — покойники...» — бессвязно толкалось в голове.

Он подумал про могилы. Здесь вечная мерзлота, землю ломом не пробить — кремень. Надо в пещеру. Вот сгинет пурга, уляжется ветер, замрет простор, тогда Петр отыщет хорошую пещеру в расселине скалы и замурует их, двух братьев по судьбе, Андрея да Михайлу — мертвецов; снаружи поставит огромный крест. Пусть смотрят звезды. И если увидят — что они скажут, что подумают?

«Надпись надо».

Да, Петр напишет на кресте твердые слова. Он напишет кратко, значительно. Он поведает о том, как побеждают сильные и гибнут слабые духом.

«А что ж, в самом деле, скажут звезды?»

Чтоб согреться, Петр надбавил шагу и, налегая грудью на ветер, спешил домой. А вот и зимовье. Петр деловито осмотрел его снаружи: плотно прижатое к скале, оно казалось несокрушимым. Закрыл

ставни окон, крепко приперев жердями. Нарту вдвинул в щель меж скал. Валявшиеся кадушки с ведром и рыболовные снасти: сеть, подсеток, сак — втащил в сенцы.

Огляделся по сторонам. Ни темнело, ни светлело, все тот же стоял сумрак.

Поземок без устали мел белой пылью. Влекомый по насту снег шелестел, как песок, ровным шелестом. Вьюнки что-то лопотали и едва внятно повизгивали. Все так же, порывами, толкался в скалы ветер.

Где-то вдали, очевидно за каменным кряжем, шумел океан, шуршали и потрескивали, ломаясь, льды.

Разогретый движением, он ощущал во всем теле приятную истому и с удовольствием сел на сутунок к камельку, чтоб выкурить трубку.

— Чегой-то чижало... Должно, гроза будет, — грустно сказала Марья.

— Гроза-а-а! Тоже ляпнет, полудурок! — огрызнулся Федор. — Ну-ка, подвинься, что ли... Чего ты на меня прешь?.. Ко-оло-да.

Слова рыбака грубые, корявые, но в переливах его голоса наблюдательное ухо Петра уловило оттенок сострадания.

— Холодно мне, — и Марья зябко подскочила на кровати.

— Э, чтоб те пятнало! — крикнул рыбак.

Петр накрыл ее овчинным тулупом и от безделья стал резать из полена человечка.

— Мишкин тулуп-от... Его и есть... — заговорила больная тихо, проглатывая слова, как в бреду. — Когда-то некогда пришел он и говорит быдто... Это Мишка-т, племянничек-то мой. «А я, брат, девка, жениться хочу...» Ну-к что, баю, женись... Гляжу, птичка взлетыват... все взлетыват да взлетыват... так, не великонька, с рукавицу будя. Что же ты, баю, птичка, все взлетывашь?!

— Замоло-ола!.. Ох ты, ох!.. — простонал Федор.

И Марья застонала.

Федор плачущим голосом сказал:

— Была силушка, а где она? Нету!

И умолк надолго, должно быть заснул. Только Марья стонала, жалуясь на поясницу, и все звала Михайлу, злясь, что не приходит, не откликнется.

Острый нож поблескивал в руках Петра, из полена выходила болванка, стала намечаться голова.

«Эх, напрасно сюда пришел», — вдруг подумалось ему. И тотчас же за работой позабылось, словно кто другой подумал, не он, не Петр Лопатин.

Через закрытые ставни дневной свет не проникал, в избе темно, как ночью, только горящий камелек освещал колени Петра, его руки и лицо, когда он наклонялся.

«В сущности, зачем я здесь?»

Петр отложил болванку, пропустил меж колен сомкнутые руки и, согнувшись, уставился на огонь. И точно в клубящемся пламени вычитал, вдруг ясно осознал то, о чем тайно думал. Губы сами собой пролепетали:

— Расхвораюсь — смерть тогда.

Эти слова гвоздем засели в голове, что-то отлило от сердца, Петр просидел в оцепенении несколько мгновений.

«Нет, этого не может быть! Не позволю!.. Не подчинюсь».

Откуда-то со стороны выплыл неясный призрак белого медведя, выплыл и остановился, как в тумане. Петр раздраженно отвернулся и стал думать о другом: об архангельских лесах, вспомнил закадычного друга своего, мужика Ваську, вызвал в памяти его вечно улыбавшееся чернобородое лицо. Но странный призрак белого медведя, как ни старался отодвинуть его Петр, забыть о нем, все неотвязней лез в глаза.

«Да, конечно... устукать его надо», — подчинился Петр и, все так же глядя на огонь, увидел перед собой далекий снежный ландшафт: льды, полынью со свинцовой водой и над ней — медведь.

«Да, хорошо бы убить его и попить горячей крови...»

«Крови? Почему?»

«От цинги помогает, возвращает жизнь. Ну что ж, это ничего, это хорошо, хорошо, хорошо, да, да... хорошо». Петр быстро подымет на ноги Федора и Марью.

«И себя...»

«Себя? Почему себя?»

По лицу Петра скользнула хмурая тень. Он весь встряхнулся и раздраженно кашлянул.

«Нет, постой!.. Не то, не то!»

Он вторично напряг волю и круто повернул мысль на веселое, желая подбодрить упавший дух. Размашисто шагнул памятью все в те же архангельские дебри, в родное свое село, мысленно рванул ручку двери и очутился средь гулливой пирушки друзей: пропивали товарища, женили на красе-девице. Песни, хохот, пляс. «Вали, Алеха, веселей!» Петр крутился вприсядку. Алеха вовсю растягивает горластую гармонь.

— Хорошо!.. Эх, черт!.. — пробормотал Петр и вдруг ощутил во рту вяжущий, приторный вкус крови.

Он почмокал губами: «Кровь...» — и сплюнул на пол. Отвел от огня утомленные глаза и уставился в темный угол над кроватью. Во тьме мутно засветлело огненно-желтое пятно, вот оно обратилось в медведя: медведь лежал на боку, из бока струилась кровь, а Петр жадно пил ее, припав к ране.

— Тьфу! — сердито сорвался Петр с сутунка, вскрикнул: в поясницу стрельнуло, острая боль змейкой взметнулась по спине к затылку, но тотчас улеглась.

— Черт!.. Нет, это не того... дрянь.

Шагая взад-вперед и брюзжа, Петр не мог отделаться от вкуса медвежьей крови, злился. Не то чтобы она была противна, эта кровь, — пивал же он оленью: бодрит, вливает жизнь, — его возмущало идущее извне насилие над его волей и связанное с этим предчувствие чего-то нехорошего.

— Врешь, не поддамся!

Он достал из походной сумы спирту и отхлебнул два больших глотка.

А за окном уже начиналось: постукивали ставни, скрипела на крыше флюгарка, рождались и таяли злобные шорохи.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вечером угнетенное состояние духа усилилось. Чувство, похожее на какой-то неопределенный страх, крепло. Где ж начало этого чувства, по каким душевным тропам оно пробирается к сознанью? Боязнь это или страх сам в себе, страх самодовлеющий, близкий к животному инстинкту? Петр вяло отмахнулся от этого вопроса, даже ему было лень продумать причину того, почему именно он не хочет дать ответ. Он только мысленно спрашивал себя, как в бреду: «Боязнь или страх, боязнь или страх?» Продолжал сидеть перед камельком, рассеянно посматривал на огонь, не в силах сосредоточиться.

— Очевидно, влияние пурги. Любопытно бы сюда барометр. Каково-то давление?.. Вот оно и давит, и давит...

На кровати закашлял Федор, что-то зашептала его жена, и вновь все умолкло, только поуркивало пламя да ветер пробовал, крепко ли приперты в окнах ставни.

Петр поднялся, собираясь что-то предпринять, скрестил на груди руки и в нерешительности вновь опустился на сутунок. Ему нужно пережить внутреннюю борьбу, нужно подавить противоречие, мгновенно возникшее в нем помимо воли, надо победить себя.

— А вот возьму да и пойду! Лягу с ними... Вот те страх!

Он прекрасно знал, что для победы, для укрепления духа необходимо идти напролом, навстречу страху, наперекор зародившейся в душе пурге, может быть еще более опасной, чем та, что грозится грянуть над мертвой тундрой.

Петр никогда не боялся покойников, ему не страшны ни живые, ни мертвые. Но что же теперь? А может быть, здесь, на океане, когда бушует пурга, человеческий дух иным подчиняется законам?

— Иду! — и Петр вышел в сенцы.

Сквозь щели врывался в сенцы ветер, тусклый огонек светца крутился и трещал от падавшего снега.

«Надо завтра смастерить фонарь», — подумал Петр и поставил светец в тихий угол, на опрокинутую кадушку в головах мертвецов. Колеблющийся свет колыхал сгущенный мрак, и Петру сначала показалось, что все предметы в сенцах движутся, переменяя места, о чем-то шепчутся и стонут. Но тотчас убедился, что все оставалось неподвижным и безмолвным, только озорные вьюнки кудряво вихрились из щелей и выла над крышей набиравшая силу пурга.

«Ничего, ничего... музыка знакомая», — улыбнулся Петр, чувствуя потребность возможно чаще подбадривать себя. Он нашел в углу свернутую оленью шкуру, служившую постелью, встряхнул ее и бросил на пол между мертвецами и стеной.

«В тесноте, да не в обиде», — и Петр, не раздумывая, лег, накрывшись заячьим походным одеялом.

«Потушить, что ли? Нет, пусть горит».

От кадушки, где стоял светец, падала тень на лицо Петра и на слегка запорошенную снегом дерюгу, закрывавшую покойников. Огонек то горит спокойно, то вдруг затрепыхает, склонится, вот-вот погаснет, а вместе с ним тревожно заколышется и тень.

«А ведь дерюга-то шевелится, — подумалось Петру, но он тотчас же поймал себя: — Тень... это тень гуляет», — и прошептал, вглядываясь в потолок:

— Если поддаться, так покойники разговаривать начнут. А то вылезут, да и...

Он улегся поудобнее и громко сказал:

— Ну, братцы, Андрей да Михайло, давайте-ка, други, спать!.. Покойной ночи!

Вьюнки по углам ответили жалобным тихим визгом, на дворе заплакала в голос вьюга, мертвецы вздохнули и придвинулись к Петру.

«Ничего, ничего», — ухмыльнулся Петр, защурился.

На него исподволь накатывал сон: крепко под вьюгу спится — он это знал и нетерпеливо манил к себе забвенье. Вот заснули ноги, грудь, спина, лишь в голове бродили отблески дум и треволнений: пурга кружилась там, мешала сну... Петра знобило. Он подобрал колени. «Уснул, что ли? Нет, не уснул». Петр ощущает, кто-то уснул в нем, но не он, и этот некто, уснувший, мешает ему спать. «Стой... стой... кажется, засыпаю».

Заснул, только уголек не хочет спать, где-то поместился светлой точкой позади глаз и вихляет и кружится. Тяжко. Думать? О чем думать? Не надо ни о чем думать... Тогда скорей. Но уголек бешено описывает закорючки, крутится, крутится.

«Крутись, черт тебя дери, крутись!»

Петр приказывает ему погаснуть, Петр умоляет его, кричит, мысленно топает, но не может заглушить вдруг родившиеся в нем два голоса.

«Отверни дерюгу, посмотри!»

«Зачем?»

«Ага, боишься?»

«Не боюсь».

«Тогда отдерни, загляни!..»

Петр грузно вздрогнул, кашлянул, по сенцам пошли гулы. Петр открыл глаза. Темно. Погас, что ли? Отыскал взглядом светец. Горит, но не дает свету. Хвостатый огонек мутен, он весь в тумане из мельчайшей снежной пыли.

Глаза слипались, голова валилась к изголовью. Петр загасил светец. Все окуталось тьмой. Вновь лег, плотно укрылся, приготовился ко сну, но мозг работал и работал.

— Да черт вас дери!.. Я вас не боюсь! — стискивая зубы, шептал Петр. — Вот встану и уйду... Довольно!

И вправду, зачем ему возиться с мертвецами, когда можно лечь в избе у живого камелька?

Забросаем вишеньем,
Вишеньем, малиною... —

внезапно врезались в мысль девьи голоса и смолкли. Он и не подумал удержать их, даже подосадовал, что непрошено явились.

«Действительно, — продолжал он, решив, что сон прошел, — действительно, зачем мне оставаться здесь? Меня интересовала причина страха. Теперь узнал. Во всяком случае, не мертвецы, не эти двое, не соседи. Да и что такое мертвец? Материя, ненужная вещь, клопиная шкурка. Душа? Может быть, душа страшна? Ну, допустим, придет, заговорит... Что ж! Только интересно. Интересно и... страшно... А почему? Да потому и страшно — в сущности, не страшно, а опасно, — что души-то нет, в душу-то я не верю, а если она явилась, значит, она в тебе сидит, в твоем воображении, значит, ты спятил с ума или собираешься рехнуться».

«Ну, айда в избу!»

Петр даже шевельнул ногами, пытаясь подняться, но под одеялом сделалось угревно, все тело обуяла лень. Вот полежит немного и встанет. Он готов был праздновать победу, он победил страх, победил себя.

«Вставай, вставай!»

Нащупал спички, чтоб зажечь огонь, еще минута — и встанет. Ах, как хорошо лежать!.. Лежит и прислушивается к звукам ночи. Забавно! Черти по углам сенец насвистывали в кулак и перекликались, царапали снаружи когтями стену, стучали в дверь; то здесь, то там, в неведомой дали кто-то хохотал и плакал, и без умолку тараторили болтливые голоса. Петр и не заметил, как уснул.

Часы ночи медленно ползли. Буря крепла. С океана мчались все новые и новые волны урагана. В сенцах хозяйничал ветер, со свистом врываясь

в пазы. В стены бухали камни, и, как дробь, стучала галька. Вот сорвет крышу, вот по бревну расшвыряет зимовье. Под ударами ветра дрожали стены.

Кто-то идет, шоркает ногами, бормочет. Кто-то крадется, как вор.

«Уыыы!.. уыыыы!!»

И вдруг тьма сенец сотряслась и задрожала. Пронзительно, дико заорал Петр. Поспешная невидимая борьба. «Стой! Кто тут?!» Стон, крики, визг, и Петр, с размаху хватив обеими руками в дверь, вылетел наружу.

С хохотом, свистом пурга враз набросилась на него, закрутила, застегала, заткнула рот, отняла дыхание, приподняла упругим ветром и, как куль, швырнула в мутную бесовскую кутерьму.

— Черт!.. Что же это?.. — едва передохнул Петр.

Он вскочил, но порыв ветра, хлестнув, тотчас же опрокинул, перевернул, поставил на дыбы, сшиб снова и в ошалелых, буйствующих вихрях сбросил его куда-то вниз. Петр припал грудью к земле, закрыл лицо руками и тяжело, надсадисто дышал, жадно глотая воздух. Над ним с воем проносился ветер; снег, крутясь, заметал его, в обнаженную шею стегало, как песком, и холод насквозь пронизывал с головы до пяток. Еще несколько минут — и его сровняет с сугробами. Но ему почему-то вдруг стало весело:

— Вот так сальто-мортале... Хорош козел! — и он нервно засмеялся.

А пурга вторила ему, язвительно хохотала:

«Хе-хе-хе!.. Врешь, молодчик, вреш-ш-шь!»

«Я те покажу-жу-жу! Жжжж! жуууу!..» — ревела вьюга.

Передохнув, Петр пополз вперед. Он догадался, что его бросило с каменного уступа, где зимовье, что он ползет круто вверх, как раз к жилищу. Извиваясь и пыхтя, забирал все выше, выше...

«А ведь сбросит... Черт, как круто!.. Нет, не сбросит... Нет, сбросит!»

«Держись!» — Петр судорожно уцепился за обнаженный камень.

Ветер рванул, хлестнул в лицо, больно ударил по рукам, и он с проклятием закувыркался вниз.

«Жжж! жу-у-у-у!.. Жу-жу-по-кажжжжу!..» — ревела вьюга.

Все так же лежа ничком и согревая дыханием коченевшие руки, Петр быстро соображал, что делать. Жилище тут и есть, над головой, только очень крут откос. Влево, вдоль скалы, идет пологая тропа, но как добраться до нее? Вдруг закрутит, замучает пурга, вдруг подхватит вихрь, кинет в океан, убьет?

«Ну-ка, Петр, вали!»

Сердце забилось полной кровью, кровь ударила в виски, весь он кипел и рвался в бой.

«Ведь тут не тундра... Изба!.. Народ!.. Не пропаду же!»

И он пополз влево, навстречу ветру, к той заветной тропе.

«Неужто пропаду? Неужто пропаду?»

Поднялся, шагнул раз-другой — и снова пал от ударов бури. Какая-то странная, мутная была тьма. Все стонало кругом, злобствовало, и нечем было дышать.

«Задушит...»

Ветер опрокидывал его, бил со всех сторон, тормошил, швырял, как сшитую из тряпок куклу.

«Вздохнуть бы!.. Фу ты!..» — полз, полз и вдруг раздумал. Испугался. Ему показалось, что силы оставляют его. Он круто повернул назад, по ветру, и стал тщательно ощупывать следы, но их уже замело, сровняло. Не знал, куда ползет. Руки коченели, дыхание прерывалось, хрипела грудь. Короткое раздумье — и острый ужас:

«Что ж, гибель?! Смерть?!»

Позабыв дышать, он заметался из стороны в сторону — следов нет, и сразу понял, что ему грозит неотвратимая опасность. Защищая чужими, деревянными ладонями лицо, стал всматриваться в мглу дикой ночи.

Распоясалась, размахнулась, ударила буря во всю мочь: все сотрясалось, грохотало. И рушились, падая в тартар, небеса. По пояс в снегу, как покачнув-

шийся столб, стоял Петр, крепко обхватив голову. Шевелились со страху, топорщились волосы, выкатывался из глаз последний свет.

Обостренный слух только теперь поймал и довел до сознания всю неописуемую массу звуков. Ошеломленный, раздавленный — Петр замер. Это было так ново и величественно, так нестерпимо больно, физически больно: не вмещалось, давило, потрясало до последнего нерва все существо его. Еще мгновение — и он сам завыл бы, как дикий зверь.

«А рыбаки?»

— Да, да!.. — крикнул он. — А рыбаки?!

Бурно хлынула откуда-то, удесятерилась сила. Крепко, уверенно он вылез из сугроба, боднул упрямо головой, по-медвежьи рявкнул и, для устойчивости расставляя ноги, прижав локти к бокам, нагнувшись, Петр, как медведь, попер вперед.

— Шутить изволите, богиня!..

Борьба с бурей, которая валила его с ног и не могла свалить, доставила ему обманную быстротечную надежду. Однако надо быть настороже, надо считать каждый шаг, каждый поворот. Ветер бил бешеными толчками, вырывая под ногами большие воронки или вмиг забрасывая снегом по колено.

«Ложись!» Он распластался на снегу, переждал пронесшийся шквал — хорошо лежать — и едва поднялся: истомная лень вминала его в сугроб.

«Пережду... В снег зароюсь... Нет!.. Нелепо! Изба рядом... Стихнет, может быть...»

Но он знал, что пурга держится иной раз целую неделю. Он вновь начал быстро терять силы. В воспаленном мозгу пролетали, как вихрь, воспоминания о том, как гибли в пургу люди в пяти саженях от жилища.

Он согнул колени, сел и несколько минут был как в забытьи, с защуренными глазами. Стало одолевать опасное равнодушие, безразличие, хотелось на все плюнуть и вот так, скорчившись, сидеть и ждать.

«А ведь погибну».

Петр выкатил глаза и заорал во всю свою богатырскую грудь:

— Эй, Федор! Федо-о-р!!

Голос Петра хрипел и рвался. Пурга как будто затихала, даже чуть побелела мгла. Но и силы в Петре кончались, роковой круг замыкался, сводил концы.

— Господи, не дай погибнуть!

И лишь взмолился он, неверующий, все в нем бессильно опустилось, все похолодело, замерло.

«Отходная. Конец...»

Он вдруг сорвался с места.

— А ну, черт тя ешь, а ну!!

Скрутив в пружину волю, он крупно зашагал, наваливаясь со всех сил левым плечом на ветер.

«Вперед!» — пружина дрожит в груди, воля надрывается. Все выше по откосу, выше. Ага! Тот самый камень, грань жизни, жизнь! Он впился в обледенелый, с острыми ребрами, торчок скалы.

«Держись!» Но застывшие руки скользят, не держат.

«Чуть-чуть!.. Маленько!.. Ну!» И кто-то с силой тянет его за ноги вниз, кто-то хохочет, снегом захлестывает лицо, нет воздуху.

— Федо-о-р!.. Марья-а-а!.. — Его отчаянный зык гудит трубой. — Федо-о-р!..

И чудится: стоят над ним двое — белые, снеговые, шепчутся, скоргочут: «Столкнем, столкнем!..»

— Тащите, что ли!.. Черти! Оборвусь!.. Обо-ор...

Вихрь крутанул, взметнулся, и с целым ворохом белой пыли Петра подбросило вверх, на площадку. Оленья парка загнулась ветром на голову. Он тяжело поднялся, шатаясь, словно пьяный, шагнул вперед, припал плечом к избе и радостно, надсадно задышал.

«Я те покажу-жу-жу!.. Жжж! жуууу!» — выла пурга.

Петр скрестил на груди руки и, набрав силы, прыгающим голосом ответил:

— Врешь, старуха!.. Дудки! Моя победа, ведьма косматая!..

«Жжж! Жжжж! Жу-у-у-у!..» — крутились вихри.

Петр по стене пробрался к открытой двери

в сенцы. На него напала оторопь. Пугливо озираясь и дрожа, он быстро перебежал мрак сенец и со всех сил рванул занесенную снегом дверь в избу.

— Михайло, Мишка, — вскрикнули спросонья рыбаки. — Мишка, ты?

В печи ярко полыхали только что подброшенные дрова.

«Кто затопил? — мелькнула мысль. — Неужели Мишка?..»

Но, до смерти обрадовавшись огню и теплой избе, Петр сорвал с себя обледенелую меховую парку и в одной рубахе как подкошенный повалился на пол. Его сразу сковал глубокий, почти обморочный сон, какой бывает у замерзавших и нежданно очутившихся в тепле.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Пурга свирепела над землей вторые сутки. Петра разбудил крик:

— Эй, ты, проснись!

Он поднял тяжелую голову. Холодно, темно. Зажег огонь. Плохо проконопаченные стены слабо сопротивлялись ветру. Струи воздуха разгуливали по избе, колебали пламя светца, покачивали висевшие под потолком снасти. Сильные удары бури все так же сотрясали избу. В стены, не переставая, грохало: вихрь, вырывая из поленницы дрова, швырялся. Федор и Марья то вскрикивали, как сумасшедшие, то стонали и охали, осеняя себя крестом.

Под вечер особенно грозно рванул с налету ураган, что-то затрещало кругом, обрушилось. Федор вскочил с кровати и, хватаясь за стол, за скамьи, пал перед образом:

— Господи Суси! Марья! Петрован! Вались на колени, ой, ой! Зажигай, тебе говорят, богову свечку, зажигай!

Марья закричала в голос. Петр бросился к трясущемуся, хлюпавшему в слезах Федору:

— Зачем же ты? Эх ты, брат!.. Лежи знай!.. — приподнял его и повел к кровати.

— Свечку-то!.. Господи Суси!.. Погибель!..

Петр отыскал за образом восковой огарок и зажег. Федор с Марьей закрестились. За стенами стало утихать. Искаженное испугом лицо рыбака просияло.

— Петрованушка, — ласково сказал он, — а ты бы перекрестил рожу-то. Нехристь!

Петр молчал.

— Перекрестись.

Петр упорно молчал, словно его здесь не было. Да, он душою там, в сенцах, среди мертвецов.

Рыбаки что-то бормотали, охали, звали Петра, но он одеревенело стоял, прислонясь плечом к стене, и посматривал на огонь каким-то незрячим, отчужденным взглядом.

«Что ж вчера произошло? Да и было ли что? Конечно — галлюцинация, кошмарный бред, сон...»

Петр пытался сосредоточиться, все вспомнить, пережить, перечувствовать, но что-то упорствовало в нем, мешало собрать обрывки снов и мыслей.

— После. Надо одному... — услышал он свой голос.

Встряхнулся, окинул недоуменным взглядом черные стены. Потянуло на работу, захотелось отрезвить себя, укрепить дух трудом.

— А нет ли у вас длинной веревки? Дрова таскать.

— Дак ты охапкой.

— Ветром сбросит. Чу — пурга! Я привяжусь.

Он надел парку, опоясался концом веревки и раздумчиво положил руку на скобку двери.

— Вот натаскаю дров да обед сварю! — крикнул он, хотя кровать рыбаков была возле.

Он крикнул громко, ему нужно было крикнуть. И зашагал по избе, как неживой, словно кто водил его из угла в угол.

«Сон! Приснилось...»

В голове вновь все смешалось, перепуталось; торчали незримые хвостики, метались, вспыхивая и угасая, огоньки, кружились точки, змейки, обрывки фраз. И через весь этот рой, как заостренный кол сквозь гущу, выпирало наружу вчерашнее, становилось

Петру поперек дороги, разбойно издевалось над ним, мозолило уши:

«Что, голубчик! Сон или не сон?»

— Чего же ты мнешься? Эй, Петрован! Ходит и ходит...

Петр упорно что-то вспоминал. Зрачки расширились, меж бровями рассекла лоб вертикальная складка. Лицо состарилось. Надо спросить. Надо обязательно спросить. Наверное, болящий Федор споткнулся и упал на него в ту ночь, там, в сенцах. Не мертвецы же... Фу ты, черт...

— Слушайте, рыбаки!

Те молчали. Должно быть, сказал тихо или только подумал.

— Слушайте-ка!..

Петр подошел к ним вплотную, чтобы спросить, где ж ночевал он: в сенцах или здесь, у печки, на полу? Хотел и не хотел знать. Хотел — потому, что тогда все станет ясно и определенно. Но эта определенная ясность страшна... не ему, не силачу Петру Лопатину, а кому-то другому, маленькому, бессильному и робкому.

«Нет, не спрошу!»

Петр втайне верил, что знает сам все до единой капли, но тот другой, ничтожный и назойливый, подстрекал его притвориться, что он не знает ничего.

«И не надо, — соглашался Петр, — а то конец всему, точка».

И вновь бесплодная мысль Петра стала вилять по закоулкам мозга, угадывая — сон или не сон?

«А ведь с ума можно спятить!.. Черт!..»

Сумрачный, разбитый, все так же ходил он взад-вперед. Половицы скрипели болезненно, сердито: им тяжелы досадные грузные шаги. Веревка плелась змеей у ног его. Он подошел к огню и осмотрел ладони:

«Красные... Ссадина. Кровь... Острый камень... Скала».

— Да, было!.. Помню, — встряхнулся Петр. — Было! Обязательно было!

— Ково? Эй!

— Так... Это я так... Рукавицу ищу.

У Петра шерстяные рукавицы, а сверху огромные мохнатки из собачины. Мохнатки нашел, рукавицу нашел, другой нет нигде. Искал, искал — нету. Плюнул и отворил дверь в сенцы.

Там снегу не было. Он чиркнул спичку: наружная дверь закрыта на крючок, пол чист, мертвецы под дерюгой тихи. По спине Петра прокатился холодок.

«Любопытно!.. Когда ж это он успел дверь-то запереть и снег вымести?» — подумал Петр про Федора. И еще подумал: «А вдруг я действительно видел все во сне там, у печки, а не здесь?»

Вновь чиркнул спичку и поднес огонек к пробою наружной двери. Крюк перебит в другое место, а чуть пониже желтело в косяке вырванное с мясом дерево: сомнения нет, это Петр вырвал. Значит, было то нелепое, от чего он с таким ужасом бежал. Но кто же мог перебить крючок?

«А ну-ка, кадушку осмотрю... где светец стоял».

Меж стеной и покойниками нашарил ногою место, там должна быть шкура, его постель. Пусто. Шкура стояла свернутой в углу, как и раньше.

— Тьфу! — не выдержал Петр.

Глаза засверкали, а холодок полз и полз по спине, будоража кожу. Нога нащупала мягкое, поднял — рукавица.

«Ага, вот оно что! — путался в догадках Петр. — Но ведь не мертвецы же это все проделали?»

Бормоча что-то под нос, он принес светец и поставил, как в ту ночь, на опрокинутое дно кадушки. Пламя колыхалось, седые вьюнки кудрявились в щелях, за стенами сопела и охала метель.

— Ну-ка, братцы... с ревизией! — Он откинул дерюгу, напряженно улыбаясь. — Извините, братцы!

В этот миг он ненавидел свою душу. Власть над самим собой пропала, все шло вразброд: руки, ноги, сердце — все жило своим маленьким хотеньем, все покорялось одному чувству трусости.

«Вот он, человек!.. Царь!» — не то про себя, не то про мертвецов с презрением подумал Петр.

Тихие мертвецы жались друг к другу. Впрочем, мертвец был один, в драной одежде, с лицом, обглоданным зверьем. Другой — груда костей, прах, тлен. Только череп скалил на Петра зубы, а в глазных провалах, где стояла когда-то жизнь, колыхались темные вопрошающие тени.

— Похороню, братцы, похороню!.. Потерпите, — сказал, холодея, Петр, накрыл их дерюгой и вышел.

Погода утихала, но ветер все еще в силе. Мутно-белые сумерки по-прежнему скорготали и всхлипывали, неугомонный снег крутился, замыкал простор.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Прошла неделя. На дворе было ясно, трещал белый полярный мороз. Петр сидел возле неугасимого камелька и отливал из тюленьего сала свечи.

Федор чувствовал себя плохо: весь ослаб, затосковал, надоедно твердил, что ему больше не подняться, что за ним приходил Михайло, звал его.

— Плюнь, чего там? — ободрял его Петр, пенял: — Сам виноват: вылежался бы до поры до времени. А то вскочил, перед иконой ползал. Вот и намолил!

— Да ведь страх-то какой, Петрованушка! Аж волосики встопорщились.

Сквозь промерзлые окна с трудом просачивался день. Бледный, скудный свет подползал к кровати, мазал лица рыбаков мертвой краской. Но глаза их жадно хотели жить, набирали силу, с надеждой посматривали на закоптелый образ спаса, на крепкие плечи Петра, на жаркий неуемный огонь в печи.

— Расскажи-ка, дядя Федор, как попали-то в эту щель? Любопытно.

Рыбак тягуче откашлялся, сплюнул и перекрестился. Он говорил и час и два, язык месил слова, как тесто, память путалась в событиях однообразной жизни.

Петр слушал рассеянно. В шершавую речь рыбака иногда вклинивались его собственные мысли, перевиваясь в болезненный смутный жгут. Петру казалось

тогда, что не рыбак говорит и хныкает, а он, Петр Лопатин, жалуется кому-то на засевшую в нем хворь.

— Тут мы и закручинились, дале да боле. А старуха-то моя нет-нет да и ударится в голос реветь...

— В голос, батюшка, в голос... Дело бабье, глупое!

— Он, мотри, бросил нас безо всего.

— Кто такой? — спросил Петр.

— Да купец-то этот самый, Сила-то Назарыч... Как его хвамиль-то, будь он проклят...

— Как?.. Гарасимов, — подсказала Марья.

— Какой Гарасимов? Гарасимов исправник был, а не купец. А то еще игумен, отец Гарасим... В монастыре тот, в нашем, поди знаешь монастырь-то Микола-Божати?.. Ну-к в нем... А ты не сбивай, дура баба!.. То ли Пастухов, то ли Ездаков. Чернявый такой, брюхан. Э-э-вот како чрево, быдто в тягостях, бык быком! Купец-то... Недаром Силой звать... Сила, а между прочим жулик, будь он проклят.

Петр заставляет себя слушать, кой-что втискивает в свою память, подталкивает Федора, препятствует ему пьяно шататься по вихлястой тропе воспоминаний.

Уныло течет время. Петр утомился. Он раскинул на полу шкуру, лег, закрыл глаза:

— Говори, говори, я слушаю.

Да, он слушает. Прислушивается к себе и уж не борется, только робко ожидает. Она идет. Все чаще и чаще тело его просило отдыха. Но отдых не облегчал. Для натуры Петра отдых и смерть — одно.

«Уйти, бежать».

«Подло!»

Глаза отыскали револьвер, ощупали холодную сталь его, но тотчас же отвернулись. Над ним трепыхали, каркали, как растревоженное коршунье, слова Федора, надо схватить, поймать, но они летели прочь, бестолково осыпая перья.

— На кой тебе рожон? В море, в окияне, что рыбы, что зверья, сколько хошь! Только знай жри, не робей! Не подохнешь, мол... А я и говорю: «Паршивый ты, говорю, черт, прости бог мою душу, кровопивец ты!..» Он меня за бороду цоп да в ухо!.. С тем уехал.

— Кто? — раздраженно спросил Петр.

— Как кто?.. Купчишка!

Петр представляет себе купца, жирного, брюхатого, с заплывшими глазами, с жадным, заглотистым щучьим ртом.

«А я бы тебя удавил, мерзавца!.. Я спустил бы тебя в полынью, к медведям!»

Петр приподымается на локоть, сердито щурит глаза.

— Завтра на охоту пойду. Надо убить медведя.

— Дале хуже, дале хуже... так мы и свалились... Чисто омертвели... — не слушает его рыбак.

— Кровь будем медвежачью пить. Слышите? Слышишь, Федор?

Вот оно, то самое, от чего так отплевывался Петр. Крови, скорее горячей крови! Ноет спина, тоскуют ноги, во рту сухо. А надо обед варить. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Эх, черт! Упорно думает, курит трубку за трубкой. Облака дыма сизым свитком плывут в печь, пощелкивают дрова, бросая в Петра углями.

— Нет Андрюхи и нет!.. «Ужо-ка я», — говорит Мишка. Вышел да назад, а сам блажью кричит, крестится: «Умер, говорит, Андрюха-т, умер!.. В сенцах, говорит, боюсь, говорит». А нам уж моченьки нет. Только стонем.

Петр думает свое. Ему ненавистен этот скрипучий голос и хочется крикнуть, чтобы замолчал рыбак.

— Вот день перетосковали... Говорим Мишке, племяннику-то: «Мишка, говорим, иди по дрова да по муку, вари чего, не то ведь околеем». Ну, вздохнул это он, пошел. Тоже не хотца пропадать-то! Глядим — по полешку дрова таскает, мучки в лукошечке принес. «Да ты пошто так-то? Принеси охапку да приволоки весь мешок». — «Не совладать, говорит, силушки не стало. Мы все... пропадем!» Сел это он на сутунок, морду закрыл ладонью да заплакал. Он плачет, и мы плачем... Вот до чего весело! А за стенами непогодь валом валит.

«Муки? Сколько же осталось муки? Пуда полтора. Мало. Крупы фунтов двадцать? Мало, — подводил

итоги Петр. — Луку две вязки — пустяки. Как же быть? А главное, нет мяса, спирт на исходе».

— Вот мы, значит, и засиротели... Умер он.

— Кто умер?

— Да Мишка-то, племянник-то! Фу ты, чудной какой: оглох, что ли? Ведь сам же баишь, что умер.

— Ну да, умер.

Щелкнуло горящее полено, точно выстрел. В печи запищало, заныло. Нудно на душе.

— А может, не умер? А? почем знать? Может, ты постращал? Ты, Петрован, не ври!

— Умер! — крикнул Петр. — Умер и похоронен.

— Как знать? Может, жив? Может, когда-то некогда придет еще.

Петр злобно посмотрел на них. Рыбак сладко зевнул, окрещивая рот. Марья лежала неспокойно: вздрогнет, подпрыгнет, заохает, а то выдохнет пустое слово.

Петр отвернулся. Его тянуло запустить в рыбаков поленом, и в то же время было нестерпимо жаль их. Это двойственное чувство мучило его, и не хотелось сопротивляться. Он наблюдал себя со стороны, не противодействуя.

— Вот мы сутки лежим, вот другие... Тело жухнуть стало, из десен кровь... Старуха стонет, смерть накликает. Ну, я сползу с кровати да по полу-то на четвереньках, как собака, к печке, разожгу кой-как... Ну, мучица в сеялке была, поддену горсть да опять по-собачьи к старухе: «На-ка, мол, жуй. Бог милостив!» Да уж на кровать-то едва-едва вкачусь. А жевать — деснам больно, зубы шатаются, тяни любой. А тут уж и свет из глаз терять зачал. А про старуху думал — умерла. Молчит, только дух от нее идет чижолый. Я ее в бок — заохает. Слава Христу — жива!

Федор вздохнул, запричитал что-то, потом сказал:

— Опосля того мы приготовились. «Марья, говорю, прости меня, грешного, Христа ради!» — «Бог простит!..» Взглянул на бабу — в слезах плавает. «Не плачь, говорю, Марья, грех плакать», — а сам не хуже ее, слезами давлюсь. Окстился я, ее окстил: «Лежи, мол, жена моя, смирно, дожидай!» Вот лежим,

ждем. И сколько времени пролежали, не знаю. Только отворилась быдто дверь... Ты слышишь, Петрованушка? Отворилась дверь, и явился к нам андель божий. Мы думали, по душу, а это ты...

Петр вдруг вскочил, словно его поднял вихрь, и, не помня себя, закричал:

— Да, пришел! Пришел!.. Спасать пришел, ангел! — Он хрипло, придушенно захохотал, раскачиваясь, как пьяный.

— Ну что ж! Режьте на куски, жуйте, чавкайте!..

Рыбаки вдруг подпрыгнули, глаза их с ужасом впились в Петра:

— Петрованушка, Петрованушка!.. Петрованушка!

Тот быстрыми шагами вышел вон, с треском хлопнув дверью:

— Обрадовались?! Сволочи!

Стояла удивительная ночь.

На темном небе четко, ярко горели звезды. Вот «Золотой прикол» — Полярная звезда, — куда небесные богатыри привязывают своих златокрылых коней. Вот семь волшебных звезд «Сохатого», вот «Утиное гнездо». В выси лысо серебрится месяц. Голубоватая снежная равнина вся в бегучих огоньках. Бесконечная, неузнанная даль. Полюс. Тайна. Новый мир.

Петр вскинул голову и тяжело задышал. Руки тряслись, стучали зубы. Ему хотелось криком кричать, его бесила торжественная тишина этой безмолвной алмазной ночи. Хотелось ногтями царапать небо, яростно сорвать все звезды и утопить вон в тех бездонных омутах. Мрак так мрак, и в душе и в небе!

Он схватился за голову: «Должно быть, я окончательно спятил с ума. Ясно».

Но крепкий мороз привел в порядок нервы. Петр сел. Сидел не двигаясь, без дум, долго, может быть целый час. Грудь затихала, умолкло сердце. Звезды спустились ниже, покрупнели, переливней засверкали снежные поля. Душу Петра кропил тихий огонь, испепеляя непримиримое.

— Как хороша ночь! И как скверен, отвратителен я! Ну, за что я их? Нервы, хворь... Эх!

Ночь преображалась.

Край неба начал колыхаться, таинственные пучки света извивно поползли из-под земли, потянулись к звездам, к месяцу, исчезая в бездне мира. Зачинался сполох, северное сиянье.

— Богиня восходит по ступеням трона, — сказал Петр, улыбчиво щурясь на север. — Привет вам, неведомая богиня! А ведь вы подчас, простите меня, умеете прикинуться свирепой... Прошу вас, держите почаще вашу косматую ведьму, пургу, на привязи, — пробовал Петр настроить себя по-бодрому. — Во всяком случае, я вам очень благодарен хотя бы за сегодняшнюю ночь. Взгляните, королева!..

По небосводу пролегла звездная дорога — великий Млечный Путь. Позлащенной дугой он опоясал небо, и там, под земным шаром, в бездне, сомкнул свое туманное кольцо — экватор вселенной. Золотые миры, как самоцветный песок морской, сгрудились на нем. Пусть так! Пусть невидимая ось вонзилась острием вон в ту звезду над головой — «Золотой прикол». Пусть вся вселенная в веках, в тысячелетиях беззвучно плывет, вращаясь возле призрачной оси мировых пучин. Хорошо, премудро, а что же дальше?

— Как вы полагаете, богиня? Будет ли этот мир существовать без меня, и буду ли я существовать без мира? Ах, не можете ответить? Ваш язык для смертных не внятен?.. Та-а-ак.

Петр не замечал, как лютует, злится над ним мороз. Иглой кольнуло в ухо. Петр рассеянно стал тереть щеку мохнаткой.

— Узнаю сам, узнаю сам без вашего, сударыня, посредства!

Ему в этот час нужно было увести себя от земли, сбросить с плеч звериный неоправданный порыв, зачавшийся там, в избе. Он постарался припомнить то, что знал о небесных тайнах, мысленно переселял себя в иные миры, висевшие над ним, под ним, искренне умилялся перед величием сущего, но в его сердце все-таки кипела горечь.

Ученые додумались, что если через Млечный Путь провести плоскость, то наша солнечная система окажется в центре этой плоскости. Значит, где ж? Значит,

в центре вселенной? И некоторые ученые предполагают также, что наша старая земля чуть ли не единственный населенный остров в бесконечном мире... Вот диво! Ха...»

Петр ядовито ухмыльнулся. Мороз стегнул в другое ухо. Где-то послышался гулкий треск: морозом разорвало камень.

— И вот я, царь вселенной, сижу здесь, тру рукавицей помороженный нос и пускаю слюни, как баба последняя. Ха-ха! Бежать? Оставаться, спасать? Кого спасать? Себя, их? Или гибнуть вместе? Ну-ка, богиня, отвечай! Про тебя трубят поэты, что ты премудра...

Насмешливое раздражение иного, еще небывалого порядка охватило дух Петра Лопатина. Кипела желчь, губы кривились, едва удерживаясь от хулы и проклятия.

— Кого ж спасать? Их или себя? Тьфу!

Он быстро встал, взглянул в ту сторону, где похоронил в пещере мертвецов, и, давя хрустящий снег, пошел обратно.

Сполох причудливо играл, швыряя в небосклон снопы цветных огней и развертывая трепещущие свитки.

— Напрасно, богиня, трудитесь! Здесь и пусто и мертво... Покойной ночи!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

До последнего ночного часа и весь следующий день Петр насиловал душу, принуждая себя изжить острую ненависть к рыбакам и вновь пробудить к ним чувство сострадания. Но внутри все оставалось по-старому, власть над собой гасла, лишь внешне приходилось искупать вину. Рыбаки не умели читать в чужой душе и с трогательной рассеянностью умиленно принимали его заботливую хлопотливость.

Под вечер Петр сказал:

— Я вам баню устрою.

— Ох ты батюшка ты наш!.. Да как же ты это?

Из своего брезента он соорудил в их просторной артельной избе палатку, затащил туда корыто, кадушку с кипящей водой, стал бросать в нее раскаленные булыги. Клубом подымался в палатке пар, вся изба наполнилась белыми облаками.

Федор и Марья улыбались, прислушиваясь, как шумно бурлит и злится вода от бухающих в кадушку булыг.

— Спаси тя Христос, ну и чудо! — чмокал Федор, любовно следя за разутым, голым по пояс Петром. Плечистый корпус Петра весь в тугих, упругих мускулах, как в панцире.

— Ну, чисто Еруслан ты, право слово, — восхищенно мотал головой рыбак.

Петр через силу улыбнулся и сказал:

— Ну-ка, ты иди первый!

Рыбак загоготал от удовольствия, когда Петр стал тереть его намыленной мочалкой из шелковистой морской травы.

— Полпуда грязи с плеч!

— Хы! — радовался рыбак, покорно подставляя голову под искусные руки Петра.

Кончив с рыбаком, Петр крикнул:

— Марья, айда!

— Да я сама, кормилец!

Федор, вымытый, в чистом белье, причесанный, лежа на кровати, слышит:

— Дай-ка, Петрованушка, холодненькой... Ой, глаза ест! Горячо, слышь, горячо, разбавь!.. Спаси тя бог!

Федор сморкается и шепчет:

— Ну и человек добрейший!.. Чисто мать!..

И, напрягая слабый голос, кричит:

— Петрованушка, век будем бога за тебя молить!

Спать легли рано, все уморились. У Петра гудело в голове, озноб пробегал по телу, ломило глаза, чувствовалась слабость. В тепло натопленной избе он хотел как следует прогреться под шубой. Болезнь не на шутку угнетала его.

Погас светец, в избе темно, только угли в печи переливают золотом да в окна пялятся слабые отблески далекого сполоха.

На кровати шепот, вздохи.

Петр старается заснуть — не может. А так хотелось спать. Свернувшись, лежит под шубой, вспоминает кузнеца Филиппа, своего далекого товарища, и весь далекий свой уют, к которому—чувствует Петр— едва ли он вернется.

«Черт меня сунул сюда прийти».

В правом виске дергает, ноет живчик, замирает сердце. Хочется пить. Петр вздыхает. Тьма вторит ему глубоким вздохом.

Да, он определенно их ненавидит, как каторжник кандалы. Недаром с таким омерзением мыл смердящие, полумертвые их тела. Ему тошно было гоготанье Федора, и кто-то уж подталкивал руку: «Задуши!»

Погас последний уголек в печи, утихло небо. В липкой, нудной тьме Петр хлопает глазами.

И опять: «А ты убей их! Тогда свобода!»

Петр трясет головой, стонет, злобствует: нет, он никого не убивал. «А если убью, то только себя. По праву».

«И их!»

Петр грохнул в пол кулаком и заскорготал зубами.

— А?! Ты, Петрован, чего?

— Я вам хочу сказать вот что, — раздельно начал он. — Вы знаете бухту? Черную скалу на ней? Вверху гольцы, внизу пещера.

— Ну, ну?

— В эту пещеру я замуровал ваших покойников.

Тишина наполнилась скрипом кровати, кряхтеньем, шепотом. Петр пристально смотрит туда, видит сквозь тьму, как крестятся рыбаки, ясно представляет себе полоумные их лица.

Молчанье тянется долго. Петру тяжело. И для чего он сказал им?

— Петрован, вздуй светец!

— Зачем?

— Да так. Мне не видать тебя... Надо, чтоб видно...

Петр исполнил просьбу и кстати закурил. Федор повернулся к Петру и долго смотрел на него.

— А зачем ты нам сказал?

Петр поднял голову:

— Что именно?

— Пошто ты сказал, где схоронил? — Голос Федора испуганно дрожал, был подозрителен.

Петр не знал, что ответить.

— Ну, сказал и сказал!

Рыбак медленно спустил с кровати ноги и завстряхивал головой, словно отбиваясь от шмеля. Жалкий, уничиженный вид его, козья беленькая бороденка, полуоткрытый рот, из которого с хрипом вылетало вонючее дыхание, вновь пробудили в Петре чувство омерзения и жалости.

— Я знаю, пошто ты нам сказал...

Рыбак повесил голову, согнулся, упрямо глядел в пол.

Петру показалось, что из глаз Федора капают на половицы слезы.

— Ты хочешь от нас уйти... Вот и сказал... чтоб знали. Ты хочешь нас бросить...

Послышался тяжкий, всхлипывающий вздох. Замелькала, затеребила бороду дрожащая рука:

— Умрем мы!

Петра кольнуло в сердце.

Федор не торопясь поднял голову. И если б глаза его были зорки, он заметил бы, как подергивается и горит лицо Петра.

Долго, испуганно рыбак чего-то ждал, потом заговорил:

— Мы тебе верим, Петрован! — Голос его вилял и обрывался. — Верим, верим, ничего!.. — начал торопливо выкрикивать он. — Ты не бросишь, ты, Петрованушка, не спокинешь нас!.. Верим.

— Не спокинешь!.. Конешно, верим!.. — как вой метели, отозвалась Марья.

Когда послышалось их ровное дыхание, Петр порылся в сумке и достал портрет Наташи.

«Ну, голубка!.. Тяжко мне... Задача усложнилась, душа дала трещину. Пособи, внуши!..»

И с большой нежностью стал целовать изображение юного лица с двумя густыми, перекинутыми на грудь косами. И вот кажется ему: Наташа оживает,

припала к его груди, обвила руками шею, жадно дышит. Миг сладок, но Петр говорит: «Довольно!.. Сентимент!..»

И, спрятав портрет, вынимает толстую, мелко исписанную тетрадь.

Заносит туда лаконично:

«Подозревают. Естественно. Рыбак Федор, будь он на моем месте, конечно, ушел бы, бросил бы меня. Значит, и для меня есть выход. Пожалуй, так поступил бы всякий нормальный человек. Нормален ли в этом смысле я? Вопрос. Желал бы быть исключением. Но для этого нужна воля, для воли нужно солнце. А где оно? Круглые сутки — ночь. Очевидно, воля волей, а географическая широта — над ней».

Перечитал, задумался и не препятствовал внутреннему голосу, который говорил, что совесть Петра теперь свободна, что она сбросила путы, мешавшие ей. Но почему?

«Рыбак Федор на моем месте ушел бы. Так поступил бы всякий нормальный человек».

«Но почему, почему я предполагаю, что Федор ушел бы? А может, Федор и не ушел бы, не бросил бы погибающего человека? Надо выяснить, надо обязательно этот пунктик довести до четкой ясности... Иначе...»

Полночь. Тикают на стене часы.

Вдруг померещилось пенье петуха — схлопал в сенцах крыльями, запел.

«Странно».

Ярко топилась печь. Ковались в пламени червонцы, гудели синие огни, меж золотых углей струилась кровь.

«Черт варит кашу», — подумал Петр. В его глазах рябило, в сердце назревало, копилось что-то большое, пугающее.

«А ты все сидишь да сидишь? Думай, думай...»

«Я ни о чем не думаю».

«Что ж, уходи!.. Губи нас!»

«Я не собираюсь».

«Твое дело молодое, мы старые... Чего жалеть!»

Опять петух схлопал крыльями, запел.

Петр быстро вскинул глаза к кровати: спят.

«Странно».

Достал спирт, отхлебнул, крякнул. Крепкий спирт не ожег — вода водой. Отхлебнул еще. Лег.

В ушах стучало и слышался беспрерывный шум. Закрыл глаза, но сон не шел. Спирт стал гулять по жилам. Чуть отлегло в душе. Словно рассвет забрезжил.

«Дурак, дурак, ради чего ты мучаешься!» — прошептал кто-то, подмигнул.

«Уйду!»

«Где тебе? Слюнтяй ты! Хи-хи-хи!»

«А вот уйду!»

Петру, в сущности, не хотелось вступать в спор.

С той страшной в сенцах ночи чей-то голый голос частенько напоминает о себе. Но Петр гонит его прочь, он знает, что это его болезнь, он сам, его собственных две половины.

«И чего ты жалеешь их?» — шепчет призрак, очень похожий на Ваську-медвежатника, архангельского мужика, приятеля.

Сидит Васька на сутунке против Петра и шепчет. Шепнет слово, захихикает, шепнет да подмигнет оловянным глазом, будто издевается. Надо бы на Ваську рассердиться, выгнать. Лень.

«И чего ты их... хи-хи-хи, жалеешь?»

«Люди».

«Вши... Под ноготь — раз! Хи!.. Дурак!»

— Молчи, пень! — крикнул Петр.

Васька качнулся на чурбане: «Чшшшшшшш, — погрозил пальцем, — пошто шумишь? Разбудишшшш...»

Петр открыл глаза. Васька пропал. По сутунку елозил отблеск еще не угасшей печи. Дремотно, тихо, полумгла. Петр потянулся к топору, положил возле:

«Только приди! — Ему надоел этот веселящийся мужик. — Убью!»

Дремотно, тихо угасает печь. «Сохатый» загнул

трехзвездный хвост к самому окну, месяц ледяным лицом заглядывает в избу.

— Замерз я, старуха... Охо-хо!..

— А Петрован-то спит?

— Спит.

Федор спустил ноги, с какой-то особой лаской оправил чистую рубаху и побрел на умирающий огонь. Взял клюку, сгреб в кучу и положил крест-накрест четыре полена:

— Благослови, Христос!

Сухие дрова вспыхнули, как солома. Рыбак опустился на сутунок, где только что сидел Васька, согнулся вдвое и с улыбкой, тихонько гогоча, грелся возле пламени.

Петр скрипел зубами, что-то бормотал и шарил рукоятку топора. «Только приди... Убью!»

Федор погрузился в думы. Он вспомнил родные калужские поля, и в хорканье червонного пламени ловил то шелест колосистых нив, то отдаленный монастырский благовест. Вспомнил нужду, погнавшую их в Сибирь за счастьем. Вот теперь гибнут, умирают оба. За что же? Ну, за что?

«Ледяное море холодное, солнце немилостивое, скупое, морозы студеные. Господи, не дай загинуть! Господи, укрепи раба твоего Петра!»

Сидит на сутунке Федор, думой думу погоняет и только занес руку, чтоб перекреститься...

Петр, вздохнув, открыл глаза.

Возле него, на сутунке, скалил белые свои зубы Васька-медвежатник, лукаво моргал глазом и грозился:

«Чш-шш-шш!..»

Петр крепко ухватил кровожадно звякнувший топор.

«Хи-хи!.. Спишь?»

«Не сплю... Тебя караулю».

«А давай всурьез!» — Васька закинул пятку на правое колено, заюлил-заюлил носком сапога и залихватски подбоченился.

«Выходит, ты уйдешь... Скажи, уйдешь?»

«Останусь».

«А говорил — уйдешь. Дурак. Хи-хи!.. Ну, ладно. А для чего ж останешься?»

«Поставлю на ноги их...»

«Врешь, уйдешь!.. Ш-ш-ш... ты не серчай! Ну, ладно... поставишь на ноги, а сам? Подохнешь?»

«Не знаю».

«А я знаю... Может, подохнешь, может, нет... Я все знаю... Я наперед вижу, всю жизнь твою вижу, — вздохнул Васька. — По тебе жизнь — палка, а по-моему — обруч. Сижу у начала, а конец-то вон он... Хи-хи! Все знаю-перезнаю».

«Что знаешь? Скажи».

«Ишь ты какой, больно ловко!» — подмигнул Васька и закрутил черную свою бородку.

«Скажи!»

«Чего говорить? Мразь ты, вот ты кто!.. Хи-хи-хи!.. Ты во сто раз лучше меня знаешь, что уйдешь... Шкуру свою спасти хочешь... Черт! Разве тебе наш брат, мужик, дорог?»

Петр шевельнулся, крепче сжал топор, глазом прикинул, куда рубнуть врага.

«Вижу, злодей, вижу!.. Убить хочешь. Не боюсь!»

Петр, крадучись, приподнялся и со всех сил рубнул Ваську топором по темени.

Застонал кто-то, рухнул на пол. Застонал, заметался Петр. Он слышал, как из разрубленного черепа Васьки струится кровь. Петр облился холодным потом. Ладони его прыгали по столу, отыскивая спички. Чиркнул.

— Петрованушка! Господи Суси!..

Петр оторопело метнул взглядом в передний угол, к образам, ноги подсеклись.

Под образами, хватаясь за ножку стола, трудно подымался Федор.

— Чегой-то ты, Петрован? Ой, батюшки!.. А меня помолиться потянуло.

Петр тупо смотрел на всаженный в сутунок по рукоять топор и ничего не понимал. Где ж Васька?

Три дня лежал Петр влежку, ожидал смерти. Однако на четвертый полегчало. Стал снаряжаться: набивал патроны двойным зарядом пороху, делал крестообразные надрезцы на головках пуль, чтоб смертельной была рана в груди медведя.

С тревогой следили рыбаки за его работой, молчали, даже не шептались. Их молчанье было знаменательно: Петр ясно видел все их сокровеннейшие думы. В такие минуты слова излишни. Три человека — они и он — были связаны в одно. Все открыто, как ни старайся скрыть, запутать.

Но между ними был четвертый, тайный. Петр знал его: он — некто маленький и лукавый, сидящий в нем, он силен, когда слаб Петр. А вот пройдет болезнь, Петр, как змею, загонит его в дуло, и выстрелит, чтоб развеять прах с кишками. Скорей бы!

«Поправлюсь или не поправлюсь?» — все время вьется вопрос, как над полыньею чайка.

Но и отвечать не надо — Петру ясно: если здесь останется — умрет. А между тем хочется спрашивать, хочется гадать, ждать обманного ответа.

«Уходить или оставаться?»

Он исподлобья взглядывает на рыбаков и в их унылых, раздавленных фигурах читает приговор:

«Уйдешь!»

Петр опускает взгляд в землю, руки его работают ощупью, неверно загоняя пыж.

Весь день прошел в молчанье. Чувствовалось неладное, мучительное для всех троих. Не слаще была и ночь. Сон исчез из зимовья, думы выгнали его на мороз, под расцвеченные огнями небеса.

Охватило всех тихое безумное смятенье. Лежали молча, прикидываясь спящими. Как высушенные жгучим ветром нивы примолкают перед грозой, ждут, облекаются в тень любопытствующей тревоги, так и они, трое, почувствовали ясно, что гроза идет.

«Господи, как бы не ушел, — думал Федор и, крадучись, вздыхал. — Нет, не уйдет, однако. Никола милостивый надоумит... Петропавлы апостолы».

«Как же я уйду от них? Я не зверь, я человек, — думал Петр. — Хотя бывают обстоятельства...» И эти противоречивые мысли не дают покою.

«А я не выпущу, — бродит в голове полоумной Марьи. — Вот лягу поперек двери, да и... Ей-богу! А то шапку схороню».

— Ты, Петрованушка, спишь?

— Нет.

— И я не сплю. Хворь чегой-то наседает. Душу свою за овцы... Вот как это в церкви-то?.. Отец Гарасим, бывало, архимандрит...

— Знаю, — ответил Петр. — Это в евангелии Христос сказал: «Кто душу свою полагает за други своя...» Да, это хорошо сказано.

— Дюже хорошо, — вздохнул Федор.

— Дюже... — простонала Марья.

«Други своя... Какие они мне други? Нет, все равно. Каждый человек, нуждающийся в помощи, — друг. А есть ли более несчастные, чем они?»

«Вразуми его, господи, царь небесный, батюшка!»

— К чему ж это, Петрованушка, сказано?

— Христос призывает жертвовать собой.

— Жертвовать, — задумался Федор. — Это как же жертвовать? Вот у нас лавочник плащаницу пожертвовал. Опанкрутил тестя да жертву принес...

«Но как же все-таки быть? Нет ли здесь поблизости рыбаков?»

— Он плащаницу, а бог-то сказал — овцу!

— Да нет же! — раздраженно крикнул Петр.

— А как?

— Ну, как тебе объяснить. Вот, скажем, человек шел по льду и провалился... А другой увидал. Он, не раздумывая, должен броситься и спасти того.

— А ежели не умеет плавать?.. Он и того-то утопит... проваленного-то, забулдыгу-то...

Не сразу ответил Петр, задумался.

— Все равно надо спасать, — наконец сказал.

И тотчас же усомнился: «Да так ли? Для чего? Чтоб обоим пойти ко дну?»

— Ты, Федор, очень буквально, то есть — просто, понимаешь. Конечно, на подвиг, на явную опасность не всякий пойдет, а только смелый... А вот что, нет ли поблизости рыбацкой артели, вроде вашей? — неожиданно закончил Петр.

Федор не расслышал.

— А я бы стал спасать, — сказал он. — Сроду не плавал, а стал бы... Все ж таки живая душа, грех кинуть... Я бы жердья принес, досок... Я бы народ сгайкал.

Ему захотелось задать Петру прямой вопрос: уйдет или нет? Но душа не позволяла.

«Нет, не уйдет. Ежели б хотел, нешто стал бы с нашим братом нянчиться?.. С дерьмом...»

— А ты, Петрованушка, спас бы утопленника-то?

— Нет, — твердо сказал Петр и сердито укрылся с головой.

Ему вспомнилась запись в дневнике. Да, теперь ясно. Если б Петру поменяться судьбою с Федором, этот мужик никогда бы не бросил Петра в несчастье.

«А я бы стал спасать», — отчетливо звучала в голове Петра только что сказанная больным рыбаком фраза. Да, да, да... Так оно и есть.

Очень долго длилось напряженное молчание. Тихо в избе и за избою. Только голодные песцы где-то взлаивали по-собачьи и завывали жалобно.

— Бабка, — едва слышно прошептал Федор. — Надо молиться богу-то... Уйдет!

— Уйдет, — прошептала Марья. — Как не уйти, конешно, уйдет. Чего ждать-то?

— Умрем ведь. А?

— Ох, умрем!..

— С голоду умрем, бабка...

— С голоду, с голоду...

— Лучше пусть застрелит...

— Ой, ты! — завизжала Марья. — Боюсь я! Чего стращаешь? Боюсь!

Петр откинул шубу:

— Что ты кричишь?

— А ты не стреляй, — дико заговорила женщина. — Пошто стреляешь? Нешто я медведь? Я не медведь...

— Цыть ты, — цыкнул Федор. — Ботало коровье! Замоло-ола!

Вновь все успокоилось. Петр лежит в тишине, во мраке. Небо неподвижно, не светит месяц, густая ночь.

Петр слышит — плачут рыбаки. Петр быстро приподнялся на локте. Да, плачут, сморкаются, всхлипывают. Он вдруг почувствовал на своих ногах несуществующие раны, струпья, что его десны кровоточат и ноют, как у тех двоих, Федора и Марьи, он испытывал физическую боль, словно он сам тяжко захворал. И его внезапно охватила большая человеческая жалость к ним, их стало жальче, чем самого себя.

Это небывалое чувство любви к человеку насытило все существо Петра каким-то светлым ликованием, оно твердо влекло его на подвиг.

Нет, не уйдет он, не уйдет! Сейчас же встанет и бесповоротно объявит им, принесет клятву.

Ему хочется крикнуть: «Не плачьте, други!»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Настало новое утро. Петр обрядился во все теплое и взял ружье.

— Кормилец, куда ты? Куда ты?! — взмолился вдруг Федор, будто выдохнул последний стон, и упал Петру в ноги. — Марья! Бабка! — кричал он, хватаясь за Петра. — Уходит! Ой, ты, батюшки!.. Отцы-заступники!!

Сорвалась с кровати и Марья. Петр растерялся:

— Что вы, чудаки? Я ж не уйду!.. Что вы?

— Уйдешь, уйдешь!

— Что ты задумал?! Петрованушка!.. Андель божий! Погубитель...

— Я на охоту. Запасы кончаются... Вдруг свалюсь. Что тогда? Пойми ты это!

— Ой, не уходи!.. Христом прошу!

— Пока здоров, медведя убить надо... Крови надо. Ну, пусти же меня! Пусти!

Петру хотелось сумасшедше взвыть. Но тот, лукавый, научал:

«В зубы, в зубы! Двинь ногой!»

Петр к двери, за ним, на коленях, причитая, рыбаки.

С чувством отчужденной жалости он жестко смотрел на их скрюченные, опухшие в суставах кисти рук, на их исковерканные отчаянием дряблые лица.

Но что ж ему делать?! Что делать ему с самим собой?! Внезапно вспыхнувшая искра любви к этим людям была только слабым отблеском чего-то большого, она не разгоралась в пламя и готова была погаснуть. Она не более, как сухой теоретический подход, как ловкая увертка умствующего разума. Нет, нет! Вид этих рыбаков едва переносим.

Марья ползла, вывертывая ноги, как тюлень ласты. Федор норовил вцепиться и удержать его. Капали на пол слезы, жутким стоном стонала изба.

— Приду!

— Стой! Сто-ой! Мила-а-й!

С облегчением он потянул ноздрями морозный воздух. Лицо приятно защекотал колючий холод. Чуть поднявшись над хребтом, тусклым шаром леденело солнце, был полдневный час.

— Солнце, солнце! Молодчина, Петр: ты поборол пространство, ты поборол бурю, наконец, полярную ночь покорил ты! — брызнул ключом радостный крик и сразу высох. — Черт! Весна идет... А я все здесь!..

Петр знал, что инородцы Севера после полярной ночи встречают первый луч солнца веселым праздником, и с горечью сказал:

— А мы проспали.

Заструги сугробов плотны и блестящи, но меж ними рыхлый снег. Петр надел лыжи и стал ходко подаваться к океану. Безмогильный погост кругом, немая смерть.

«Хоть бы собачонка была — все повадней», — подумал Петр.

«А я-то, — сказал Васька, — я тебе сейчас оленя пригоню, жирну-ущего!..»

Он скользил за Петром, но тот не оглядывался — знал, что нет никого, — только слушал.

Петр пригнулся и, ловко извиваясь меж выступами скал, спустился с кручи на белый ледяной простор. Васька, видимо, отстал. Петру стало свободней. Закованный льдами океан напомнил ему тундру, сердце екнуло и затрепыхало, как птица в клетке, увидавшая родные леса.

«Эх, туда бы!.. Домой бы!.. К Филиппу!»

О далекой, но такой близкой, родной Наташе в этот холодный день мысль не зачиналась. Скользом мимолетно мелькнул темный локон и пропал. О другом думалось, другое угнетало дух — белое, мертвое, что было перед глазами. Плавали вдали туманы, скрывая грань небес. И солнце было заткано туманами, жалкие лучи скупо освещали студеный воздух.

«Эх, домой бы!..» — все настойчивей просилось с языка.

Петр повернулся к зимовью и с ненавистью ударил взглядом по роковой скале, к которой приковал себя проклятой цепью.

«А вот возьму да порву!»

«Ну, ясное дело!.. Хи-хи-хи!»

Петр вздрогнул, пошел вперед, по привычке вынул трубку, чтоб закурить, но опять спрятал: не было охоты.

Хрустальные ребра исполинских льдин играли несмелыми огнями, снег отливал легкой синью, а на ветробойных местах искрился. Какой хороший день — морозный, тихий! Но почему нет радости, почему так дрожит и бьется душа?

«А ну-ка, Петр, тряхни!» — мысленно взбодрил себя.

Он налег на лыжи, зашуршал нетоптаный снег, засвистел в ушах ветер, замелькали торосья льда. Еще, еще, сильней! Все осталось позади. Петр остановился. Отер потное лицо. Дыханье было короткое, сбивалось сердце.

«Фу-у!.. До чего изнемог!.. Где ж ты, силушка?»

Он теперь еще более уверился, что болезнь цепко его забрала, и раскаивался, что вышел на холод.

Рука сама собой потянулась за биноклем. Приставил к глазам. Поводил вправо, влево и весь затрясся: верстах в двух, над полыньей, стоял белый медведь, ушкуй. Щеки Петра вспыхнули, и рука сладострастно скользнула по ружью. Огромный медведь, раскачиваясь, смотрел в черный провал меж льдов.

«Караулит рыбу или моржа».

К нему легко подкрасться из-за тороса, высокой грядой, как дамбой, опоясавшего в этом месте океан. Под защитой гряды Петр бойко двинулся вперед. И единая мысль была: «Как бы не ушел!» Единое желание — напиться крови, влить в холодеющие жилы звериного вина.

«Крови, крови!..» — как сухая губка, жадно жмыхало сердце, требовал потухавший взор. И уж все алело перед глазами: солнце, снег, холмы облаков, взбуровленные льды. И вода в полыньях закровенела.

«Крови, крови!» И, глотая обильную слюну, забыв усталость, бежал вперед. Сжавшись, с ухваткой хищника, прокрался ущельем меж глыб мертвого льда. «Здесь!» Нет, все еще далеко: рука дрожит, пуля обманчива, надо ближе.

Дул встречный ветерок — радость охотника, — медведь не учует. Петр пал на грудь и пополз, не спуская с медведя глаз. Медведь обернулся, Петр замер. Медведь подался к полынье. Петр, как крокодил, подползал к нему. Близко. Из ноздрей зверя бьют струи пара, ему жарко, курится белая с желтым отливом шерсть. На белой морде три черных точки: два глаза, нос.

«Пора!»

Сердце упало, остановилось. «Вот он, царь льдов!» Блеснул смертоносный ствол ружья. «Спокойствие!» — приказал себе Петр и взвел курок. Досадно дрожат руки, в глазах стоит слеза, все дробится впереди и пляшет.

«Спокойствие!» Петр взял под правую лопатку: «Кажется, так».

Хлопнул выстрел. Медведь торнулся носом, перевернулся, пал навзничь. Потом вдруг всплыл на дыбы. Петр мчал к нему. Медведь испуганно, хрипло рявкнул, заметался и полным ходом пошел наутек.

— Ах, дьявол! Обнизило! — неистово кричал Петр, несясь за медведем. — Врешь, ушкуй, поймаю!.. Врешь!..

Васька то бежал сзади, то, нагоняя, похихикивал и хлопал в рукавицы. Но Петр не слышал.

— Врешь, нагоню!

Он вдруг остановился, бегло поймал зверя на мушку и спустил курок. Осечка.

— Тьфу!

«Хи-хи-хи!»

Петр бросил ружье, выхватил кинжал и по окровавленному следу еще быстрей ударился вперед. Медведь уходил. Петр напряг все силы. Но сердце разрывалось, захватывало дух. Ноги стали заплетаться. Петра качнуло, он схватился за голову.

«Наддай, наддай!.. Еще маленько!..»

«Ух! Не могу!..»

Заколебались, зазвенели льды, закружилось, рассыпалось черным огнем солнце. Петр взмахнул руками и упал.

«И я прилягу... Я тоже, брат, замаялся», — послышался Васькин голос.

Петр недвижимо лежал. Не было сил пошевельнуться, легкие работали вовсю, со свистом втягивая и выбрасывая воздух. Дурманно пахло звериной кровью, оросившей снег.

— Ух!..

«Пойдем в горы... Я тебе, по крайности, оленя пригоню... Ей-богу, право! Телятины... Хересу! Коньячку! — молол лукавый Васька. — А ушкуй твой в полынью нырнул!»

Петр закрыл глаза. Погруженный в снег затылок так приятно отдыхает, успокаивается сердце, светлеет в голове. Но галлюцинация не прекращается: Васька продолжает выборматывать:

«Ну их к черту!.. Беги, бросай их! В оперу пойдем, в театр. А то — убей!»

— Ладно убью, пожалуй, — раздумчиво сказал Петр. И твердо: — Убью!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Хворает Петрован-то, — прошептал рыбак. — Всю ночь бредил. Слышь!

— Ну-к што... — отозвалась Марья. — Слава богу!

— Балаболка ты! Короток твой ум, баба! Что ж мы, трое пластом будем валяться, что ль! В неделю ноги вытянем, чучело этакое! Тьфу!

Было утро. Голубел в окнах свет, гнал свет из углов остатки ночи. На лавке лежал Петр.

— Спит. Помолиться надо. Молись, ошметок.

— А мне чего?

— Кончается жратва-то, полудурок!.. Вот те и чего!..

Охая и тяжело ступая на больные ноги, сгорбленный болезнью, Федор стал разводить печь. Движение утомляло его, он то и дело присаживался на сутунок и слезящиеся глаза свои, жалуясь и умоляя, обращал к образу спаса.

— Суси сладчайший, Суси!.. — Слезы капали на грудь, на холодный пол. Бог не давал облегчения телу. — Андель божий!.. Петропавлы апостолы! — И не посылал на укрепу своего утешающего ангела.

Федор согнулся в дугу, сидит, покачиваясь, обхватив руками голову.

Петр открыл глаза, потянулся.

— Странно, — громко, бодро сказал он. — Ты все, старик, плачешь? И Марья плачет?

Федор мотнул головой, смутился.

— Плачем, Петрованушка!..

— Плачем, отец!..

Замолкли. Петр неприязненно вздохнул. Вздохнули и те двое, и вся изба, и мутный сумрак за окном.

— Ты и по ночам, Федор, плачешь? Слышал я.

— Чего поделаешь?.. Плачу, Петрованушка, плачу!

Федор скривил рот, заутирался кулаками и, всхлипывая и надсадно приседая на каждом шагу, поплелся к кровати.

— Старик, не плачь! Не надо, старик! К чему?

— Боюсь, Петрованушка, боюсь!

— Чего?

Федор ответил не сразу, потеребил бороденку, помигал, его лицо передернула судорога.

— Смерти, смерти боюсь я!.. Господи Суси!.. Ох!

— Смерти? Плюнь! Не бойся, друг! Она не так страшна.

Голос Петра густо гремел, а Федор говорил тихо, хныкал, давился слезами. Петр стал поспешно умываться. Вчерашняя переделка во льдах не могла сломить стального организма, она лишь взбодрила кровь, начавшую истлевать в этих безрадостных пустынях. Однако глаза его беспокойно блуждали.

«Да, конечно. Так и будет. Иного исхода нет», — твердо, как гвоздь в колоду, вошло в его голову новое крепкое решение.

Но тут же вспоминались двое: Христос и Ницше. Он старался проникнуться их волей к добру через подвиг или через призрачность зла. Но что такое добро и зло? Ведь это ж два лица одной сущности... А впрочем. Если б те оба, Христос и Ницше, были бог и черт, Петр знал бы, за кем идти. Но в его представлении и тот и другой — люди.

— А раз так, у меня должен быть свой путь. Я человек, и во всем равен им.

А сердце все-таки по-детски тосковало:

«Солнышко! Где ты? Спасенье в тебе одном!»

Петр весело сказал:

— Все будет хорошо! Вечером устрою вам праздник. Слышь, старик?

— Ох, батюшка ты наш!.. Как не слыхать?.. До праздников ли?

— У меня есть спирт, старик... Есть вино для Марьи. Выпьем... Больше, чем полагается! Идет?

Рыбак опять заплакал. И не понять было Петру эту причину его слез.

— Жратвы-то мало... вот чего!

— Не бойся... все будет хорошо. Верь!

— Спаси тя бог!

— Конешно, конешно, — жадно подтвердила старуха, следя, как Петр крошит в котелок ржаные сухари.

Чай пили молча. Петр был задумчив. Иногда сдвигал брови, судорожно схватывал заросший волосами подбородок и сидел так в немом оцепенении несколько мгновений. Зорко следивший за ним Федор пугался, ставил чашку и, вздыхая, осенял себя крестом.

Марья сидела-сидела, вдруг хихикнула.

— Мишка приходил... племенничек... Во снях это. А то, может, не во снях... было — не было... Я, говорит, раб божий Мишка... А это, говорит, раб божий Андрюшка... А ты, Машка, дура!.. Троица, Христос воскресь... Было — не было.

— Пей, чего мелешь! — крикнул Федор и ткнул ее в бок.

Марья посмотрела на него тусклым, как льдина, взглядом.

— Умрем мы, — и заплакала.

Рыжие с проседью волосы ее растрепались, свисли на лоб сосульками.

Большая скука была в избе. Жизнь отсутствовала. И трудно было ее создать. Петр дал рыбакам по глотку спирту, выпил сам.

Время спросить Федора о той загадке в ночи, там, в сенцах с мертвецами. Нет, лучше отложить до веселого вечера. Если не подымется пурга — вечер будет веселый, последний вечер перед днем...

Петр взял топор и вышел. Морозный с туманом день. Серый, безрадостный свет, мертвая тишь.

«Это хорошо, — подумал Петр, — погода установилась надолго».

Принюхиваясь, поджав лапу, стоя на дыбках у камня, песец сторожко смотрел на человека.

Петр обрадовался, посвистал, поманил его, как собачонку. Песец оскалил зубы, заворчал и по-собачьему тявкнул.

— Жалко мне тебя, бесенка... голодный.

Ему вдруг захотелось поймать зверька, чтоб приручить, но затея показалась бессмысленной: «Поздно!»

И враз выстрелил из револьвера. Песец кувырнулся, а два других скакнули из-за камней, хищно взлаяли и, поджав хвосты, бросились бежать.

Петр поднял за шиворот мертвого песца. Белый, с голубым отливом, крупный.

— Дорого бы, парнишка, взял за тебя! А теперь на кой ты прах? Лежи! — и швырнул его.

Потом сел на камень, закурил трубку. Табак показался противным, бросил. Встал и долго ходил перед зимовьем взад-вперед, заложив за спину руки, повесив голову. Колени тряслись, шумело в ушах, ломило где-то внутри, под глазами.

«Авось выдержу... Три-четыре дня. Авось найду...»

Взглянул со скалы направо. Туман осел, даль была прозрачна. Внизу лежала равнина покрытых снегом льдов. Вновь поднял песца, пытливо всматривался в мертвые, с молочным налетом, глаза его.

— А ну, парнишка!.. Голодная божья тварь! Сердишься на меня? Или рад? Скажи! Я думаю — рад. — Он прижал к лицу пушистый мех зверька и, улыбнувшись, вздохнул:

— Прощай, брат! А верней всего — до свиданья!

Робким светом кой-где замерцали звезды.

Косясь на окна избы, Петр бесшумно выкатил нарту, смазал салом полозья, проверил постромки. А сам загадочно улыбался и все потряхивал насмешливо головой:

— Плюс — минус... Маятник раскачивается... Надежды на него нет... Камень всегда падает книзу, определенно... Комик... — и еще какие-то странные ронял слова, сам того не замечая.

Когда кончил с нартой, снял шапку, огляделся.

Хорошо кругом. Все небо усыпано звездными огнями, ночь будет тихая, волшебная. А если выплывет на вольный простор месяц — заголубеет божий мир и все пути посеребрятся.

— Плюс — минус... Бесконечность... Единица, деленная на нуль. Пять патронов... Довольно! Праздник... Миф.

И с этим осколком мысли пошел к больным.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Ну, други, свету не жалей! Свечей наделал много. Открываем вечерку. У вас как — вечерка называется?

Петр зажег четыре свечи, расставил их в самодельных из чурок подсвечниках по углам избы, а три свечи привязал на равном расстоянии к веревке, протянутой под потолком из угла в угол.

— Чисто лиминаций, — взбодрился Федор.

— Заутрень!.. Христос воскресь, — перекрестилась Марья, острое, сухое лицо ее расцвело.

Петр бросал в горящую печь дрова:

— Эх, братцы мои, братцы! Хоть раз плечами тряхнем, забудем горе... Радости нет в нашей жизни... Эх, возрадуемся хоть раз!

Рыбаки не приметили отчаяния, прозвучавшего в беспечном выкрике Петра. Он развел спирт водой до вкуса водки и поставил на широкий, придвинутый к рыбакам стол.

Появилась крутая горячая каша, появилось варево из копченого мяса с луком, перцем. Вкусный пар клубился над котелками.

Рыбаки глотали слюни, глаза их блестели, бегали от яств к вину.

— Выпьем! — скомандовал Петр. — Я сегодня в ударе: буду много говорить. Я все покорил: пространство, стихию. И последнее испытание мне дано. А какое — узнаете сами...

Рыбак проглотил водку, забодал взъерошенной головой и, гогоча, потер грудь:

— Быдто Христос проехал!.. Кхе!

Марья смачно сосала вино, причмокивая языком:

— Еще, Петрованушка, еще!.. Скусно!..

— Выпьем, други, за радостную встречу!

— Андель божий, спас ты нас!

— Выпьем за встречу... Я черт, не ангел! Не пугайтесь, не пугайтесь! Я человек! Я — Люцифер!

— Хы-хы-хы, веселый ты парень! Ей-богу, право! — пододвинул чашку Федор. — Плесни-ка... дюже обжигает.

— Выпьем за Люцифера! Я — Люцифер, носитель света. Я был с богом. Хочу восстать. Бог и природа для меня — одно.

— Одно, батюшка, одно!

— Впрочем, вы ничего не понимаете. Говорю не для вас. Говорю для своих ушей, а оттуда... по ниточкам в сердце, в мозг. От языка в мозг, поняли? Обратный ход. Это разве нормально? Пей, старик, пей! Значит, кто-нибудь другой говорит, тот, кто во мне. Вдвоем, значит: я и он. Поняли? Эх, ни черта вам не понять!.. Пей, что ли!

— Хы-хы-хы!.. Смышленые твои речи.

Похлебку с луком ели алчно, кашу чавкали старательно, но все еще десны болели, зубы шатались, рыбаки стонали, охали.

— Пей, старик! Марья, пей! Будем громко говорить. Надо орать в тыщу глоток в этом крае молчанья, надо песню ударить, да так, чтоб чертям было тошно!

— Хы-хы-хы!.. — скрипел старик.

— Хе! — понравилось и Марье: — Чертям тошно!

— Ну, послушайте, спою вам красивую песню. Поет ее варяжский витязь, богатырь... Это в Питере, в театре, в опере. Слыхали про театр?

Торопливо и кратко передал им сказку про Садко, вышел на середину и, представив из себя варяжского витязя, запел:

О скалы грозные,
Бушуя, плещет море...

Грустно, плавно катился голос из широкой груди Петра. Рыбаки разинули рты и замерли.

> Но крепки серые утесы,
> Выносят волн напор,
> Над морем стоя...

Пламя ближних свечей заходило, заколыхалось. Рыбаки начали приподыматься, опираясь о кровать, а их удивленные глаза готовы были впрыгнуть в гремевший рот певца.

Когда загрохотал на верхах и грянул громом его голос: «Отважны люди стран полночных!!» — звякнули, затряслись стекла, а Федор лягнул ногой и с хохотом опрокинулся на кровать, заткнув пальцами уши. Марья замахала руками, залилась безумным смехом.

Петр оборвал.

— Животные! — пробурчал он под нос, сел за стол и сердито облокотился.

«А ты думал — люди? Вши!..» — прошипел под столом Васька.

Рыбак поднялся и, утирая с гноившихся глаз смешливые слезы, сказал:

— Вот так это глотка!.. Ну и орешь! Вот так же у нас дьякон, отец Вострофуил... Нажрется, бывало, пьяный и начнет рявкать. Так от водки и подох... Вострофуил-то...

— Подох, царство небесное, — перекрестилась Марья.

Петру хотелось рвануть, опрокинуть стол, но вовремя сдержался.

— Ну, друзья-приятели, выпьем еще! Чего нам не веселиться? Все равно!

— Пить так пить, а не пить так не пить, — скаля последние гнилые зубы, засмеялся подвыпивший Федор. — А вот ты нашу послушай, мужичью. Машка, зачинай!

— Я не смею.

— Зачинай!

— Язык толстый... Больно мне...
— Полудурок!..

Кабы бабе киселя, киселя,
Стала б баба весела, весела... —

нутряным ржавым голосом заскрипел рыбак, пристукивая в пол пяткой.

— Машка, подхватывай! Петрованушка, вали громчей!

Кабы бабе молока, молока,
Стала б баба молода, молода,
Кабы бабе сапоги, сапоги,
Заплясала б в три ноги, в три ноги...

Потом все трое запели протяжную, проголосную:

Ты подуй, подуй, бурь-погодушка,
Да с самой сиверной сторонушки...

Петр тихонько гудел низким голосом, тревожно прислушиваясь, как кто-то четвертый подтягивает и страшно врет.

«Васька это!»

Петр смолкнет — и Васька оборвет. Загудит Петр — заведет и Васька. Петр стал озираться, отыскивая Ваську. Должно быть, он возле печки на сутунке. Выждав время, Петр быстро оглянулся, но Васька сигнул в печку, только пятки мелькнули. Петр ухмыльнулся.

«Занятно все-таки!»

Он подбросил дров, мрачно нахмурил брови.

А рыбаки, обнявшись, выводили:

Ты ра-аздуй-ка, раздуй, бурь-погодушка,
Да э-эх, калину во са-а-ду!..

— Ну, ладно, замолчите, — желчно, с болью крикнул Петр. — Слышите! Я буду много говорить. Я вам скажу, кто я есть, с кем борюсь, кого должен победить. Эй, вы, рабы божие, черти! Я, кажется, схожу с ума!

Те, отмахиваясь руками и утирая слюнявые, в плесени, рты, пьяно плакали, взасос целовались.

— Други-братья! Выпьем еще! Эх, жаль мне вас! Скверно вы, люди, живете!.. Все мы по-звериному живем, лучше не можем, не умеем... Эх!

Петра тоже одолевало вино. Голова тяжелела, в жилах вместе с кровью плыл холодный жар, всего знобило.

«Я себя должен победить... Себя!»

Когда рыбаки захрапели на кровати, душу Петра враз ослепил глубокий мрак. Он выдохнул весь воздух и упавшим голосом сказал притаившимся стенам:

— Ну, вот... и все.

Он остановился среди избы и, покачиваясь, прислушался к себе. Грозный кошмар накатывался, внутри сгорало самое дорогое — дороже жизни, то вновь рождалось, крепло и росло: «Делай, что задумал»

«Знаю...»

Проносятся в голове вихри, вихри крутят, сатанеют. Стонет сердце, стонет, мучается естество.

«Пурга...»

«А все-таки я над собой хозяин! — Петр открывает крепко зажмуренные глаза. — Доказательств? Ты требуешь доказательств? Будут!» И начинает грузно ходить из угла в угол. Висевшие на веревке свечи роняют капли сала. Одна, привязанная за середину, потеряла равновесие, перевернулась вниз пламенем, чадит.

«Догорели огни, облетели цветы», — вспоминаются трогательные слова, царапают душу.

«Нет, еще не догорели... Сейчас погасим свечи и... погаснем сами... ха-ха-ха!..»

«Хи-хи-хи! — прячась в углу, подло подхихикивает голый голос. — Кончай скорей!»

«Ладно».

Петр оделся, с отчаянием вздохнул: душа неистово в нем кричала. Твердо подошел к спящим рыбакам:

«Ну, вот... Сейчас, кажется, все-таки убью вас!..»

Те крепко спали. Тихо было, одиноко, пустынно. Только лунные окна припали к полу, как хищники, сощурились, выжидающе открыли рты.

Петр вынул револьвер.

«Сначала вас, потому что я слаб... Потом — себя, потому что я силен».

За окнами топтался кто-то, шептал, слушал, дышал в стекло. Скрипели в сенцах половицы. Петр вздрогнул, взвел курок. Ствол очень холодный, очень горячий. Петр прицелился в потный, с плешью, череп рыбака. В сенцах шарят дверную скобку. Петр встряхнул головой, перевел ледяные глаза на свечи. Свечи плакали, и пламенные хвостики, омываясь в чаду, дрожали.

Перед взором Петра вдруг вспыхнул свет, и словно кто ударил его в сердце. С великой жалостью он взглянул на рыбаков, отшвырнул револьвер и — точно кто пригнул его — земно им поклонился, первый раз земно поклонился человеку — маленьким стал, проклятым стал, жалким стал.

«Проклятый — кланяюсь вам! Сильный — хочу спасти вас! Поборю — спасу! А вас поборет, приходите за мной — дам выкуп!»

Сон ли, явь ли? Нет, явь. И хмель как будто прошел, и Васька уже не смел пикнуть, показаться, — сдох. Все прояснилось, получало новый смысл. Но голова на плечах — не своя: шумела в ней пурга, взвизгивали вихри.

Не своими ногами встал, не своими вышел вон, погасив огонь. Озноб трепал его.

«А что же я?» — вдруг замер он.

До жуткой боли захотелось наконец узнать, кто же был тогда, в ту подлую, сумасшедшую ночь, там, в сенцах? Кто наваливался на него, кто сдернул одеяло и коснулся ледяной рукой его лба? Михайло? Но он мертвец. Федор? Но он пластом валялся на кровати.

«Разбужу, спрошу».

— Поздно, — упрямо сказал Петр. — Какой смысл знать все до конца? Да и есть ли конец? Всякий конец — начало.

С болезненным кряхтением он впрягся в легкую разгруженную нарту с небольшой поклажей и утонул в голубой, с трескучим морозом, ночи. И слышит Петр, как скрипят, надрывно стонут нарты:

«Ты погиб... Ты бросил людей... Ты погиб, погиб...»

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На четвертый день работники ближней рыбалки встретили изнемогавшего, полуживого человека.

То был Петр Лопатин.

Сначала приняли Петра за выходца с того света, за гостя из заклятых пещер, где лежат черепа «белоглазой чуди», — до того необычен был вид его.

Не вдруг артель добилась от Петра, кто он. Его слова были сбивчивы, взгляд мутен. Но мудрый старец Данило взял его лаской, своим спокойным, тихим голосом. Напоил крепким чаем, дал «перцовки», обогрел...

— Идите скорей, не медлите... — проговорил очнувшийся Петр. — Там погибают!

— Где?

— На-ка, прими фины... Эй, милый! — Данило лил ему в рот разведенный хинный порошок. — У нас, брат, всяка стремлюдия по этой части есть. А главное дело — фина. Вот когда кровища заиграет, хлобыснешь чуток это фины-то, оно и легче. Легче да легче, так и оклемаешься.

Петр крепко заснул. Когда проснулся, не мог сообразить, где он, кто эти люди, вдруг захохотавшие.

— Вот как, брат, поспалось тебе!

— Долго? — спросил Петр.

— С полден завалился, да еще день продрых, а теперича уж другой вечер. Вставай ужинать.

Но Петру не до того.

— Ушли?

— Кто, ребята-то? Знамо!

Артель веселая, молодая. Единственный старый

человек — артельный уставщик Данило. Сухой, высокий, с ключом за поясом, долгобородый.

Он сел у ног Петра и сгорбился:

— Четверо туда ушли, с припасом.

Петр растрогался. Ласково поглядел на старика.

— А то как? — поднял тот голову. — Люди — человеки. Жаль. Сам хотел ползти, да стар: ноги в дураках оставят.

— Они спали. Я разложил перед ними всю свою еду... Сам голодом шел, три дня шел... Три года. Наугад. Думал — безлюдье, нет никого... Вот вы...

Петру говорить трудно. Дыхание его горячее, язык распух, ныли десны.

— Огневица у тебя, родной... На-ка фины.

Петр поймал руку Данилы и крепко, благодарно потряс ее.

— Ты чего?

Петра вновь одолевал сон. Приходили звери: белки, горностаи, волки, барсуки. Переговаривались друг с другом человеческими голосами. Песец примчался, тот самый. «Здорово, Петруша! — сказал он, потешно крутя острой нюхалкой. — Вот и я, Петруша! До свидания, брат! До скорого свида-а-а...» Так и не кончил, ускакал.

Петр, застонав, открыл глаза. Склонившись, любовно смотрел на него Данило.

— Ужо утречком я те узвар сварганю, сорокапритошник у меня такой есть, от сорока болезней, от сорок первой смерти... Ххы!.. Зелье по всем статьям!

Петру приятно было слушать Данилу, потому что Васька тогда молчал, но едва Петр закрывал глаза, назойливый Васькин голый голос начинал его корить. Петр взглянул к двери. На краю скамейки, прислонясь к косяку, маячил в полумраке чернобородый.

— Кто это у двери?

Данило оглянулся:

— Никого быдто нет. А что?

Петру страшно зажмуриться и страшно отпускать Данилу, но старика одолевал сон.

«Да-да-да-да... О-х-ох!»

— А я спасу!.. Федор да Марья... Спасу!.. А те — покойники.

«Кто? Андрей да Михайло-то? Что в сенцах-то тебя хороводили?»

— А откуда ж ты знаешь? — прошептал Петр, борясь со сном.

«Я все-о-о-о знаю-перезнаю! Хи-хи-хи...»

Петр приподнялся. Данило смирно сидел, как нéжить. Петр с дрожью смотрел на его огромную белую, вдруг почерневшую бородищу.

— Уходи! Уходи! Кто ты? — и опрокинулся на изголовье.

Три дня прошло, три ночи. Болезнь сломилась.

Но омраченный дух Петра не прояснялся. Замкнутый, угрюмый, Петр лежал на кровати или шагал из угла в угол, то и дело жадно приникая к окну.

Взор тщетно щупал сизо-белую мертвогладь: смерть или воскресение? Но пустынная даль была пуста.

В душе такая же холодная, белая, в снегах, пустыня. Посреди нее черный столб, на столбе черный ворон. Неустанно ворон каркает:

«Враг!.. враг!..»

Душа мятется, душа ноет и болит.

«Смерть или воскресение?..»

Веселые парни потрошат тюленей: полосуют ножами животы, вырывают внутренности, сдирают бархатную шкуру, гогочут. Руки у парней в крови, ножи в крови, лица вымазаны кровью.

— Еду я, еду, — повествует Данило, взглядывая на Петра, будто для него рассказывает. — Ночь — хоть в глаз ткни, а гром так и гудет, молонья полощет. Вот и деревня близко, скоро лесу конец. Только слышу это я...

«Враг, враг!..» — накаркивает ворон.

Петр сел к окну, согнулся.

— А ты молчишь да молчишь?.. Чегой-то ты? — кликнул Данило.

Петр не ответил.

Весь угол завален тушами тюленей. Они смотрели на Петра черными глазами, жалели. Петр не выносил их взгляда. Начинало казаться, что они все знают и хотят ему все сказать. А когда он в мрачной думе сел к окну, подполз тюлень, приподнялся и, положив круглую голову на его колени, ждал. Глаза животного в слезах, вздыхает. Петр дал ему в нос щелчком. Тюлень обиженно посмотрел на него и пополз обратно, оставляя распоротым брюхом кровавый след. За этим тюленем подползли другие, много... А Петр — щелк да щелк. Уползали обратно обиженные, кровавые.

Данило толкнул локтем соседа — парня и спросил Петра:

— Ты кого это пощелкиваешь?

Петр смутился.

Данило что-то веселое отмочил. Все захохотали. Данило соврал погуще, чтобы развеселить Петра. Хохот захватил всю избу. Хохотали и тюлени. Только Петр молчал. Молча и обедал. Весь день молчал. Молчанкой и спать лег.

Но сон видел сияющий и беспечальный.

Будто плывут они, четверо, в расписной гондоле по голубым шелковым волнам. Солнце, птицы, берега в цветах, цветы в гондоле, на коленях Наташи, в руках Марьи, кругом цветы. А Федор, что у руля, щедро разбрасывает их в волны, в воздух. У него целая корзина гвоздики, нарциссов, алых роз. Наташа смеется, Марья радостно всплескивает руками — вся в белых канифасах. «Вот где царство небесно-то», — говорит и крестится. — «Всем морям море», — улыбается Федор. — «Море это — Средиземное», — поясняет Наташа. По краю ее одежд вишневой обнизью шли бусы. Петр умиляется, хочет всех обнять, приласкать, утешить. «Братья», — шепчет он. — «Спасибо тебе, Петрованушка, спасибо! — говорит Марья. — Экое царство небесное!..»

И Данило:

— Царство небесное!..

Петр тяжко открывает глаза. Эх, сон! Все пропало. Темно. Нет нарциссов, алых роз, отшумело голубое шелковое море.

— Царство небесное... Надо бы, ребята, помолиться! Что ж, все там будем!..

Копошатся в сумраке люди. Один за другим лениво загораются огоньки и плывут толпой в передний угол, к образам. У иконы тоже три огонька качнулись, закланялись — осиянная божья матерь младенца в руках держит.

— Как их звать-то? Спросить надо человека-то. Эй, Пётра!

— Федор... Марья...

А тех-то как? Вставай, чего лежишь?

«Умерли, умерли... — стучало сердце, как в скалы-льды. — К чему вставать? Умерли».

— Значит, умерли? — несмело спросил он.

Артель стояла на коленях, пела:

«Со святыми упокой...»

Пугливо, зябко колыхались огоньки, нескладным стоном стучали в уши трогательные слова напева, богоматерь кротко поглядывала вниз. Зачадило, запахло гарью. Затрещали светильники, огоньки кончали жизнь свою, изба уходила в могилу, в ночь.

«...но жизнь бесконе-е-е-чная...» — ныл, как скрип мачты, стариковский голос.

«Это все сон, все сон. Вот проснусь», — обманно шуршало в ушах, но могила глубже, глина вязче, камень тяжелей.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

«Наташа!.. Милая, бедная моя!..»

Петр шел белой равниной. Он еще не знал, куда идет, не знал — зачем: он шел казнить себя.

«К ним!.. Они погибли. Смерть была мучительна... Возле хлеба умерли с голоду! Старик изгрыз себе руки».

— Эх, жалко! — с тягостной болью воскликнул Петр.

Сумрачный день угрюмо сторожил его и разнес по ветру:

«Жалко...»

Петр закрыл глаза и шел так несколько минут, чужой себе. Взмахнул ветер седыми рукавами, как холщовым саваном покойник, вздыбились, заиграли козлом белые вьюны.

«Скоро ударит, — подумал он про надвигавшуюся пургу. — Надо приготовиться».

Петр горько ухмыльнулся. Вот он, больной и немощный, ушел тайком из рыбачьей артели, от этих милых ласковых парней, от добродушного Данилы. Наверное, спохватились, ищут его. Пускай!

Он присел отдохнуть на твердый бугор снега, устало взглянул мутными глазами в южную сторону, и вновь вспомнился ему Филипп.

«Дружище!.. Может, когда-нибудь и прочтешь?..»

Он вынул из куртки книжку и нетвердой рукой написал:

«Природа! Я тебя люблю, но я тебя и ненавижу; ты моя любовница, и ты — мой злейший, заклятый враг!»

Он некоторое время сидел в раздумье.

Ему еще раз захотелось попытаться приковать себя к земле, но он чувствовал, что цепь жизни тонка, как паутина: душа его сложила крылья и, словно умирающий, забившийся в ущелье коршун, ожидала свой предел.

Он видел одряхлевшим взглядом: снег, мороз, холодное солнце и эти льды.

«Лед, лед, лед, — повторил он в мыслях. — Все лед, и нет нигде жизни!» Но кто-то, перебивая его думы, назойливо кричал ему: «Жизнь, жизнь, всюду жизнь! И в льдине жизнь, движение. Двигайся, двигайся, двигайся!»

Петр быстро встал, встряхнул плечами. Да, надо двигаться, надо идти. Но куда, куда?!

Ветер креп. Седые вьюнки предательски ласково лизали его ноги. Простор мутнел.

«Как я слаб!.. Жар... Озноб. Прилечь бы, уснуть!»

Кто поручится, что мир есть, что мир существует? Все кругом было прозрачным, призрачным, стеклянным, все позванивало, струилось потоком белой мглы. И не стало человека.

Бушует над неоглядной тундрой, злобствуя, бесится пурга.

Шел человек белым полем, пропал человек. На тысячу верст разметала пурга лохмы, воет:

«Я белая, шальная, я стра-а-ашшшная! Зачем пришел?»

Шел человек белым полем, пропал человек, погиб.

Воет пурга, белые поминки правит, торжествует.

Но человек живуч и жив, он спрятался, укрылся: снежинка за снежинкой, пласт за пластом пурга одела его пуховым белоснежьем. Жив человек!

Он в яме, он давно залез в нее, в это надежное прибежище, как в гроб. Снег снизу, снег с боков, со всех сторон, над головой...

Пурга разразилась безморозная, сырая. Приминая липкий снег ладонями, Петр лепит свод, утаптывая дно, равняет стены. Убежище готово. Темно и влажно. Петр в снеговой пещере, как в скорлупе орех. Сознанье Петра напряжено, чтоб не заснуть: заснешь — умрешь! Он сидит, поджав ноги, держится за шест. Толстый шест уперся в дно, проткнул пустоту пещеры, проткнул лежащий над головой сугроб, вылез на поверхность, сторожит пургу. К концу шеста привязана черная котомка: авось приметит ее случайный путник. Надо безостановочно вращаться вокруг шеста, как на карусели: вправо — вправо — вправо, влево — влево, чтоб не кружилась голова.

Время от времени, когда не лень, Петр чуть приподымается и, уткнувшись затылком в снеговой свод, начинает вольным концом шеста разбалтывать надмогильную дыру. Насторожит прожорливое ухо, слушает: воет пурга, поминки над ним правит, выше нагребает, охорашивает могильный холм. Когда же ей придет конец?

«Ну-ка, подвинься», — сказал чернобородый и сел рядом.

— Васька, ты? Почему же ты в сюртуке? Мужик, а в сюртуке?

«Потому что надо», — улыбнулся Васька по-хитрому.

Петр, не раскрывая дремотных глаз, молча, сквозь веки рассматривает Ваську: красный галстук, белый высокий воротник, в бороде — дрянь какая-то. Васька хихикнул в горсть и ударил Петра по затылку. Петр стукнулся носом в шест.

— Фу, черт... Заснул.

В могиле темно, сыро, пахнет снегом. Воздуху мало, ничего не видать. Васьки, конечно, нет и не было. Петр еле приподымается, настораживает ухо: пурга по-прежнему бушует, кроет мир. Голова Петра падает на грудь, силы слабеют.

«А ты вертись, — сказал Васька. — Чего сидишь? Вредно!»

Он взял руку Петра: «Ну-ка, пульс, я — доктор». Открыл свои золотые часы, шевельнул черной бородой, сказал с нахальцем:

«Очень хорошо. Скоро околеешь».

— Врешь! Я жить хочу! Жить! — отчаянно крикнул Петр. — Пшел вон!

Васька испугался, смолк, пропал.

«Плохо, очень плохо... Бред», — подумал Петр и нащупал в кармане револьвер.

«Что ж ты молчишь? — голый раздался Васькин голос. — Ты зверь, ты прах, ты говядина...»

— Я сильный...

«Ха-ха... Сильный?! Чем? Брюхом-то, мясом-то? Просторы покорил, пургу покорил, полярную ночь покорил? Так, по-твоему? А себя покорил? Зверя своего посадил на цепь? Ха-ха...»

— Не смейся, черт! Молчи!

«Молчу. Пузом все покорил, как же! Воевода, богатырь! А вот внутрях-то у тебя заслабило, схлюздил... Вот подсунули тебе двух стариков сопливых: а ну-ка, Петя, экзамен сдай, — ты — тюх! — и провалился. Факт, факт, факт!»

— Неправда... Я их...

«Знаю, знаю... — замахал Васька руками. — Ты

сейчас скажешь: «Затем их и бросил, чтобы спасти их...» Враки! Юлишь, Петруша. Туман наводишь. Ты их возненавидел. Ты себя спасал, не их. Шкурник ты! Убийца! Факт!»

У Петра сжалось сердце. Он отодвинулся от Васьки и, опасливо поглядывая через тьму в его глаза, сказал:

— Я же не убил их...

«Убил, — как пилой по железу царапнул Васька. — И их убил, и себя убил. Так тебе и надо: не бросай. Ты думал: люди — вши. Ан ты вошь-то оказался, гнида. Факт, факт, факт...»

— Молчи!

«Молчу...»

И видит Петр: обнявшись с Васькой, сидит старик Данило, рыбачий уставщик.

— А ты зачем? Ты тоже судить меня пришел?

«Судить, судить, — враз ответили Васька и Данило. — Эй, Федор, Марья! Выходи!.. Требуй выкуп!»

Петру стало нестерпимо душно. Все тело палил испепеляющий огонь. Петр рывком расстегнул парку, рванул ворот рубахи:

— Жить!.. Воздуху!.. — он глухо кашлянул, открыл полумертвые глаза.

Пусто. Влажный и темный склеп.

«Неужели умираю?» — с каким-то отупелым безразличием подумал он.

«Чего рубаху портишь? — вновь прозвенел голый Васькин голос. — Ты рубаху не рви, ты скорлупу проклюнь».

— Какую скорлупу? — лениво удивился Петр, смыкая глаза, и, лишь зажмурился, увидел Ваську. — Какую скорлупу?..

«Как — какую! Ты же цыпленок. Проклюнь и выскочи. А потом кукареку-у-у-у! — и все узнаешь. На револьверчик, на... Проклюнь».

— Я тебе башку проклюну! — и Петр с яростью вцепился в Ваську.

«Стой! Ты меня стрелять?! — рванулся тот. — Дурак! Себя убьешь...»

— А, дьявол!

Петр схватил нахального мужика за бороду и с освобождающим злорадством выстрелил ему в висок...

Васька изумился, захохотал, заплакал и тихонечко сказал: «Иди».

Все так же было прозрачно, призрачно, стеклянно, все позванивало, струилось потоком белой мглы.

Пурга зарыла человека в хладную могилу и в вое, в хохоте оплакивает его. Белая, безглазая пурга умеет только выть и плакать.

Шел человек белым полем, пропал человек.

На тысячи верст разметала пурга холмы, воет: «Я белая, шальная, я стра-а-ашшшная... Зачем пришел?»

Очнулся Петр у тех же рыбаков. Он недалеко ушел от их становища. Рыбаки нашли его по берестяной котомке, привязанной к шесту, которым Петр предусмотрительно проткнул снеговую свою могилу.

Возле него все тот же уставщик рыбачьей артели Данило-дед, ласковый, внимательный.

Надвигалась весна, стало ярко светить солнце, у Петра быстро нарастали силы. Ненавистная «пурга» в его душе кончилась, и прежнего удрученного настроения как не бывало. Он снова бодр, отважен, весел.

Да, поистине, он поборол смерть и, как внезапно спасенный от погибели, радовался жизни.

Он остался в артели, чтобы своим упорным, умным трудом отблагодарить рыбаков за их высокий, по отношению к нему, человеческий подвиг.

Миновало три месяца, солнце быстро согнало снег, и вдруг влетела в голову Петра обольстительная мысль о вольной воле. Да! Пусть закадычный друг Филипп пользуется его избой, до свидания, милые товарищи по ссылке, Петр не возвратится к вам!

Вскоре, одна за другой, прибыли три норвежских шхуны. На одну из них Петр устроился матросом.

БОБРОВАЯ ШАПКА

I

Сапожник Сныч выпить не дурак. А руки у него золотые.

Впрочем, работой он себя не утруждал: в субботу напивался вдрызг, затевал с кем-нибудь скандал и весь избитый попадал в часть, где иногда просиживал и воскресенье. Понедельник же, как известно, тяжелый день. Его Сныч употреблял на опохмелку.

А то вдруг укрепит гайку, месяц работает, другой работает, потом как закрутит — ух ты, но!.. Мороз не мороз — бегает в опорках по улице, ругается, судьбу свою проклинает, весь свет белый проклинает, кулаками машет:

— И буду пить!.. Потому, у меня душа воет. Ха, жисть!! Нешто это жисть? Тьфу!..

А извозчики на бирже зубы скалят:

— Эй, Сныч!.. Ты не пей, брось... Ты копи деньги-то на водку!

Из себя он тощий, бледный, белобрысый, усики маленькие, а под левым глазом всегда фонарь.

Так бы Снычу и погибнуть под забором, но вот ударил гром, пришла беда, и вся жизнь его круто повернулась.

Случилось это так.

Однажды, поздней осенью, — уж грязь на дороге подстывать стала, — стянул Сныч у своей законной жены Катерины Ивановны самовар и потащил в пропой.

Жена за ним:

— Стой, лиходей!.. Стой, мучитель!

Сныч крепко самовар облапил.

— Сторонись! — опорки по пяткам шлепают.

Подбежал Сныч к речке, батюшки! — мостки разбирают плотники, одна плаха осталась, лежит на козлинах.

— Имайте его, хватайте!..

Оглянулся Сныч — жена к нему с лопатой.

— Врешь!.. Не дамся... Айда! — и пошел по плахе, как акробат по канату.

— Что! взяла?

Катерина Ивановна за ним, шага три было продвинулась, лопатой дно достала, да испугалась: плаха сверху ледком покрыта, а по воде сивый туман ползет.

Тем временем Сныч храбро за середку зашел. И надо бы ему потихоньку дальше, да жена словом обожгла:

— Прощалыжник... Свистун!..

Повернул шею Сныч:

— Кто? Я свистун?

Ахнула Катерина Ивановна, грохнули хохотом плотники: Сныч с самоваром в речку.

— Батюшки!.. Отцы!.. Угодники!.. Самовар-то, самовар-то имайте!..

— Дура! — крикнул седой, в валенках, плотник. — Пшел, ребята, живей на лодку... Утонет...

— Батюшки... Новый ведь самовар-то.

— Дай ей по шее... От так!..

II

После такого студеного купанья Сныч слег. Уж маслом пособоровали, отходную прочли. Быть бы Снычу на погосте, но натура сломила болезнь, встал

Сныч, оклемался. А как выздоровел, положил зарок:

— Пропади оно пропадом, это окаянное пойло... Крышка... Ни в рот ногой!..

И зажил трезвой жизнью. Все пошло как по маслу. Жена, бывало, из синяков не выходила, а теперь модное пальто справила, калоши, зонтик. Да и самого Сныча не узнать: бриться стал, в баню ходит, одежонку приличную сшил и собирается на толкучем рынке граммофон купить.

— Ну, Катеринушка, теперь мы с тобой люди-человеки...

И, удивительное дело, совсем характер у Сныча переменился. Прежде по всей улице первым буяном был, даже трезвый лишних разговоров не допускал. Чуть что — живо оборвет:

— Ну, ежели дорого, так и ходи вон... Машиннахаус...

А теперь Сныч уступчивый, тихий, почтительный. Снычом его уже никто не называет, всяк зовет Федором Петровичем или господином Уткиным. Он заказал новую вывеску, а старую, самодельную, на которой каракулями было выведено: «И принемаю сапожные работы», «И принемаю ремонтные работы», — продал татарину.

Новая же его вывеска была замечательна. На нее сбегалась смотреть вся улица. Многие смеялись, а некоторые, что попроще, долго глядели на висевший на крюке огромный золотой сапог, по складам читали: «Профе-ессор Уткин», — и с чувством невольного уважения проходили дальше.

Федор же Петрович, сидя под оконцем и постукивая молотком по подметке, про себя улыбался счастливой улыбкой:

— Катя... Глянь-ко, сколь народу останавливается: «Профе-ессор». Понимаешь ли ты это самое слово-то? А все дьякон надоумил: «Ты, говорит, Уткин, профессор своего дела, все, говорит, мои мозоли ублаготворил. Сшил сапоги, как влил». Профессор — это слово ого-го! Дорогого стоит...

III

Всякому свое от начала положено. У иного челн жизни плывет себе по глади тихого озера, а у другого — что волна-зыбун: то на гребень вскинет, то сразу неожиданно ухнет в пучину.

Такова, видно, и жизнь Федора Петровича.

Пошел как-то Федор Петрович в Общественное собрание: очень хорошую вещь ставили, многими одобряемую, — оперу «Аскольдова могила». Он принарядился в праздничную, купленную «по случаю», парочку, пристегнул манжеты и воротник. Осмотрев с иронической усмешкой стоптанные свои сапоги, он в смущенье почесал за ухом и надел только что шитые богатому заказчику лакированные штиблеты.

— Ну, как, Катя, — ничего? — спросил он жену. — Могу, ежели соответствовать?

Он внимательно прослушал оперу, с жаром хлопал в ладоши и кричал «биц», а в том месте, где похищается Любаша, даже украдкой всплакнул. В антрактах, заложив назад руки, разгуливал по фойе, гордо и строго проверяя себя взглядом у каждого зеркала, а перед концом спектакля выпил лимонаду.

Когда публика, продираясь локтями к вешалкам, стала расходиться, Федор Петрович, будучи человеком скромным, решил подождать, пока схлынет волна людей.

— Ишь, черти, прут... Тоже — господа называются... — критиковал он потную, тяжело дышавшую толпу.

— А где же моя шапка? — робко спросил он служителя, когда тот наконец подал ему пальто.

— Нету...

— Не без шапки же я пришел!.. Давайте мне шапку! — крикнул Федор Петрович и, сейчас же сконфузившись, покраснел.

— Ага, эвона... — пробормотал он, вытолкнув кулаком из рукава пальто какой-то черный комок.

Но, подняв с полу шапку, Федор Петрович не признал в ней своего порядочно облезшего «котика».

Шапка была пышная, бобровая, с бархатным верхом. Рука Федора Петровича, как в пух, ушла в мягкий, серебристый от седины мех.

— Эта, извините, не моя... У меня, знаете ли...

Но у вешалок уже никого не было. Последняя электрическая лампочка погасла, и только мерцал огонек у выхода.

Федор Петрович, держа в руке шапку, виновато, будто с краденым, пошел из Собрания.

Мороз был крепкий — пришлось надеть чужую шапку, которая непомерной глубиной своей прикрыла маленькую голову Федора Петровича до самого кончика носа.

— Ну и башка... Это не башка, а котел... — проворчал Федор Петрович, сдвигая бобра на затылок и опасливо озираясь по сторонам: в городе было неспокойно, зачастую случались грабежи.

И только вступив во мрак своей улицы, Федор Петрович почувствовал себя в безопасности и уверенно застучал каблуками по заплатанному, покрытому ледком тротуару.

В его взмокшей под шапкой голове зароились мысли, связанные с неожиданной находкой. Шапка, видать, дорогая, тысячная, может, шапка. Как же теперь? В полицию, что ль, представить? Да свяжись с ними, с иродами, не возрадуешься... Лучше бы хозяина разыскать, да в собственные руки... А свою-то где выручить?

— Вот те опера! — досадливо буркнул он. — Но чья ж, однако, шапка? Графа Мозыля, что ль? Нет, у того рыжая, высокая... Уж не веревкинская ли?

Федор Петрович даже остановился.

— Вот бы здорово-то!.. Да ведь он за эту шапку сотни поди не пожалеет. Шапка на весь город одна. С этой шапки и весь Веревкин-то человеком стал. До нее и знать его не знали... так, купчина был, прасол, сальный пуп... А нынче... ого-го!.. Господин Веревкин... коммерсант!.. Уж не его ли?

«Его!» — уверенно стукнуло сердце, когда озябшие пальцы Федора Петровича снова потонули в нежной, сверху заиндевевшей пушистой массе.

— Катерина, ты?

— Я... Чего поздно?

— Ну-у-у... леший его съешь!.. Иди-ка, посмотри...

IV

Федор Петрович долго не мог заснуть. Он ворочался с боку на бок, закутывался в одеяло, нырял головой под подушку, но все тщетно. Мысль о шапке — Федор Петрович теперь был совершенно уверен, что она веревкинская — не давала ему покоя. Только выкурив подряд три собачьих ножки, он наконец уснул.

— Ха-ха... Лловко!.. Дак ты чего ж его не будишь?

— Пусть спит... Сегодня праздник.

«Кум, — сообразил Федо̀р Петрович, чуть приоткрыв левый глаз. — Ну, черт с ним...»

— Шапку... бобровую... А-а-а... так-так-так... — поймал он ухом и, точно шилом кольнуло, вдруг вскочил.

Нагнувшись к свету, стоял у окна кум-булочник и внимательно разглядывал находку.

— Ну, веревкинская... И к ворожее ходить нечего... — говорил он, встряхивая и крутя на кулаке шапку.

— Брось, положи!.. — крикнул Федор Петрович. — Повесь, где взял...

Он быстро оделся и, плескаясь холодной водой, торопливо пересказал куму вчерашний случай.

— Ннда... Занятно... Тут дело сотней пахнет, — завистливо протянул кум. — Его... его... Веревкинская. Ее за три версты узнаешь...

— Дай-ка картузишко, до купца добежать.

— Да что ты, успеешь, — враз сказали и кум, и зарумянившаяся у печки Катерина Ивановна. — Залезай чай-то пить.

— Какой тут чай!.. — торопливо бросил Федор Петрович и сорвал с гвоздя запачканный мукой картуз кума.

— Завяжи-ка поаккуратней, Катя, в чистую салфеточку... Да ну-у... Чего-чего!.. Не понимаешь, что ли? Шапку!

Дом купца Веревкина в городе первый: трехэтажный, каменный, весь в балкончиках.

— Толстопузые свиньи! — пробурчал Федор Петрович.

Но, взглянув на свой узелок, он обмяк и улыбнулся. С приятной улыбкой и подошел к воротам, потому что ему очень живо представилось, как обрадуется купец находке и как облагодетельствует честного сапожника. «Что ж сапожник. И царь в сапогах ходит... Без нашего брата тоже ничего не выйдет...»

Если б Федор Петрович мог сейчас взглянуть на себя в зеркало, он, наверное, обозвал бы себя нехорошим словом — так заискивающе малодушна была его улыбка. «Подхалюза чертов!» — все-таки выругал он себя и, напустив на лицо строгость, дернул звонок.

Калитка не открывалась, он еще позвонил, уже не столь смело, и, сам того не замечая, вновь завяз в заманчивых мечтах.

«Ну, и приличный же ты человек, Уткин... Настоящий ты профессор... На, получи сотнягу за свою честность... А не хочешь ли ко мне в доверенные?.. Эй, Мавра, покличь-ка молодцов... Вот что, ребята, ежели будете сапоги заказывать али щиблеты, валяй к профессору... Сто пар, двести пар в год... Доволен, Уткин?»

Утро было холодное, с морозным туманом. Федор Петрович, одетый в ватное пальто, стал мерзнуть, мороз крепко щипал уши, нос.

Наконец калитка отворилась, и румяный курносый парень веселым сытым тенорком спросил:

— Кого?

— Да вот... шапку... Шапками мы вчерась с вашим ненароком поменялись...

— Да ну? Это как же тебя угораздило?

— Да понесла нелегкая в Собранье... Вот теперь и хороводься... — с притворной досадой сказал Федор Петрович.

— А-а... Н-ну... Шагай на кухню... Слушай-ка! Стой-ка!..

Парень закатился таким же сытым, казалось бы беспричинным смехом, крутанул обмороженным, с болячками, носом и таинственно зашептал:

— Ну, паря... Что вчерась и было, у-у-у... Хозяина нашего ночью тепленького приволокли...

— Пьяного, что ль?

— У-у-у-у... — парень защурился и, потешно присев, повернулся на каблуке, — пьяней вина...

— Без шапки?

— Нет, в шапчонке какой-то... А он, ишь ты, в киянтере быдто в карты играл, да повздорил быдто бы... Ну, разул леву ногу, да раз сапогом барину по харе... Х-хы!.. Ну, утолкли его подходяще... Дак тут не до шапки... Хы-хы...

Федор Петрович, вздрагивая, тер озябшими руками уши и старательно вторил смеху веселого парня.

— Ишь замерз... Пойдем-ка на куфню... А ты с него требуй красненькую... Какого ляда... Даст!..

В кухне было чадно. Высокая сухопарая кухарка с засученными рукавами стояла у плиты и жарила оладьи.

— Сам-от встал али еще дрыхнет? — спросил парень.

— Прочухался... К глазу снег прикладывает.

— Иди, доложись... Человек, мол, пришел, шапку евоную принес, — сказал парень кухарке и, обратившись к почтительно стоявшему Федору Петровичу, приказал:

— Развязывай-ка... Кажи... Ну, знамо, его... На весь город одна.

Кухарка одернула подол, спустила рукава и, мельком взглянув на образ, на цыпочках пошла в комнаты.

— Должно быть, сурьезный хозяин-то? — осведомился у парня Федор Петрович.

— У-у-у... Бешеный!

Федор Петрович осторожно кашлянул в ладонь и еще более присмирел. А когда из комнат донесся робкий голос кухарки и громкие хриплые возгласы купца, Федор Петрович приоткрыл рот и ощутил по всему телу дрожь.

— Ни черта не пойму!.. Чего такое?..

— Да ишь, человек, мол, пришел... шапку твою принес.

— Шапку? Какую шапку? Дай-ка сюда халат.

Федор Петрович переступил с ноги на ногу и, держа на салфетке бобра, как пирог на блюде, низко поклонился ввалившемуся в кухню купцу.

— С праздничком-с, извините, ваша честь... как почивать изволили?

— А тебе какое дело!.. Ну, чего нужно?..

— А изволите ли видеть...

— Ну, изволю!.. — выкатывая целый глаз, раздраженно крикнул купец. — Дальше что!

— Так что были мы вчера в театре...

— Кто это «мы»? Кто такие «мы»? Мы, по-нашему — корова.

От этих окриков у Федора Петровича зарябило в глазах, и язык его заработал сам по себе, без всякого толка:

— Собственно не мы, а я... Собственно, к примеру, были мы при своей шапке... К примеру...

— Тьфу!..

Парень, глядя на огромную, рыжебородую, с завязанным глазом, фигуру хозяина в ситцевом, огурцами, халате, прикрыл рот рукой и давился смехом.

— Собственно... изволите ли видеть... Мы сами сапожники... И к примеру, будем говорить... потребовали пальто... И потребовали шапку... А нам, извините...

Купец еще раз плюнул и громко засопел, раздувая ноздри.

Федор Петрович сразу нашел себя:

— Шапку, ваша честь, я принес... вашу собственную шапочку...

Купец грозно шагнул к Федору Петровичу и вырвал из его рук шапку, а тот продолжал срывающимся, как у молодого петуха, голосом:

— А мне, ваша честь, мою пожалуйте... Потому, как вы, обнаковенно, выпимши изволили прибыть... обнаковенно, в моей шапке...

На полуфразе Федор Петрович быстро попятился к двери, потому что купец, взмахнув бобром, неистово заорал:

— Я в своей пришел!.. Стану я с твоей вшивой башки твою шапку надевать!.. — И бросил к ногам оцепеневшего Федора Петровича бобровую шапку. — Чтоб твоего духу, болван, здесь не было! Вон!

Федор Петрович проворно поднял шапку, схватился за скобку двери и, весь позеленев, визгливо крикнул:

— Не разевай пасть-то! Думаешь, награбил, дак и... Хапуга!..

— Что-о-о?! — Купец метнул диким взглядом по плите, схватил кастрюлю и грохнул ею в Федора Петровича.

V

Сапожник без памяти до самого угла бежал вприпрыжку.

Потом остановился, перевел дух и, взглянув сначала на крутую крышу купеческого дома, потом на шапку, вдруг захохотал каким-то нутряным смехом.

— Не твоя так не твоя... Дьявол!..

Он сорвал с головы кумов картузишко и небрежно сунул в карман, а на голову торжественно надел, чуть сдвинув на затылок, доставшегося ему бобра.

— Извозчик, подавай!

Федор Петрович сел в сани, ухарски подбоченился и покатил домой.

— К профессору Уткину. Понял?

— Это к сапожнику? Могим, — простуженным голосом проговорил извозчик в вывороченной вверх шерстью шубе. — Нно, ты... Помахивай!.. Сапожник

Уткин, можно сказать, с толком человек... А раньше, бывало, можно сказать, — тьфу!..

— А что?

— Да как вам, господин, сказать... Известно, мастеровщина... Очень просто... первый пьянчужка был... подзаборник... Ну, а теперича зарок быдто дал... Не знаю...

— Очень даже интересно, — закатился Федор Петрович. — Ну, стоп, подворачивай!.. А профессор-то я самый и есть.

Он дал извозчику сверх таксы гривенник.

— Катеринушка, Катя... Кум!.. — весело, отрывисто заговорил Федор Петрович. — Мы богатые... Во! Получай! Наша...

— Тут образа... Сними шапку-то...

Счастливый Федор Петрович, обжигаясь чаем, сбивчиво и торопливо, с тихим смешком и жестами рассказал всю историю, впрочем, приукрасив многое, а о многом утаив.

И полились мечты о том, как хорошо можно будет наладить теперь сытую жизнь, а слово «тыща», эта чудодейственная ось, вызывала то восторги, то вздохи трех сидевших за самоваром людей.

Уж Федор Петрович воображал себя хозяином большой мастерской, обязательно где-нибудь на главной улице, а еще лучше на горе, на площади, чтоб золотой сапог был виден отовсюду. Жена у него будет барыней, жену надо пожалеть, потому она — богоданная, самая, значит, настоящая, законная. Будет, походила в синяках, довольно.

— Кум, Катюха! Милые... Я вас в Москву свезу... Помяните мое слово, свезу... Вот подохнуть, свезу... Гуляй, рябята, пользуйся!..

— Благодарим, что ты... — говорил весь красный, растроганный кум, — ты только на ноги вставай крепче, а уж калачами я тебя закормлю... потому я понимать должон, потому я есть булочник и я есть кум... Вот что... А не то чтобы что... Да!..

А Федор Петрович, словно опьянев, слушал, что ему говорят, и все время улыбался, обнимал жену или ласково гладил лежавшую на угольнике шапку.

Катерина Ивановна каждый раз легонько пыталась оттолкнуть наклонявшегося к ней мужа, утирала губы фартуком после его поцелуя, стыдливо опускала глаза, а ее поблекшее лицо вспыхивало и хорошело.

Вечером Федора Петровича неизвестно отчего вдруг охватила страшная тоска. Катерина Ивановна еще до вечерни ушла к знакомым, а Федор Петрович, завалившись на кровать, вздыхал.

В дверь постучали, но Федору Петровичу лень было подняться, и он лежал до тех пор, пока весь дом не затрясся от чьих-то бивших в дверь каблуков.

— Неужели не слышишь? Оглох, что ль! — сердито сказал вошедший кум. — Дрых?

— Нет, так... Тяжело чего-то...

— Ну, вот и ладно... А я за тобой. Человека нужного тебе представлю. Пойдем в трактир, он теперь там. Чайку хлебнем и все такое...

Кум думал, что Федор Петрович обрадуется и поблагодарит за хлопоты. Но тот слушал его равнодушно и вяло согласился. Заперли квартиру, а ключ спрятали в условленное место за карниз.

VI

Трактир «Зеленая долина» по случаю праздника битком набит трезвой, выпившей и совсем захмелевшей публикой. Было душно, накурено и временами стоял такой невообразимый гвалт, что даже гремевший во все трубы оркестрион не мог заглушить его.

Федора Петровича, отвыкшего от угара веселых кабаков, точно колом ударило. Он в раздумье приостановился, собираясь повернуть назад, но кум под самое его ухо крикнул:

— Плыви к стенке!.. Подсаживайся... Здорово, Захар Иваныч! Ты что, гуляешь?

— Мало-мало есть... — пошлепал отвисшей губой красный, плешивый толстяк, отирая платком бритое лицо.

— Можно к тебе присоседиться? Это мой кум, Федор Петрович Уткин, а это Пуговкин, Захар Иваныч, скорняк. Ну, будьте знакомы. Вот так... Эй, человек! Чаю!.. Два и три... Живо. Стой! Стой!.. Да притащи-ка полдиковинки... На закуску? Сыпь селедочку да грибочков, что ли, подбрось солененьких... Ну, махом!

Кум необычайно оживлен, от него чуть-чуть попахивало водкой. А Федор Петрович все еще угрюм и мрачен.

— Ну, как, господин сапожных дел мастер, с заказчиком у вас тихо али ничего, идет? — спросил скорняк у Федора Петровича, играя золотым, с камнем, перстнем.

— С заказчиком? — закричал кум, он хлопнул обеими ладонями по столу и подмигнул Федору Петровичу. — Хи-хи! Нет, ты дай нам шапку продать, вот мы тогда покажем... Уж мы тогда удостоверим, какие бывают которые сапожники!..

Федор Петрович с достоинством кашлянул и шевельнулся на стуле, а Захар Иваныч спросил:

— Какую шапку?

— А вот какую: тысячную. Веревкинскую знаешь? Ну-к она.

Тут Федор Петрович как следует откашлялся, не торопясь вытер нос и, напрягая легкие, стал рассказывать Захару Иванычу историю с шапкой. А расторопный кум налил три рюмки и облизнулся на селедку с грибами:

— Приятели, клюнем!.. Кум, бери... кушай.

— Знаешь ведь, не пью, — отрезал Федор Петрович, прихлебывая из стакана чай.

— Не пьешь? Ну, будь здоров! Захар Иваныч, действуй...

Федор Петрович помаленьку стал входить во вкус и с любопытством разглядывал публику. Какой-то долгобородый старик и усатый человек с кривым глазом принялись обниматься, взасос целовать друг друга и горько плакать.

— Миша... Миша!.. Ей-бо-о-огу... — кривил рот старик.

— Дедушка Лука, помни!.. Ты мне замест отца.

— Мишь, голубь!..

Федор Петрович хихикнул, тотчас же прикрыв, из приличия, рот рукой.

Из дальнего угла кто-то тенористо орал и бил кулаком по столу:

— Давай!.. Сказано, давай... А то в мор-рду!..

— Эй, малый! Наверни-ка камаринского.

У стола, пригорюнившись, сидела женщина и караулила заплаканными, в синяках, глазами своего загулявшего мужа. Федор Петрович взглянул на нее, и было повеселевшая душа его вновь померкла. Ему вспомнилась Катерина Ивановна, она вот так же хаживала по кабакам, охраняя его, пьяного и задирчивого. Вспомнилось, как однажды утром, после угарной ночи, Катерина Ивановна молча подала ему клок своих волос с запекшейся на них лепешкой крови и так же молча отошла, утирая фартуком покатившиеся слезы. И многое другое, такое же мрачное, вспомнилось в эту минуту Федору Петровичу. Он крепко потер ладонью вспотевший лоб и, шумно вздохнув, задумался.

— Кум, да чего ты? Выпей!..

— Кто, я? — растерянно отозвался Федор Петрович. — Нет, подожду.

— Зря!.. Это ты, кум, зря... Пей, да дело разумей...

— Да выкушайте, Федор Петрович... Позвольте вас с шапочкой поздравить, — прохрипел скорняк и похлопал Федора Петровича по плечу. — Отечественная... с грибочком-с...

Федор Петрович сглотнул слюну и со страхом почувствовал, как вдруг засосало под ложечкой. Он крепко стиснул зубы и едва мог дождаться, когда его вновь попотчуют.

— Нет, не буду... Боюсь... — сказал он дрожащим голосом, когда кум, кланяясь и упрашивая, поднес к самым его губам рюмку.

В это время, как на грех, грянул «Камаринский», кто-то вприсядку бросился, присвистывая и дробно стуча каблуками.

— Гуляй!.. Рработай!.. Шире-бери!..

Федор Петрович испуганно схватил за рукав свою правую руку, но она властно протянулась к рюмке и выплеснула водку в жадно раскрывшийся хозяйский рот.

Федор Петрович чуть не упал со стула, так его всего передернуло и повело.

— Ха-ха!.. Молодец!.. Ай да кум!.. Эй, парень! Дай-ка на троих графинчик... Ну, махом!..

Не с четырех рюмок захмелел Федор Петрович. Опьянили его речи Захара Иваныча.

— Ты мне поверь!.. А на кума наплюй!.. Его дело — квашня... Так или не так? А-а-а!.. то-то вот и есть...

— Нет, товарищ, стой, — тряс бородой кум. — Ежели, к примеру, хоша я со временем булочник, а в шапке и я понимать должон.

— Кто ты? Тьфу! Вот твое понятие... На-ка, выкушай... А я вот тебе докажу... Да!.. И больше никаких!..

— Погодите, позвольте... — пробовал вмешаться раскрасневшийся Федор Петрович.

— Ничего не позволю!.. тыщу, и больше никаких... — выкатывая глаза, старался Захар Иваныч. — Завтра же пришлю покупателя... Ей-богу, пришлю!.. С башкой оторвут, а не то что... Ха, да эту шапку еще не всякому губернатору носить!..

Когда графинчик был допит, матерой Захар Иваныч схватил в охапку щуплого Федора Петровича и потащил к буфету:

— Ежели желаешь угостить, идем... Желаешь, нет?

— Желаю, всех угощу... Пей! — бормотал Федор Петрович, волоча ноги.

— Стой, держись! — скомандовал Захар Иваныч. — Где буфетчик? Подать сюда буфетчика... Эй, Костя! Костянтин Палыч, будь друг, уважь... Что будем требовать — давай... На сто рублей — давай.

— В чем дело? — мотнулась за стойкой лысая, круглая, как каравай с изюмом, голова буфетчика.

— Можешь ты дать этому человеку сто монет? А? В долг чтобы, на всю компанию, а?

— Нет...

— Дурак!.. Да у этого человека тысячи... Федор Иваныч! Иван Федорыч! Профессор!.. Плюнь ему в маковку... Я тебе своих дам. На, бери без счету!..

Федор Петрович сунул в протянутый бумажник руку и, пьяно хохоча, завопил:

— Шан-панскава!!

Как коршунье, слетелись прихлебатели, сдвинули три стола, и началась попойка.

— Уткин! Какого черта! Э, Уткин! Требовай коньяку полдюжины! — кричали пьяные чужие рты.

— Коньяку! Жива-а-а! — командовал Федор Петрович, что есть силы колотя в ладоши.

— Ребята! Черти! — ерошил он на себе волосы. — Ха-ха!.. Нет, врешь, купец, — кричу я ему, — подай мою шапку! Он у меня, ребята, и присел... «Профессор, — говорит... — господин профессор, помилуйте...»

— Ха-ха-ха!.. — вторили горластые рты.

— Скорняк я или не скорняк? — перегибаясь через стол и стуча кулаками в грудь, орал Захар Иваныч, вопрошая булочника. — Скорняк я али бык?

Но булочник мирно спал, чавкал во сне губами и неистово храпел.

— Я директору в пять тысяч мех подбираю... Убей меня бог — не вру!.. А шапку я ему всучу. Вот подохнуть — всучу!

— Урра! Товарищи! За шапку!.. Урра!! — размахивая стаканом, кричал Федор Петрович.

— Урррра-а-а!!

— Товарищи! Черти!.. За камчатского бобра!.. Урра!..

— Уррра!!

— Капусты!.. Квасу!..

— Шанпа-анска-ава!..

VII

Катерина Ивановна вернулась домой поздно.

Она не удивилась, что мужа нет: может быть, в гости ушел, может — к заказчику.

Согрела самовар, накормила корноухого кота кислым молоком и раскинула колоду карт. Три раза метала карты, и каждый раз ложилась пиковая масть. Катерина Ивановна, будучи женщиной суеверной, чрезвычайно встревожилась.

«Какой же это благородный король с неприятностью?» — ломала она голову, и сердце ее сжималось недобрым предчувствием.

Скрипнула калитка, раздались по двору шаги, постучали в дверь.

— Слава богу, прилез!.. С кумом, надо быть...

Она отперла дверь и, раскрыв рот, замерла.

В запорошенных снегом папахах, в башлыках вошли пристав, околоточный, двое городовых и трое посторонних — понятые.

— Сапожник Уткин, Федор Петров, дома? — спросил пристав, бросив портфель на край стола.

— Их нету-с, — дрожа всем телом, ответила Катерина Ивановна.

Пристав опустился на скамейку и, обкусывая с усов ледяные сосульки, вновь спросил:

— Куда ушел? С кем? В какой шапке? В своей или в веревкинской?

— А они без меня ушли-с... Я ушедши была-с...

—Васкородие, — вытянулся перед приставом городовой. — Так что, позвольте доложить, шапочка в шкапчике за стеклом положена... Так что, вот она... извольте взглянуть...

— Ага... Хозяйка, потрудись достать...

— Да у мужа ключ-то... Ишь заперто...

— Ага... Трепчук, отомкни... Господа понятые, потрудитесь удостовериться: она?

— Она... Она самая...

— Ага... Васильев, возьмите шапку... Распишитесь, господа... Хозяйка, а почему ваш муж не заявил в участок о находке?.. Ага... Сам купец отдал?.. Ну так пусть завтра в десять утра придет в часть... До свидания...

Ватага, стуча каблуками, вышла на улицу.

Катерина Ивановна стояла среди комнаты и в сильном волнении грызла ногти. Вот подошла

к большому сундуку и повалилась вниз лицом. Зубы выстукивали дробь, она вся тряслась. И шапки было жаль — собственно, не шапки, а того неизведанного, что сулили ей мечты, — и вся ее прошлая жизнь, с зуботычинами и голодом, как-то вдруг вспомнилась.

— Матушка, богородица, — шепчет Катерина Ивановна, приподымая голову, и тянется взглядом к озаренному лампадкой образу. Но взор ее наткнулся на открытую дверцу шкафчика, и занесенная для крестного знамения рука остановилась.

— Ограбили... — простонала Катерина Ивановна, и, передернув плечами, заплакала.

Катерина Ивановна всю ночь просидела у окна, тревожно, сквозь слезы всматриваясь в мутный свет улицы. А Федор Петрович попал, как водится, в участок и, благополучно переночевав там, чем свет явился домой весь измазанный каким-то киселем.

— Хорош!.. Это ты где же по ночам хороводишься, а?.. Старинку вспомнил? — сердито встретила его жена. — Батюшки! Да он, никак, молодчик, пьяный!

— Кто, я? А где шапка?

— Шапка? — подбоченилась Катерина Ивановна и, чувствуя, как закипела в ней кровь, злорадно бросила: — У купца твоя шапка... Кабы не жрал, дак...

У Федора Петровича подогнулись ноги, и он, шипя, подступал с кулаками к жене.

— У какого купца? Подай сюда мою шапку!

— Ты что?.. Ты драться?.. А-а, ты драться!!

— Подай, паскуда, шапку!

Катерина Ивановна, визжа и вырываясь из рук мужа, бросилась на кухню и замкнула за собой дверь.

Федор Петрович схватился за голову и подошел к окну.

На улице завихоривала метель. Сквозь подслеповатые двойные рамы вместе с воем вьюги доносился благовест.

— Катерина... Слышь... Отопри, скажи толком.

Катерина Ивановна, как кошка, притаилась, чтобы сразу показать когти.

— В участке твоя шапка!.. Полиция была...

Федор Петрович опустился на табуретку и вдруг почувствовал, как заколыхался под ним пол.

— Вот, открой теперь на площади мастерскую. А как был ты пьяницей, так пьяницей и околеешь!..

Федор Петрович, пошатываясь, подошел к кровати, рванул с себя пиджак, разулся и грохнул оба сапога в зазвеневший шкафчик.

Он спал целый день, во сне бредил: хохотал, звал кума, Захара Иваныча, а потом громко крикнул: «Шанпанского!» — и проснулся.

Перед ним стоял скорняк и, поглаживая лысину, говорил:

— Эк, разоспались... А я за шапкой... Пойдемте скорей. Покупатель у меня дожидается, директор...

Федор Петрович приподнялся, растерянно поглядел на улыбавшегося Захара Иваныча. И горько вздохнул:

— Полиция была... Назад отняли...

— Да ты что?.. Да не может быть... Да ты шутишь? — бритое лицо скорняка вытянулось и обвисло, а глаза язвительно прищурились.

Он посвистал, прошелся по комнате и, косясь на растерянную фигуру сапожника, жестко сказал:

— Ну, тогда деньги отдай... восемьдесят рублей... вчерашние.

— Помилуйте... Где же я возьму?.. Сразу-то...

— В суд подам!.. Мошенники вы с кумом-то своим! Прохвосты!..

Федор Петрович согнулся и вобрал голову в плечи, будто опасаясь, как бы не рухнул потолок.

— Напрасно вы так об нас понимаете... Это даже очень низко, — сказал он упавшим голосом.

— Низко? А врать не низко?.. Сказки рассказывать не низко? А?!

— Да не серчайте вы... Как не то уплачу... Вникните вы, пожалуйста, в суть... Не бесчестьте...

— Вникнуть?.. Я давно в тебя вникнул!.. Мазурик ты, вот ты кто!

— Эх вы-ы!.. Господин скорняк... — лицо Федора Петровича вдруг все сморщилось и задрожало.

— Ты мне кислых антимоний не разводи! — крикнул Захар Иваныч и, запахнувшись в потертый енот, рванулся к двери. — У меня свидетели есть... Я тебя достану!!

— Что ж... ваша воля...

Вдруг отворилась дверь, и в комнату вошел полицейский.

— Здрасте... Который из вас есть Уткин. Пожалте в часть.

VIII

Федор Петрович, уязвленный жизнью, вновь потерял внешний человеческий облик и превратился в прежнего вечно пьяного Сныча. Эта угарная, звериная жизнь скоро подсекла силы Катерины Ивановны. Она слегла и, ни на что не жалуясь, ни о чем не сожалея, покорно ждала смерти.

Когда ей стало тяжко, Федор Петрович, лохматый, грязный, с пропойным запахом, побежал в больницу.

— Ваши благородия... высокородья... Возьмите, попользуйте, конец всей жизни... Жену, жену!.. — косноязычно говорил он в волнении.

Но фельдшерица объяснила, что здесь пьяниц не лечат, а больную тоже поместить нельзя: нет свободных коек.

— Значит околевать?.. Благодарим...

Федор Петрович с горя пошел в кабак, а возвратившись, уже не застал в живых Катерины Ивановны. Он шагнул в комнату обычной своей расхлябанной походкой и, пошатываясь, ухватился за косяк. Но, взглянув в передний угол, обмер. Еще он не мог осмыслить и понять того, что видит, но какое-то внутреннее чувство ошеломило его и потрясло. Он

вдруг отрезвевшими ногами быстро подошел к столу, перекрестился и, странно, едва уловимо улыбнувшись мертвому лицу Катерины Ивановны, встал на колени и земно ей поклонился.

— Полюбуйся, пьяница, — послышался женский голос. — Уморил, а теперича на карачки? Может, еще плакать будешь?

Федору Петровичу представилось, что это брюзжит покойница. Он уперся руками в пол и, оторопело хватаясь за ножку стола, поднялся. Перед ним стояла соседка, старая Петровнушка, она нашивала рюш на подушку, вокруг изголовья Катерины Ивановны. В высоких подсвечниках загадочно колыхались три хвостатых огонька восковых свечей. На сундуке у двери кто-то сидел и потихоньку охал.

— Пьяница...

Федор Петрович скорбно посмотрел на слезящиеся глаза Петровнушки, вздохнул.

— А ты пойми, разжуй все сызначала... Тогда лай... — сказал он сухо и, выйдя в кухню, бросился на холодную, пропахшую лекарствами кровать.

Морозным утром, когда гроб несли на кладбище, Федор Петрович, обросший бородой, с убитыми, в коричневых кругах глазах, шагал за гробом. Увидав рядом с собой кума, он сердито отвернулся от него и пристал к кучке соседей.

— Свя-а-тый... бо-о-же-е... — подхватил он за дьячком и священником, но голос его срывался. В его голове мелькали какие-то непонятные обрывки жизни, он неясно сознавал, куда идут люди, и среди них он, зачем в этот тоскливый час светит солнце, зачем насильно уходит от него Катерина Ивановна, а вместе с ней — вся его жизнь...

«Худо ты, Федька, сделал, нехорошо... Один твой путь — погост».

— Свя-а-тый... — вновь попробовал пристать Федор Петрович и на этот раз окончательно захлебнулся слезами. И до самой могилы угрюмо молчал, когда же становилось невтерпеж, он только покрякивал и мотал головой.

IX

Под золотым сапогом вскоре стал работать другой хозяин, сколотивший копеечку одноногий солдат. А Федора Петровича судьба швырнула в сырой, покрытый плесенью подвал, на самую дальнюю улицу. Но гостеприимные стены каталажки всегда к услугам Федора Петровича — большую часть ночей, силою несчастных обстоятельств, он коротает там.

И у всех Сныч стал посмешищем, а к прежнему его прозвищу еще прибавилось другое — «Бобрячья шапка».

Оставшись без жены, без укрепы в жизни, Федор Петрович понял, что его песенка спета и что нет ему возврата к светлым дням. В нем еще что-то боролось, какой-то внутренний голос стыдил и обличал его, но Федор Петрович потерял над собой власть и, покорно сложив крылья, падал. Закадычные друзья и знакомые как-то враз отшатнулись от него.

— Плевать! — сказал самому себе Федор Петрович. — Без дураков обойдемся!

А в минуты уныния, сидя в своем сыром подвале, сам-друг с бутылкой, он заунывным тенорком тянул:

Все дру-уги, все-е приятели-и-и
До черно-о-ого лишь дня-а-а.

Но песня бередила душу. Федор Петрович, безнадежно махнув рукой, срывался с места и, топая по скользкому от грязи полу, тыкал кулаком по направлению к махонькому оконцу:

— Помни, жители! Все помни!.. Я вам не вор!..

И с горькой обидой вспоминал, как за ним гурьбой бегали мальчишки, чем попало кидали в него и, по примеру взрослых, кричали:

— Зачем у купца бобрячью шапку украл? Мазурик...

— А как в тебя кашей брякнули! Вор...

— Эй, бобрячья шапка!

Но к ребятишкам Сныч относился снисходительно. Как-то сгреб он вихрастого забияку и, к удивлению

мальчишек, ничего ему не сделал, лишь дал для порядку легонького тумака, а потом сказал:

— Дурачок... Эх ты, дурачок!.. Собака я, что ли, а?..

Зато со всеми прочими гражданами объявил себя в войне. Ненависть к купцу Веревкину, от которого и пошел весь грех, Федор Петрович перенес и на других людей состоятельных, а потом и на прочих обитателей города.

Как-то, пьяненький, обхватив телеграфный столб, он сам над собой строжился, грозя кому-то обмотанным тряпкой пальцем:

— Федор Петрович, Федька, профессор... Ты — болван... Театры, Аскольдова могила и все такое... Шапка!.. Мог ли ты эту самую шапку хапнуть? Отвечай... Мог? Дурак, дурак, дурак... Сто раз дурак! — Федор Петрович посовался носом и, вновь укрепившись, продолжал: — Не-е-ет... Ты, Уткин, этого не мог бы... Вот тут, понимаешь, вот тут тебе не дозволяет! — и он ударил себя в грудь. — И ежели бы ты хапнул, утаил бы, тыщу бы в горсть себе зажал... Понимаешь, Уткин, как бы я с тобой поступил: взял бы нож, рассадил бы твою белу грудь и сказал бы: лети, душа... лети...

Голова его низко свесилась и приникла ухом к столбу, словно Федор Петрович прислушивался, как гудят вверху струны.

— А вы! Вы... — хрипло крикнул он, выпрямляясь; его брови взлетели вверх, глаза выкатились и засверкали. — Человеки, жители!.. Да понимаете ли вы, болваны... Вам смешки да хаханьки, а Уткин жену на погост стащил... Уморили мы ее... братцы, миленькие... Эх вы, жители!..

Ослабевшие руки его заскользили по столбу, продрогшее тело скорчилось и просило покоя. Он качнулся и упал на снег. Проходивший мимо полицейский долго тер ему уши шершавыми своими ладонями, Федор Петрович мычал от боли.

— Вставай!.. Отморозишь руки-то...

— Плевать... Новые вырастут... Душа моя замерзает...

Чем больше он пил, тем глубже вскрывал судьбу человеческую обострившимся внутренним взором, и гарь жизни, как из трубы дым, валила на него и ела глаза. И уж вся эта жизнь показалась Федору Петровичу ненужной, тягостной. Он недоумевал, для чего маются на свете люди, когда так все плохо, так много кругом обмана, жульничества, зла. Вот богатые и сильные, — их кучка, — по какому праву они врут, чавкают народ, а народу тьма-тьмущая, конца-краю нет. Как понять, кто в этом распорядке потатчик? А?

— Бог... — сказал ему однажды собутыльник, отставной ветеринар.

— Дурак ты, барин... Хотя и пьяница, — ответил Федор Петрович, и в ту же ночь высадил колом зеркальное стекло в только что отстроенном торговом банке.

— Суприз!.. На память... — морща брови, сказал он сквозь зубы схватившим его дворникам.

— Кому служите? Черту служите!.. — буйно кричал он на всю улицу, отирая струившуюся из разбитого носа кровь.

— Того все лупят, который беден, да не вор... Почем зря. А ежели такой мазурик в капитальщики вылез, шею перед ним гнут, сапоги лижут... Тоже народ...

Ему было приятно слушать свой обличающий голос, он не чувствовал боли от побоев и бодро, с видом победителя шагал в участок сквозь спящие улицы и переулки.

— Взять Веревкина... Нешто не на тухлом мясе он миллионы-то нажил, а?!

Но тут же себя укорил в душе: «Тоже и я хорош, дьявол...» И долгое время после этого был противен себе за прошлое.

— Слышь, дай... дай мне по башке раза! — приставал он как-то в пивнушке к запухшему от вина нищему. — Нет, ты двинь, тогда скажу за что... За то самое... Эх, тошно говорить... «С праздничком, ваша честь... Шапочку извольте...» Тьфу!..

А потом неожиданно схватывал перепугавшегося нищего за шиворот и орал во всю мочь:

— Где моя жена, сказывай, старый черт?! — и упавшим голосом, шумно отдуваясь, добавлял:

— Они, товарищ, уморили Катерину-то... Я так полагаю, что они...

X

Дни серые, томительные ползли своей чередой, но Федор Петрович потерял им счет и озлобленными, как у раненого коршуна, глазами смотрел на божий свет: бабу беременную извозчик растоптал, — плевать!.. Гулящую девицу два молодца зарезали, — черт с ней!.. Во всех церквах благовест гудит, — молись, кутья, лезь на небо!..

Но когда не выносило сердце, он всем грозил:

— Погоди, жители! Я вас обсоюжу... Я всему городу подметки подобью!

Объявив себя в войне с обывателем, Федор Петрович уж никому не давал проходу: ни конному, ни пешему. Он сделался для города какою-то египетской казнью, каким-то всегда занесенным над сытой толпой бичом: вот-вот стегнет! Появляясь в местах сборищ, где-нибудь в саду, на катке, у церкви или на базаре, среди торговок и румяных барынь, он иной раз больно сек и правого и виноватого, вкладывая в свои пьяные речи терзавшую его желчь и злобу.

— Разбойники! Все вы разбойники... Сливки?.. Наверх всплыли?.. А о нашем брате вы подумали?.. Эй, ты, курносая!.. Ты пошто рыло-то нарумянила?.. А-а-а!.. Духи?.. Резеда и все такое... Нет, ты в подвалы загляни! Нюхни-ка, курносая, каково сладко жить-то там... Ты не тряси сережками-то... Ишь ты... брильянты!.. Ха!..

А на хихикавшую, жадную до скандальчиков толпу, весь ощетинившись, зыкнул:

— Моррды!

— Иди, кабацкая затычка...

— Городовой... Где городовой?..

— Моррды! Вы только и знаете, что городовой... Погоди, я вас еще не так двину...

Его обыкновенно схватывали, волокли в участок и там внушали по положению.

Больше же всех доставалось купцу Веревкину. Когда Федор Петрович бывал в той части города, где жил купец, он считал своим гражданским долгом подойти к его дому и устроить очередной скандал.

Взбешенный купец высылал тогда своих молодцов, и те гнали сапожных дел мастера до самого переулка. А однажды сам купец, доведенный Федором Петровичем до белого каления, выскочил за ворота и запустил в него березовым поленом. Но, промахнувшись по сапожнику, чуть не огрел поленом проходившую с базара протопопицу и, взбросив на голову фалды сюртука, как набедокуривший школьник, быстро юркнул в ворота.

— Вот даже как! Ха-ха!.. — крикнул Федор Петрович. — Это по духовному-то званию поленом?.. Аттлично!.. Очень харрашо!..

На масленице, когда у Веревкина были званые блины, вдруг среди целой вереницы извозчиков и кучеров, ожидавших своих хозяев, появлялся подвыпивший Федор Петрович. Он был в опорках на босу ногу и в рваном полушубке, из-под которого выглядывали синие, висевшие лохмами штаны.

— Ребята! Гляди, пугало с огорода.

— Сныч, мое почтенье!..

— А где ж твоя бобрячья шапка?..

То отшучиваясь, то огрызаясь: «Вали ребята, чего там... Налетай все на одного!...» — Федор Петрович добрался до удобного против дома места, откуда хорошо видны освещенные окна первого этажа. Сквозь кисейные занавески Сныч рассмотрел сидевших за столом гостей и среди них — как стог среди копен — хозяина.

Федор Петрович скрипнул зубами и, вскинув кулак, звонко заорал:

— Эй, вы!! Российское купечество!.. Жри, чавкай... Чтоб тебе этим блином подавиться!..

Прохожие задерживали шаг, собиралась толпа.

— Веревкин! Слышь, Веревкин!..

Форточка была открыта. Кто-то из гостей подошел к окну.

— Ты из меня всю кровь выпил. Как ты околевать-то будешь? Эх ты, Веревкин, Веревкин!.. Жулик ты!..

Толпа хихикала. Гости, то один, то другой, подходили к форточке и выглядывали на улицу.

— Капитальщики!.. Воши!.. Изъели нас, исчавкали... У-у-у, ироды! Гори ты в огне, Веревкин! Гори в вечном огне... Ты ответь, кто я был и кто я через тебя есть? Пьяница ты, Веревкин, больше ничего. Больше я с тобой не разговариваю... К черту, к черту!..

Вдруг Сныч выхватил из-за пазухи кирпич:

— Эй, борода, береги личность! — и со всего маху швырнул в окно.

Зазвенели стекла, в доме засуетились, все кучера моментально вскарабкались на козлы. Толпа отхлынула на ту сторону улицы. Раздались свистки, крики, хохот.

А Федор Петрович, охрипший от крику и ослабевший, стоял на том же месте, покачивался, икал и плевал кровью.

С треском распахнулись одновременно калитка и крыльцо. Хозяин, гости и дворня, с криками: «Где он? А-а, хватай!.. Волоки, лупи его!..» — сшибли с ног Федора Петровича и кучей на него навалились.

— Вяжите хулигана! — тряся кулаками, кричал городовым Веревкин. — Иначе я его кончу... Тащите его, прощалыжника!.. Удавите!.. Житья от него не стало...

— Дозвольте разукрасить, — протискиваясь сквозь толпу, прогнусил веревкинский парень в фартуке, и в один миг все лицо барахтавшегося Федора Петровича густо вымазал дегтем.

Федор Петрович, лежа на спине, отчаянно отбивался ногами и дико выл.

А толпа надрывалась хохотом:

— Загни ему салазки да смажь!

XI

Федор Петрович, неумытый и растрепанный, двое суток провалялся в каталажке.

— Эй, вы! Господа начальники. Крохоборы!

— Поговори...

— Ведь я подохну здесь!

— Туда тебе и дорога.

В его словно налитой растопленным маслом голове стоял немолчный шум, ужасно ломило глаза. Он стонал и кашлял, временами теряя сознание, и тогда ему как будто становилось легче. Но каждый раз, возвращаясь к жизни, он мучительно озирался на серые стены каморки и, стиснув зубы, по-звериному мычал.

Бока его ныли, сердце обсасывал пьяный змей, в груди что-то хлюпало, переливалось.

— Ваша взяла... — шипел Федор Петрович, отирая взмокший лоб черной, замазанной дегтем ладонью.

— Нет, еще погоди... Еще погоди, купец... — силясь вскочить, приподымался Федор Петрович, но тяжелая голова его вновь валилась на нары.

— Э-эх! — вздыхал он, и его душу обдавало холодом. Когда закрывал глаза, в голове поднимался какой-то кавардак: то он видел себя сидящим на берегу озера, с ковшом в одной руке, с луковицей в другой, а в озере будто не вода, а водка. То он — Торопка-гудочник — стоит с балалайкой перед теремом Любаши и поет бабьим голосом вечную память.

Федор Петрович открывает глаза, всматривается перед собой, что-то хочет вспомнить. Ни Любаши нет, ни озера. Только мерцает желтый огонек в дверное оконце. Ни друзей, ни жены, ни силы. Силы не стало, смерть идет!

— Шабаш... Прощай, брат Федор... Отдохни, брат... — шепчет он и, чтобы не дать воли слезам, кричит: — Да-да-да... — но небритый подбородок прыгает.

К вечеру второго дня его отпустили. Городовые и околоточные схватились за бока, когда Федор Петрович выполз из каморки.

— Оскобли рыло-то... Арап... Поди умойся...

— Не торопись, умоюсь... — страшно сказал Федор Петрович, и хохот разом смолк.

Выйдя на улицу, он всем телом вздрогнул и запахнулся в свой рваный полушубок, глубоко засунув руки в рукава.

Покосился на освещенные окна трактира, сплюнул, вобрал непокрытую голову в плечи и вприпрыжку затрусил вдоль заборов к реке.

К нему пристала собачонка. Сначала тявкнула на него, а потом, заюлив, черным клубком покатилась перед ним, Федор Петрович пнул ее ногой. Она поджала хвост и поплелась сзади.

Где-то бубенцы брякали и свистал городовой в свисток с горошинкой. Проехал извозчик, окликнул Федора Петровича, но он не обратил внимания. Все в нем остановилось и к чему-то приготовилось, а ноги сами собой несли в спускавшийся над рекою туманный сумрак.

Вот и последний забор кончился, за ним — дорога и обрыв к реке.

Федор Петрович остановился, огладил лежавшую вверх лапами собачонку:

— Песик... Песик... Черненький... — и стал осторожно спускаться.

Какая-то сила повернула его голову назад. Он в последний раз окинул взглядом слабо освещенные окраины города. Глаза его жадно искали черного на снегу комочка. Но пес ушел.

— Так... правильно... — проговорил Федор Петрович и криво усмехнулся.

В его душе что-то качнулось, охнуло. Он в раздумье постоял с минуту, не отрывая от города глаз. Не вернуться ли?

— А ну вас! — он махнул рукой и быстро побежал вниз по тропинке.

Черным клубком скатился с откоса песик и, поджимая под грудь обмороженную лапу, прикултыхал к свежей полынье. Обежал ее, принюхался, присел.

На соборной колокольне медленно отбивали часы. Из-за реки чуть слышно доносился по льду волчий голодный вой.

Песик переступил с ноги на ногу, наскоро почесал задней лапой, чуть повизгивая, блошиное на брюхе место и тревожно насторожил испугавшееся ухо. Потом, отрывисто тявкнув, он мотнул головой, поднял морду, поискал голосом самую слезливую ноту и жалобно завыл-заплакал, косясь печальным глазом то на огромный желтый месяц, то на темную, такую жуткую в ледяных берегах воду.

КАТОРЖНИК

I

Однажды летом я взял ружье, припасы и сплавился верст на двести вниз по таежной речке, в самые глухие, трущобные места.

Оставшееся позади село, куда забросила меня судьба, было последним жилым местом. Поэтому, очутившись в медвежьем царстве, я боялся заблудиться и, все время шатаясь по тайге, держался едва приметной промысловой тропы. Но, ударившись за промелькнувшей передо мной лисицей, я потерял тропу и, проплутав весь день, заночевал на берегу какого-то озерка. Я разложил большой костер, пожевал ржаных сухарей и, донельзя утомленный, завалился спать.

Разбудила меня песня. Я открыл глаза и долго не мог сообразить, где я. Весь в белом молоке тумана, я прислушивался к таким странным среди безлюдья звукам песни, а на меня устало глядел сонный глаз костра.

«Не ржавчина на болотинке да тыра... ай, да травоньку съедала... — выводил надо мною тронутый временем голос. — Эх, да как змея-тоска меня сокруша-а-ала...»

Пел, несомненно, старик. Но, надо признаться, мастерски пел. Я с интересом стал вслушиваться в уны-

лый мотив и грустные слова песни, тихо плывшей в туманной мгле.

— Эй, любезный! — крикнул я, когда кончилась песня.

Мой голос замер и остался без ответа. Я быстро вскочил, схватил влажное от росы ружье и, вскарабкавшись по откосу, проворно пошел туда, где только что замолк певец.

— Эге-гей! — кричал я, боясь упустить человека.

— Кто таков? — раздалось под самым моим ухом. — Ежели добрый человек — заходи на перепутье, а злой — уноси ноги, пока цел.

Я шагнул ему навстречу.

— Здорово, дядя!..

Передо мной стоял высокий, сутулый старик и пытливо меня рассматривал. Он был в серой холщовой, вроде балахона, неподпоясанной рубахе и пестрядинных штанах, заправленных в рваные, стоптанные чирки.

Во всей его угловатой, крепкой, чуть сгорбленной фигуре было что-то дремучее, лесное: будто корявый пень поднялся из таежных мхов и бурелома и глядит большими удивленными глазами на божий свет.

Он, не шевельнувшись, расспрашивал меня тихим, низким голосом, — кто я, откуда, как попал сюда?

— Ну, что же... мы рады... Человек в нашей тайге — редкий гость. Ну, залазь в мою фатеру... ничего, залазь... — наконец сказал он, улыбаясь, а его суровые глаза ласково блеснули.

Я попросил его согреть чаю, а сам пошел с ружьем к озеру.

II

— Человек... о-о-о... зверюга душевредная... Я, милый, весь свой век по тайге мыкаюсь... насмотрелся на людишек... Всячинки было...

Каторжник Иван Безродных, мой новый знакомец, бросил в угол починенный сапог, поправил на лбу ремень, поддерживающий седые, лохматые волосы, и лениво повернулся ко мне. Он сидел, вдвое согнувшись,

на сосновом сутунке и растирал рукой отерпшую спину.

— Одначе, дождь хватит... поясницу пополам пересекло.

Землянка Ивана Безродных вырыта в обрывистом речном берегу. В ней, даже в яркий солнечный день, пахло могилой. У сырой, покрытой плесенью стены стояли нары, как в склепе гроб. В углу дымилась сложенная из булыг каменка с поставленным на ней чайником. Хвойный запах тайги проникал в оконце, и от этого казалось, что на каменке тлеет ладан и голубыми струйками стелется по землянке.

— Дак вот я и толкую... человек, мол, поопасней медведя-то али волка... Медведь что... он без хитрости, мужик простой... Ежели он прет на тебя, обязательно рявкнуть, упредить должон: «а ну-ка», — дескать... Теперича, ежели взять человека... я так полагаю, что пакостливей его нет... Другой прельстится к тебе, примажется, в душу влезет, а опосля того уж и за глотку сгребет.

Иван Безродных достал с колышка дратву и стал крутить.

— Хоша, промежду прочим, тебе скажу, с человеком надо умеючи. Мудрящая штука человек... Да вот я тебе сделаю пример... Ничего, послушай... не во вред...

Старик покряхтел, потер простуженную коленку и откашлялся.

— Человеку, молодчик, во все вникнуть надо, что к чему... Ну, вот, значит, и слушай... Был у меня, можно сказать, закадычный друг... Нет, стой ужо... Не с того конца начал... — Старик улыбнулся и, перекусив дратву, сплюнул.

Я заглянул в оконце. Туман давно исчез. Внизу лениво плескалась речушка, и в черемуховых кустах по ее берегам звенели птичьи голоса. Красноватый глинистый обрыв, где была землянка, шел прямо к воде; утоптанная тропа змейкой сбегала вниз к лежавшему через речку, поваленному бурей, дереву. За речкой зеленела тайга, такая свежая, омытая росой, такая нарядная в сиянье солнца.

Чайник на огне стал поплевывать и фыркать, раздраженно дребезжа крышкой.

— Ага, вот и пойло сготовилось... — Он по-медвежьи, вперевалку, задвигался от огня к столу, от стола к полке с чашками.

— Ну, пей да слушай не то... А насчет сахаров у меня плохо, брат.

Он примостился у стола на сутунке и с прохладцем принялся за чай.

III

— В тайге смекалка — первое дело. Ну, да она, впрочем сказать, нигде не вредит. Вот, хорошо. Как отбыл я каторгу, осел в маленьком таежном поселке на Соколином [1] острову. Не захотелось мне на материк плавиться — на острову сытней.

Ну, народ там был все аховый, сорвибашки, на ходу подметки резали, прямо будем говорить — ворье. А чуть что, так и на тот свет — фьють! — как не бывало.

У меня своя хатенка была небольшая. А супротив, через улку, вольная бабочка жила, хлебы на прииски стряпала, ну, еще кой-чем занималась сподтишка, грешным делом, по малости побаловывала. А я был ей шибко по нраву, мне она завсегда уваженье делала, ну, на вроде моей милашки... Да... что ж, дело молодое...

Вот пришел я раз в ноябре, после Михайлова дня, из тайги с промыслу и принес десятка два хороших соболей да шесть лисиц сиводушных. Выбрал пару соболей добрых да лисичку, понес ей, значит, крале-то, для уваженья.

— Вот что, Иван, дай мне всех соболей да лисиц-то, я в сундук запру...

Я этак прищурился на нее сбоку, подморгнул:

— Не-е-т, сватья... я тебе не дам, — говорю ей. — Я тебе отсчитал, что полагается: владей, Фаддей, а остальные — мои.

---

[1] Остров Сахалин.

Она поджала губы, вздохнула.

— Как бы тебя не обидели, — говорит мне, — подслушала я вчерась ночью лихой разговор... вот чего.

— Вот чего, да вот чего: парень девку потчевал... Нет, сватьюшка! еще такого человека на земле не уродилось, который ежели меня изобидел бы...

— Ну, гляди... — сказала баба и ушла.

Я перетряс в сундуке пушнину, все ружья зарядил. Работаю так, а сам все про себя вроде улыбаюсь. Погоди, думаю, черти. Заглянул в окно: пора, дюже темно стало. Приоткрыл я окошко, поблагословился эдак, в мыслях, вылез на улку, а окошко опять призакрыл. Потом дверь снаружи запер на огромаднищий замчище.

Вот, отлично. Вышел я середь улицы, заломил на ухо картуз, да и заорал во всю глотку песню. А сам вдоль деревни нарошно мимо самых главныхворищев пру. Дошел до краю, да как шаркнул в переулок, да ну по задам к себе тесать.

Подбежал к окошку своему, влез в хату, запер окно на ставню, ружья проверил, притаился, жду. А уж наверняка знаю, что обязательно придут гости: потому, ежели кому надо, услыхали мою песню, подумали:

«Ишь, мол, Ванюха песни орет, гуляет... пьяней вина...»

И верно, брат. Не надо и к ведуну ходить. Подошли тихо-смирно к двери, стали возле замка пыхтеть.

Я осторожненько винтовку с гвоздя стянул, встал в спозицию, ожидаю поступков. А сердце под рубахой: ту-ту-ту...

— Прочный, — говорят, — замок-то... давай лучше дверь с петель сымать...

Я всех троих узнал по голосу: закадычный дружище мой, кузнец Филя, да Трошка парень, да еще мужичок один — Оса. Ну, стали они лом меж косяком да дверью закладывать. Дверь сдавать начала.

Я как гаркну:

— Не ошибитесь, варначье! Дома я! — Да как царапну пулей в дверь.

Батюшка ты мой! Дак они — ха-ха!.. как кони, прочь затопотали, аж земля затряслась.

Я в окно — прыг, да вслед им из двустволки: раз! раз!

— Я вам покажу, как грабить. Я вас уважу...

Тут соседи прибежали:

— Ты чего воюешь?

— Нападенье было... смертоубийство...

— Кого убили?

— Меня чуть не кончили.

Фонарь зажгли. Глядим: лом, шапка, рукавицы. Я сразу признал, чье добро.

— Ребята, знаете, чье? — спрашивает сотский.

Я смолчал.

— А ты, Иван, знаешь?

— А кто его знает... нет, не знаю... — ответил я.

Так их и не накрыли... А надо бы...

IV

Иван Безродных налил себе четвертую чашку и, покрутив головой, ухмыльнулся.

— Хе-хе... с тех самых пор Филя-кузнец ко мне ни ногой, как отрезало... А первые, можно сказать, собутыльники были... Потом, гляжу, по весне приходит ко мне Филя. Приходит и говорит:

— Возьми, — говорит, — дядя Иван, меня с собой в тайгу на промысел. — А сам закраснелся весь, хвостом крутит, будто блудливая сучка.

— Ну-к чо... пойдем...

Он этак носом пофыркал, переступил с ноги на ногу, а сам нет-нет да исподтиха на меня и взглянет, быдто выведать хочет: знаю я или нет.

— А ты бывал в тайге? — спрашиваю его.

— Сроду не хаживал... А что?

Собрались мы с ним, пошли. Вот неделю ходим, вот другую. Чую, не в себе мужик, мучит его, видно, совесть. Сидим как-то у костра ночью, он и говорит:

— Дядя Иван... А ты ничего не знаешь? Что я тебе сказать хочу.

— Знаю...

Он заерзал, понатужился было, нет, опять замолк, только краской залился, как сейчас вижу. А я знай молчу, никакого вида ему не оказываю. Еще неделю протаскались... А по тайге без привычки ходить, ох, как трудно, хуже каторги... Филя мой свету невзвидел, все ноги в кровь стер, еле ползет:

— Замучил ты меня, Иван... силушки моей нет...

— Хе-хе, друг... Нет, брат... Это еще цветики... Ты думал, сладко соболей-то бить, вкусно?

— Будь они трижды прокляты.

Идет сзади меня, сопит.

— Иван...

— Ну?

— Можешь ты меня ежели простить? Это я тебя осенью-то... попугал... Извини, друг...

Я этак остановился, зыкнул на него:

— Рыжий ты черт! И тебе не стыдно?

— Стыдно... Прямо извелся я весь... Извини...

— Ну, бог с тобой...

Гляжу, мой Филя и рот скривил, трясет бородищей, слезу кулаком обирает:

— Ведь ты знал, Иван...

— Неужто нет... Чей лом-то был? Известно — твой...

Филя бултых мне в ноги:

— Ввек не буду...

И стали мы с ним опять друзьями пуще прежнего. Вот оно как!..

Луч солнца ударил в открытую настежь дверь, освещая край стола и опрокинутые на нем чашки.

Я встал.

— Ну, Иван, прощай... Спасибо...

— Эх, друг... А ты бы погостил...

Старик сказал таким просящим голосом, что я, подумав, решил остаться.

До седого вечера мы с ним бродили по тайге. Он показывал сохатиные ямы, настороженные на горностаев плашки и искусно сделанные для ловли медведей кулемы.

— Медведь — зверюга умная... Его не скоро обманешь...

— Не боишься их?

— Кого? Зверя-то? Я его в страхе держу. Ежели хочешь цел быть, не робей: встрелся невзначай, взглядом бери. Вскинь на него напыхом глаза да гаркни: рявкнет с перепугу, уши подожмет и драло. Вот оно как.

V

На другой день старик взялся проводить меня до места.

Шли мы извилистой тропинкой, направляясь на юг. День выдался ясный, солнечный. Синева небес была спокойна. Тайга жмурилась от тепла и света, насыщая воздух запахом хвой и пьяным ароматом спелого хмеля. Над нами кружилось облако комаров, но, закрытые сетками, наши головы были неуязвимы.

— Добро по тайге бродить, — сказал Иван, — только теперича — ау... Был конь, да чезнул: в покров семь с половиной десятков стукнет... Вот оно как!..

Часа через три мы были на лысой сопке, которую обдувал со всех сторон вольный ветерок.

— Давай чай пить, — сказал Иван, — комар нас в ветер не потрогает.

Живо запылал костер. Тайга легонько шумела. Внизу журчал ключик. Пахло смолой и полынью.

— Да, дружок, — начал Иван Безродных, — много со мной бывало всяких делов... А одно дело... лучше бы его и не было... — Дед вздохнул. — И вспоминать стыднехонько... А впрочем... ежели не заскучаешь — слушай.

Зверовал я как-то перед весной, по насту, на Соколином острову.

Вот настало времечко и домой брести. Пошли мы с Копчиком. Нес я с собой тридцать пять соболей, да восемь выдр, да лисичек сколько-то. Соболи там ценились рублей по двадцати. Ну, словом, на тыщу, само-мало, нес богатства.

А надо тебя упредить, друг, что мы, когда с промыслу ворочаемся, домой с опаской идем: в темноте спать ложишься, до свету уходишь. А то того гляди лиходей какой высмотрит, накроет сонного, как пить даст.

— Кто?

— А уж есть такие... Из поселенцев же, из тамошних крестьян, которые навроде меня каторгу отбыли.

И вот, брат ты мой, заночевал я как-то в зимовье, в промысловой избушке; да таково ли здорово меня разморило с устатку, страсть долго спал: проснулся — солнце высоко, некогда и чай пить.

— Пойдем-ка скорей, Копчик... — говорю своему кобельку. Он псина умная, хвостом виль-виль, а сам на мешок усмотрение имеет: «Дай, мол, Иван, хошь корочку!»

— Нет, — говорю ему, — Копчик, а вот дойдем до речки, там мы с тобой справим все дела.

Пошли. Гляжу, собака куда-то скрылась. Я покликал — нету. Я посвистал — молчок. Я выстрел, я — другой: словно сгинула... нет, да и на... Ну, думаю, неспроста это; потому — Копчик у меня послушный. И вступило тут мне в голову сумленье. А тайга такая кругом, что ужасти: стена стеной, самое глухое место. Остановился я, осмотрелся. При мне два ружья было: дробовик двуствольный да винтовка. Дробовик — дурак, для обороны — тьфу! — им сквозь лесину не прохватишь, а винтовкой можно ловко достать и из-за дерева.

Я по этому самому дробовик, значит, за плечо, винтовку наготове держу: пошел потихоньку вперед, а сам, как сыч, озираюсь во все стороны, ухо держу востро.

Вдруг, брат ты мой, слышу, — стукнуло. Будто собака хвостом за лесину задела.

Я — стоп! — как вкопанный. Туда-сюда смотрю, и прилягу, и на цыпки подымусь... Всяко норовлю глазом поймать, не промелькнет ли по снегу меж дерев какая оказия... И ровно бы сердце-то мое не испужалось, только, чую, зубы чакают, и винтовка в руках ходуном ходит. «Крепись, Иван», — сам себе говорю...

И словно вот, скажи на милость, кто меня лихим глазом сверлит. А откуда, не знаю: то ли сзади, то ли спереди, али сбоку. Ах ты, дьявол!.. Грохнет, думаю, пулей — и аминь... Думаю, надо наземь лечь. Худо мне стало... один...

И вдруг...быдто кто мне по душе кнутом... Вскинул я голову, гляжу: рожа на меня из-за дерева пялится. А глазища, как угли, — огнем пышут.

«А-а-а, голубчик... вижу!..»

Сразу вся робость прошла, взъярился я, на дыбы всплыл. Соболей долой, сухари долой, винтовку взвел.

— Эй, ты! — кричу. — Тебе что надо?

Молчит, глазами слопать хочет.

— Отпусти мою собаку... Не то убью!

А он в ответ как хлобыснет: та-та-та! Так вся картечь и впилась в мой кедр.

Во мне удали еще подбавилось. Окинул я тайгу взглядом, думал, он не один — жди пули сбоку. Никого не заметил, выскочил из-за кедра:

— Выходи! Все одно убью...

Он опять как вскинет ружье, я нырк за кедр, — как пустит... взз! — возле самой головы картечь вспела. Приложился я: — Не замай!.. простись с белым светом! — У него плечо чуть из-за дерева выглядывало... Да как порсну пулей сквозь дерево. Он — кувырк.

«Ага!.. готовый...»

А в это самое времечко, сбоку от меня, как затрещит валежник: глядь, другой человек кинулся. Я за ним:

— Стой!.. — кричу.

Куды тебе... Выскочил он на речку, я за ним, да вдоль речки-то по снегу и лупим. А у него в руке ножище в аршин сверкает.

— Стой, дьявол! Убью!

Убить — жаль, все едино мой будет, дай, думаю, постращаю. Ну, пустил я возле его башки пулю. Было носом, окаянный, торнулся, бросил нож, дальше чешет. Речка в скалы вошла, тут ему и погибель. Бежит, леший, сильно бежит. Я отставать начал.

Приложился я, взял на полвершка повыше евоной

головы: ежели сам набежит на пулю, туда и дорога, — да как резану. Он — стоп! Видно, в шапку попало, а шапка у него огромадная, из собачины — припрыгнул на месте, взмахнул рукой, повернулся ко мне рылом.

— Ну, теперича, миленький, дожидай! — кричу, а сам стал, не торопясь, винтовку заряжать. Нарошно не спешу: пусть... Зарядил это я, взял ее, матушку, наперевес, подхожу тихонько, ножище его на дороге подобрал. Подошел шагов на пятнадцать. Молодой, гляжу, с бороденкой, белый, быдто снег, стоит, трясется. Остановился я, достал трубку, закурил.

— Ну миленький, ложись.

Лег.

— Рылом вниз ложись.

Мужик перевернулся. Докурил я, не торопясь, трубку, подошел к нему вплоть:

— Харрош, дьявол.

— Прости...

— Я те прощу... вот я те сейчас так прощу, что закашляешь.

Он пуще задрожал, захныкал, бормочет что-то. Меня тоже всего забило. Ну, только что сборол себя.

— Вот я отойду к сторонке: ну, ты не шевелись. Помни: я соболя в глаз бью...

— Ой, ты... неужели застрелишь?

— Мое дело...

Пячусь от него этак задом, а винтовка наготове.

— Вас сколько, мазуриков, было?

— Дво-о-е...

— Не врешь?..

— Вот те Христос, двое...

— Ну, лежи...

Допятился это я до ельнику, срезал вицу. А уж оттепель была, молоденькие елочки отволгли, гнутся хорошо. Подхожу я к нему с вицей.

— Ну, вот, ежели ты что вздумаешь такое-этакое — видишь, нож? — знай, парень: я в спину всажу, к земле пришью сразу... Ну, давай сюда руки...

Подал он поверх спины руки. Как притянул я их друг к дружке вицей локтями вместе, он у меня и взвыл:

— Дядюшка, больно...

— А-а-а... теперича дядюшкой тебе стал, а даве, язви вас, как собаку убить хотели?

Без опаски уж отошел от него, еще вицу вырезал, ноги крутить начал. Он заплакал, понял, видно:

— Ноги-то пошто? Смилуйся... Робят у меня трое... Баба на сносях.

Взял я его, связанного-то, в беремя, как барана, отнес под дерево, — стонет, слезно умоляет: понял. Ну, я окреп духом: врешь, думаю. Прикрутил его накрепко к дереву:

— Лежи, — а сам пальцем грожу. — До та пор лежать будешь, покуль тебя птицы не склюют, — отрубил ему строгим манером, да и пошел с богом прочь... Дак он дурью заревел, все одно — свинья под ножом, потому — глушь, тайга, уж тут никто тебя не выручит. Аминь.

Пришел я, значит, на старое место, соболей подобрал, нагреб в котелок снегу, чтобы чаю вскипятить, сухарей вытащил из торбы. Ну, только что не лезет кусок в глотку, да и на.

А уж другой день росинки маковой во рту не было. Взял сухарь, положил в рот — трава травой. Чую — неладно со мной. Огляделся я — тайга стоит молчком, нахохлилась, надулась, быдто рассерчала. А надо мной воронье каркает. Защемило мое сердечушко. И взяло меня тут раздумье. Вот, думаю, сижу я живой, невредимый. А рядом мертвый человек валяется, а на речке другой человек судьбу клянет, казнится. Тяжко мне стало. «Так ли, думаю, ты, Иван Безродных, распорядился? Верно ли?» Сижу так, умствую у костра. Вижу: снег белый повалил сверху. «Нет, — опять же думаю, — неправильно твое, Иван, дело». Приподнялся я, вытянул шею, гляжу: лежит ирод-то, застреленный-то, обутки из-за лесины выглядывают. И словно бы вихорем меня подбросило, подбежал к нему, плюнул в морду: собаке собачья смерть.

...И тут, друг милый, закружилось у меня все в башке и смешалось. «А, вороги... а, змеи... меня убивать?!» Уж и не помню, как ружье поймал, точно бес всунул. А воронье — кар-кар... И закипело во мне сердце бежать и пристрелить скорей того злодея. Злоба такая подкатила, аж по-медвежьи рявкать стал: ну, прямо свет не мил. Как порсну по котлу ногой, как поддену костер: — Нна!! — аж головни во все стороны. А тут черт Копчика подвернул: выскочил откуда-то, ко мне кинулся, хвостом крутит, весь, словно змея, вьется. Резнул я его сапогом в бок, взвыл мой Копчик... — А-а, дьявол! хозяина продавать?! — приложился, да раз ему в затылок, тот — брык. Потемнело у меня в глазах. — Копчик, кричу, батюшка ты мой! — Бросился к нему, припал на снег, у того кровь из загривка по снегу хлещет... — Пес ты мой верный... Копчик! — да ну целовать его в морду... Где тут... хрипит собака... Сел я, закрыл рыло рукой, задумался. И потекли у меня слезы, а злоба схлынула... И отчего заплакал, сам в толк не могу взять... Вот и теперича не сумею тебе объяснить... какое-то такое случилось в середке, леший его ведает... То ли Копчика жаль сделалось: уж очень умный пес был, только что говорить не мог; то ли оттого, что душу свою человечьей кровью замарал, — ну, только что баба бабой сделался... А может статься, тайга меня ошеломила: шум пошел по тайге, ветер... «Эх, думаю, подлец ты: гляди-ка, тайгу разгневал... Прости, тайга-матушка...» Вдруг слышу: — Ой-ой-ой, — кричит мой мужик, ветром наносить стало. Закачалось у меня в душе. Эх ты, черт тя дери... Гибнет человек, мается... Ведь не подойди я — околеет... Семья у него, робята... А велик ли мне от того прок, что он пропадет, как тварь последняя...

А он опять: — Ой-ой-ой! — Так меня всего и повело с макушки до самых пят... «Ну, иди, Иван, обрадуй человека... Прощай, Копчик! прости, Христа ради». Забрал свою сбрую, перекрестился, пошел.

— Ну, как, земляк? — кричу ему издали.

Так веришь ли, друг, до чего он обрадовался: аж обмер весь, аж языка лишился, а слезы градом.

— Ну, ладно... — говорю, — убирайся к лешему... Да смотри, зарок дай, чтоб охотников не забижать. — Развязал его, отобрал пяток соболей.

— Вот, на тебе.

Он в ноги; валяется, слюнявит мои обутки.

— Свет ты мой, отец ты мой родной...

— Пшел, сволочь!.. Негодяй... Другой раз — убью. — И пошагал от него прочь. Вдруг слышу, ревет:

— Добрый человек! Как имя твое? За кого мне денно-нощно бога молить?

Махнул я рукой, потому время подходило к вечеру.

Иду это я, иду... И никаких во мне мыслей, быдто ветром вымело... и начало меня в сон ударять.., Одначе креплюсь... Опосля того, глядь, бежит мой Копчик возле тропы по лесу. Остановился я, огляделся — нету. Опять пошел... А сам озираюсь, и чего-то жутко мне стало. Глядел-глядел — бежит. Он самый, черный, ухо белое.

— Копчик! — Ни гугу... Опешил я... — Копчик! — А он как заскулит, да — гаф!

Я бегом на голос, звал-звал — нету. Ах, стрель тя в пятку, что за чуда такая. «Надо назад вернуться... Неужто ожил? Нет, думаю, не может быть... Это просто мне мерещится, блазнит...» А уж поздно становилось, над тайгой звезда взошла. Сел, приложил к голове снегу: голова горит, во рту пересохло... Да еле до зимовья дотащился, должно, с неделю прохворал там, чуть не пропал. Потому — один... Вот, брат, какая история могла стрястись.

Весь свой рассказ Иван Безродных вел с молодым задором, будто с его плеч свалилось добрых тридцать лет. Но, кончив, он вдруг стал меркнуть. Время вновь насело на стариковы плечи, ссутулив спину. Брови его насупились, лоб избороздили складки, усталые глаза, казалось, сосредоточенно о чем-то вспоминали.

VI

Мне не хотелось покидать старика. По его глубоким вздохам и по задумчивому взгляду я догадывался, что у деда в душе неладно. Надрыв какой-то, разъедающая сердце скорбь чувствовалась даже в бодрых его словах. И еще чувствовалось, что он томится желанием до конца открыть мне свою душу, но что-то его удерживает. И мне вновь припомнилась его полная грусти песня:

«Эх, да как змея-тоска меня сокрушала...»

Я не знал, кто он, этот таежный анахорет, за что попал на каторгу, чье змеиное жало напоило отравой его душу?

— Я, старина, останусь с тобой до завтра...

— Да ну? Ах, милый... — улыбаясь, радостно выговорил дед, и голос его покрыли слезы.

День прошел быстро. Ходили мы к озерку, где взяли пару уток. Вечером, перед закатом солнца, повел он меня на высокий обрыв реки. Долина ее широко здесь развернулась и поросла черемошником, а тайга отодвинулась в стороны и дала простор глазу.

— Зори... эх, зори!.. ты только погляди, друг... — притаенно промолвил дед и указал рукой в сторону пылавшего заката, на котором четко так рисовалось черное кружево тайги.

— Да, люблю я, милячок, вот так, один на один, посидеть об этом месте да послушать, как молчит мать-тайга... особливо на заре... Дюже славно... Хорошо умеет тайга молчать...

Действительно, кругом была необычайная тишина, и дед, словно боясь вспугнуть ее, говорил почти шепотом.

Я любовался и озаренным небом, и ярко вспыхнувшим зеркалом речки, и всей той благодатью, которая нависла над тайгой.

Дед, весь в сиянье зари, словно умывшись ее животворными брызгами, молча сидел, охватив колени, и восторженно улыбался.

— Дюже хорошо молчит тайга...

Я загляделся на него. То каторжника перед собой я видел, сутулого, с жутким, исподлобья, взглядом, с крепко стиснутыми челюстями, с печатью злодея на запавшем лбу; то — удивительное дело — передо мною вставал образ ушедшего от мира старца, готового тянуться трясущимися руками к заре, чтоб поцеловать край неба.

VII

Ночевали мы с ним под ситцевым пологом. Ночь была теплая — большая в тайге редкость.

Спать было очень душно. Но полог — единственное убежище от таежного гнуса: мошки и комара. Мы лежали с дедом бок о бок и не могли сомкнуть глаз. Сквозь ситцевые стенки полога мутно мерцал разложенный возле большой костер. Над пологом столбом кружились комары, попискивая и не желая улетать.

— Дедушка, — наконец решился я, нервно позевывая и подыскивая слова, чтоб не обидеть его. — Как же ты в каторгу попал? Наверно, понапрасну?

Вспомнив многократные свои разговоры с поселенцами, я ждал утвердительного ответа: «да, понапрасну, мол». Но, к моему удивлению, старик сказал:

— Нет, друг... Мало еще меня мучили... Знаешь, кого я хлопнул?

— Кого?

Он чуть приподнялся, облокотившись на землю, и несколько мгновений в упор смотрел на меня.

— Отца.

— Что?

— Отца, говорю... родного отца кончил. Вот я кто...

Он опять повалился на спину и, показалось мне, застонал.

Я долго ждал, пока он начнет, и, потеряв надежду, спросил:

— Как же это ты, дедушка?

— Ну что ж, друг... Долго рассказывать... да и не к чему... Завладал тогда моей душой дьявол — ну, и... Без обиняков, коротко тебе скажу: женили меня по восемнадцатому году, а молодуху взяли — ай люли, репа. Ну, батька к ней: здоровенный был, кряж. Народ узнал, засмеяли меня, затуркали. Жизни не рад стал... Как-то о празднике ночью застал их в бане: спят. Ну, я тут обухом отца по темю... Вот и все...

Мы оба помолчали. Потом дед прыгающим голосом едва внятно докончил:

— Родителя-то ничего... А вот того-то... самое главное — того. Тяжко...

Костер угас. Была глухая ночь.

Я почти до зари не мог заснуть. Да, кажется, не спал и дед. Он что-то шептал во тьме, вздыхал и бредил.

VIII

Мы пробудились поздно. Солнце жарило вовсю. Под пологом — как в бане. Взмокшие от жары, мы сорвали полог и полной грудью стали жадно вдыхать бодрящий хвойный воздух.

Освежившись ключевой водой, стали готовить чай и варево из убитых вчера уток.

Дед был молчалив и грустен. Он избегал моего взгляда. Мне хотелось сказать Ивану что-нибудь хорошее, подбодрить старика, но слова шли не от сердца. Это раздражало меня и еще более угнетало деда.

Чай пили молча, торопливо. Старик вздыхал, тайком поглядывал на небо и что-то шептал.

— А пора бы уж... — наконец проговорил он.

— Посиди, куда спешишь.

— Я не про это... Подыхать, мол, пора бы... стар... — сказал Иван задумчиво и строго. — Ну, ты подумай, мил человек, куда я? Один... А кругом тайга, жуть. Жилья на двести верст нету. Тоже лютой смертью никому умирать не хочется. Вот, кабы

сразу, ну, хоша бы громом, что ли, стукнуло. А то как хворь насядет — ни встать, ни сесть, — тяжко тогда, мил человек... водицы некому подать будет...

— Иди в деревню.

— В деревню? Нет... Я уж со зверьем как ни то... в тайге... чего там? Ежели попа — мне не надо. Не верю я попам, ну их.

— Мужики приютили бы, пригрели...

— Нет, я здесь, в тайге должон...

— Помаялся, довольно.

— Мало! — отрезал Иван, обхватывая колени руками. — Мало, сударик, мало... Ты думаешь, шутка человека убить? Нет, брат. Кровь человечья, она — ого-го... А я вот и сейчас не могу забыть... Как вспомню про того человека, аж злом всего охватит.

— Про отца, что ли?

— Ничего не про отца... — октавой буркнул дед. — С ним у нас расчет покончен в аккурате... значит, квит на квит. А главная суть в том, — уверенным голосом и придвинувшись ко мне продолжал дед, — не знаю, как по-твоему? Само главно, вот что: родитель *передо мной* виноватый был по самую маковку, а перед *этим — я...* Чуешь?

— Как так? — удивился я. — Этот нападал...

— Нападал? — строго взглянул на меня и весь ощетинился старик. — По-молодому-то я, стоит тебя, тоже думал, а теперича — не-е-ет. Пошто он, спросить тебя, нападал-то? а? Кабы я вровню с ним был, неужто бы напал? Я богатый — он богатый, я бедный — он бедный, — неужто бы напал тогда, а? А то ежели на мне тыща висела, а он, может, неделю не жравши с семьей жил. Нет, друг, не спорь. Сам я в этом разе причинен был: ишь ты, богатства захотел, соболей надобывал, лисиц. А куда мне богатство-то? Все одно прожрал бы на винище... А я вот на! всадил-таки в человека пулю. Понял? Ну, так и не спорь.

Тайга чуть шелестела. С плешивой горки она казалась мягким зеленым ковром, уходившим во все стороны и сливающимся с голубоватою далью. На западе собирались облака.

— Смолоду-то мы все ершисты, а вот как подыхать время, дак и... — сказал, вздыхая, старик и уставился глазами в землю. — Не хочется тоже, мил человек, черным в могилу-то ложиться. Вот я вечор говорил тебе про зори. Ведь я кто? Злодей, убивец... вот я кто. Так бы мне и подохнуть, на манер паршивого пса. А вот ушел в лес, да как почувствовал зарю небесную, так во мне все и всколыхалось. — Старик поднял голову и, наморщив лоб, взглянул поверх тайги. Потом скользнул по мне тоскующим взглядом и покачал головой.

— Жаль мне разлучаться с тобой, человече... Вот уйдешь, больше уж не увидимся. Опять один останусь. Я поди с год человека-то не видал... Эх ты, жизнь!..

Иван Безродных, охая и кряхтя, поднялся.

— Ну, прощай, друг милый. Счастливой тебе дорожки. Прощай, родимый, прощай...

И мы навсегда с ним расстались.

Я долго смотрел ему вслед. С мешком за плечами, чуть покачиваясь, старик шел в свою, похожую на могильный склеп, землянку.

ПРИМЕЧАНИЯ

В первый том настоящего Собрания сочинений В. Я. Шишкова в восьми томах входят повести и рассказы, созданные писателем за период 1912—1917 гг. В основе большинства этих произведений лежат разнообразные и яркие впечатления, полученные Шишковым во время его пребывания в Сибири. Работая инженером-изыскателем по водным и шоссейным путям сообщения, писатель прожил там свыше двадцати лет (с 1894 по 1915 г.). Он горячо любил этот край и считал его своей второй родиной, не менее близкой и понятной его сердцу. «Мои лучшие годы, — писал он об этой поре своей жизни в автобиографии, — протекли в живом труде, среди разнообразной природы... Пред моими глазами прошли многие сотни людей, — прошли не торопливо, не в случайных мимолетных встречах, а нередко в условиях, когда можно читать душу постороннего как книгу. Каторжники и сахалинцы, имевшие за плечами не одно убийство, бродяги, варнаки, шпана, крепкие кряжистые сибиряки-крестьяне, новоселы из России, политическая и уголовная ссылка, кержаки, скопцы, инородцы, — во многих из них я пристально вгляделся и образ их сложил в общую копилку памяти» (Вяч. Шишков, Автобиография — см. Полное собрание сочинений в XII томах[1], т. I, изд. 2-е, ЗИФ, М.—Л. 1928, стр. 66—68).

Почерпнутый из этой богатейшей, постоянно пополнявшейся «копилки памяти» материал в большой степени определил характер, основную тематику и проблематику как всего творчества

[1] Так называлось первое и единственное прижизненное Собрание сочинений писателя, выпускавшееся издательством «Земля и фабрика» в 1926—1929 гг.

Шишкова в целом, так, в частности, и его дореволюционных произведений, представленных в первом томе данного Собрания сочинений.

Том открывается повестью «Тайга», наиболее крупным и значительным из ранних произведений писателя, которым сам он начинал свое Полное собрание сочинений; последующий материал расположен в хронологическом порядке — по датам написания произведений или по их первым публикациям.

Все произведения печатаются по текстам последних прижизненных авторизованных изданий Шишкова с исправлением опечаток и искажений по другим, более ранним публикациям. При воспроизведении текста сохранены принадлежащие автору шрифтовые выделения, а также включенные им в текст эпиграфы, посвящения и подстрочные примечания. Внутри тома повести и рассказы не датируются, так как сведения относительно их написания, времени и места публикации приводятся в примечаниях.

ТАЙГА

(Стр. 19)

Впервые опубликовано в журнале «Летопись», 1916, № 7, 8, 9, 10, 11, первое отдельное издание — в издательстве «Парус», Пг. 1918. Вошло в I том Полного собрания сочинений. Печатается по тексту книги: Вяч. Шишков, «Тайга», изд-во «Недра», М. 1931.

Над повестью «Тайга», как видно из авторской датировки ее (1913—1915 гг., Томск — Петербург), В. Я. Шишков работал свыше двух лет. По свидетельству самого писателя, непосредственным толчком к созданию этой вещи послужила заметка в одной из сибирских газет о расстреле крестьянами шести бродяг, обвинявшихся в том, что они зарезали нескольких коров из деревенского стада и украли деньги у местного купца. Как выяснилось впоследствии, бродяги оказались невиновными. «Перед моими глазами стоял этот ужасный факт, тревожил меня, и я должен был так или иначе на него отозваться», — говорил Шишков в своей беседе с начинающими литераторами в 1934 г. («О мастерстве литератора», журн. «Смена», № 19, 1956). «Сел писать рассказ на эту немудреную тему. Я поставил себе целью изобразить поимку бродяг и казнь их. Только и всего...» (В. Я. Шишков, «Кое-что о труде писателя». Кн. «Как мы пишем», Профиздат, М. 1934).

Однако в процессе работы, когда рассказ уже шел к концу, «вдруг всплыла другая идея, значительно сильнейшая, чем первоначальный замысел», — писатель сумел понять и оценить случай зверской расправы с бродягами как одно из частных проявлений страшной своей темнотой, отсталостью, социальными несправедливостями жизни дореволюционной деревни, быт и нравы которой он великолепно знал. Изобразить эту жизнь не в каком-то одном, узком аспекте, а в целом, дать широкую и объемную, социально значимую картину, — именно так понял свою новую задачу Шишков. «Пришлось написанное сжечь и засесть за совершенно новую... работу, в которую первоначальный замысел вошел как фрагмент большого полотна» (там же).

Отдельные отрывки будущей повести по мере их готовности печатались в томской газете «Сибирская жизнь» (в № 281 за 1914 г. появился отрывок «Праздник», в № 63 за 1915 г. — «Море зеленое», в № 79 за 1916 г. — «Зеленые цепи»), вся же она целиком была завершена к концу 1915 г., когда В. Я. Шишков, покинув Сибирь (август 1915 г.), поселился в Петрограде. В письме от 9 января 1916 г. к А. М. Горькому, с которым Шишков был к этому времени уже лично знаком и авторитет которого как человека и писателя ценил очень высоко, он сообщал: «Одиннадцатилистная моя «Тайга» лежит пока нестриженая, в полусыром виде... Мне бы хотелось попросить Вашего совета, как ее стричь и надо ли... А она («Тайга». — *В. Б.*) была бы теперь ко времю» («В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Ленинградское газетно-журн. и книжн. изд-во, 1956, стр. 251). Горький согласился прочесть повесть и после прочтения дал подробный разбор ее: «Не скрою, — над ней еще следует поработать, — указывал Алексей Максимович, обращая внимание автора на ряд погрешностей в развитии фабулы, на чрезмерное многословие, злоупотребление «лирикой слов» в ущерб «лирике фактов». Он предлагал также задуматься над концовкой произведения: «Не лишнее ли — пожар тайги? Не лучше ли кончить на том месте, где Устин возвращается в деревню?» Все эти весьма существенные замечания не помешали, однако, Горькому дать повести в целом высокую оценку: «Тайга» очень понравилась мне, и я поздравляю Вас, — это крупная вещь. Несомненно, она будет иметь успех, поставит Вас на ноги, внушит убеждение в необходимости работать, веру в свои силы»

(письмо к В. Я. Шишкову от 3 (16) апреля 1916 г. — М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 29, стр. 356). Шишков с благодарностью принял отзыв Горького, согласившись с бесспорностью большинства его замечаний. Он не разделял, однако, сомнений Горького относительно эпилога «Тайги». Пожар Кедровки символизировал для писателя те революционные изменения, которые одни только и могут пробудить деревню от многовекового тяжелого сна, заставить ее обернуться в сторону новой жизни, «где правда живет». Поэтому в ответном письме к Горькому от 4 апреля 1916 г., резюмируя идейный смысл основных образов повести («Тайга — старая Русь со старой кривдой — Устином, Анна — новая правда, мученически мучается. Андрей-политик — посредник между той и другой. Капитал — Бородулин, самого себя съел, сердце лопнуло»), Шишков подчеркивал, что пожар — «ведь это синтез» и потому «нужен» («В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 252).

Горький не настаивал на изменении концовки «Тайги», и, как отмечалось выше, повесть была принята к опубликованию в возглавлявшемся Горьким журнале «Летопись».

Журнальный текст «Тайги» подвергся вмешательству цензуры, писателю пришлось вступить в личные объяснения с цензором. «Толстый генерал, — вспоминает Шишков в автобиографии, — встретил меня, к моему изумлению, чуть не с объятиями: «Ах, ах... Я, знаете, просто зачитывался вашей работой: свежесть, знаете, колорит... Но... К чему эти скользкие местечки? Нет, нет, разрешить нельзя! А вот у вас священник... Он, во-первых, пьяница, во-вторых, ведет любовные шашни с купчихой. Это невозможно, это поклеп на религию... Не можете ли вы вместо священника вставить дьячка?» Я ответил, что уже напечатано полповести и что теперь очень трудно попа загримировать дьячком. «Ну, тогда до свидания», — сухо сказал генерал» (В. Я. Шишков, Полн. собр. соч., т. I, 1928, стр. 67—68). В результате этой неудавшейся беседы были сделаны цензурные изъятия в главах II и V, где поведение попа представлялось цензору особенно неблаговидным; в главе VIII в сцене беседы бродяги Лехмана с «политическим» Андреем был снят ответ Андрея, что «политические» за народ стоят, за правду», и реплика Лехмана — «Так-так-так... Стало быть, верно: не впервой слышу... Дело доброе...»

В последующих пооктябрьских изданиях повести цензурные изъятия были восстановлены автором. Помимо этого, от издания к изданию Шишков вносил отдельные изменения в языковую и стилевую структуру повести.

Очень скоро после публикации «Тайги» начали появляться в печати отзывы о ней, подтверждавшие слова Горького о том, что повесть «будет иметь успех». Еще до выхода ее первого отдельного издания газета «Сибирская жизнь» указывала на то, что «в художественной... литературе последних десятилетий «Тайга» — первая значительная вещь, охватывающая крестьянскую Сибирь широкими рамками цельного, красочного, богатого правдою жизни произведения» («Сибирская жизнь», 1917, № 28).

В последующих оценках критики, появившихся уже после Октября, также говорилось о большом художественном мастерстве писателя, великолепном знании им быта и нравов старой деревни, причем, по справедливому мнению рецензентов, таежная Кедровка — символ не только крестьянской Сибири, она «как бы символизирует всю темную, дремучую дореволюционную Россию» («Печать и революция», 1927, № 4, стр. 200). Все писавшие о «Тайге» отмечали значительность ее идейного содержания, ее революционное звучание. «В. Шишков пишет о дореволюционной деревне, но его повесть, несомненно, вещь революционная. Революционность ее в том, что она вызывает у читателя определенное чувство ненависти к звериному быту таежной деревни, поднимает в его сознании резкий протест против того «мира», который живет такой жуткой жизнью» («Сибирские огни», 1923, № 5—6, стр. 256). «Центральная мысль автора ярко вспыхивает уверенностью, что сгорит первобытная тайга безнадежных чувств... и русский крестьянин, веруя в свои силы, примется скоро сам за устройство своей жизни и страны. Эта уверенность не обманула автора» («Новый мир», 1927, № 4, стр. 201).

ПОМОЛИЛИСЬ

(Стр. 193)

Впервые опубликовано в журнале «Заветы», 1912, № 2. Вошло в III том Полного собрания сочинений и в сборники произведений Шишкова «Сибирский сказ», изд-во «Огни», Пг. 1916; «Краля», ЗИФ, М.—Л. 1924. Печатается по тексту книги: Вяч. Шишков, Пурга. Рассказы и повести о старой Сибири,

Новосибгиз., 1938, где рассказ датирован автором: «1912, Томск».

Рассказ «Помолились» открывает широкий круг произведений писателя, темой которых явилось угнетенное, бесправное положение национальных меньшинств Сибири в условиях царской России («Чуйские были», «Суд скорый», «Та сторона», «Страшный кам», «Черный час», «Царская птица» и др.). С появлением этого рассказа в «большой прессе» (петербургский журнал «Заветы») сам Шишков связывал начало своей профессиональной литературной деятельности (см. Автобиографию В. Я. Шишкова в I томе Полн. собр. соч., 1928, стр. 64).

ХОЛОДНЫЙ КРАЙ

(Стр. 204)

Впервые под названием «На севере» опубликовано в газете «Сибирская жизнь», 1912, 4 ноября; в том же году под тем же названием — в газете «Жизнь Алтая» (Барнаул), 15 ноября. Под новым заглавием «Холодный край» рассказ опубликован в журнале «Красная нива», 1923, № 4. Под этим же заглавием с подзаголовком «Из дневника скитаний 1911 года» и посвящением «...Сенкиче, Гирманче... и многим, многим тунгусам...» рассказ вошел в сборник Шишкова «Страшный кам», изд-во «Недра», М. 1931, по тексту которого и печатается в настоящем издании.

В основу рассказа «Холодный край» положен материал путешествия Шишкова на Лену и Нижнюю Тунгуску в 1911 г. Он возглавил экспедицию, которая должна была обследовать водораздел между этими реками и выяснить вопрос о возможности соединения их каналом. Экспедиция началась ранней весной, предполагалось, что к сентябрю участники ее, пройдя по Тунгуске до впадения в Енисей, отправятся в обратный путь по Енисею на пароходе. Однако в силу непредвиденных обстоятельств работы затянулись, заняв вместо четырех около восьми месяцев, и экспедиция едва не погибла. «В половине августа мы приплыли в последний населенный пункт Ербогачен, — вспоминал Шишков в автобиографии. — Дальше на расстоянии 1800 верст — полнейшее безлюдье и совершенно неведомая по своему характеру река... Крестьяне (проводники. — *В. Б.*) потребовали расчет, ушел и лоцман. «Лучше дома умереть, чем плыть в такую погибель. И вам, дружки, не советую: скоро холода пойдут, каюк вам будет». С этого дня мы были предоставлены самим себе и

очертя голову поплыли вперед» (В. Я. Шишков, Полн. собр. соч., т. I, 1928, стр. 61). Наступившие в сентябре холода поставили экспедицию в совершенно безвыходное положение. Только благодаря помощи тунгусов, согласившихся вести партию через тайгу на юг, по направлению к Ангаре, ей удалось спастись и вернуться в Томск в конце ноября 1911 г. «Наш путь с тунгусами кратко не опишешь, — говорит Шишков в цитированной выше автобиографии, — он напитал мою душу незабываемыми впечатлениями... Мы... прошли тайгою верхами на оленях и пешком семьсот верст, употребив на это сорок дней. Снег был выше колена, мороз до 25° R, питались лосиным мясом, олениной, остатками сухарей. Спали в снегу у костров...» (там же, стр. 63).

Давая общую характеристику своему путешествию на Лену и Нижнюю Тунгуску, Шишков писал: «Условия жизни были каторжные, работа опасная, но экспедиция дала мне житейский опыт и богатейший бытовой материал, и я очень благодарен за нее судьбе» (там же, стр. 60). Действительно, исследуя этот обширный и малонаселенный край, писатель познакомился здесь с бытом тунгусов-кочевников, политических ссыльных, таежных крестьян, а также старожилов края, поселившихся в Сибири еще при Петре Первом и в силу полной изолированности, отсутствия путей сообщения, сохранивших в неприкосновенности уклад жизни XVII—XVIII вв. Шишков записал здесь свыше восьмидесяти старинных «проголосных» песен и былин, а с дороги весной и летом направил газете «Сибирская жизнь» несколько путевых очерков. Эти очерки — «С берегов Лены» (за подписью «Первопуток») и «С берегов Нижней Тунгуски» — были опубликованы в июньских и июльских номерах «Сибирской жизни» за 1911 год («С берегов Лены» — в № от 6 июня, 1 и 8 июля; «С берегов Нижней Тунгуски» — в № от 14 и 15 июля).

КРАЛЯ

(Стр. 218)

Впервые опубликовано в журнале «Заветы», 1913, № 2. Вошло в сборники произведений Шишкова «Сибирский сказ», Пг. 1916; «Краля», ЗИФ, М.—Л. 1924. Печатается по тексту Полного собрания сочинений, т. IV, 1927. В указанном томе Собрания сочинений произведение датировано автором 1913 г., однако первое упоминание о нем мы находим уже в письме В. Я. Шишкова к А. М. Горькому из Томска от 30 декабря 1911 г., где

он просит Горького просмотреть рассказ «Авдокея Ивановна» («В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 247). Это обстоятельство позволяет считать, что первоначальный вариант «Крали» (названный по имени главной героини рассказа «Авдокея Ивановна») был написан значительно раньше 1913 г.

ЧУЙСКИЕ БЫЛИ
(Стр. 242)

Впервые опубликовано в «Ежемесячном журнале», 1914, № 2. Вошло в сборники произведений Шишкова «Сибирский сказ», Пг. 1916, «Сибирский рассвет» (Барнаул), 1917; «Краля», ЗИФ, М—Л. 1924, а также в III том Полного собрания сочинений. Печатается по тексту книги: Вяч. Шишков, Пурга. Повести и рассказы о старой Сибири, Новосибгиз, 1938, где произведение датировано автором: «1913. Томск».

Материал для «Чуйских былей», так же как и для путевых заметок «По Чуйскому тракту» (опубликованы в газете «Жизнь Алтая», 1913, 17 июля), был собран Шишковым на Алтае, где в течение 1913—1914 гг. он возглавлял рабочую партию по исследованию Чуйского тракта, проходившего от города Бийска до границ Монголии. Основная тема «Чуйских былей» — характерное для всего творчества писателя обличение хищнической сущности русской буржуазии, использующей любые преступные пути и средства во имя наживы и стяжательства. В письме к писателю Ремизову о своей работе над «Чуйскими былями» в 1913 г. Шишков говорил: «Это серия мелких рассказов из быта знаменитых грабителей сибирских купцов «чуйцев», что грабили монголов, алтайцев, а теперь вознесло их золото на верх жизни: все перед ними спины гнут, кругом почет, первые в Бийске люди...» (цит. по книге А. А. Богдановой «Вячеслав Шишков. Литературно-критический очерк», Новосиб. книжн. изд-во, 1953, стр. 30).

СУД СКОРЫЙ
(Стр. 264)

Впервые опубликовано в книге: Вяч. Шишков, «Сибирский сказ», Пг. 1916. Вошло в сборник произведений Шишкова «Краля», ЗИФ, М.—Л. 1924, и в III том Полного собрания сочи-

нений. Печатается по тексту книги: Вяч. Шишков, Пурга. Повести и рассказы о старой Сибири, Новосибгиз, 1938, где рассказ датирован автором: «1914. Томск».

Характеризуя произведения из жизни «малых народностей» Сибири, вошедшие в сборник «Сибирский сказ», в том числе «Суд скорый», Вл. Бахметьев писал: «Рассказы «Помолились», «Суд скорый», «Чуйские были» — яркая... картина быта аборигенов края, обкрадываемых и теснимых заезжим, «культуртрегером»... Читаешь о всех этих Борисках, Конго, Юсупах, Гнусах, Харлашках, Гирманчах и видишь, сколь безобразна русская жизнь: сверху донизу надо лопатами очищать ее, и веришь, что сделает это не кто иной, как тот самый жестокий и ласковый народ, который, подобно Оглашенному («Суд скорый»), из судьи угнетаемых превратится в судью над угнетателями» («Сибирская жизнь», 1917, № 4, 5 января).

ВАНЬКА ХЛЮСТ

(Стр. 296)

Впервые опубликовано в «Ежемесячном журнале», 1914, № 10. Вошло в сборники произведений Шишкова «Сибирский сказ», Пг. 1916; «Краля», ЗИФ, М.—Л. 1924; в IV том Полного собрания сочинений. Печатается по тексту книги: Вяч. Шишков, Пурга. Повести и рассказы о старой Сибири, Новосибгиз, 1938, где рассказ датирован автором: «1914. Октябрь». Первое упоминание об этом произведении встречается в письме к Горькому от 30 декабря 1911 г. (см. примечание к рассказу «Краля»). Шишков в этом письме просил Горького помимо «Авдокеи Ивановны» просмотреть и «Ваньку Хлюста», рассказ, по словам автора, «заслуживший похвальный отзыв на конкурсе «Бирж.[евых] Вед.[омостей]» («В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 247). Судить о том, подвергался ли рассказ в промежутке между 1911 и 1914 гг. какой-либо авторской правке или доработке, нет возможности, так как в «Биржевых ведомостях» он опубликован не был, не сохранился и экземпляр, посланный Шишковым Горькому.

Подобно многим произведениям Шишкова, рассказ «Ванька Хлюст» основан на подлинных жизненных фактах. В письме к профессору-литературоведу П. С. Богословскому от 17 марта 1926 г. Шишков сообщает адресату о том, как возник сюжет рас-

сказа и образ его главного героя: «...встретил на р. Оби, на пароходе (ехал на Алтай) одного нищего, кудрявого парня, у которого рука была замотана веревкой и вертелась в локтевом суставе на жилах... Он зашел и в рубку первого класса. Я заинтересовался им, он рассказал мне свою жизнь» (там же, стр. 265).

В рецензии Вл. Бахметьева на сборник Шишкова «Сибирский сказ», куда был включен и рассказ «Ванька Хлюст», об этом рассказе говорилось: «Это сложный, художественно законченный психологический эпизод в рамках того же таежного быта. Здесь, собственно, только два действующих лица: дед Григорий и молодой парень Ванька Хлюст, изуродованный физически, сгорающий в тоске по бессмысленно загубленной жизни. Но перед вами развертывается большая человеческая драма, охватывающая разные стороны человеческого сознания и быта, его уродующего». В этой же рецензии подчеркивалось, что особенно удался автору образ деда Григория, который «мудр и прост... близок человеку и природе» и умеет «не только понимать, а прямо-таки «чуять» человека» («Сибирская жизнь», 1917, № 4, 5 января).

НА БИЕ

(Стр. 324)

Опубликовано, с подзаголовком «рассказ», в «Алтайском альманахе», СПб. 1914. Печатается по тексту альманаха. Написано по впечатлениям первой поездки В. Я. Шишкова на Алтай в 1910 г. для исследования реки Бии от истоков ее из Телецкого озера до устья.

КОЛДОВСКОЙ ЦВЕТОК

(Стр. 348)

Впервые опубликовано в журнале «Отечество», 1915, № 8. Печатается по тексту Полного собрания сочинений, т. IV, 1927, где рассказ датирован автором: «1915. Томск». «Рассказ «Колдовской цветок» может похвастать поэтическими страницами, — читаем мы в одной из рецензий на это произведение. — Красив образ отца... затосковавшего по чудесному, бросившего семью и погибшего в поисках колдовского цветка, с которым можно и под водой пройти и по небушку порхать... Автор совершенно чужд символизма, но... этот скромный деревенский мечтатель

вырастает в большой и светлый образ...» («Современный мир», 1917, № 2—3).

«Колдовской цветок», как и перечисленные выше рассказы и очерки, за исключением «Холодного края» и «На Бие», составили первый сборник ранних произведений Шишкова — «Сибирский сказ». Очень скоро этот сборник привлек к себе внимание демократической критики и получил ее положительную оценку. В отзывах критики отмечались свежесть и оригинальность писательского дарования Шишкова, значительность идейного содержания его произведений. «Среди бесцветной и бескровной современной беллетристики, — писал рецензент горьковской «Летописи», — книжка Вяч. Шишкова бесспорно выделяется, в ней есть жизнь, своеобразие, свежесть языка и чувства... Автор подлинно чувствует свой далекий сибирский край, любит угрюмую нежность сибирской природы, детей тайги — с душой чистой и праведной, как душа ребенка. И в небольших строго лаконичных рассказах, трепещущих сдержанным гневом («Чуйские были»), проникнутых горьким юмором («Помолились»), повествует, как в прекрасный, вольный и дикий край вторглась «культура» в образе русского купца-хищника, алчного и грубого, и наложила тяжкое ярмо на беспомощных и доверчивых сибирских туземцев. Это столкновение кулацкой культуры наезжего добытчика с младенчески звериной бескультурностью таежного обитателя передано Ш. ярко, сильно, с простотою почти эпической» («Летопись», 1917, № 1).

СИБИРСКИЙ ДЕД

(Стр. 359)

Впервые опубликовано в «Ежемесячном журнале», 1915, № 9—10. Печатается по тексту Полного собрания сочинений, т. II, 1928, где рассказ датирован автором: «1915. Томск».

Рассказ «Сибирский дед» является откликом писателя на события первой мировой войны, начало которой застало Шишкова еще в Сибири, на Алтае. «Перед моими глазами, — писал он в автобиографии, — прошла мобилизация на германскую войну. Патриотического подъема, о котором всюду писалось, не было — были слезы, проклятия, буйства, погром винных лавок» (В. Я. Шишков, Полн. собр. соч., т. I, стр. 66). Враждебность войны интересам широких народных масс — тема как «Сибирского деда», так и ряда других произведений Шишкова, в том числе и рассказа «Варин сон» (см. ниже).

ВАРИН СОН

(Стр. 366)

Впервые опубликовано в сборнике «Северные зори», М. 1916. Печатается по тексту Полного собрания сочинений, т. II, 1928, где рассказ датирован автором: «1915».

ТА СТОРОНА

(Стр. 382)

Впервые опубликовано в сборнике «Северное дело» (сборник 1-й), М. 1917; вошло в III том Полного собрания сочинений. Печатается по тексту книги: Вяч. Шишков, Пурга. Повести и рассказы о старой Сибири, Новосибгиз, 1938, где рассказ датирован автором: «1915. Петроград».

ШКВАЛ

(Стр. 410)

Впервые опубликовано в «Ежемесячном журнале», 1916, № 4. Вошло в сборник произведений В. Я. Шишкова «Взлеты», ВЦСПС, М. 1925, и в IV том Полного собрания сочинений. Печатается по тексту книги: Вяч. Шишков, Пейпус озеро, изд-во «Недра», М. 1930.

ЗОЛОТАЯ БЕДА

(Стр. 422)

Впервые опубликовано в альманахе «Шиповник», 1917, кн. 26-я. Отдельное издание — Вяч. Шишков «Золотая беда», ЦК Помгол при ВУЦИК, Харьков, 1922. Печатается по тексту Полного собрания сочинений, т. III, 1927, где рассказ датирован автором: «Петроград. 1916».

ПУРГА

(Стр. 435)

Впервые опубликовано в журнале «Новый мир», 1927, № 2, 3. Вошло в XII том Полного собрания сочинений Шишкова и в его сборник «Пурга», изд-во «Недра», М. 1931. В сборнике Шишкова «Пурга», Новосибгиз, 1938, по тексту которого печатается повесть, последняя сопровождается развернутой авторской датировкой: «Написано в 1916 г. Обработано в 1926 и 1938 гг.».

В письме к П. С. Богословскому от 17 марта 1926 г. В. Я. Шишков сообщает: «Про «Пургу» — основной эпизод слы-

шал в Томске от политического ссыльного, бывшего в тех краях, Киселева. Переживания героя и его конец — выдумка. На самом же деле герой (Петр) — по словам рассказчика — благополучно вернулся. Но по моему заданию — слепая сила природы должна одолеть человека, что человек никогда не покорит природы, что человек может, лишь изучив ее законы и поняв всю ее мудрость, жить с ней в дружбе. Это видней будет, когда «Пурга» появится в печати в сокращенном, обработанном виде» («В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 265). Согласно «заданию», о котором говорит автор в письме, журнальный вариант «Пурги» и ее тексты в книжных изданиях 1929 и 1931 гг. заканчивались гибелью Петра, торжеством «слепой силы природы». Заключительные строки повести читались так:

«Пурга зарыла человека в хладную могилу и в вое, в хохоте оплакивает его. Белая, безглазая пурга умеет только выть и плакать.

Шел человек полем, пропал человек.

На тысячи верст разметала пурга лохмы, воет:

«Я белая, шальная, я стра-а-ашшшная... Зачем пришел?»

Шел человек полем жизни, пропал человек, погиб».

Готовя повесть для новой публикации в сборнике «Пурга» (Новосибгиз, 1938), Шишков, очевидно, убедился в некоторой надуманности ее первоначальной концепции, в противоречивости своих же собственных посылок: «человек никогда не покорит природы» и — «человек может... жить с ней в дружбе, изучив ее законы и поняв всю ее мудрость». В связи с этим он существенно изменил финал произведения, приблизив его к той развязке, которая имела место в действительности (см. цитированное письмо к П. С. Богословскому). Новая концовка придала гораздо большую психологическую убедительность и логическую завершенность образу Петра, задуманному автором прежде всего как сильная, цельная, волевая личность; помимо этого, новый эпилог сообщил и жизнеутверждающее, оптимистическое звучание повести в целом.

БОБРОВАЯ ШАПКА

(Стр. 510)

Впервые опубликовано в альманахе «Шиповник», Пг. 1917, кн. 26-я. Отдельное издание — Вяч. Шишков, Бобровая шапка, ЦК Помгол при ВУЦИК, Харьков, 1922. Вошло в сборник

«Взлеты», ВЦСПС, М. 1925. Печатается по тексту Полного собрания сочинений, т. IV, 1927, где рассказ датирован автором: «1916 г.».

Первый вариант рассказа был написан Шишковым, очевидно, еще в конце 1915 г. и существенно отличался от окончательной редакции. Основанием для такого предположения служит письмо Шишкова к Горькому от 9 января 1916 г., в котором В. Я. говорит о «Бобровой шапке», как о завершенном произведении, которое писатель, по-видимому, даже пытался публиковать. «Моя «Бобровая шапка», — пишет В. Я., — очевидно, погибла из-за своего поведения, из-за морали, которую я, кажется, некстати развел у проруби. Пробовал я переделывать конец: а) сапожник спас купца, а сам утопился — ерунда, ложь, б) сначала вытащил, а когда увидел, что враг, вновь поволок в прорубь, и оба туда ухнули — жестоко, не надо. Решил оборвать рассказ на том месте, где «профессор Уткин», крикнув: «А ну вас!» — бежит к проруби. Значительно почистив во всех частях, попытаю куда-нибудь его (рассказ. — *В. Б.*) пристроить» («В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 251). Опубликованный в альманахе «Шиповник» текст рассказа, без сколько-нибудь существенных изменений перепечатывавшийся и в последующих изданиях, уже не содержит никакой «морали у проруби» и заканчивается именно «на том месте», где Шишков и решил «оборвать рассказ».

«Бобровая шапка» — одно из немногих в творчестве Шишкова произведений, где автор обращается к теме капиталистического города, изображению жизни мелкого городского люда. Рассказ характерен острым социальным критицизмом, обличением «капитальщиков» и законов буржуазного общества, в котором «того все лупят, кто беден, да не вор».

КАТОРЖНИК

(Стр. 540)

Впервые опубликовано в «Ежемесячном журнале», 1917, № 1. Вошло в IV том Полного собрания сочинений. Печатается по тексту книги: Вяч. Шишков, Пурга, изд-во «Недра», М. 1931, где рассказ датирован автором: «1917».

СОДЕРЖАНИЕ

Шишков
Вячеслав Яковлевич

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, ТОМ 1

Редактор *З. Кондратьева*
Художественный редактор *А. Лепятский*
Технический редактор *С. Розова*
Корректор *Л. Борец*

Сдано в набор 18/VI 1960 г. Подписано к печати 13/X 1960 г. Бум. $84\times108^1/_{32}$ 18 печ. л.=29,52 усл. печ. л. 27,14+1 вкл.= =27,19 уч. изд. л. Тираж 180 000. Зак. 1600. Цена 11 р. С 1/I 1961 г. цена 1 р. 10 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29.